

РУССКАЯ ДУМА

Георгий ГАЧЕВ

Георгий ГАЧЕВ

# РУССКАЯ ДУМА



*портреты  
русских  
мыслителей*

Новости

Новости

Георгий ГАЧЕВ

# РУССКАЯ ДУМА



*портреты  
русских  
мыслителей*

Литографии  
Юрия Селиверстова



Москва, 1991



ББК 87.3(2)  
Г24

© Г. Гачев, текст, 1991 г.  
© Ю. Селиверстов, иллюстрации, 1991 г.  
© О. Семенов, худ. оформление, 1991 г.

## От издательства

Книга-альбом «Русская Дума» — плод сотворчества художника-графика Юрия Селиверстова (1940—1990 гг.) и писателя-мыслителя Георгия Гачева (родился в 1929 г.). Первоначально возникла серия литографий, а затем к ним была написана серия литературно-философских портретов. Разумеется, выбор художником именно этих, а не иных русских мыслителей односторонен: здесь акцентирована та традиция мысли, которую в недавние годы именovali «идеалистической», «религиозно-философской», «почвенной». Для равновесия и полноты полезно было бы не обойти и такие фигуры, как Радищев, Белинский, Герцен, Ленин... Но, признаться, о них уже написано достаточно много. И в нынешнем своем виде панорама русской мысли, данная в книге, может хотя бы отчасти удовлетворить возрастающий интерес к ней у нас и за рубежом.

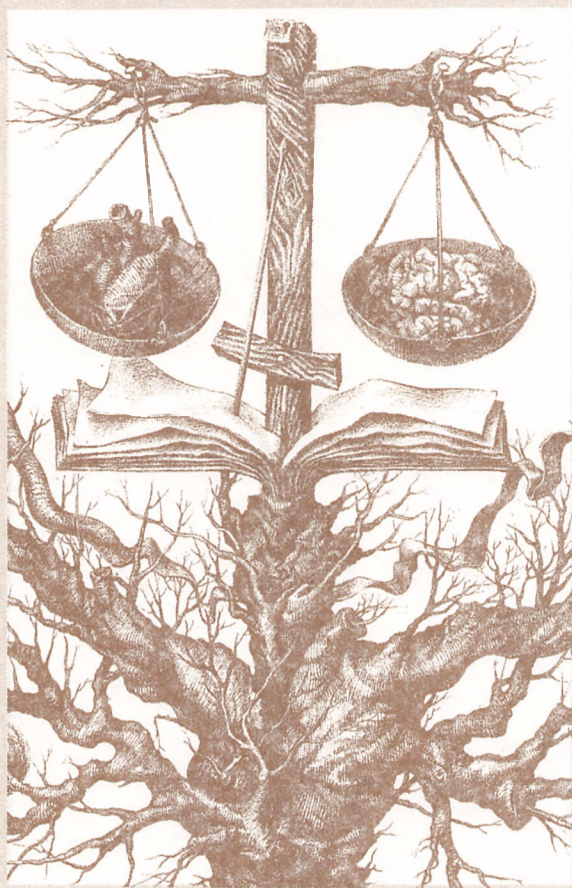
Авторы книги — индивидуальности самобытные, и даже не будучи во многом согласно с их трактовками, издательство, ценя талант и оригинальность суждений, считает возможным и даже полезным выпустить эту работу в свет.





*ЧАСТЬ ПЕРВАЯ*

---







## От автора

Два великих вопроса завещано нам от Деятнадцатого века русской культуры: КТО ВИНОВАТ? и ЧТО ДЕЛАТЬ? И сегодняшние наши проблемы как-то сами собой лезут в жерла этих вопросов: ищем — кто виноват? Судьбы-счеты между собой затеваем, меж эпохами распри. И тут же лихорадочно суедемся, пытаемся что-то делать. Но ведь не понимаем ничего толком. И так у нас деланье рук намного опережало понятие ума. И сейчас, по-моему бы: не судиться и не делать, а замереть и задуматься: КАК ПОНИМАТЬ? — вот вопрос «текущего момента».

Естественно, вопрошающий ум наш ищет, с кем бы посоветоваться о первоценностях; чего ради хлопотать-жить-трудиться? Самому убиваться, да еще и людей убивать (под предлогами забот об их же счастье и об идейной чистоте!)... И тут — зачем далеко ходить? Своя же гигантская традиция мысли есть, лишь частично нами усвоенная. Это усилия русского Духа, о которых Генрих Манн так сказал: «Сто лет великой русской литературы — это русская революция до революции».

И вот мы отправляемся в Грановитую палату Русской Думы. Вон они сидят, вечные: боярин Пушкин и

думный дьяк Пришвин, князь Трубецкой и писарь Бахтин... Упокоенные: страсти-партии улеглись, и, как в Лимбе Дантова Круга первого, они вечно думу думают. Подойдем же — и повопрошаем. Каждый ведь — своей жизнью, личностью и творчеством открыл-понял-воплотил некую ипостась Бытия, вариант смысла жизни, что всегда есть — и для нас вполне также. И хотя располагались они один вслед за другим в исторической прогрессии, но ни один не отменил другого, а все — параллельные и независимые миры ценностей и понятий: выбирай, примыкай к кому хочешь, кто — по душе-натуре твоей!..

«Дума», кстати, — емкое слово. Это и мысль неторопливая, сосредоточенная, что так подходит к русской Природе: «задумчивость — ее подруга»... Это и мысль поэтическая, не рассудочная: космос бесконечного простора России, что вся — в зияниях в пространстве и в прерывах постепенности во Времени, неподатлива однозначной логике («умом Россию не понять!»), но лишь образному мышлению. Потому наши мыслители — художественные писатели. «Дума» — это и слово-речь: по старославянски и ныне по-болгарски, «ду-



ма» — это буквально «слово», и «думаше» = «говорил»... Ну и, наконец, Дума — это и древнее учреждение в государстве: совет-вече, собор, общество умов...

Одна умная женщина сказала:

— А ведь оба ошиблись: Маркс и Достоевский! Первый полагал, что пролетарская революция осуществится в развитых странах Европы, и никак не в отсталой России. А второй думал, что Россию минует социализм-атеизм: народ ведь — «богоносец»!..

Так что прошедший век исторических опытов ставит нас в позицию, где нам положено больше их понимать — в путях-силах истории и в человеке (безднах добра и зла в нем). Так что и беседовать и оспаривать — горько временами — нам

придется пророков и апостолов Русской Думы... Ведь

Богаты мы, едва из колыбели,  
Ошибками отцов и поздним их умом

— как в своей «Думе» Лермонтов нам созвучно проговорил.

Век взлетов, катастроф, мечтаний, разочарований, восторгов, трагедий. Да мы ж на золоте сидим — для ума, осмысления, литературы! Века про эти наши опыты писать-обдумывать — и еще не разгрести, не расхлебать... Если Ум человечества попытается страданиями поколений — то недаром они были: опыты, блуждания, трагедии, жертвы нашей истории.

Слово было в начале — и оно же в конце всякого Бытия, как его копилка-сокровище и квинтэссенция.





## Пушкин

Пушкин — наш Бог-Слово. Безглагольно лежало Бытие, и вдруг из пушки — не на Луну, но на Землю выстрелило: сошло Слово. И чего ни коснется — все заголосит своим и нашим, человеческим голосом: Весна («Гонимы вешними лучами...»), Любовь (письмо Татьяны), Море («Прощай, свободная стихия!»), Петербург («Красуйся, град Петров!»). Воистину, как чародей: отмыкает уста явлениям: «Идет направо — песнь заводит, Налево — сказку говорит». У него — тождество Бытия и Мышления: всё, бывшее-слышшее только вещественным: Анчар, Туча, «Мороз и Солнце», — обнаруживает дух и имя.

Есть такое воззрение, будто и то Творение, что очерчено в Семи днях книги Бытия, было разданием имен-слов: Бог-Творец наименовывал,

светом Слова метил то, что напорозжено Матерью-Природой. Вот Пушкин и явился у нас таким Творцом-именователем: все означилось из немoty как разумное и действительное (субъективно-личное, энергичное): и Ночь («Мой голос для тебя и ласковый и томный»), и «Госка, предчувствия, заботы», и «Дела давно минувших дней»... Бытие стало для нас членораздельно: Хаос превратился в Космос, в гармонию сплотившихся<sup>1</sup> — в строй созвучий. Мы имеем, чем все заклясть, на все нам дано Слово волшебное: можем справиться и с тьмой: «Да будет свет!» = «Да здравствует солнце! Да скроется тьма!»... Так что «Ревет ли зверь в лесу глухом. Трубит ли рог, гремит ли гром, Поет ли дева за холмом — На всякий звук Свой отклик в воздухе пустом (до тебя, Пушкин!) Родишь ты вдруг».

Про Гомера и Гесиода эллины говорили, что они им дали их богов. Так и Пушкин, мифотворец, населил наш Олимп: там вечно отныне обитают бессмертные Черномор и Руслан, Времена года (из «Онегина»), Нева в постели беспокойной и Петрополь, как тритон, Бесы и Пиковая дама, Петр-царь и Евгений, маленький человек, Татьяна, что другому отдана, Проза, что требует мысли... — всякое его речение = миф и архетип и основоположение нам.

Но и: «А за тебя кто работать будет — Пушкин?» и «Кто виноват — Пушкин?». Он (в паре с Лермонтовым) — персонаж народных анекдотов, как Иван-дурак и Тиль Уленшпигель. Мало того, что он = Бог-Слово, он сам себе плут, сатана, бесенок, трикстер: все обсмеял-передразнил, озорник-охальник! А скабрезен до чего: как Матерь Божию (свою!) оскоромил в «Гаври-

<sup>1</sup> Греч. *harmodzo* — «плотничая», «состраиваю», откуда гармония — «скрепа», «строй», «лад».



илиаде)! Сам — святыня, а для него — ничего святого...

Да, сам — святыня: его жизнь стала нам Житие, национальное достоиние. Рождество его уже волшебнотчудесно, нездешне: от какого-то Арапа Петра Великого, эфиопа африканского, с экватора, от Солнца в зените — к нам на Север залетел (инопланетянин!) и воплотился в добротном лоне столбовых некогда бояр — и так мощно заземлился и укоренился, как абсолютно свой: привился — и сок матери-сырой земли брызнул сквозь его ствол и обернулся роскошным цветом и плодом русского слова. Ценил он свое укоренение: заботой его была «Моя родословная» и «Род Пушкиных мятежный»: пририсовывал и себя (как живописцы Возрождения на картинах сбоку свои автопортреты...).

Так что и как Сын Божий — восприимен он тут; его родители — не совсем настоящие: бледен отец, тускла мать — рожден, как бы минуя их, самим Бытием. Зато знаем — няню, кормилицу, сказочницу: она ему пестунья — от Руси. Он — как приемный сын России, но такой, что роднее родных. Ибо — Божий дар, подкидыш! Однако это существенно важно в нем — присутствие закваски чужой крови = энергии, что позволяет одолевать засасывающую энтропию Космоса Матери-сырой земли. И далее в русских творцах этот чужекровный фермент важен: Лермонтов, Гоголь, Достоевский... как и Григорий Мелехов — тот казак, что «турок, не казак».

Но не только жизнь, и смерть Пушкина — это *страсти*, крестный путь, коего малейшие шаги сотрясают наше сердце, как Гефсимания и Голгофа Черной речки. Мы бесконечно соперживаем и снова возвращаемся к этому сюжету, где также все персонажи — архетипы основные человеческого существования: жена-красавица; залетный «любovníк»; злоба людской толпы — хор

бесов, что потеснены Солнцем Слова: были титанами, а теперь загнаны перунами в Тартар, откуда и шипят, сыроземно-хтонические, и козни строят; глупые друзья, что проглядели и предали, как Петр-апостол... И, наконец, Кесарь — царь, что ревнив к Богу и не признает разделения: «Богу — Богово, Кесарю — Кесарево», но стремится всегда в России Государство управлять Словом; а уж в нашем XX веке само Государство стало плодовитейшим писателем и словотворцем (речи, постановления, резолюции — все ж это огромная литература! Все у нас и «нам пишут»: даже врачи не лечат, а пишут — досье на нас, жизнеописания, а мы на себя — анкеты-автобиографии...).

А дуэль? По-царски Бытие и забрало к себе Пушкина: получил высшую награду — право на достойную смерть! Она ж — легенда! Как сложно-артистично забивали солнечного быка Слово на корриде русской истории! Чтобы и неугодного Лермонтова затем убить, какая интрига многолетняя и многоперсонажная — и вот в грозу, у подножия Кавказа завершилась! Не смерть, а поэма — Лермонтова же!.. Какие ритуалы соблюдены-выдержаны! То ли дело через век ровно, в 1937-м, когда всенародно и официально юбилей Пушкина справляла держава и «всяк сущий в ней язык», — так пытками изгваздали душу человека, выдавливая из него доносы на себя и на ближних, так уткнули в свое дерьмо (герой гражданской войны завизжит, умоляя), что под занавес жизни получает человек полное омерзение к себе: доведут умельцы, чтоб душу погубил ужс перед тем, как поволокут его на казнь тела...

Да, а у Пушкина и смерть — завидное совершенное художественное произведение. И вся русская культура затем — это перманентное уже Воскресение Пушкина: к нему обращенность, молитва, солнцепоклонничество: Глинка, Чайковский, До-

стоевский, Блок, Маяковский... Последний тоже доделывал пушкинское дело: «улица корчится безъязыкая» — дал ей язык, как перед пришествием Пушкина весь русский Космос корчился безъязыким.

Да, Пушкин космичен, сверхисторичен (хотя и историческое самосознание России им же началось: «История Петра», «История Пугачева», «Клеветникам России»...). В чем тут дело и сказ, поясню современным примером. Недавно в застолье дружеском казах, архитектор преуспевающий, сорока лет, в сердцах на «перестройку» так сетовал: «Что же дочь моя и внук станут обо мне думать? Что всю жизнь ты во лжи прожил — во времена «застоя»? А я так же — об отце своем, что при «культе личности» все кушал, что ни преподносили?..» И человек в законном стремлении: свою единственно текущую жизнь не дать обесмыслить — норовит вернуть хорошие слова и Брежневу, и Сталину...

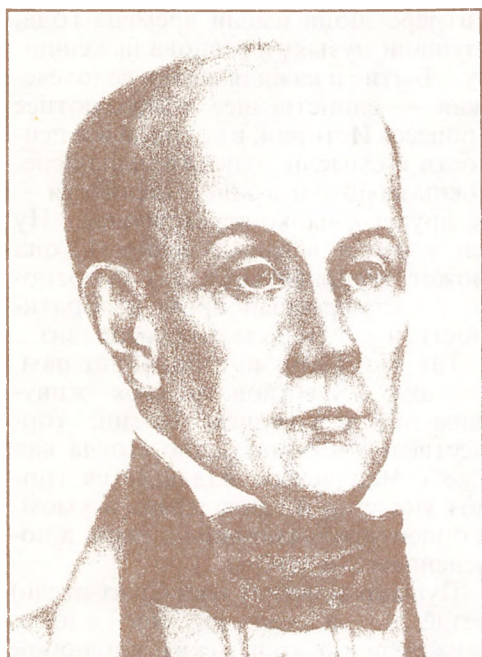
Но зачем же так — приписывать им излишнее, такое всеопределяющее значение — этим политическим наклейкам? Ведь ты, чудак-человек, сосал сиську, видел солнце, пел песни, любил жену, играл в карты, ел хлеб, знал стыд, честь, угрызения совести, муки творчества, напряжение мысли — вся существенная жизнь с тобою случилась, и не так уж суть важно, в какую историческую эпоху, в какой стране и «формации» она текла. И в Испании Дон Гуана, и в Германии

Гитлера люди имели времена года, слушали музыку и ревновали женщину... Бытие и каждая жизнь человеческая — единственное и абсолютнее процесса Истории, в которой все ценности и смыслы относительно-переносны на потом, а ответственности — на другого, зыбко-переменчивы... Ну да: у нее ж в запасе вечность, она может «исправиться», а у смертного — отмеренный срок, необратимость, и его лишь могила исправит...

Так вот: Пушкин и помогает нам, каждому, чувствовать себя живущим во всегдашнем Бытии, торжественно и осмысленно (тогда как уже с Чаадаевым надвигается гипноз Истории и завладевает умом, и ориентировками-ценностями, и поведением смертного...).

Пушкин воистину наш Спас(итель) везде — и «во глубине сибирских руд» или колымских, и в любой час и ситуации — и «когда для смертного умолкнет шумный день»; как вспомнишь стих Пушкина, зазвучит он в тебе — уже упасен ты, дух жив в тебе: восстановлен слух на Бытие, «восстановлен перпендикуляр» на Красоту (луч небесный в душе, что всепроницающ — и в тоску, и в темницу), и вот уже не скотски, а осмысленно течет миг и слог жизни твоей. Произнес: «Буря мглою небо кроет» — и осилил смерч и страх смерти. Слово Пушкина нам — как «святые дары», с помощью которых творим «евхаристию», причащаемся к абсолютному смыслу Бытия.





## Чаадаев

«Одна из наиболее печальных черт нашей своеобразной цивилизации заключается в том, что мы еще только открываем истины, давно уже ставшие избитыми в других местах... Это происходит оттого, что мы никогда не шли об руку с прочими народами; мы не принадлежим ни к одному из великих семейств человеческого рода; мы не принадлежим ни к Западу, ни к Востоку, и у нас нет традиций ни того, ни другого. Стоя как бы вне времени, мы не были затронуты всемирным воспитанием человеческого рода.

Эта дивная связь человеческих идей на протяжении веков, эта история человеческого духа, вознесшие его до той высоты, на которой он стоит теперь во всем остальном мире, — не оказали на нас никакого влияния... У нас ничего этого нет.

Сначала — дикое варварство, потом грубое невежество, затем свирепое и унижительное чужеземное владычество, дух которого позднее унаследовала наша национальная власть, — такова печальная история нашей юности.

...Взгляните вокруг себя... Ни у кого нет определенной сферы существования, ни для чего не выработано определенных привычек... В своих домах мы как будто на постое, в семье имеем вид чужестранцев, в городах кажемся кочевниками... Мы живем одним настоящим в самых тесных его пределах, без прошедшего и будущего, среди мертвого застоя...»

Вот элегия по России из Первого «Философического письма» Чаадаева. Опубликовано в «Телескопе» в 1836 году, оно возмутило и власть, и общественность. Правительство проявило заботу об умственном здоровье автора и засадило сумасшедшего мыслителя в домашнюю «психушку». И в самом деле: что за бред, пощечина, антипатриотизм? Общество увидело в философе «развратителя юношества», подобно тому, как в Древней Греции ополчились на Сократа и других философов, что отменили богов и наивные верования, а на их место поставили Разум, Логос, идеи. Здравый смысл возмутился абстрактной мыслью.

Пушкин = Бог-Слово. Чаадаев = Мысль, фило-София, покушение на Премудрость, неисповедимые пути постижения Истории и Провидения. Мысль родить труднее. Слову — Природа помогает: звук и зрак совместны с мыслью в нем; а тут — голая, как череп Чаадаева, кто — фантомас интеллекта, с лицом мраморным, в отличие от курчавых зарослей Пушкина — нашего Пана. Да, их облик сказателен. Чаадаев — прямолинейен, как вертикаль последовательной мысли, а Пушкин — обезьянка с цапучими конечностями, даже ногтем: как вцеплен в существование, вплоть до последнего вы-

стрела! Этот же — как ракета, заостренная взлететь с Земли в Небо, к Богу. Слабо укоренен: ни жены-детей, а любви его все — платонические, будто внепол-андрогины (как Онегин, с него отчасти слеplенный). Да и отца-матери не знал, как и обычно авторы и герои русской литературы: воспитанники теток и бабушек, а, значит — косвенная природовая связь в них, приусечена корнево-почвенная вертикаль, особенно у «западников». Зато таковой — избранный агнец Духа, на пророчество призванный. И городск, не деревенск. Потому История для Чаадаева затмила Космос: воля России как Природины в нем приглушена — будто с тем, чтоб тем чутче слышать волю Истории, процесс мировой цивилизации. Для человека с оборванными корнями, конечно, несусветную значимость приобретает самочувствие себя в Обществе. Чаадаев мучился честолюбием, тщеславием быть первым, выглядеть высоко в своих глазах и глазах «света»; и напрягался, на котурны вставал — и падал малодушно, как когда «перед ним незапно грянул упавший гром»: во время обыска он сам вытаскивал рукописи, а на допросах «понес» и на себя, и на даму-адресат письма. Отрекался, как Галилей; в нем надлом... Тут он — как герой Лермонтова: то Демон, то дубовый листок, то inferнален, то инфантилен, то стоит под пулями играючи, то боится сквозняка (Печорин). Ибо сверхчеловеческого напряжения требует проявление в русской Истории и Мысли, и человек там быстро сгорает, как в плотных слоях атмосферы. И — увы! — одной вспышкой часто («я просиял бы — и погас!») завоевывается проблеск Мысли — ценою в Жизнь и ум. И верно: на Руси, чтоб превозмочь ее Космос — среди энтропии ее равнины и засасывающей тяги матери-сырой земли — и дать сверхидеи и сверхтворчество, приходится их создателю выходить на грань безумия «в

веке сем» (Гоголь, Достоевский...). Горе от ума — российский сюжет (кстати, Чаадаев — один из прототипов Чацкого-Чадского, в одном из вариантов).

Почему же Мысль труднее Образа, Слова? Да потому, что они — многозначны, «шарообразны», многомерны, самодержны, равны Бытию. А Мысль — «линейна», в каждый данный момент утверждает что-то одно, по частям вынуждена постигать, а предмет ее — Всё. И потому всегда на мысль есть контрмысль, на которую сама мысль в последовательном своем развертывании и выходит, и это и есть ее диалектика. Но здравый смысл такого не понимает: он торопится «понимать»: рвет цепь рассуждения, выхватывает куски, цитирует — и потешается-надмевается над мыслителем. Но и вправду тут есть недо-разумение: у абстрактной мысли — свои проблемы и язык, а выражать их вынуждена на общем, «естественном» языке, нашими словами, и кажется, что власть и масса могут тут управлять и учить, как и поэт — «чернь тупая».

Итак, Чаадаев задумался назначение России понять среди стран в горизонте современности и по вертикали эпох Истории, так же как и Печорин — над назначением личности и пути: «и верно было мне назначение высокое... Но я не угадал этого назначения...» Угадал ли Чаадаев? «Ужели слово найдено?» И отчего именно теперь, примерно в 1830 году, началось мощное самосознание России? И Киреевского статья «Деятнадцатый век» — 1829 года.

Весь XVIII век — век делания без особого понятия-задумыванья: а что? А зачем? Просто — надо! Хочешь, страна, жить — умей вертеться! Петр вверх в движение и крутеть — и вот пошли вертеться: и на Север (со шведами контрданс), и на Юг (с турками галоп), и с Наполеоном дуэль, и в голову царя удар (декабристы). Это было последнее внеш-

нее действие — и настал покой и застой: пора вдумываться: что? отчего? зачем? где мы? кто мы? откуда и как шли? куда идем, и туда ли? Подобно и в XX веке делали больше, чем понимали, что делают. А между двумя веками делания — век думанья.

От чего же Уму танцевать? От какой печки-основначала?

Философский ум тем отличается от обычного здравого смысла, что для него дальнее = самое интимное: бесконечность Бытия в Пространстве и Времени — исходное переживание. От него — восторг и восхищение: Разумом, Красотой и Гармонией, — но и ужас: от своей малости-затерянности в Метагалактиках. Так же и Россию Чаадаев взвидел: как малюсенький эпизод во Вселенной — на тех же правах, что и «я» смертного человека.

Для бесконечного Бытия знаки: «Всё», «Единое», «Целое», «Абсолют», «Бог» (если Бытие понимать как осмысленное), «Ноосфера» — нынешнее для этого слово будто научное: ум как сфера видится, одно из n-измерений; совокупность ума — «Дух»... Мысль Чаадаева — «религиозно-философская». Что это значит?

Знать мы Все не можем. Но связать себя, подключить к нему нам необходимо. Это и есть «вос-связь» = ge-ligio: связь без (и до) знания. Ну да: сначала человек, родившись, оторван от Целого в особность отдельного существования, а вот помощью усилий души-воли и ума мы восстанавливаем единство и имеем со-весть и угадываем со-мысл всего. Ум призван понять то, что сверх его сил, опытов, касаний. Тут — гипотезы, проекты... Но они: идеалы, цели, вера — необходимы душе как ориентиры. Ими она питается и крепит себя в существовании средь Вселенской пустоты, что иначе навеивает отчаяние.

Чаадаев — это первое и неповторимое дерзание русской мысли:

опершись на себя, замахнуться понять Все — и потому риск, отплытие Колумбово, равномошное Декартову cogito ergo sum = «я мыслю = следовательно, я существую», что есть краеугольный тезис-камень новоевропейской философии. В Чаадаеве то же «методическое сомнение», вплоть до отчаяния. Но если Декарт обрел остров-точку опоры для рычага переворачивающей Бытие мысли — в «я», то расплывчатое «мы» Чаадаева оставляет «нас» в состоянии вопроса, недоумения. Вообще это «мы» как субъект мышления, автор миропонимания — господствует в русской традиции мысли и порождает постоянно логическую ошибку pars pro toto = «часть-партия за Целое». Ведь думает-то всегда некое «я» (как и глотает, и зачинает-рожает), а пишет: «мы»; затем это «мы», которое всегда есть голос некоей группы, норовит выражать-представлять больше себя: интерес класса, народа, России, Истории самой, человечества. Смута и сумбур от этого возникают в понимании. Но это еще не беда бы, пока это «мы» с узким, частичным своим пониманием не начинает действовать — от имени и во имя и на благо Всех. Тут уж «сила есть — ума не надо». И напротив: слабому и малому приходится быть умным, чтобы прожить, и мысль от «я» и умнее и честнее... А от «мы» — мышление всегда не точно (не точно, как от «я»), не однозначно, а образно-метафорично: фигура «синекдохи» получается, как во «все флаги в гости будут к нам», где «флаг» — за «корабль», часть — за целое представляет.

И все же именно Чаадаев произвел на Руси первый акт философствующего ума: это — рефлексия, оборот на себя, самокритика (национальная); он проделал обрезание России, превратил ее в отрезок и тем самым содеял умаление «я» современности, вечного хвостовства живущих. Его дума — о смерти. И тут

же зашипели, зашикали одни, оскорбились другие, задумались третьи — и завязалась работа русского самопознания. Все последующие мысли в России ориентированы на вопрос Чаадаева. Завязка есть. А развязка?.. Еще и мы те же вопросы обдумываем...

Чаадаев, как камертон, задал музыкальный тон русской мысли: это — греза, тоска, мечтанье, отсыл в даль (что и в лад с Космосом безбрежного простора, путидороги...). Пушкин — весь Бытие, Жизнь, ее полнота, реализация Естины, настоящее, подлинность «здесь»-и-«теперь»-существования. Чаадаев — уход от настоящего,

ускользает, угорь-глиста (и по фигуре таков). Но Чаадаев заразителен: даже Пушкин соблазнился по его траекториям походить. В его знаменитом послании «К Чаадаеву» («Любви, надежды, тихой славы...») взят не присущий ему тон: отсыл подлинного Бытия, блага и истины куда-то в будущее: ему платить по векселям наших усилий и отказов жить умно и счастливо сейчас... — основное умонастроение «западников», а потом революционеров...

Вообще между Пушкиным и Чаадаевым «влеченье — род недуга»: полярности притянулись, взаимодополнительны они.







## Тютчев

Тютчев — самостоятельный Бог-Творец мироздания, дает свой вариант русского Духа и миропонимания и свою ипостась Личности. Вообще нельзя всех мыслителей воспринимать в последовательности: в затылок или в струнку шеренги, равняющимися друг на друга. Нет, каждый снова смотрит на Абсолют — будто до него никого не было, и перепонимает все. Тут как в электричестве: не последовательное, а параллельное подключение; и даже так: независимо-самоначальные родники-источники. Так же мы ныне: я и каждый может и должен так себя понимать — как субъект уникального мировидения, в котором в то же время отзывны все сюжеты и струны и мысли, когда-либо бывшие и сказанные. Потому-то и сказуемы нам так и Пушкин, и Ча-

адаев, и вот Тютчев, и все потом.

То космообразование, что произвел Пушкин, для Тютчева словно не существует. Этот снова вперен — в Хаос, «древний... родимый», и чувствует, как под упорядоченным миром Общества и Истории, души и рассудка — «Хаос шевелится» = разорванное бытие; и оттого вечно в его душе — тревога, предчувствие катастрофы, ужас. Но в этой зыбкости и безнадежности человек призван сам сотворять твердь:

Мужайтесь, о други, боритесь прилежно,  
Хоть бой и неравен, борьба безнадежна!

Зачем же так, раз все равно пользы не будет? — спросит здравый смысл. — А затем, что «подвиг бесполезный» — все равно подвиг, и в нем: в превозмогании своего уныния и слабости, привычки на все глядеть из пользы — достоинство личности, и искра Божьего образа в человеке именно так: из свободы — действует.

Но и это лишь одна из возможных мыслей-решений, а у Тютчева их на всякий счет минимум — две. Даже и в этом стихотворении: два голоса в себе же слышит и два разных повеления:

Пускай олимпийцы завистливым оком  
Глядят на борьбу непреклонных сердец.  
Кто, ратая, пал, побежденный лишь Роком,  
Тот вырвал из рук их победный венец.

Больно гладко и уютно сложился мир по Пушкину. Этот же — снова чувствует во всем бездну и смуту, угрозу и трагедию. И именно подл День и Свет (то, что божества для Пушкина: Свет, Солнце): День — «сей блистательный покров» над катастрофой Бытия, в Ночи же истина трагедии слышнее. И потому дух, взыскующий правды, к ней повернут: «О, ночь, ночь, где твои покровы, Твой тихий сумрак и роса!..» Ночь — мир души, Психеи, тогда как день — мир материи и вещества, шум и скрежет общественной борьбы и политики. Заглушает, перекашивает прямой, интимный выход души — на истинное бытие.

Потому «Бессонница» ему дорога: тогда слышит «глухие времени стелания», испытывает сострадание к титанам и богам, к стихиям — ибо вся тварь вздыхает и томится. И человек такой = всечеловек: отзывает всему. Но если Пушкин веровал в Слово, то этот — и слову не верит, а лишь вдумывающемуся Молчанию:

Молчи, скрывайся и таи  
И чувства и мечты свои...

Это — раскольничье самосожжение русского Слова — и когда? В 1830 году, когда в самом зените-акме российское Слово-Творение (Пушкиным). Но Тютчев знает, что говорит, ибо смотрит глубже: взгляд Пушкина универсальнее и совершеннее, но Тютчев маниакально вперен в те аспекты Бытия — трагические, от которых светлый гений Пушкина инстинктивно отворачивается. Пушкин — «аполлоново», светлое, рациональное, мужское, небесно-дневное начало, а Тютчев — «дионисийское» (по терминологии Ницше): хтоническое, мистериально-женское. И потому — «Умом Россию не понять...» Ибо Россия — как раз Космос Хаоса: вся в непонятностях и разрывах постепенности и последовательности. А именно на сомкнутой реальности: в освоенной природе и построенной цивилизации привычен действовать западный ум и рационалистическая логика, которые примерили к нам модель западной цивилизации и истории. И потому для Тютчева построения Чаадаева — это детский лепет: общественная история — это поверхностная пленка на Бытии, где «Хаос шевелится» и роится жизнь Личности во глубине души: ее внутренние сюжеты, трагедия и любовь...

Чаадаев рисовал свою историософию — без хозяина: Русского Космоса. Сначала надо КОСМОСОФИЮ начертать, а ее функцией уже будет и историософия: назначение, цели и пути движения общества, цивилизации и культуры. Так каков же русский Космос?

Здесь, где так вяло свод небесный  
На землю тошную глядит,—  
Здесь, погрузившись в сон железный,  
Усталая природа спит...

Будто оскорбительно так прописано. Но вот иное слово, им же произнесенное, — золотое слово, со следами смешанное:

Ущерб, изнеможенье — и на всем  
Та крохотная улыбка увяданья,  
Что в существе разумном мы зовем  
Божественной стыдливостью страданья.

То, что есть слабость страсти и жизненной силы, — тем чутче душу делает, что застенчива, не ищет своего, знает Любовь — Агапе, а не Любовь — Эрос.

Во всех мифологиях Небо (Уран) — Муж Земли (Геи), и между ними страстный Эрос: притяжение и вцепление в любовном объятии, чего плод — жизнь и энергия народа, труда и истории. А тут? Вялость, сон, недвижность, доистория: Время будто не начиналось и не имеет власти. Какая же нелепость прилагать к сему аршин западноевропейских эпох: античность, средневековье, Ренессанс, Новое время и формации, как и П. Чаадаев, потом И. Киреевский (вначале) и послушные гегелисты стали прикладывать и выводы насчет путей России строить!..

А еще и «Бесконечный простор», а в нем — «как точки, как значки», пунктиром рассеяны «невысокие твои города» (гоголевская картина русского Космоса). Значит, в России Пространство — колоссальное, а Время — будто еще и не начиналось. Или, во всяком случае, и ему должна быть дана богатырски-замедленная, а не суетливо-семенящая мера — шажки западноевропейской истории... Их сто лет = наша одна минута. А мы все — нервически торопимся, ускоряем подверстаться...

Да, но и понять человека на Руси можно: у него-то срок отмерен, и живет он столько же: 50, 70, ну — 100 лет, что и человек Запада, так что ему на осмысление личностного бытия и его проблем подходит логи-

ка и язык, выработанный уже вперед ушедшими цивилизациями Европы и Азии (религии и философии Индии и Китая). А Россия-матушка да еще в браке с Кашеем Бессмертным (Дедом Морозом) может не торопиться, ждать, пока медленно, в свой срок и постепенно нальются в ней соки на органическое развитие.

И вот отсюда-то и трагедия и ужас для личности: любовь к Родине — и императив себя полностью реализовать за срок жизни (= познать смысл бытия вообще, построить жизнь в свободе и счастье, в истине и по совести) приходят в кричащий, даже вопиющий, конфликт, из-за разномерности тактов и ритмов.

А еще если учесть, что, наряду с женской ипостасью русского Космоса: Россией, Родиной, Мать-сырой землей, — на ней еще и коллектив На-рода и привычка быть и мыслить от «мы», а не «я» — задавливают жизненную волю и энергию личности, то трагизм мироощущения на Руси, выраженный Тютчевым, нам еще неразрешимее предстанет. То-то русские сверхличности творческие: Тютчев, Гоголь, Достоевский, Тургенев — любили любить Россию из «прекрасного далека», живя себе-поживая в Мюнхене, в Риме, Дрездене, в Париже, — и там так славно им творилось: бытом-телом наслаждаясь динамичной жизнью западной цивилизации, а умом-зрением мечтательно уносясь в русские просторы и сыри, в ее кроткую серость и дожди, которые находящегося там, вблизи ее, быстрехонько пригнетали к обломовскому дивану да к жару водочки., как Аполлона Григорьева, да Мусоргского, да не счесть... А Тютчев дня не мог выдержать в своем имении в Овстуге, где нынче его дом-музей...

Итак, колоссальна разность потенциалов и ритмов и мер — между утонченным дворянско-западным индивидом (как Чаадаев, Тютчев...), бесконечностью их души и творче-

ского духа — и телом России, ее пространством, в прострации лежащим. Эту пропасть позднее точно выразил Некрасов:

В столицах шум, гремят витии,  
Кипит словесная война,  
А там, во глубине России—  
Там вековая тишина...

Это и к нынешнему времени и ситуации «перестройки» полностью относимо: тут голоса, а там — выжидают и дремлют Дремлюги... и медведи, в берлогах обломовских — обкомовских окопавшись и рога больно ретивым молодым да ранним обламывая...

Но и — парадокс, а и истина! — они максимально соответствуют друг другу: бесконечно-тонкий русский дух-интеллект, такой, как Пушкин (Гоголь сказал, что таков будет русский человек в его развитии через 200 лет! Ничего подобного: именно тогда и был столь могущ и универсален русский человек, а «200 лет» — это просто способ выразить метафорой Времени плотность его душевно-духовного «вещества»), М. Лермонтов, Ф. Тютчев, А. Герцен, В. Белинский, Ф. Достоевский и т. д., — и «вся громадно-несущаяся» Русь. Оттого меж ними такая любовь-ненависть, страсть и ужас. Они взаимно ориентированы, вперены и адекватны. То-то и дивился всегда Запад чуду «славянской души»: невдомой им и непонятно откуда взявшейся из «варварской» сей страны, потрясающей напряженностью исканий ума, глубиной духа и тонкостью — русской женщины в том числе. Тут — как индукция, взаимное навевание сути и смысла на расстоянии, а не притертость, как это привычно на Западе — по логике тождества: универсальный Гёте может себе жить в тысячелетне-культурно-цивилизованном маленьком Веймаре, и вполне уютно себя тут чуют и мощно-европейски-всемирно творить, вертикально-спокойно сидя.

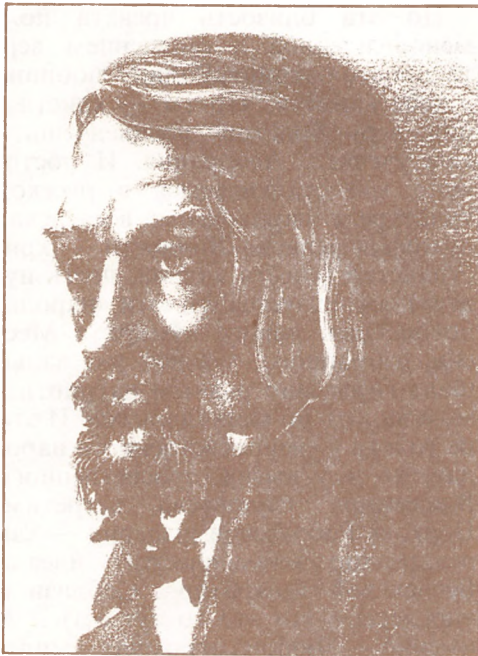
А русские — будто все стронутые, путники: Гоголь лишь в дороге себя

«на месте» ощущал; все стремятся куда-то: в столицу, «В Москву, в Москву!» (как три сестры чеховские), — но лишь бы не дать себя засосать энтропии мещанско-болотного, сыроземного места, где сидишь. В путь! «От самой от себя у-бе-гу!».

Россия постепенно прорисовывается как религиозный объект и сущность, равномошная христианскому Богу (Троице, Богородице, Софии...). Это уже у Лермонтова («Родина»), у Тютчева («В Россию можно только верить»), у «славянофилов», у Гоголя, у Достоевского, Вл. Соловьева, Блока и т. д. Она действительно, по своей уму непостижимой Бесконечности и трогательности, Величию — и немощи («Ты и могучая, ты и бессильная». — Некрасов), есть плоть Любви, «Тело Христово»; а снег — Покров Богородицы Пречистой: «Край родной долготерпенья, Край ты русского народа!.. Удрученный ношей крестной, Всю тебя, земля родная, В рабском виде Царь Небесный Исходил, благословляя». И недаром народ земледельцев здесь означил себя как «крестьянство» = «христианство».

Но эта близость чревата подменной идеалов и смешением вер: ты просто патриот, Родину любишь, а тебе кажется, что ты — христианин, веру Христову исповедуешь и Его учение... Аберрация. И постоянно мы сталкиваемся в русской культуре с парадоксом: вселенская духовная религия Личности — христианство («несть эллина, несть иудея») локализуется в плоти «народа-богоносца», нового кумира и Мессии, избранного, — и вот уже задышала горячечно рьяным патриотизмом вплоть до национализма. И это не только у «непросветленного народа», но и у выше просветленного Владимира Соловьева встретим: Церковь Российской империи — как реализатор экуменического идеала Вселенской Теократии... Соблазн и «прелесть». Но что-то тут есть... А именно — Любовь огромная, умиление щемящее. А ведь «Бог есть Любовь». И кто знает это чувство — «знает Бога» — хотел сказать; но нет: «*может* знать Бога», имеет к Нему подступ...





## Хомяков

И вдруг перед нами человек, который никуда не стремился, а вполне спокойно и самодостаточно препровождал всю свою жизнь, то в усадьбе в деревне, то в Москве — и притом не лениво-обломовски, а превосходно-деятельно: во всех сферах — его любознание и изобретательность. «Хомяков защищает Православие и посылает на лондонскую выставку изобретенную им паровую машину, — так писали о его универсальности. — Хомяков опровергает Гегелево построение Вселенной, доказывает материалистам немыслимость самообразующегося вещества и в то же время заказывает какие-то выдуманные им штуцера; Хомяков проводит мысль о своеобразной будущности славянского мира, и России в особенности, он же высказывает новые способы лечения

от холеры». Спокойный семьянин — в отличие от бессемейного Чаадаева или многодетного, но рвано-нервного в этом отношении Тютчева; уверенно его существование, как хозяина на своей земле, а не приемыша, странника или беглеца. А все потому, что иной вектор сквозь него пророс: вертикаль древа из Матери-сырой земли — и в прямом сообщении с Небом Абсолюта, который оттого и Абсолют, что не лучше он и не больше на Западе или в Китае, в Ренессансе или при Перикле, а в любом месте и времени равно мощно «дышет, где хочет», и прямо соотносится с тобой, человеком, и весь дан и реализуем в твоём опыте и за твою жизнь. Так что тут, словами Софьи Чацкому говоря: «если любит кто кого, зачем ума искать и ездить так далеко?» Сам твори — и даже радуйся чистоте незамусоренной еще чуждыми опытами и трудами и понятиями страны, целомудренной еще! В этом смысле Хомяков сродни своему «предшественнику» Андрею Тимофеевичу Болотову, деятельному, умному русскому «помещику», кто образцовое аграрное хозяйство создал, и о Боге, и по всем наукам писал, и детей сам учил-воспитывал, и так в радости и творчестве прожил 95 лет, благословенный. И не было ему «и скучно и грустно», и не билась его «вещая душа» «на пороге как бы двойного бытия», но целено и единым мир и себя ощущал.

Если Чаадаев страдал, что История и ее шествие не коснулись Руси, а Пушкин и Погодин показывали, что коснулись, и знаменито, или что у нас свои истории, — то эти как бы: и слава Богу, что не коснулись! История ведь — относительность и временность. А мы в Вечности обитаем и к Абсолюту более причастны, непосредственно прикосновенны, а не через посредство политических учреждений (как в католицизме и романских странах), или через убогие выкладки узкого рассудка

(как пыжится с Бытием соединиться умно-ученый индивид в германско-протестантских странах). Хомяков вступает с ними в полемику, впервые вводя в обиход русской мысли и литературы православие — не как внешне-обрядовое учреждение, а как живой Дух, строй жизни и питание уму и душе, по крайней мере равномогущее Шеллингу и Гегелю, на уровне их систем сумев истолковать святоотеческие писания, так что впервые стыдно стало русским интеллигентам, что на таком духовном богатстве сидят и не догадались его открыть и проникнуть — и именно лично и свободно. Ничего общего не имеет такой подход с официальной тогда доктриной: «православие, самодержавие, народность». Хомяков, с их точки зрения, как самочинный православный, был опасен и еретик и не издавался при жизни...

В Хомякове поражала среди общей нервности и расхристанности — ровность и радостная бодрость духа. Его жизнь была ритмизована тем, что прислонена к годичному календарному циклу Церкви. А в России, среди бесконечного аморфного Пространства, в зияниях и разрывах ткани Общества на ней, а также с неначавшимся иль сбивчивым Временем истории, которое все в рывках и сбоях, остановках, — среди всего этого «шевелившегося Хаоса» календарь духовно-природной последовательности событий и в Космосе, и в Храме (весна — Пасха; огурцы сажать — на Троицу; «яблочный Спас», «медовый Спас», посты, Покров и т.д.) предлагал человеку резонанс и гармонию: привести свою жизнь в лад с Природой и Богом.

Открыл почитать некогда любимого Герцена — про «славянофилов» в «Былом и думах» — и удивился в себе новому слуху на его текст: какое-то бряцание суетливое горизонтально-площадными политическими шпагами и поспешливое суждение. «Не наши. Славянофилы

и панславизм.— Хомяков, Киреевские, К. Аксаков.— П. Я. Чаадаев». Даже удивился я: вроде бы «западник», значит, принцип Личности и индивидуального мирозерцания бы должен допускать, а не нет — группирует: в «мы» и «не мы». И в нем — воля русского Логоса: мыслить не от «я», как Запад, а от «мы»: сам мыслящий субъект представляется как артель и собор. А перед этим глава: «Наши. Московский круг...» — свою партию образует...

У Хомякова тоже свой «круг»: Церковь (от лат. *circus* — «круг», откуда и «цикл», и «цирк»). Им так видится: Истина и Любовь разлиты по Бытию и «конденсируются», воплощаются в совершенную фигуру-шар, что символизирует «тело Бога-Слова», — и нисходит к нам, человеку. Человек, кто любит Истину, ее взыскав, адресует свою душу на это возвышенное поле всеценностей, одолевая земное тяготение Матери-сырой земли и ее энтропию уныния и сырости и вялости, и грехов — в усилении вздымает, взнуздывает себя. Вера и есть просто слух, как у музыканта, обостренный. У кого он есть — для того есть сверхмерная и сверхмирная реальность, «обличение вещей невидимых»: там, где для человека, кому медведь на ухо наступил, все глухо и слепо, для имеющего уши слышать, а очи души — видеть, явлена разнообразно звучащая симфония и град духа. Хомякова Бердяев назвал «рыцарем церкви». Да, он — как пушкинский «рыцарь бедный»: «имел одно виденье, Непостижное уму, и глубоко впечатление в сердце врезалось ему». Идеальная, небесная Церковь виделась им как вечный собор людей доброй воли, живых, умерших и еще не рожденных, — и представлялась как патриархально-любовная община-родня: большое «святое семейство». Тут не нужны юридические «права» (ибо во истине и любви обитают), что требуются у же



обособленному индивиду, чтобы огрызаться в отчужденном мире, каковой установился на Западе — с Рима, и чего, слава Богу, нет еще на Руси. Ее церковь, согласно Хомякову, православие наиболее сохранило облик евангельского любящего христианства, тогда как католицизм его огосударствил, а протестантизм нарек на множество самогордых и холодных, безлюбных и шибко умных индивидов. Так Запад потерял теплоту веры в Бога Живаго и заменил ее на мирскую власть и рационалистические счеты и суды.

Правда, как справедливо заметил впоследствии Вл. Соловьев, критикуя западные варианты христианства (папизм и лютеранство), Хомяков был по их реальной нынешней практике, а, вознося православие, имел в виду его идеал, а не реальную практику русской церкви, служанки царизма. Недаром его богословствования встретили резкое осуждение церкви и правительства, тексты его были под запретом, и издавался он на Западе. Лишь после смерти, в конце XIX века, он был допущен к изданию с оговоркою: «Неопределенность и неточность встречающихся... некоторых выражений произошли от неполучения автором специально-богословского образования».

Да, Хомяков, как Кулибин и Циолковский, — гениальный самоучка в культуре. И таковы все истинные творцы в Духе России: и Федоров «без базового философского образования», и Римский-Корсаков — все самочинно в ином творят, а не в чем были обучены, — не по профессии, в какой были Государственным Университетом и системой планового образования вышколены. И на писателя тогда не выучивали, так что и Достоевский и Толстой без диплома-разрешения на писателя, выданного в Литературном Институте, бесчинствовали в литературе.

А была тонкая политика Уварова, министра просвещения при Нико-

лае, огосударствить всю систему просвещения: чтобы всякий, кто хочет получить образование и развить ум и культуру, нигде бы этого иначе не мог сделать, как в сети университетов и гимназий, которые все — под контролем власти, по ее программам и на ее штате и коште: чтоб не было частных гимназий и внегосударственных университетов...

Пушкин как раз за отделенное от государства Просвещение (наподобие отделения церкви от государства) ратовал: чтобы мог развиваться независимый ум и гражданин, а не лишь просвещенный чиновник. Также и Иван Аксаков: чтоб Общество, а не Государство занималось образованием...

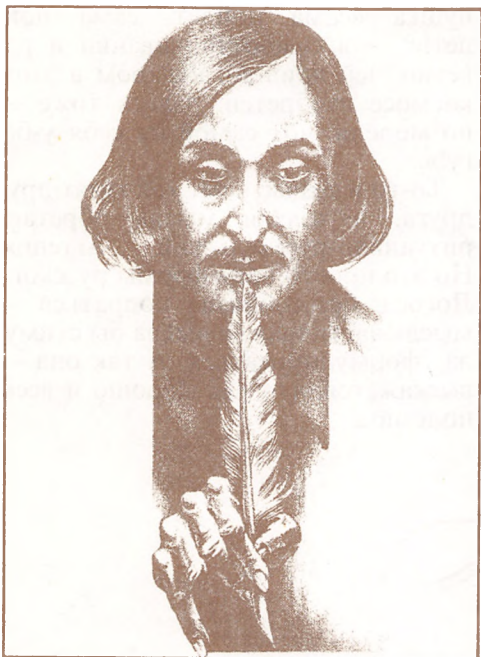
У Хомякова вполне проступает особенность русского Логоса, типа мышления: его полемичность и критичность. Свои философско-богословские идеи он развил в остром обличении западной историософии, католицизма и протестантизма. Если нужно Духу России что-то прямо положительное сказать, он это выскажет — в поэзии, в музыке, в форме образа. А так себе — живет человек подлинно и истинно в счастье и совести, покойно и даже вяло; исполняет жизнь и не нуждается формулировать свое понятие. Нужда возникает — от столкновения по соседству с соседом и его умом (с тем, кто немец = «не мы» и «немой», по-нашему, в частности). Тогда из вертикали просто гармонического существования человек выходит на плоскость-площадь города и салона и печати — и там его слово начинается с некоторой задетости чужим словом: сперва оно говорится, ставится под сомнение через вопрос — и далее уж откупоривается своя мысль и слово. Так что если западная, аристотелева логика имеет формулу «это есть то-то» («Жучка есть собака»), то формула русской логики: «Не то, а... что?» — и тут уж ищется свое сло-

во и уходит в бесконечный поиск и даль. «Нет, я не Байрон, я другой»; «Не то, что мните вы, природа»; не Наполеон, а Кутузов — пафос «Войны и мира» и т.п. Так что у русского течения даже художественной мысли есть явное четкое начало (в отвержении некоего тезиса-жертвы), есть развитие, но нет конца — как не закончены и «Евгений Онегин», и «Мертвые души», и «Братья Карамазовы» и т.д. Словно русскому человеку, чтоб преодолеть тягу Матери-сырой земли, надо разгорячиться во гневе, разозлиться (как на работу) — и тогда и мысль и дуби-

нушка «сама пойдет, сама пойдет!» — в самоотталкивании и ракетно, чей принцип недаром в этом космосе изобретен: ракета тоже — по модели: «от самой от себя у-бе-гу!».

То-то и сейчас у нас так тузят друг друга, и всякая мысль обретает ритуально-ругательский оттенок. Но это просто воля формы русского Логоса: без соблазна подрасться — мысль частичная не имела бы стимула сформулироваться. А так она — выскажется, что уже хорошо и всем полезно.





## Гоголь

Страшноватенько приступать — вглядываться в его дело, мысль и образ, как в портрет страшного старика в его «Портрете» или в веки Вия: вдруг раскроет — и не вынесешь того лицемерия бездны форм мира и мерзости грехов своих (ибо взгляд Вия-Гоголя — и наружу, и в душу). Подобно этому в индийской философской поэме «Бхагавадгита» человеку на миг является «тысячеликая форма Брахмо»: Бытие предстает собственной персоной в бесконечности своих «п-измерений» — разом, а не постепенно, как привык справляться с многообразием и сложностью бытия наш рассудок: упрощая и вытягивая в линию по частям, одно за другим, и добываясь своей глупой «однозначности» — глупой именно, коли сопоставишь ее со страшно великой Истиной. И вот

Гоголь именно таковое лицемерие и волшебную палочку своего пера вывел из невидали нам в сожители. Ну да: во-первых, он населил Россию: Ноздрев, Плюшкин, Хлестаков, Шпонька, Тарас Бульба, Чичиков, «Дама приятная во всех отношениях», «Неуважай-корыто», «Русь-тройка», Акакий Акакиевич... — да как же это могли существовать люди, всего этого не зная и без них обходясь в самопонимании? Да: он дал, подобно Пушкину, новый набор архетипов, мифов, основных образов-понятий, новый пласт боготворения — и вот уже русский Пантеон построен. Если (повторяю) греки говорили, что Гомер и Гесиод дали им их богов, то у нас Пушкин — Гомер, а Гоголь — Гесиод: никто далее не сравнится с ними в этом деле национального мифотворчества. Причем, если Пушкин создал Мир, то Гоголь сотворил Антимир.

Но какую силою вывел эту вереницу из тьмы Гоголь? Если Пушкин, наш Бог-Слово, — силой света и разума, Сын Божий, и прямо-честно глядит всем в глаза, то у Гоголя взор — ускользящий: прячет то, что у него за душой. О, совсем не простодушен его гений: не Моцарт, а Сальери скорее. Да: отринул от себя всю жизнь с ее простыми человеческими радостями, лишь бы достичь высшего совершенства в искусстве: не знал ни любви, ни семьи; даже женщину, похоже, не познал ни разу за жизнь (иль, может, с панельной раз случился — и ужаснулся, и в страхе бежал: то-то такими неисповедимыми выступают женские образы в его вереницах). Экономил энергию на творчество: как Плюшкин, каждое лыко иль разговорец в строку клал-использовал, так что Пушкин, подаривший ему два великих сюжета: и «Ревизор», и «Мертвые души», — посетовал как-то: «этот хохол меня обирает, что и кричать нельзя!».

Но и понять можно: как же с малыми силами смертного человека (а

он был болезнен и немощен) справиться с тем вулканом творчества, что из него напирал, а еще пуще с тем чуемым в себе призванием великим: озарить Россию и разом так ее своими произведениями умудрить, что все прочтут, поймут — и воцарится тут земной рай? Нет, на то человеческих сил — неостанет. И если Пушкин призывал, в союзе был с музой, то какова муза Гоголя?.. Как задумаешься,— она, скорее, та дева, что ведьмой оборачивается (как Панночка в «Майской ночи», или сотникова дочка покойница<sup>1</sup> в «Вие»): да, с нечистою силою связался сей гений — ради сверхтворчества. То-то и перекошен, кособок (как нос его и сама его фигура согбенная) вышел мир из-под его видений: сатира! Гоголь — отец сатирического направления в русской литературе: когда не прямо-любовно-простодушно в комизме, но похихатывая смотрим на вещи и характеры, подозревая в них иль затая в себе некое хамство: зло, ложь, гнусь, гротеск... Будто отмстила им окраина России (поляк он отчасти и украинец) за присоединение и обращение себя в Малороссию...

Но кто же, как не он, с такою силою внес Гуманность? «Зачем вы меня обижаете?» — голос бессловесной тварины, «маленького человека» звучит через него в нашем сердце. «Все мы вышли из «Шинели», — приписывается Достоевскому. И как к Красоте и ко Благу зывало его слово, тогда как нутрь его, похоже, корчилась в адских муках: ужас греховных помыслов во глубине своей — сей клубок змей — нося и сиясь справиться!.. Да, вступил он, можно думать, как Фауст, в торг с нечистой силой: тот — ради всепознания, этот — ради всетворчества. Но если немец просто пользовался даром безо всяких угрызений, то этот всю

жизнь чувствовал себя распинаямым — жжение нечистой совести и казнение, что совершенно одолело его под конец жизни и ввергло в принародное покаяние в «Выбранных местах из переписки с друзьями»...

— Значит, такой он плохой, скверный человек, раз такие пытки от совести испытывал?

— Нет, слишком чуткий и хрупкий, а не толстокожий, как мы. Мера угрызений совести — не в величине преступлений, а в чуткости души. Потому-то известно и дивно, что святые прославленные — себя самыми большими грешниками считают... «Но дай мне зреть мой, о Боже, прегрешенья, Да брат мой от меня не примет униженья», — повторял Пушкин великопостную молитву Ефрема Сирина. Это великий дар: видеть свои грехи, а не разглядывать сучок в глазу ближнего.

В Гоголе — покаяние художника: эстетический аморализм ему открывался: ведь в искусстве «ради красного словца не пожалеешь родного отца» — и не только, но все готов сделать предметом игры и смеха — все святыни: волочет на это, тянет руку вдохновение демоническое таланта...

Эту же потом проблему Лев Толстой расслышал — и отрекся от художественного творчества, этику превыше эстетики поставил.

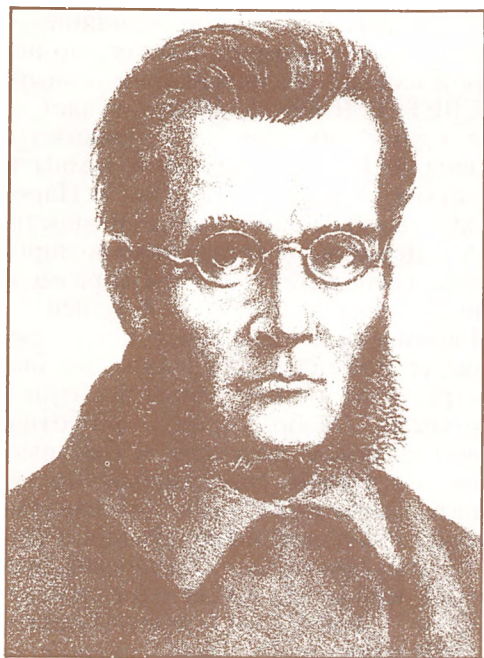
А у нас, в XX веке, — много смеховых авторов. Но более всего — хохмачества, смеха, отделенного от метафизики слез, от сознания греха смеха. Даже у Булгакова — недаром отделенны в романе линии: смеховая, с Воландом-Сатаною во главе, и слезная, с Иешуа. Андрей же Платонов в «Чевенгуре» и «Котловане» высший синтез слезного юмора — осуществил, что даже Гоголю не всегда удавался. И в самом деле: сии маниакально поучающие и преобразующие наивняки: Копенкин да Чепурной, что на всё предписания дают, постановления выносят, — напо-

<sup>1</sup> Не переключка ли inferнальная с воскрешением дочери начальника в Евангелии от Матфея, гл. 9?



минают Гоголя «Выбранных мест» с тельствование, что и в Петре, и у  
его педантизмом правил всем и нас: взять власть и сверху мудрое  
предписаний - резолюций - установок: предписывать — и все в порядке. Ну  
как кому поступать и мыслить. Тут и самоуверенность: что я — мудрое  
в Гоголе та же вера в законода- постиг и имею право...





## Киреевский

Киреевский — еще одно великое усилие и труд русского ума: понять ход истории, место в нем России и чем жить человеку, пока ничего не понятно? «Девятнадцатый век» — его первая статья-манифест и надолго уже и последняя, ибо закрыли тут же основанный им журнал «Европеец» за нее. Ум, выпестованный на последовательности западноевропейского развития: античность, христианство и церковь, государство и просвещение, — пытается приложить эту схему к России и синхронизировать часы. Очевидно, что Россия не укладывается в эти схемы. И что это? Варварство ли ее (как сначала полагал Чаадаев), или особая сущность, что призвана сказать свое новое, пока не понятное слово в шествию мирового Духа?.. И чем питается сущность России? Заветом вос-

точного христианства, что слепок — с первоначального, и тут в чистом виде сохранено? Но ведь и европейская история развила ценности цивилизации и культуры, и Петр I начал смычку миров — благодетельна ли она, или погубительна? Может, и не надо России бежать вприпрыжку, задыхаясь (ибо огромна страна) и не поспевая, за молодыми да ранними цивилизациями Европы, а тихо вслушаться в свою суть и из нее путь особый вывести?..

Это я уже досказал идеи, к каким Киреевский придет позднее, за тридцать лет своего духовного труда, который никак не мог прорваться на поверхность общественного сознания, ибо все три раза (в 1831, 1845 и 1852 гг.), когда он со статьями-идеями вылезал в печать, ему давали по рогам: не возникай! Не высывайся! Из-за его статей закрывали журналы, так что он, человек с темпераментом просветителя и философского публициста, был загнан в личную глубину, тишину и вертикаль: там, в тютчевской «душевной глубине», растить чистые и абсолютные думы. «Что делать! Будем мыслить в молчании и оставим литературное поприще Полевым и Булгариным», — свой путь выбрал подобный ему Баратынский. Так что вопрос, который Киреевский себе в начале пути задавал: «И может ли один человек образовать себе жизнь особую посреди общества, образованного иначе? Нет, в жизни внутренней, духовной, одинокой будет он искать дополнения жизни внешней и действительной», — сама судьба его в эпоху николаевского застоя разрешила утвердительно: да, человек и может, и даже должен проложить свой путь-траекторию в бытии по истине, по совести и счастливо (по возможности), независимо от того, в какую эпоху попался, его угрозило. Ведь общество и его уровень ценностей — лишь одна из многих составляющих, что образуют содержание жизни человека. Если в

Социуме смрад и неподвижность, человек обращается в семью, любовь, мысль, в культуру, в природу, в труд, в хозяйство — и там добывает существенные, независимые от политических веяний ценности бытия. Создать свой очаг и ковчег спасения, особенно если жена — друг, как у Киреевского: была духовной дочерью Серафима Саровского, русского святого, скончавшегося в 1833 году,— современник Пушкина был, а кто знал?.. Благо материальная независимость помещика давала возможность удалиться в свою усадьбу и не видеть сатрапов, не сталкиваться с ними повседневно на службе из-за куска хлеба и не слышать их гулявый глагол на собраниях-заседаниях, по радио и телевизору.

И это — супервопрос в России: может или не может человек быть свободным от шагания «в ногу со временем»? Но еще вспомним: Толстой, Пастернак, Бахтин, Пришвин, Любищев — каждый сотворил свое пространство-время и в нем обитал в расхождении с текущим... Более того: сама Россия и ее поступь никогда не совпадали с шагом-темпом, предписанным ей сверху: Петровым ли государством или прочим «догнать и перегнать!» — но выламывалась из этой сбруи и плохо впрягалась, как, впрочем, и в понятия русских интеллигентов-историков и философов, что прочерчивали ей в основном западные схемы и логику миропонимания. И даже Иван Васильевич Киреевский в этом отчасти повинен. В нем был слух на Историю и Культуру, но не было в нем слуха на Природу России, на Русский Космос, что слышали художественные натуры: Пушкин, Тютчев, Гоголь. Ведь кто есть «субстанция-субъект» — живое тело и душа истории, творящейся в Космосе страны России? Это, во-первых, Мать-сыра земля, слабо, спорадически заселенная, так что уже темп столиц и провинции — не в ногу, а между ними — какофония.

Во-вторых, на Русской Женщине — два мужика: На-род, Сын ее, ею народженный, вольный, разгульный, СВЕТЕР (Свет + Ветер) гуляет,— и пришелец: варяг, Государство с Запада. Вот и у них свои темпы и ритмы — шаги во времени. У Народа — вообще вневременно, Вечность. А у Державы, что включена в мировую геополитику,— своя соразмерность: между Европой и Азией — Евразия ведь Россия!— так что темпы ее помедленнее Европы, но быстрее Азии. А вот темпы понятий у русских любомудров, напротив, всегда самые полетные и быстрые: не отягченные собственным поступательным развитием, они схватывают сразу новейшие течения в Духе: вольтерьянство перенимает русский вельможа XVIII века, романтизм — столбовой боярин Пушкин, а Шеллинга и Гегеля — возлюбили разом все «партии» в русском духе с 20-х по 50-е годы XIX века. А потом — социализм в разных видах и т.д.

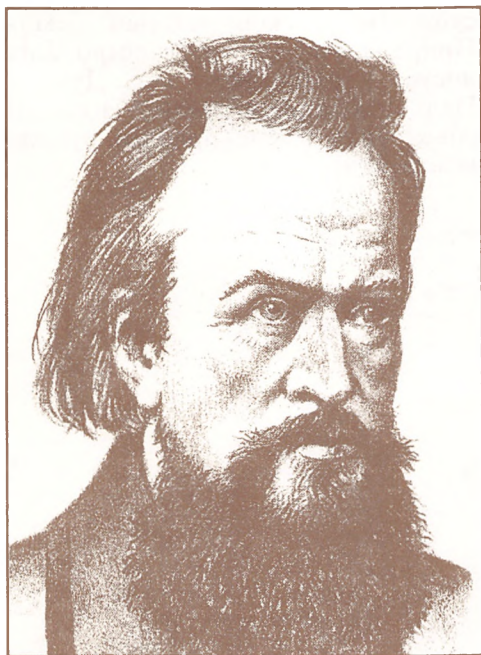
Вот и попробуй синхронизируй, отладь все это (Лебеда, Рака да Щуку) в гармонический шаг и резонанс! Хочешь не хочешь, а будут вой и скрежет, особенно если к чему-то убыстрять, силою друг ко другу пригнетать-прилаживать. А ты пишешь, Иван Васильевич, «Деятельный век», намордник европейского календаря надевая! Тут еще Кашеево царство дремлет, сказочное, доисторическое, которое, кстати, твой чудный брат, Петр Васильевич, знаменитый собиратель русских песен, хорошо ведал. И даже просвещеннейший граф Лев Толстой, комильфотно по-французски трéкающий, взирает на мир глазами христианина первого века нашей эры (так его понял Короленко), или глазами патриархального (а значит, доисторического) крестьянства — так его понял Ленин.

И вот русский мыслитель — в ситуации Гамлета: «мир вышел из пазов» (а, точнее, как раз никак не

войдет в присущие себе пазы), иль в другом переводе: «распалась связь времен, зачем же я ее восстановить рожден?» — и опять же: не «распалась», а только начинают впадать друг во друга разные струи-токи и

субъекты русской истории: Земля, Природа, Народ, Государство, Личность, Ум-Ноосфера тут, Дух... и Цель-призвание впереди... И все это совокупить в уме призван русский мыслитель сразу.





## Аполлон Григорьев

Ясно, что немислимых перенапряжений требует такая жизнедуховная работа: распялен русский мыслитель и поэт на этих горах (как Прометей), кресте (как Иисус) или, точнее, — не на твердых этих, а на пустотах - зияниях - пропастях, что своей жизнью и телом и умом каждый призван оплотнить в твердь и осмысленную суть. Именно — каждый, ибо нет линии преемственности (и слава Богу: еле намечена она — и оттого не подражательны, а самоначальные русские творцы в духе: каждый изображает-образует свою конфигурацию-модель мира, России, человека и образ мыслей). Это, конечно, страдательно: каждый на свой страх и риск самоначинай с азов снова-здоровя! — но зато и вдохновительно: простор и свобода,

нет подсказок-помех! И вот чудо-то: в стране, где держава насаждала единомыслие, сам собою сложился плюрализм миропониманий и многовариантность жизнепрхождений, модусов жизни и мысли, где все они в итоге и диалогичны, ориентированы друг на друга, «нераздельны», выстраиваемы в логичную последовательность, — но и спонтанны, независимы, личностны, «неслиянны». И так образуют воистину вольнотворческий Собор русского Духа, nestесненную общину. Как ни полемизировали они при жизни, во взаимно необходимые соразботники они выстраиваются: и «западники» и «славянофилы», Белинский и Аполлон Григорьев, Герцен и Хомяков и т.д.

При этом такая обнаруживается закономерность: русский мыслитель в начале пути «западник», а в конце — «славянофил». Молодой человек, кто «и жить торопится и чувствовать спешит», только выскочил на общественно-культурную поверхность Земли — и тут озирается: страны заморские влекут и прочие дива мысли и искусства. Но со временем мужает, тяжелеет, полюбляет место свое и дом и семью и «щей горшок да сам большой» — и наливается жизнью-дыханием почвы и обнаруживает красоту и мудрость Бытия прямо в быте, вблизи; а дух уже не по горизонтали устремляется шастать историческо-европейской, а по вертикали углубляется и вниз (в «преданья старины глубокой»), и вверх — в небо и дух, Ноосферой дышать, и сам туда воссылает свои думы — и так питается и питает субстанцию России. Такovy и Пушкин, и Чаадаев даже, и Гоголь, и Тютчев, и Киреевский, и Григорьев, и Достоевский и т.д. Вначале любят-облизываются на чужое, потом — любят и добывают свое: обнаруживают тут бесконечное сокровище и родник жизни — и духа, в том числе.

...Но я — о перенапряжении в сопряжении пластов и времен, о Гам-



лете и надрыве начал. Сему плоть — Аполлон Григорьев, кто сгорел, как и Гоголь, сорока двух лет, — горячее сердце, как Дмитрий Карамазов (но себя и Гамлетом понимал), весь в порывах горé и грехопадениях ниц, но с душою детской и щедрой, как и любимый его герой — Любим Торцов из пьесы Островского. И все-то неуклюже и невпопад. Как его наставник строгий Погодин, принимая в редакцию «Москвитянина», аттестовал: «Господин Григорьев — золотой сотрудник, борзописец, много хорошего везде скажет он, и с чувством, но не знает, ни где ему в... ни где молитву прочесть. Первое исполнит он всегда в переднем углу, а второе — под лестницею». Да с мелодраматизмом и аффектацией: чуть что — падает на колени. Не в очках человек (как Киреевский — профессорский вид).

Он — великий критик, равномошный Белинскому (но не так удачно попал «в струю» времени, как тот), и поэт чуткий (родня Фету и Некрасову, и Блоку), провел жизнь беспринужно-неприкаянную: то в Университете, в гостиных на философских спорах, в редакциях, — то в запое и разгуле, где кабак да цыгане и «О, говори хоть ты со мной, подруга семиструнная!» и «Две гитары... жалобно заньли» — это же он создатель сих романсов, наш первый «шансонье», как потом Окуджава и Высоцкий... «Вор» и «блатной», люмпен неприкаянный, деклассированный, что потом и Есенин и Шукшин, и наколка «не забуду мать родную!», миллионы выломанных в XX веке, — их он первоголос подал в русской культуре: тех, кто не вписался в социум и не может «служить», ибо душа их — «светер», и лучше жить 30 лет да питаться живою кровию, как Орел, а не 300 и питаться падалью, как Ворончиновник. И лучше самосжигание раскольничье жизни, но по своей воле, нежели умеренно-аккуратное житье-бытье раба...

Экзистенциальный тип, человек «абсурда» — так его поименуют в XX веке; но этой выломанностью из форм отчужденного существования (с навязанными человеку ролями-функциями) заявляет душа о своей причастности Абсолюту, высшему, а не временно-относительным мерам и идеям и ценностям. И потому — в песне душу изливает, как собака воеет на луну (есенинская потом...). И свою тоску не променяет на уют и подлое благополучие. Недаром ее, тоску русскую, возведет Достоевский затем в ранг философско-экзистенциальной категории. Если муза Пушкина — Солнце, золото, Тютчева — серебро, Месяц, ночь лунная в открытом космосе, то муза Григорьева — цыганка Стеша в кабаке ночном и дымном, где пропадать — так с музыкой! Артистизм высокий есть в этом нещадении живота безоглядном: лучше Ничто, но во взыскании Абсолюта, нежели «что-то», жалко-мизерное осуществление!.. И тут уж тот «секрет русской души», чему долго будет дивиться рационалистический Запад, когда настало миру время открыть для себя сокровищницу русской культуры.

Место живота Григорьева — Москва, Замоскворечье; отец — с Севера мужик, купец, мать — из крепостных. Новый слой социальный открыт для Духа и им, и Островским-драматургом, кого Григорьев наилучше понял: крепкий быт, и язык, и уклад, и нрав, и мир купечества; город провинциальный, и в нем — сила жизни и особый здравый смысл и язык русский; вот, оказывается, есть почва и такая на Руси, сложилась, а дворяне (Чадаевы да Киреевские), в усадьбах да в салонах живучи, — ее и проглядели...

В Петербурге, который город «регулярный», Григорьеву — скука; в Москве — тоска. Та жизнь — пуста, холодна, рассудочна (как у Онегина спервоначалу, пока не настрадался: в первой главе ему скука, в послед-

ней — тоска); эта — горька, страдание, но — и содержание жизни души: в ней воспоминания, любовь несбывшаяся и много чего... Кстати, у Григорьева в стихах и песнях мотив роковой личной любви-мечтания (а не реальности) — тоже нов и присущ именно внебытному поэту-«вору»...

Если для Белинского первоценность — История, для Киреевского — Истина, то для Григорьева — Жизнь. Потому он выдвинул идею «органической критики» вместо исторической: произведение есть организм саможизненный, а не только элемент-звено в историческом развитии общества. И человек каждый и жизнь его — самоценность. Ритм нетерпеливого сердца, внутренняя жизнь личности — вот самоначал и компас, с чем сверяться всему. И это уже подсказ и подступ — к Достоевскому. Исторический принцип мышления все выкладывает в затылок-колонну эпох, и будущее отвечает за то, имеет ли смысл настоящее? Но ведь человек-то и жизнь его протекают именно здесь и теперь и полностью самими по себе быть должны и истинны. По истории или по истине (мыслить, вести себя, ориентировать)? — так бы парадоксально я сформулировал. Например, мы сейчас, в 90-е годы, выходим — те, ради кого и революция, и гражданская война, и все десятки миллионов жертв за светлые идеалы; и нам, значит, платить по векселям их исторических мечтаний о будущем? А мы — уж не в тупике ли? Что же тогда? Обесмыслена тем самым их вся жизнь и жертвы? Нет, просто ложна их мысль и раскладка всего по исторической канве, а жизнь — не ложна.

Для исторического подхода зло в жизни и человеке за их скобки выносятся: «проклятое прошлое» в основном, а «будущее — светло и прекрасно» («завидуем внукам и правнукам!..»); настоящее же так процессно и рассматривается: «родимые

пятна» — выжигать, и «отсталые» удержания — путем критики. Зло — вне нас: «темное царство», а мы, критикующие, — хорошие и имеем право судить — других людей, классы, общество, власть. Так и Белинский, и Герцен, и Добролюбов глядели.

А вот Гоголь в «Выбранных местах» взглянул внутрь себя — и ужаснулся собой: там темное царство, внутри нас. Потому и прощающее к наружу устремлен его взгляд, а к себе — требовательнее: самоответствен всяк человек. Такова и «критика» Григорьева, в отличие от Добролюбова и Чернышевского: те *критикуют* именно, судят, тонко зрят сучок в глазу общества, в самих же ни грана покаяния; а ведь и Дневник Добролюбова являет, какие бесы в нем самом гнездились: и темное царство внутри нас есть!..

Вот это-то и слышал Григорьев, а потом и Достоевский и Толстой. И потому статьи Григорьева — это не «критика», а толкование всестороннее жизни и человека, и быта наличного на земле и во граде русском. «Почва» — им как ценность открыта: вертикаль, вниз направленная; разумность быта народного и «мещанско»-купеческого прозрел, ибо в нем вырос и чуял субстанцию низа России. Прежние «славянофилы» — не «почвенники»: Хомяков глядел в вертикаль вверх — в Небо; Киреевский из горизонтали истории перешел в Центр: в душу свою вглядываться и там, в духе и книге культуры, обретать опору. Аксаковы и Григорьев открыли низ России: те — село, разумность общины на земле; этот — живой уклад русского города; и Домострой — не в минусе лишь предстал, как «темное царство», а как именно «строй», т.е. лад и гармония особая и мудрость человеческих отношений. Вот какие источники Ума и ценности ввел в слово-мысль Аполлон Григорьев.



## Достоевский

Достоевский — это тот, кто пережил смерть (Голгофу) — и воскресение. Толстой под конец жизни только мечтал искусственно себе воскресение создать (и роман такой написал), но Достоевскому выпало посреди жизни это пройти — умереть в прежнем миропонимании (которое он и тогда довел до предела и высоты: фуэрриерстско-западное, атеистически-социалистическое, и гоголевски-гуманное — в «Бедных людях»): он по делу Петрашевского был выведен на Семеновский плац для казни — и *пострадал*, как никто; еще и на каторге в «Мертвом доме» в казни принудительной соборности (никогда человек тут не один!); и можно сказать, что все его последующее творчество — это уникальный в мире феномен: посмертного, воскресенного человека, спустившего-

ся к нам оттуда, откуда никто не приходил (над чем Гамлет еще задумывался), и вот он стал вещать то, что там узнал, и нам сообщать. Принес новый завет и скрижали — с того света. Потому все в нем — сверх: и человек, и требования его к себе и миру и любви. Потому священным трепетом нас овеивает при соприкосновении с его миром, и понятия его выражены с нечеловеческой энергией. Но не с демонической, а как благая весть: ибо Голгофу прошел, уподобление с Христом. Все прочие русские, даже христианские мыслители, умники, может, и более Достоевского ортодоксальные; но он передал «умение» христианского опыта жизни, сострадания и взгляда на все: и на мелкое и бытовое, и на историю, в том числе, и наши ценности руководящие и понятия. У него всему тотальный пересмотр, но не «критика», а — возуглубление и расширение наших мер и представлений и о «добре», и о «зле» — беру в кавычки, ибо то еще плоского уровня различения, а Достоевский копнул поглубже — в сторону, где уже не «добро» и «зло», а «святость» и «грех».

В итоге жизнепроехождения сквозь его «страсти по Теодору» им обретаена новая архимедова точка опоры, с которой переворачивать выработанные доселе и в Европе, и на Руси представления.

Во-первых, категорически заявлено: человек и его жизнь-путь есть Абсолютная ценность. Ни История, ни Общество, ни какое учение (социализм, например), ни Россия, ни Бог даже сам — не могут решать-выбирать за него, даже имея самые благие и разумные для человека идеи. Он — не объект приложения внешних ему сил и энергий, а все — в нем: и Христос, и бес. Потому на самую мощную и творческую брань обречен-призван Богом тем самым в сотворцы в духе. Свобода воли — первоначало. Даже если ты добр по натуре-характеру или живешь, как

положено обычаем и законом, по лени свободно выбирать добро и зло, — ты менее человек, чем тот, кто даже зло выбрал и преступление, но на свою ответственность — и потом поплатился и пострадал-покаялся (как Раскольников). В ответ непрощенным благодетелям, кто стремится человеку построить хрустальный дворец будущего счастья, герой Достоевского не хочет в ваш принудительный рай, а «лишь бы по своей по глупой воле пожить»: пусть и глупая, да своя — и тем мириадократ умнее чужой, хотя бы и умной.

Но эта обреченность человека на самоподвиг, равный Божьему, Христову, — делает его жизнь аренной страшно напряженных борений: в ней Бог с дьяволом дерутся, а поприще — душа человека. (Поприщин с такого поприща оставил нам «Записки сумасшедшего» Гоголя.) Потому готов скинуть бремя свободы — и покориться мудрому правлению Великого Инквизитора. Готов и на готовенькое решение броситься, как мальчики революционные в партию-мафию в «Бесах». О, невыносима свобода воли, когда человек блуждает в критериях, идеях и ценностях мира сего горизонтально-площадного, исторического. Единственно проясняется горизонт души, когда выходит на Любовь (которая не ищет своего и долго терпит) и на со-страдание, как князь Мышкин, и Алеша, и Соня... И тут компас — Христос. И потому: если бы так случилось, что Истина разошлась с Христом, герой Достоевского предпочел бы остаться с Христом, нежели с Истиной.

Все прочие русские мыслители и писатели экстенсивны рядом с Достоевским. Даже Пушкин: в нем всему — Мера, в Достоевском — сверхмерность и отрицание мер. Вот, например, Время. У Гоголя Русь — бесконечный простор, раскинулась в довременье как бы. Бесконечно большое Пространство-тело делает совершенно незначимой категорию

Времени. Когда же душа человека принимается за систему отсчета, то тут незначимо становится Пространство, зато гениально-чувствительно становится Время. Вон те пять минут, в какие человека везут на казнь (рассказ-размышление князя Мышкина) равномошны длительности целой жизни. И недавно Эйнштейн говорил, что ему чтение Достоевского дает больше, чем Гаусс: именно парадоксы относительности всех мер и понятий наших, в том числе и пространственно-временных, с моцартовской легкостью обнаруживает нашему уму Достоевский. Да: он, как и тот, занес нам сверху несколько «песен райских» и осиявающих все разом представлений, как и накануне припадка эпилепсии есть миг, когда все озаряется сверхмошно (как в видении Тысячеликой формы Брахмо), и, не вынося просветления, человек бьется головой, телом, будто самоказня их, слабые, не по мере великой души и духа и образа Божьего, в них заключенных...

Такая Личность — Гулливер среди лилипутов прежних наших понятий, в том числе и «западнических» и «славянофильских»: они все рвутся под шевелением его руки, взгляда и поведения. Каждый персонаж Достоевского — это не выделанная форма (образ-предмет, вещь), но автор целого миропонимания, сознания, субъект и голос: так его понял, Бахтин наиглубже в мир Достоевского проникнет. Роман и его сюжет — целая философама: мироздание в динамике. Все пути Истории мировой и судьбы России не только обсуживаются в предметах размышлений героев (а романы — как философские диалоги, сократические), но и прямо разыгрываются, как на картах, собором персонажей, прикидываются разные комбинации и пересочетания: диалектика мысли — в диалектике авантюрного, детективного даже сюжета.

У Достоевского нет России как

Природы наружной — то, что видели Пушкин и Тютчев и Гоголь: во стихиях и временах года лежащую белотелую Мать-сыру землю, как субъект волящий истории, что тут должна разыграться, и культуры, которой сложиться. Все это у него ввернуто — в женский характер, который есть движущая энергия действия его романов. Любовь правит миром, а Красота и мир спасет. Поэтому и тот умерший и воскресший герой-автор, мужской дух, что я прежде восписывал, — при всей его петушиной самости и свободоволии — только и норовит, как бы прислониться-приткнуться к Женской субстанции, к тому, что Гёте назвал «Вечно Женственным». Макар (= «блаженный», по-гречески; недаром такое имя уже у первого героя: значит, спасен и в раю был, и «дважды-рожденный») Девушкин в «Бедных людях» — весь к «Маточке» Варваре устремлен и только адресованностию на нее держится в этой жизни. Своеволем рассудка согрешивший Раскольников — Сонею спасен (Софиею = Премудростию Божией, чей храм первым в Руси Киевской еще воздвигнут, и что осознано будет Соловьевым в «Софийности» — как божественной субстанции, чуть ли не четвертой ипостаси, наряду с Отцом, Сыном и Святым Духом). Ну а в «Идиоте» и «Братьях Карамазовых» — целая диалектика женских образов и ориентированных на них мужских. Аглая — «блестящая» (эпитет из аристократического «света» и петровского дворянства: из мира Кесаря-государства, дочь генерала) — и Настасья («Анастасия» = «Воскресение», по-гречески: ею главная суть и опыт Достоевского выражены) Филипповна, как живая Душа России, ее Психея, из глубинки: там выросшая и в Питер сорванная, — тут она что ведьма-шаманка: всех вихрить и сбивать с панталыку «твердых» понятий и рассудка ли-

шать. Вокруг нее вьются все агенты русской истории: и разгульный Народ (Рогожин-демон; но он не адекватен ей, и лишь, в комплексе неполноценности, забить ее «своеволие» ножом в терем в силах); и Социум в двух вариантах: богач-вельможа Тоцкий и чиновник Ганя Иволгин = бессильное понять ее и овладеть ею Государство. И ангел Князь Мышкин, любовь в высях, платоническая; но и Христос — мельче Магдалины: бесплотным духом Агасфером-Демоном витать ему в пространствах, если не полюбить ее и так не укорениться в божественном бытии, его остров и твердь ткань Любви единственной меж личностью и личностью образуя самочинно...

И верно: при том, что на поверхности русской истории все пласты и действующие силы только и делают, что переворачиваются и только начинают укладываться (как и в 60-е годы XIX века, и не раз потом...), и все плывет, и в зияниях и вопросах и непонятностях: от чего и куда и что к чему? — что же остается абсолютно несомненным? А вот что у меня одна жизнь сроком в 50 плюс-минус лет, и я должен за нее все главное, что положено Человеку в его идее и идеале и понятии (что реализуется Человечеством за всю его Историю: процессно и экстенсивно, все время откладывая), постичь и осуществить. Эту же безотлагательность и Толстой в «Крейцеровой сонате» явит в рассуждении Позднышева: деторождение — шанс на потом: они все решат и все поймут и будут хороши и счастливы, а нам ради них можно и поблажку зла и греха себе позволить. Если же перестать рожать = закрыть эту отдушину слабости нашей воли, тогда все Бытие сосредоточится в сроке твоей жизни: и некуда деться (в детство детей), а уж будь добр, припертый, окончательно себя определить: к добру или к гибели...



## Данилевский

«Россия и Европа» — книга, что дала свой синтез всему с точки зрения Государства так же, как Достоевский — синтез с точки зрения Личности. Как бы распался к 60-м годам XIX века тот динамический сюжет меж деятелями русского бытия, что явил Пушкин в «Медном всаднике». Точку зрения Евгения развил до универсума, вобрав-поглотив и проблематику Кесаря, Достоевский (Раскольников = Наполеон, как до того и гоголевский Капитан Копейкин = Наполеон). А логику Петра-Государя и геополитический взгляд его на мир, на соотношение — равновесие сил-стран, а далее и на ценности Духа и культуры последовательно развил Данилевский, так что его книга — это политология и культурология: научное обоснование политики и дипло-

матии, приведенной в соответствие с сущностью России как особым культурно-историческим типом, наряду с Европой германо-романской, Грецией, Римом, Египтом, Китаем и т.д.

Тут сразу много нового. Во-первых, сам Данилевский являет новый «типикон» (по выражению Розанова) — образ жизни и мысли. Он — сын генерала, в детстве с отцом исколесил провинцию, а потом в качестве инспектора рыбного хозяйства России жил и в Астрахани, посещал Двину, Азовское и Черное моря, составил карту рыбохозяйства России, — т.е. чуть ли не прополз попластунски по Матери-сырой земле, своим телом ее ощутив почву; да еще и гордость России — рыбу (кстати, символ Христа в византийской традиции), русалку-водяную, стихию воды интимно возлюбил — и не просто лично, как любитель рыбалки, а научно: вместе с великим естествоиспытателем Бэром несколько лет работал в его экспедициях. Итак: ученый и государственный муж (дослужился до члена совета министра государственных имуществ, тайный советник), честную службу позитивно вершивший... До того русские поэты и мыслители — в оппозиции к власти, не хотят служить и живут как частные лица. Исключение — Жуковский, кто понимал обе стороны (воспитал Царя-Освободителя, Александра Второго). Хотя еще Гончаров-цензор, Никитенко... Вообще просвещенный чиновник, что буфером между деспотизмом Государства и максимализмом творцов культуры выступает, — необходимый персонаж русского бытия: блюдет трудную здесь «меру».

И еще черта: не по заказу власти писал «Россию и Европу» Данилевский, но как историк-дилетант, самоучка Кулибин: в свободное от инспекторства рыб в Черном и Азовском морях время, зимами в Мисхоре и в Мшатке, имении, что купил с



виноградниками, но обнаружил там филоксеру — страшную болезнь и искал ей упорно исцеление. Тот же тип русского универсала, как и Хомяков, и Толстой, и другие титаны русских эпох Возрождения и Просвещения, что пришлось у нас разом на Десятнадцатый век. Сидел у себя в провинции, никем не знаемый, а вершил судьбами государств: и Меттерниха, и Бисмарка обсуживал (как и Толстой из Ясной Поляны Наполеона поучал, стратег военный!), Восточный вопрос (здравую линию для русской дипломатии и военной политики начертал): все — моего ума дело! Тем более поразительно, что жесткий государственный взгляд, им проведенный в его историко-софском построении, свободоволен!.. Вот так бы и всегда: частному лицу уметь встать на точку зрения Державы, а вот Державе — на точку зрения частного лица!.. Встречно уступая... И он, говоривший с рыбами (как Франциск Ассизский птицам проповедовал) как бы от имени стихий Воды, некогда мятежной (в наводнении Невы), — кротко-ласково лижет Камень-город, парапет Аппарата.

Данилевский — дитя Крымской войны, в ней поражением России ушиблен, как и затем Толстой и Леонтьев: оттуда стартер их мысли к развитию. Недаром в Крыму, где живы следы и отзвуки, писал. Тоже заметим новое место творчества и рождения сверхидей на Руси: не Петербург, не Москва, не усадьба (Михайловское или Ясная Поляна) и не Кавказ=Крым как ссылка (как Пушкин-Лермонтов), а спокойное место службы; не нервен он там, не стремится в даль и в «побег в обитель нег», а позитивно существует семьянином и служащим и ученым, без разлада сих ипостасей и ума с сердцем (как в Чацком) или Духа с Природой (как в Тютчеве и Достоевском).

Значит, можно и в России гармонично наладиться и путь всем бла-

гой проложить, без бунта? Но тут еще и натура равномерная: не романтический тип (который преобладал доселе), что желает то с неба высших звезд, то на земле всех наслаждений (как Фауст), — и так соседствует со сверхчеловеческим, демоническим или божественным, их постигает и на них ориентирован, не цена «низменное мещанское прозябание». А вот Данилевский, как и купцы Островского и Григорьева, которые вырастут потом в меценатов Третьяковых и Мамонтовых, и даже Морозовых (что станут финансировать революцию против себя же), — толковый реалист и деятель, неутомимый шелкопряд ткани русской цивилизации. Но и то надо сказать, что пришло время: 60—80-е годы — наиболее разнообразно просторное поприще для всех самоначнаний: Государство поступилось частью своей власти — и в вакуум хлынули силы частных людей и деятельность самочинных объединений, корпораций, что образовали Общество и разнообразно расчлененную общественную жизнь, как третью силу («сословие» даже) — прокладку между Государством и Народом. Зыбка она в России: то Государство ее норовит съестподчинить («заорганизовать») и напрямую на Народ давит иль единится; то Народ сметает прослойку «интеллигентов» — вишь, личности! — не могут жить артельно, хором, на виду и «единодушно! Это я уже и мысли Ивана Аксакова захватываю: односитуационны они с Данилевским...

Итак, в Крымской войне Европа объединилась против России — и Данилевский начинает с вопроса: «Европа ли Россия?» Есть ли она элемент в системе держав Европы (кем доселе в основном она выступала, пригибаясь до меры Пруссии иль Франции), иль она равномошна всей Европе в целом, как ей противовес и баланс? Да, Россия самобытна, и у нее особый интерес. Недаром расте-

калась она полегоньку на Юг и Восток — в Среднюю Азию и на Кавказ; все более чувствуется Россия как «Евразия» (хотя этого слова Данилевский еще не произносит). А с другой стороны, — под патронаж России естественно склоняется славянство: чехи, болгары, сербы и др.; даже румыны, и венгры, и греки, и славяне в Австрии и Турции в эту же орбиту естественно включаются...

Это внешнее заявление России (и славянства), выступившей на арену мировой истории как некое политическое тело, предполагается обнаружением особой сущности, организма самобытной жизни, души и миропонимания. В чем их особенность — и ищет Данилевский описать-классифицировать как естествоиспытатель — некую особь, породу растения или животного: уточняет признаки и множество наблюдений важных высказывает. Если предыдущие мыслители о России работали религиозно-философским умозрением шеллинговско-гегелевского типа, видя шествие единой мировой истории, стадии мирового Духа и ища место там России, то Данилевский — ученый-позитивист, исходит из опытов и наблюдений, уважает частное изучаемое явление и полагает его независимую особность и самоопределение, как, впрочем, и Достоевский так полагал индивидуума, Личность... Так что просто другую Личность, большую, — целостность России как единство тела = природы, души = народа, характера русского человека и его головы: ума-языка и Государства-воли. И не надо укладывать Россию звеном в последовательный ряд истории (как и западники и славянофилы доселе стремились: искали, какое она свое слово скажет и вклад внесет для всех), но разбивает он историю из колонны — в шеренгу параллельных цивилизаций: каждая сама по себе, себя обслуживая самопонятно и со своей шкалой ценностей и смыслов, которые непереводимы на язык дру-

гого культурно-исторического типа — так же, как береза не может влиять на сосну, хотя сообщать нечто шелестом ветвей и тенью — может. Отдельные элементы — переносятся, но, попадая в иную структуру, обретают иной смысл.

Данилевский попытался именно умом Россию понять (в нарушение тютчевского запрета), и не оценимо его усилие в этом направлении. Чтобы это сделать, ему понадобилось на материале более полно проявивших себя в мировой истории стран развить свою теорию культурно-исторических типов, которых он насчитал доселе 10: египетский, китайский, ассиро-вавилоно-финикийский, халдейский или древне-семитический, индийский, иранский, еврейский, греческий, римский, новосемитический или аравийский, германо-романский или европейский. Теперь вот выступает русский (славянский) и возможно складыванье американского... Каждый тип проявляется в четырех сферах деятельности: религия, культура (наука, искусство, промышленность), политическая и социально-экономическая. У евреев акцент — на религии, у греков — на культуре, у европейцев — на науке; России и славянству предстоит равномерно развить все сферы и создать «четырёхосновную» культуру.

Теория Данилевского сродни последующим построениям Шпенглера и Тойнби, Льва Гумилева. В анализе он множество характерных особенностей точно отметил. Даже в типе логики и науки. Например, для мысли в Англии характерен принцип «борьбы»: у Гоббса борьба всех против всех — закон гражданского общества; у Адама Смита — конкуренция; у Дарвина и Спенсера — борьба за существование...

Итак, «Россия и Европа» — акт самопознания России путем научно-естествоиспытательским. Знамение, что достаточно уже отпочковалась Россия как целостная особь и разви-

ла признаки... Но тут же и немощь научного подхода в таких вопросах проявилась. Не хватает дыхания, улетучился дух живой — в построении Данилевского. Он (и научный метод вообще) описывает данность, факт, «удел», «предел» России, ее Судьбу. Но кроме Судьбы есть Свобода — воли и усилия превозмочь заданность природы и вещества — то начало, что одновременно всеразвил Достоевский. Оно не для личности только, но и для национальной целостности вполне действует. Да, место на Земле каждой стране-народу выдано: равнина или горы, лес или степь, море... — и там ему прилаживаться трудом и строить культуру. Культура и Природа и в соответствии, но и в дополнительности друг ко другу находятся: чего стране-народу не дано от Природы — то Труд создает в Культуре. И вот в них в ходе истории именно превозмогается завет низа-вещества: в свободном усилии к Небу, Духу (а также к сердцу), которые пределов не имеют. И там — Единение тутошних «особей» во любви и взаимопонимании. Это же совершается не скопом, а через личность: от нее искра и завод, какими массив тел народа может воспламениться — вверх.

Достоевский и Толстой — именно вектор в Центр: в сердце, где «царствие небесное внутрь нас есть». Затем Федоров (и Вл. Соловьев) даст идею: всем вместе вверх, в Кос-

мос: понимая уже и народ, и Россию, и все человечество — как соборную Личность («Богочеловечество» Соловьева).

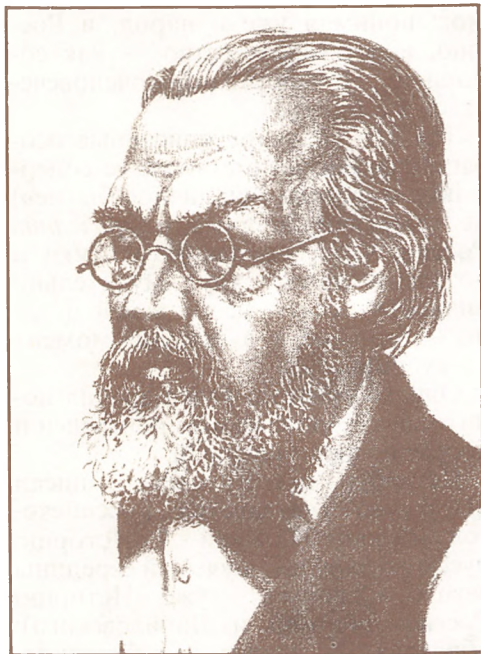
Так что «научно» описанные особенности России в статике ее содержания и формы («наличное бытие») не отменяют вопроса о *призвании* России, что слышали романтики и поэты; и далее будут мучительно личности искать место в ней и дело — вообще и в каждый момент «текущий»...

Однако синтез с точки зрения политолога Данилевским произведен и доселе непревзойденный.

Петербуржец Карамзин писал «Историю государства российского», москвич Полевой — «Историю русского народа», а ученый середины века С. Соловьев — уже «Историю России» (термин и Данилевского): образовалась, значит, ее субстанция, целое, а не Русь уже и не Империя...

У Данилевского, как и у Чернышевского, — культ естественных наук. И даже теория разумного эгоизма простиупает: только у Чернышевского — в применении к личности, а у Данилевского — к государству: оно должно не жадничать, а разумно-умеренно преследовать-понимать свою пользу: «начало здраво понятой пользы, очевидно, недостаточное и негодное как основание нравственности, должно дать гораздо лучшие результаты как принцип политический».





## А Иван Аксаков

Из благодатной семьи, которая сама — целый мир и Дума: и отец — патриарх Сергей Тимофеевич, «внук Багров» и Гоголев друг, и его сын Константин, кто, по словам Герцена, «за свою веру пошел бы на площадь, пошел бы на плаху»... И вот Иван. Семья — живое лоно благородного славянофильства. При преимущественно западно ориентированных ветрах, какими питался русский Дух в своих высших персонажах (Пушкин, Жуковский, Лермонтов, Чаадаев, Герцен, Белинский...), при том что сверху пирамида Государства насажена по прусскому образцу: горой наклали не хлебушка, а чиновников да столоначальников, и они бумагами имитировали писанину «литературы», а уваровское «просвещение» готовило службистов-образованцев, но не сво-

бодных граждан-мыслителей, — необходимо должен был на Руси зародиться встречный сему импульс: вертикаль снизу, из почвы, земли, из народа, а вектор — с Востока. И вот в Оренбуржье, Пред-Уралье, где Бугу-Руслан, деревенька с тюркским именем Аксаково (Ак Су = «белая вода»), и оттуда зачалось как бы самозарождение заново, забил новый родник русской культуры, который, в сущности, — как раз самый древний, народный, коренный: его только выпростать было надо из коросты-покрытий, от налетов и наносов западных ветров-веяний, чтоб он, льдяно-чистый, забил. Но ему надо было помочь: сам по себе крестьянский народный дух, загнанный будто надменной официальной культурой сверху, а также европейскими увлечениями умников-романтиков в «невежество» и «отсталость», — был идеологически безгласен и нем, как Тургеневский Герасим из «Муму». Кому-то именно из высшего интеллектуального слоя надо было к нему приступить, откопать, первоценность его умом обосновать: русские древности, фольклор, быт, обычаи — как органически, естественно выросшие (а не искусственно форсированно, как петровская цивилизация). Эта культура прилажена к местной природе, душу России выражает: ритм ее песни, плавный и тягучий, как разлив ее рек, — совсем иной такт времени бытия и истории знаменует, нежели французские прыгающие трехдольные ритмы «са ира», иль квадратные построения даже Бетховенской музыки... Конечно, этого не слышно в «Российской Европеи» Петербурга, но вот в усадьбе да в Москвематушке сие разборчивее.

Вообщей диалог столиц = диалог идеологий. Петербург — в углу России, где она клином сошлась (и где на нее тевтонская свинья клин клином натыкалася). Посередь России — Москва. Она — сердце. Петербург — «окно в Европу». Окно —

глаз избы. Глаз — на голове. Выходит: Петербург есть голова, ум, промозглый мозг; Москва — сердце, душа России. Москва — матушка, а Питер — батюшка. Россия есть на Земле страна рассеянного бытия по преимуществу, бесконечный простор, где Светер (свет + ветер) гуляет и любит Мать-сыру землю. И вдруг ей задана такая крепь, как город камня Петер-Бург («петра», по-гречески,— «камень»; «бург», по-немецки,— «крепость») — кулак, острие, приемно-излучательная антенна, где волны Европы улавливаются и западное влияние, и где энергетика России собиралась в цивилизацию и снопом излучалась в мир (отсюда пошла и революция затем — как ответный Западу импульс: что посеешь...).

Но Петербург не есть Россия. И остатняя Русь не есть Россия. Россия осуществляется как бесконечный диалог Петербурга и Руси, города и дороги. Прочтите «город» наоборот — выйдет «дорог»-а: они антиподы. Пока не было Петербурга, Новгород ту же функцию на аналогичном месте в углу России, на воде Ильмень-озера, исполнял. (Ведь и Петербург есть, по идее своей, Новый город, «юный град».) Не Новгород, так Петербург, но свято место пусто не бывало...

И вот долго назревавшее событие на Руси произошло в Москве, и умным голосом Аксаковых так возговорила народная субстанция-душа, вспоминая Петров переворот и словно предчувствуя последующий: «Русская земля подверглась внезапно страшному внешнему и внутреннему насилванию. Рукой палача со-влекался с русского человека образ русский и напяливалось подобие обществоевропейца. Кровью поливались, спешно, без критики, на веру, выписанные из-за границы семена цивилизации. Все, что только носило на себе печать народности, было предано осмеянию, поруганию, гонению; одежда, обычай, нравы, самый

язык,— все было искажено, изуродовано, изувчено. Народность, как ртуть в градуснике на морозе, сжалась, сбежала сверху вниз, в нижний слой народный; правильность кровообращения в общем организме приостановилась, его духовная цельность нарушена. Простой народ притаился, замкнулся в себя, и над ним, ближе к источнику власти, сложилось общество: вольные и невольные отступники его духа. Русский народ из взрослого, из полноправного, у себя же дома попал в малолетки, в опеку (под «руководителей» = «детоводителей»-«педагогов» — хочется вставиться.— Г.Г.), в школьники и слуги иноземных всяких, даже духовных дел мастеров...» Так в Речи о Пушкине в 1880 году Иван Аксаков описывал русскую духовную ситуацию ко времени Пушкина и к началу их, славянофилов, деятельности.

Что же делать? «Но обращаться вспять было уже нельзя,— да и нежелательно. Оставалось идти вперед, овладеть сокровищами и орудиями европейского просвещения и трудным подвигом самосознания расторгнуть оковы народного духа, воссоединить разрозненные слои, одним словом, возратить русской народной жизни свободу, цельность, правильность и плодотворность самобытного органического роста».

Значит, принимается совершившееся уже как факт и ищется линия труда и методы в сих условиях. Если «европеизация» шла рывком-скачком, поспешно-судорожным переворотом сверху и с насилием, а поприще и орудие было — Государство, то теперь поприщем должно стать Общество: чтобы то псевдо-общество из светской черни и чиновных столоначальников, что себе во рычаги и приводные ремни сформировало Государство для проведения своей политики вниз, в Народ, сменилось Обществом другого образа и родника: свободнотворческие объединения частных

честных людей, корпорации создателей, а не проверяльщиков-ревизоров-распределителей готового и отнятого. А это медленно и терпеливо делается плавным ритмом Природы, которая «не терпит скачков». И вот Иван Аксаков этим делом занимался всю жизнь: и на службе сначала пытался честным чиновником быть, но: «я решительно убеждаюсь, что на службе можно приносить только две пользы: 1/ отрицательную, т.е. не брать взятки; 2/ частную, и только тогда, когда позволишь себе нарушить закон». Тогда вышел в отставку и стал ткань Общества упорно ткать: то как публицист, редактор и издатель журналов и газет: «Московский сборник», «Русская беседа», «Парус», «Дело», «День», «Москва», которые запрещались цензурою, но поддерживались снизу, на средства русского купечества (Третьяковы, Морозовы: чтил Аксаков их и ценил в них настоящих и будущих меценатов, кто потом и частные оперы, и гимназии, и университеты открыл, что неподконтрольны чиновному «просвещению» Государства). Он ратовал за самобытный облик русских «провинций» — в статье «Об общественной жизни в губернских го-

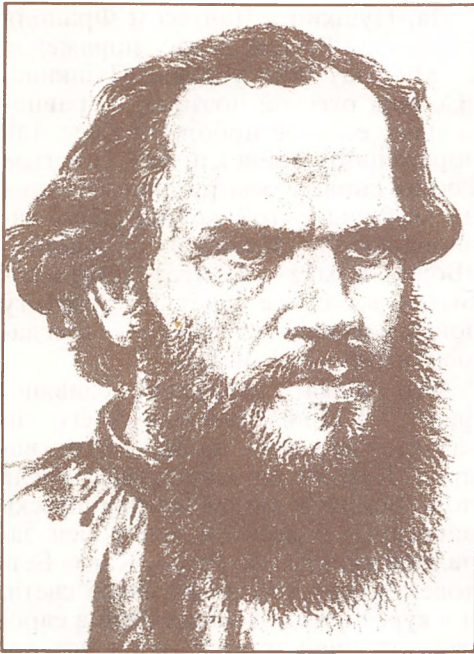
родах»: чтоб Казань и Пермь, Астрахань и Саратов — имели «лица необщье выраженье».

Иван Аксаков — именно *славяно* (а не просто *руссо*)-фил: чехи, болгары, сербы и другие «братья-славяне» в составе Австро-Венгрии и Турции были его постоянными корреспондентами. Он стал инициатором создания в России славянских благотворительных комитетов; на пожертвования частных лиц многие получали образование. А когда восстали Сербия, Черногория, он организовал отряды русских добровольцев; после освобождения Болгарии в результате Русско-турецкой войны 1877—1878 годов благодарные болгары выдвинули его кандидатуру на болгарский престол (он отказался). Имя Ивана Аксакова — родное в Болгарии. Вот и мой отец, Димитр Гачев из Брацигова, что у подножья Родопских гор, окончил в 1920 году в Татар-Пазарджике гимназию «Иван Аксаков».

Иван Аксаков — первый **общественный** деятель по преимуществу в России. Он был и идеолог, и писатель (поэт и публицист), но таковые у нас не внове. А вот фигура организатора, общественного деятеля — пионерска.







## Лев Толстой

Лев Толстой (именно так: с именем — слух души требует его называть) — это Ясная Поляна, это «зеленая палочка» — полюс Петербургу (эпицентру Кесарева мира) да и Москве: Москва = мордва и татарва и братва — собирательное существительное, собор-сход общины, утопляя личность, в чем и был акцент славянофилов-«почвенников». Смешно: они еще за почву ратовали, сидя в гостиных и на улицах; а чего бы прямо не сесть на землю — и ее соками дух и слово питать, без лишних со «западниками» словопрений и доказательств? Тем более: кусок земли, слава Богу, свой есть, не отнят-экспроприирован. Этот же — предельно заземлил русский Логос: на лугу Ясной Поляны его возделывал.

Толстой — как русский народ в

описанной им войне с французами: не спросясь, как по правилам в подобных случаях поступали другие (именно: нет «подобных случаев», но каждый человек и путь его — бесподобный случай! Вот заявление Толстого в общем миропонимание!), берет первую попавшуюся дубину и гвоздит ею — сам, а не спросясь ни у Государства-власти, ни у Общества-схода-артели, ни у Гражданства-закона, а лишь у своего здравого смысла и со-вести (в камертоне с Богом-Бытием). Самолично и самоначально.

Толстой — это воистину русский человек в его максимальном развитии: так Гоголь про Пушкина говорил, но тот не успел: меньше полужизни толстовской прожил (37 — против 82: патриарх Толстой на правах ветхозаветных у нас; а долголетие — благословение Божие и Природо-народное). Да и не так еще Пушкин верил своему «я», но «хоровой» был: поэзия его, во многом, — не «лирика», а «мелика»: для вас, о други! — и от вас; народен он был через посредство своего круга-схода братии (друзья Лицея...).

Толстой — предельный индивидуалист: мое «я» напрямую выражает и народ, и страну Россию, и Природу, и Бога, так что и не надо никаких посредников — в виде коллектива единомышленников, аппарата государства и его законов, науки и церкви. Человек всесторонне одарен Бытием, и Богом, и Разумом, и Природой — и сам наиболее верно может обо всем судить и жизнь построить. Только в «я», слитом с Бытием, — гарант Истины, а во всем остальном — примесь лжи, нечестности, зла и безобразия вместо образа Божия. Недаром же он придан не коллективу, а именно отдельному человеку.

Вот в этом его «так в чем же моя вера?» — и, как таран, он пер во все области бытия и духа, свой след могучий пролагая: в гостиной — неуклюж, как Пьер, «анфан террибль»,

одиноким медведь, кто ни с кем дружить не мог — по сверхкрупности своей; но в берлоге ему яснополянкой залечь и там создать и свой народ (народил народ детей-людей), и свое государство и просвещение (сам барин — закон навел и школу открыл, и педагогику развил естественно-здравомысленную), и свою письменность-литературу: Библия - «книги» им содеяны («Война и мир» - «Илиада» русская; «Анна Каренина» — аналог всему европейскому роману и т.д.), вплоть до своей религии: как Лютер выступил, реформатор христианства, и создал свою рационалистическую систему — «толстовство». Да, только своя планета — Ясная Поляна — его могла выдержать, где он припал к Земле, как Антей, и насасывался прямо от сиськи Природы всеми силами, соками и умом. Более того: постепенно притянул туда интерес целого мира — и создал там не только духовную столицу (куда, как в Мекку, на поклонение потянулись), но и авторитет власти, так что Блок говорил: в России два царя: один — в Петербурге, другой — в Ясной Поляне.

Вот что может один человек, если поверит себе до конца, а не будет стараться «как все». Правда, в начале жизни Левушка, сиротка, тянулся быть «как все» — быть человеком как положено, «комм или фо»: и бреттерствовал, и офицером был геройским: доказывал себе, что он не хуже других во всем, а в норме (даже в писательстве — таков был импульс его первых повестей); но, освободясь от этого комплекса неполноценности перед средней мерой, ринулся дальше и глубже и выше: взялся за невиданные доселе в России задачи и осуществил, и обрушил их на пораженное человечество — вот первый мировой вклад русского гения и мысли и творчества! Ибо Достоевский взойдет в восприятие Запада и Востока позже, через пролом Толстого и Чехова; потом и Гоголь, а ныне и Пушкин...

Да, Пушкин... Дантесом Франция отомстила России за свое поражение в 1812 году (ибо убийство Пушкина, «Солнца русской поэзии», — равно мощно, если не поболее, победе или поражению в войне); но вот Толстым Россия снова взяла реванш: сочинив на материале той войны свою национальную «Илиаду» — эпопею «Война и мир». И этот текст = со-Бытие, все более будет оттеснять ту войну в важности: ибо он — всегдашен, а той — уж нету...

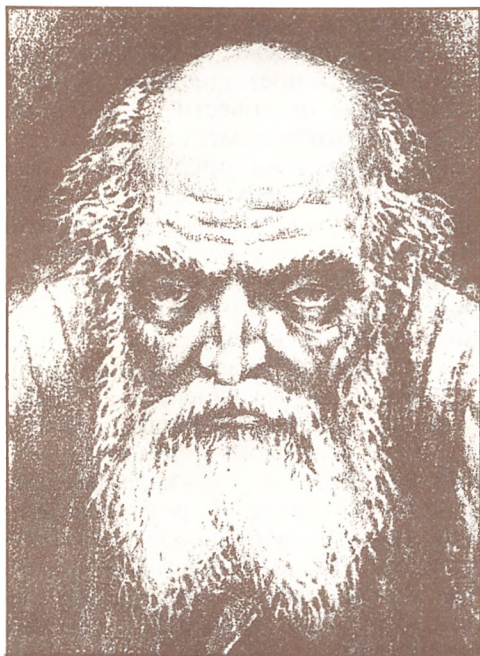
Кто ж он: западник? славянофил?.. — Применительно к его гигантству смешон, лилипуч этот вопрос. Как же не «западник», когда пол-«Войны и мира» по-французски написаны, и весь он вышколен западной культурой: Руссо, Кант, Бетховен, и аристократ высшего света, и в курсе всех новейших идей в европейской цивилизации, и на все откликался? Как же не «почвеник», коли всю жизнь на земле хозяйствовал, как мужик-кулак, и уж кто душу народа и быт лучше его знал? Как же не русский, когда из столбовых бояр род его? С кем же ему еще сверяться, за умом-разумом идти? Только Бог Сам — ему равномогущен, а никакое не учреждение людское: будь то позиция партии или класса, или учение науки, или манифест искусства. Все он тутошне скальпелем своего ума-галанта пробуравил — и простые, народно верные, и первичные слова-мысли добыл-сказал... То-то священный трепет охватывал проходящих в Ясную Поляну: живое божество! И неужто — умрет? (Горький хорошо об этом — в очерке «Лев Толстой».)

И потому внутри него всю жизнь — ужас: как же так? Я — Лев Толстой, столь совершенный и великолепно выделанный экземпляр человеческого рода, выше которого не бывает: воистину Сверхчеловек, Бого-человек почти (или человеко-Бог, сатанинский, гордынный?) — и должен умереть, как последняя падальбукашка-ветошка? (Раскольников

вопрос — узнаете?). Его брань — высшая: метафизическая, а не просто историческая и логическая и политическая. Он попытался некий абсолютный «модус вивенди» (способ жить) развить, примерный всем людям, и ежемгновенно проверял себя, свою сейчас скорость и направление — в дневниках, как с гирокомпасом, заверченным на ось Абсолюта с первых шагов жизни. Дневники Толстого — это такая же гигантская литература, что уравнивает его писания наружу, на люд, «урби эт орби» (городу и миру). А тут — стенание, борьба с адом своей натуры. Чем более остр и судящ его взгляд на установления мира сего, — тем более срывает он «все и всяческие маски» и с себя самого, и поползновения притворства в себе обличает. Непрерывная чистка лопатой мысли и слова. Покаяние. Сам себе ассенизатор. И потому при всей своей удачливости и царственном великолепии (на взгляд толпы) он себя чувствовал — на дыбе, распятым, особенно последние 30 лет жизни. Голгофа Достоевского была однократно — и зато в душе своей прочую жизнь чувствовал комфорт, рай и спасенность. А у этого она целую жизнь заняла. И все страдал, что не мог предельно *пострадать*, что есть заветное — в сердце русского человека. И потому под конец — взвыл — и сорвался, как зверь, убежать-умирать: расстаться со всем! Хотя на миг последний, но привести свою жизнь в соответствие со своими провозглашенными принципами: отказ от собственности, нестяжание... — как птичка Божия, довериться Бытию. А это ему, кто всю жизнь полагался лишь на себя, хозяин и на земле и в Духе, — как унижительно и трудно возможно: вдруг встать в полную зависимость от подачи Бытия, людей?..

Да, распят он еще был и на противоречии: его учение требовало бросить все и идти, а он оставался вождем в народе семьи-семени своего

и забился в нору Ясной Поляны!.. Но терпя анафемы и насмешки от всего мира и постыднейшие укоры в себе самом от совести — и тем не менее не сходя с места, он тем самым отдавал на посрамление сам Ум свой, которым все свое учение развил, — и представлял как новый Иван-Дурак, как глупец самонадеянный, т.е. покорность и кротость перед Бытием и Жизнью как высшей инстанцией в сравнении со всякой людской теорией (вплоть до религии общей и веры своей), — явил. Потому-то Ромен Роллан, один из его восторженных корреспондентов, впоследствии дал жизнеописание Толстого в цикле «Героические жизни» наряду с Микеланджело и Бетховеном. Да, на подвиг противоречия Разуму пошел предельный рационалист Лев Толстой — и тем высшую правду Живой Жизни («Бога Живаго») на своей шкуре подтвердил. И правомочие семьи своей на дом и собственность и жить в аристократической бездеятельности и утонченности; и разумность литературы и печати, и форм гражданской и религиозной жизни (раз через их посредство влиял на мир и умы-души людей: свое издательство «Посредник» имел с Чертковым = своим Чортом домашним, Мефистофелем — во секретарях). Ибо для России, которая из пещерности на весь этот счет только вылазила из дремучести Небытия, драгоценны были эти начавшиеся формы позитивной жизни, еще слабый покров ее сыроземно-энтропийной слизи: пусть и дурацкая плесень, но уже — организм человечества и его форм обитания: семья, закон, то же государство и церковь, наука и искусство. И это все бросить в тартарары и аннигилировать в анархизме последовательного логицизма?.. Нет, последней кишкой некоей в своем существе чуял Толстой, что не вправе этого делать, — и только под конец, на миг, актуализовал свой бунт.



## Федоров

Толстой явил ужасающую мощь одного человека: и целый народ народил, и автор индивидуальной цивилизации — самообслуживание! Все могу сам! Только одного не могу: Смерть одолеть. И вот на этот, уже предельный рубеж доступного человеку усилия, дозрел выйти русский Дух — в Николае Федоровиче Федорове. «Последний же враг истребится — смерть!» — сказано в Евангелии. И Божьей силою. Но это — когда-то!.. А пока что же? Будем, как не взошедшие в разум истины несовершеннолетние дети, развлекаться бирюльками цивилизации, услаждая себя и жен комфортом, играя умом в бесплодную науку, или, что еще хуже: злыми детьми ополчаясь друг на друга — войнами? И все ради того, чтобы пожрать-понаслаждаться повкуснее —

и умереть, в гной превратиться?..

А что если собрать все достижения разума, науки и техники, воображение и творчество искусства, упование и чаяние религии — и совокупным человечеством всем вместе ринуться на одоление смерти? Ведь вот корень зла и греха! Кабы не стеснен-придавлен человек был сроком мизерным своей жизни, — стал бы он на ближнего во вражде устремляться? В той извращенной воле, что Достоевский подпольный человек высказал: «а мне бы лишь по своей по глупой воле пожить»? Хотя, может, и стал бы... Свобода воли (даже дурной) дороже Вечной жизни — может быть... Отчего же люди выбирают-принимают свободу: «Свобода или Смерть!»?

Но это как раз героизирующий лозунг доселешнего, подросткового состояния мира и понятий людей. И что это за «смелость» — убогая: смелость уничтожения? Давайте выберем иную смелость — творчества! Если нам, человекам, для усиления энергии деятельности так уж обязательно нужен образ Врага (враг личный вызывает прилив сил у меня; «враг народа» — у трудящихся масс, дабы сплотились теснее вокруг...; «вражеское окружение» — чтобы стимулировать патриотизм и оборонноспособность...), так какой же Враг превьще и всех нас объединяющее? — Смерть, царящая в Природе.

Так оставим разъединяющие нас счета и цели — и весь ум, и силу, и труд соберем и двинем на одоление Смерти. В этом *общем деле* всех народов, эпох, личностей и профессий — объединимы все: и верующие, и социалисты-атеисты, и художники, и инженеры. Ведь нужно разгадать устройство Природы: отчего там закон Смерти запроваляет, вырвать ее жало, и заменить рождение существ сотворением их с помощью ума, труда и творчества: *даровое* превратить в *трудовое*. То Преображение, что сулится человеку Божьей волею в конце времен, воспринять как за-

дание высшее нам же — как соработникам Богу в Его сверхзамысле о Бытии.

Но это еще пол-идеи Федорова, лишь ее начало: достигнуть людям некогда личного бессмертия — об этом многие мечтали, да и все робко... — Ну а наши отцы, родители, предки? — задается следующим вопросом Федоров. — Нравственно ли это будет нам в земной рай взойти — на костях предшествующих поколений, кто нам жизнь дал? Не есть ли нам высший долг — *воскрешение отцов*? И это дело, которое лишь Божьей чудесною силой мечтается быть осуществленным в конце времен,—поставить целью: туда направить Историю и изобретательность человеческого гения?..

«Я не отрицаю, что ваша идея безумна, — сказал одному ученому знаменитый физик. — Но достаточно ли она безумна, чтобы быть к тому же еще и верной?» Так вот идея Федорова — именно такова. Ее верность — не в сопоставлении с фактичностью и наличным положением «вещей» в Природе и мире Истории, а как *Проект*: то самая верная Вышшая цель, что может быть человечеством поставлена перед собой, как курс и направление.

Есть в философии Канта «регулятивные идеи разума»: их функция — не истина-естина (то, что есть), ее дать-добыть, но организаторская: они дают направление поискам истины, исследованиям и трудам. И в их прожекторе все факты и истины обретают слепяще неожиданный смысл, передумывается весь опыт и труд, история и теории, в ней бывшие.

И действительно, когда Федоров вышел на эту дерзновенную цель, она стала вышкой миропонимания, с которой по-новому объясняются эпохи и события истории, ее движущие силы; и смысл искусства (как попытки «мнимого воскрешения») и религии (культ предков), и обряд захоронений (на хранение с целью во-

скрешения некогдашнего), и все философские системы, и быт-обычай народов, и психология поведения, и внутренний мир личности.

Человек понят именно как Сын человеческий, а значит, повернут его дух — к Отцам: не себя ради и своего эгоистического самоосуществления жить и трудиться, а имея пока янный долг воздать умершим. При такой установке исчезает соперничество между людьми и народами в современности: по отношению к Отцу человек человеку — брат. Сыновство отцам порождает самочувствие братства. И так можно осилить то «неродственное состояние мира», в котором пребывали и ныне находятся люди, народы. Отпадают национализмы, армии превращаются в «естествоиспытательную силу».

Когда будут воскрешены мириады прошедших людей, им не хватит места на Земле, и надо освоить Космос — для расселения. Вдохновленный Федоровым Циолковский и изобрел в этом устремлении ума принцип ракеты. «Не будет чрезмерным желание, — писал Федоров, — чтобы если не каждая община и волость, то хотя бы каждый уезд имел такой воздушный крейсер для исследования и новых опытов. Это было бы, так сказать, приглашением всех умов к открытию пути в небесное пространство. Долг воскрешения требует такого открытия, ибо без обладания небесным пространством невозможно одновременное существование поколений. ... Этот великий подвиг, который предстоит совершить человеку, заключает в себе все, что есть возвышенного в войне (отвага, самоотвержение), и исключает все, что в ней есть ужасного (лишение жизни себе подобных).

Человечество должно быть не праздным пассажиром, а прислугою, экипажем нашего земного... корабля»...

Слова эти — из основного труда Федорова, который озаглавлен: «Вопрос о братстве, или родстве, о



причинах небратского, неродственного, т.е. немирного, состояния мира и о средствах к восстановлению родства. Записка от неученых к ученым, духовным и светским, к верующим и неверующим». Об этом названии Толстой сказал, что оно «как бы выворочено из его души».

Учение Федорова дает высшую систему идей человечеству на все времена — и прежде всего нашему, что в своих расчленениях и антагонизмах капитализмов и коммунизмов, национализмов, религий и атеизмов, — лишь под такими знаменами может сплотиться на положительное Общее дело, а не просто из животного страха всепогибели от атомного взрыва... Этот мотив, хоть как кнут и бич, пусть, конечно, действует: но он постыден, если вспомнить, какие высокие принципы были даны человеку на воспитание: Любовь, Истина, Свободная воля, Образ Божий... — и что же он сумел со всем этим сделать? Не внял, а снова лишь, как скотина, тварь дрожащая, из страха боли и смерти, может, образумится?..

Кто же этот великий пророк? — Побочный сын князя Гагарина (пророча и Гагарина перво-космонавта), родился в 1829 году, учился в Рижельевском лицее, потом учительствовал в провинции под Москвой — в Богородске и Боровске; а главную жизнь провел как книжник в Румянцевском музее (ныне Библиотека имени Ленина) — умопомрачительного образования и знаний человек-консультант по всем вопросам культуры. Аскет и одинок, спал на сундуке, ходил в «кацавейке» и жалованье раздавал. То есть, предельно уменьшился в своем «я» (антипод Толстому, кто к нему влекся и боялся кого единственно из людей); даже предлагал, чтобы его учение было введено в мир под именем уже знаменитым: Достоевский, Толстой, Вл. Соловьев чтоб с ним выступили... Не имел авторских амбиций; а когда после его смерти была издана

«Философия общего дела» его учениками Кожевниковым и Петерсоном, она была «не для продажи», бесплатна — ну и, увы! — в нескольких сотнях экземпляров. А когда почти через сто лет нашлась женская душа, его постигшая и воскресившая: подготовила и издала том Федорова в серии «Философское наследие» издательства «Мысль», в 50 тыс. экз.<sup>1</sup>, — как постыдно ополчилась наша фарисейская идеологическая «общественность» (в 1982-85 годах, под самый конец периода «застоя») — на «скандал» издания сего «мракобеса»!..

Вселенское построение Федорова — щемяще русское по своей интонации, логике и шкале ценностей... Культ Воскресения — за счет Жизни. И в самом деле: на Руси — будто застенчивость и стыд жить, и расстаются с жизнью не так трудно (героизм русского солдата, и полководцы не щадят жертв, и даже будто хвастаются у нас 20 миллионами жизней, заплаченных за великую Победу и славу...). Если в западном христианстве главный праздник — Рождество (= Жизнь), то у нас — Пасха (= Смерть и Воскресение). И сгусток учения Федорова «Супраморализм» — это «Двенадцать пасхальных вопросов». У нас чтут не Бога Живаго, а Бога Распятого и Воскресшего. Это инородцы чуют первого («Доктор Живаго» и «Быть живым и только — до конца»). Ну, у Достоевского сказано насчет «жизнь полюблять пуще смысла ея» — да как-то хлипка...

Творец живущий у нас как-то мало ценится. Как горьковато иронизировала Белла Ахмадулина над четкой литературоведов: «Но чтобы мною ведать, Вам надо прежде меня убить». Подобно и для истории и культуры нашей: вкус к реабилитациям посмертным, к послежизненным

<sup>1</sup> Федоров Н. Ф. Сочинения. Вступительная статья, примечания и составление С. Г. Семенович. М.: Мысль, 1982.



ным первоизданиям, как сейчас с Булгаковым, Платоновым, — всё тоже варианты Воскресения, его победы над Жизнью. На Западе: в Европе, в Америке — человек максимально реализуется в Обществе при жизни своей. У нас шаг-темп Социума и фокус его зрения-понятия расходуется с мерой человечей. Потому мимо Андрея Платонова, как мимо малявки, проходили при его жизни важные заслуженные и лауреаты... А ныне кто их помнит?.. Пала цена их писаний, а этого — как взлетела!..

Но и соотношение Отца и Сына знаменательно у Федорова как русского мыслителя. В Западной Европе — Эдипов комплекс: Сын убивает Отца и женится на Матери. Молодое и новое сильнее и более ценится. Отсюда — новое, «новости» газетные и «новеллы», и моды, и прогресс, и революции, быстрые смены. На Востоке же сильнее отец: «Рустамов комплекс» — так я назвал по имени богатыря Рустама из поэмы Фирдоуси «Шах-намэ»: он убивает сына Зохраба, неузнанного, в бою. Также и на Руси: Отец убивает Сына (и женится на снохе): Илья Муромец — Сокольника, Иван Грозный, Петр Первый, Тарас Бульба, Сталин — сыновей своих. Явление снохачества у Горького описано: «Дело Артамоновых», — да и у самого роман с женой сына. И Аксинья в «Тихом Доне» отец имел. Сыновья — хлипки: в «Братьях Карамазовых» — Эдипов комплекс по-русски: артель сыновей понадобилась, чтобы свалить-одолеть одного отца. Правда, в Революцию вроде бы по

логике Запада у нас поначалу дело пошло, по Эдипову комплексу: молодой класс Пролетариат свергнул Царя-Батюшку и овладел Матерью-Родиной. Но потом так вцепился во взятую власть, что когда по логике смены поколений вырос Сын его сменить у кормила, привел страну к Войне, где полегло поколение сынов, а Отец продолжал оставаться наверху в «руководителях» и подобрал оставшихся безмужними сыновних невест. То-то и установилось у нас после Войны наряду с Кащеевым и Бабье царство! И уж только к концу века стали они из склеротических уже рук власть чуть выпускать... Так что восточный Рустамов комплекс и при советской власти одержал верх над Эдиповым, западным: оттого «застой» и «консерватизм» и «механизм торможения». Но это — некий «рок» в России: еще «Отцы и дети» Тургенева вспомним; и «непутевый» у нас — «безОТЦовщина», тогда как в Болгарии он — «нехранимайко»-«кто мать не кормит». В эту же строку — и логика учения Федорова: служение Сынов — Отцам...

Америка же, первая искусственная цивилизация, где население — не народ, но съезд переселенцев, — «комплексом Ореста» в подсознании руководима: это — матереубийство. Причем Сын тут убивает Мать дважды: оставляя старую Матерь-Родину (Ирландию, Италию или Россию) и обращаясь с новой землей не как с Матерью, а с материалом в трудовую переработку, бездушно.





## Леонтьев

Леонтьев Константин = «Постоянный», по-гречески. И это — главная его идея России: остановить шествие прогресса — к гибели. Ибо чувствовал: цветения достигла, а дальше все будет хуже и жесточе. По его историсофской концепции каждый национальный организм (как и природный — и в этом он, врач по образованию, естественно-научный, спенсерово-дарвинов подход частично принимает) проходит три стадии: первоначальная простота детства, затем «цветущая сложность» мужества, когда все элементы развились, членораздельны и выше свое слово сказывают, — и «вторичное смесительное упрощение» (выравнивание, «энтропия», как бы мы назвали), что есть призрак дряхлости, разложения. И воистину Россия в его время (последняя треть

XIX века) развила свои потенции: и великая держава, в богатой сословной сложности: и барство-аристократия утонченная, цвет истории, и крестьянство со своим бытом и духом, и купечество-мещанство крепкое, горожанство со своим укладом и трудом, и земство, и гражданское правовое общество, и церковь, и литература, и искусство (и музыка и живопись великие), и уже философия... «О, если б навеки так бы-было!» Ибо что сулит будущее? Буржуазная цивилизация Запада идет к понижению Духа и Красоты, упрощая и человека, и его потребности, и структуру Социума, и круг интересов, занятий и целей. Эгалитарная пошлость демократии. А уж грядущий затем к власти Работник — и того примитивнее: Красоту, Природу-Землю не знает, труда своего не любит (в отличие от земледельца), исполнен зависти да злобы, — какой он может «рай земной» установить, по своим-то понятиям?.. Недаром вроде и полярный Леонтьеву Герцен, «западник» вначале, пожив на Западе и познав его, надежду обратил на русскую сельскую общину...

Вообще тогда существовало много мечтаний и утопий — особенно в России проекты нового устройства Общества и мира. На ЗаПАДе-то уже пессимизм, и лишь один еще шанс наперед: социализм попробовать!.. А в России — много вариантов: и славянофилы с надеждой, что она обновит мировую цивилизацию своим особым словом и спасет; и Достоевский, хотя отверг насильственно осчастливливающий «хрустальный дворец» коммунизма, но в некоем странном для пожилого человека младенчески-телячьим водосторге уповает на русский народ «богоносец» и на «всевосприимчивость» русского духа (в речи о Пушкине), так что он все поймет, примет и примирит... Тут еще проекты революционеров-демократов (Чернышевский) и народников, и тол-

стовцев, и уже марксистов; и Федоров — проект «общего дела», и Соловьев со своим «Богочеловечеством» — все рвутся менять, перемешивать искусственно, из своих идей исходя, естественно сложившуюся структуру и формы. Но раз Природа и История таким образованием России соделали — значит, не без высшего смысла... По крайней мере, тут достоверность Истины-Естины, а не хлипкое мечтание. А ты имей слух, и глаз, и вкус — воспринимать Красоту наличного Бытия, а не зуди и не суди в суете.

И вот в этом гений и уникальность леонтьевского миропонимания: консерватор — эстет! Но ведь и каждый должен уметь любоваться тем, что есть: это же талант именно! Бытие и Жизнь в любых условиях и строях — все и полностью целиком есть. И если ты сам богат натурой и духом, ты и вокруг богатство и красоту и четкость форм (что так ценно, во аморфности сыроземли российской) узришь; а коль беден — то все не по тебе, и все менять-перераспределять, чтоб чужим обогатиться, затеешь, особенно власть взять, коли плохо лежит...

Славянофилов Леонтьев тоже в наивной короткоглазости уличает: все хорошее (истина, цельность, любовь) будто у нас, а на Западе — глупость, разложение и частичность... Это все так представляется, не выезжая из Москвы иль усадьбы. А Леонтьев десять лет пожил в Турции и Греции, повидал и «братьев славян» (в частности, корыстное, бездуховное болгарское купечество) и узрел чуждость России славянству — и ее большую родственность Востоку, Византии, даже Исламу. Недаром так со вкусом проживал Леонтьев в Константинополе среди турок и в феске ходил.

И вообще некое «избирательное сродство» между Россией и исламотюркским Востоком — «влечение — род недуга» и взаимопонимание. Недаром и в музыке (Глинка, Бородин,

Римский-Корсаков, Рахманинов), и в живописи (Васнецов, Суриков, Верещагин и проч. — до Рериха, кто уж далее на Индию и Монголию вышел и в буддизм) тогда ориенталистика расцвела. А восточные мотивы у Пушкина, Лермонтова, Толстого? А если еще глубже: само именно татаро-монгольское многовековое сожителство — разве не было и братанием-взаимопроникновением? И этнос, черты лица — широколицесть и скуластость... Одни «русские» фамилии чего стоят! Карамзин (Кара-мурза), Шереметев, Юсупов, Аксаков, Рахманинов. Ну и Державин недаром Фелицу видел в облике «царевны Киргиз-кайсацкия орды» и писал «Видение мурзы»... Нет, это все — не внешний маскарад, но сущностное проникновение и сродство. И в типе государства: Россия как империя — теократия, как и Византия, с идеологизмом официальным (царь — первосвященник): так в XIX веке — самодержавие, православие, народность. Важна сращенность власти с определенной верой: здесь тот вариант христианской государственности, что обращен на Восток, а не на Запад-Север, где католицизм и лютеранство.

Жесткость форм редка и завидна русскому и вызывает восхищение: красота! И ради ее сохранения — и жестокость вполне приемлема. «Государство должно быть пестро, сложно, крепко, сословно и с осторожностью подвижно, вообще сурово, иногда и до свирепости; Церковь должна быть независимее нынешней, иерархия должна быть смелее, властнее, сосредоточеннее; Быт должен быть поэтичен, разнообразен в обособленном от Запада единстве; Законы, принципы власти должны быть строже, люди должны стараться быть лично добрее — одно уравновесит другое; Наука должна развиваться в духе глубокого презрения к своей пользе». И. С. Аксаков находил у Леонтьева «сладострастный культ палки». И ему вполне эстети-

чески приемлем мог быть восточный деспот Сталин (с его своеобразной inferнальной эстетикой, на обаяние которой поддавались даже Пастернак и Булгаков; а Мандельштам пер на рожон разыграть интимный сюжет «Поэт и Царь», по-пушкински фамильярно), а ныне бы — Хомейни... И понимание христианства у него было жестче и церковнее, нежели у современных ему писателей, что так гуманно-жиденько христианиновали: Толстой, Достоевский — в них «ересь» христианства «сантиментального» или «розового» (в терминах Леонтьева): слишком уж в угоду человеку и его слабости, без священного трепета и чувства своего греха. Да, Бог есть Любовь — но это в итоге долгого труда и аскезы, а «начало премудрости — страх Господень». И наивно и еретично желать устройства рая на земле: «мир во зле лежит» — ясно сказано. Так что не в потакании слабости людской верное направление, но в самообуздании...

Сам Леонтьев очень по себе чуял разлад натуры человека, ее поведения и вкусов, — с христианством и церковью. Сладострастник (напоминает Свидригайлова или Ставрогина, только с ориентацией не западно-партийной, а восточно-гаремной), он всю жизнь смирял себя: тяготел к Афону, а под конец принял постриг и жил в Оптиной пустыни. Но и в церкви был брезглив: еще в молодости отвращал его входить в храм запах чеснока, и он даже обратился с запиской-предложением: учредить особые храмы для аристократии. Аскетизм — что садизм и мазохизм: их трансформация...

Претило ему и русское интеллигентское слюнтяйство. Вот «Два графа: Алексей Вронский и Лев Толстой» (название его статьи) — кто из них нужнее России? «Великий ли романист, или воин, энергический, образованный и твердый, видимо, способный притом понести и тяжкую ношу государственного дела?..

Я предпочитаю Вронского не только Левину, но даже и самому гр. Толстому... В наше смутное время, и раздражительное и малодушное, Вронские гораздо полезнее нам, чем великие романисты и тем более, чем эти вечные «искатели», вроде Левина, ничего ясного и твердого все-таки не находящие...»

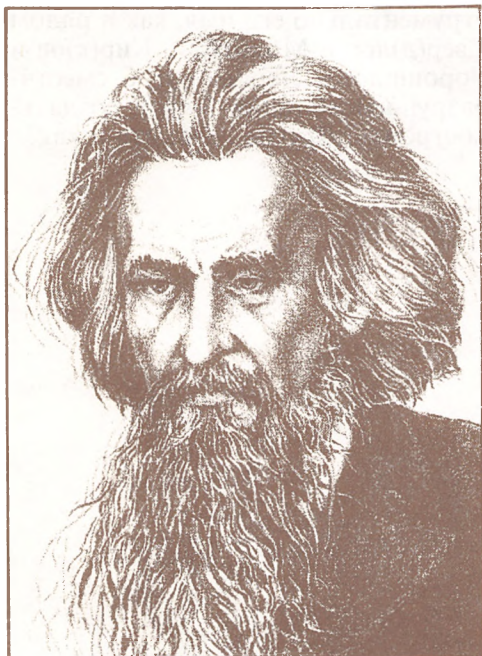
Леонтьев остро чуял две главные стихии русского Космоса, что на Руси норовят свести «цветущую сложность» выросшего-таки за 1000 лет (и потому Россия — совсем не «молодая» страна, как о ней славянофильско-западные мальчики мечтают, а уже сложившаяся и устоявшаяся в своей, по его мнению, высшей форме) и развившегося организма — на нет. Это Мать-сыра земля, что враждебна форме и всякую твердь стремится рассосать — в грязь и жижу, чтоб растеклась-расползлась по равнине, в энтропии эгалитарного равенства. И — Народ-стихия (= Ветер-вихрь), слабо укорененный вертикально, в тяге в даль и путь-дорогу, готовый все смести («русский бунт, бессмысленный и беспощадный») — и тоже все выдающееся выровнять, головы сшибая. И потому так дорожил уже сложившейся структурой и ее устойчивостью; даже предлагал «подморозить Россию» — и хотя бы так продлить ее нынешний, современный ему цветущий статус... Хотя тут уж сразу и парадокс: мороз и цвет — как могут сочетаться?.. (Могут, конечно, сочетаться, но не для Жизни, а для Красоты — для созерцания эстетического.) И так Россия во многом — Кашеево царство Севера и Деда Мороза, и уж сна и дремы и недвижности и безжизненности тут не занимать-стать...

С леонтьевской точки зрения, можно понять, почему Сталин мог взять верх над Лениным. Вслушайтесь в имена: Ленин — от «Лена» = река, вода-стихия и ближе к земле (потому и интерес земледельца в нэпе учел-понимал); также и «лень»

— милый русскому сердцу звук и порок. А Сталин (=сталь, труд, форма, воля, усилие, структура, Кесарь...) — более соответствовал диктатуре именно пролетариата: ин-

струментально его имя, как и рядом Свер(д)лов и Молот(ов), Кир(к)ов и Ворошилов... Ленин — чтоб сместить-разрушить. Сталин — чтоб создать-построить. Другое дело: что и как?





## Владимир Соловьев

18 марта 1988. Проснулся в ночи, в 4, в предутро я (как и мой персонаж ныне, что не разбираю дня-ночи, но когда застанет мысль — тогда работал... А я, «жаворонок», мыслитель утреший, будто ему навстречу подвигся), как в потугах-схватках родов: лихорадочно записываю — рожаю образ Вл. Соловьева — как образ Философии собственной персоной: ее первоявление полное в России. Философ — шо це таке? «Любящий мудрость» — вот буквальный перевод с греческого.

У нас есть: жизнь, котенок, Бог, драка, музыка, нужда, враг, здоровье, Китай... — множество раздражающее. Как разобраться-справиться с ним? И надо ли «справляться»? Иль — отдалиться? «Пофилософствуй — ум вскружится» и даже зайдет за

Разум. Мысль освобождает от множества. Но и сама работает: в ней и восторг, и рабство новое — пшик вместо реальности подсунет. «Все мысль да мысль...». Опасная игра и связь: промысли всю жизнь = жизни не увидишь, не проживешь. Да, свои правила игры, как в шахматы. Тут тоже: как «для звуков жизни не падить» — так и для мыслей. Но «мысль изреченная есть ложь»... Игра рискованнейшая — и с Истиной: шел к ней — и вдруг угодил в ложь. И власти мыслитель всегда подозрителен. Но, что хуже, — и себе мыслитель подозрителен: никто так не обличал мышление, как самые сильные мыслители: Сократ, Паскаль, Кант, Достоевский... И какою ей, мысли, быть? Мысль для Жизни? Или сверх и выше жизни? Или сама Мысль и есть Жизнь: ее содержание и занятие? Чем лучше нее занять время живота?..

Вот она какая притягательная и отталкивающая возлюбленная — Мысль! Но кто ее познал — тому все остальное не имеет значения и цены,

Как только верить в рыдающие звуки,  
Тебя любить, обнять и плакать над тобой!

/Фет/.

Владимир Соловьев — избранный сосуд, Пушкин русской философии: все прочие частичнее, он же взялся за ВсеЦелое, объять необъятное, что нельзя по житейской мудрости. И потому безумен в веке сем, кто берется. И он надорвался: все последующие русские философы начинают с того, что отталкиваются от Соловьева и критикуют. Но Он создал-задал материал-труд для критики разумам...

До него русские писатели-мыслители были в философии дилетанты-любители: кроме Мысли, любили еще что-то — Жизнь, Женщину, Поэзию, Россию... Соловьев тоже все это любит: и поэт он первоклассный, а уж кто так понял «Смысл Любви», как не он! А Россия маячи-



ла и ему, как славянофилам, всеразрешительницей мировых апорий... И тем не менее все эти, даже величайшие и великолепнейшие сами по себе предметы, всего лишь — обличья многовариантные единственно любимой им Все-Мудрости, Истины, Софии!

Наша порода обозначена в классификации существ Природы — как *homo sapiens* = «человек мыслящий», а еще буквально: «прах («гумус» — «земля») познающий», в отличие от прочей, безмысленной телесности существ. И все мы в практике жизни пользуемся своим разумом: без него и улицу не перейдешь, и даже «на троих» — тоже СООБРАЗИТЬ! — надо... Но везде тут мысль подсобна — ради труда, достижения благ: счастья, богатства, жены, славы, власти... Для философа же Мысль, Понимание Истины (того, что есть в Бытии) — главное благо: сверхценность сама по себе, для которой все прочие наши цели и ценности (а также страхи и боли, страдания, ужасы, несчастья) — средство, мизер, призрак, иллюзия.

И с этого утверждения начинается всякая философия, мудрость: то, что нам представляется важным и существующим (сытый желудок, отрезанная нога, ласка начальничка и карьера, смерть сына и сама жизнь моя), — все это лишь ЯВление некоей скрытой сущности: ее искать и любить, на нее проориентировать свою жизнь! И если так себя поставил-настроил, ты уже нашел Истину: ты — в ней, ее избранник-любownik, и она одаряет тебя несравненными с благами низменного существования радостями и силами. Во-первых, ты вооружен против страданий, болей. Что? Ампутировали тебе руку? Ничего страшного: душа не умалется от веса плоти, — учит Декарт. Что? Ты ослеп? Прекрасно: философ Демокрит сам нарочно себя ослепил, чтобы раздражающее зрение наружных вещей

перестало мешать его сосредоточенному внутреннему созерцанию чистой невещественной Истины и Абсолютного Блага. И Смерть не страшна: просто свалится с тебя нынешняя оболочка, и душа освободится от натуги носить пять пудов тела, еще и быть мешком с физиологическим дерьмом: на него работать - трудиться - убиваться - зарабатывать!.. Философию — приуготовлением к Смерти (как ее поборанием = отменением) называли.

Но коли так, то отпадают наши волнения пустые и радости миражные — то, из чего печемся в миру и душу утруждаем: страхами и надеждами. Воцаряется покой, ровность сияющей души. «Сухая психея — наилучшая», — полагал Гераклит. Принцип философского жизнеотношения: «не радоваться и не страдать, а понимать» — вот девиз могучего философа Спинозы, что пронизал Соловьева с юности его. А «понять — значит простить» — и того, кто тебе приносит боль и зло, «врага» своего: изнутри себя его постичь — как тоже «я» и брата по Бытию. Исчезает вражда и мой эгоизм; продуцирую-преображаю я мир — как Любовь. А ведь и «Бог есть Любовь». По Богу живу и сотворяю с Ним мир во благе...

Так что преданность отрешенной (от будничности) мысли вдруг оказывается самым наипрактичнеешим делом — преобразования-пересотворения мира, всех вещей и страстей и отношений — ко Благу-добру. И самому от нее исцелительно (умалет боль страданий, их впечатление на душу, — тем, что ум понимает сомнительность показаний сигналов-рефлексов чувств), и миру преобразовательно: от мудреца изливается некое сияние света и покоя, благодать как бы, что импульсом блага вторгается в пространство мира сего и его оздоравливает.

Но для начала надо разобраться: что к чему во множественности окружающих тебя и дразнящих ве-

щей и идей, среди которых ты ковыляешь, мечешься, как белка в колесе, спотыкаешься, удары получаешь и раны... Но только с высшей точки зрения просветляется низовое. И чем выше поднимаешься, тем выше хочется, ибо горизонты несказанные раскрываются. И, в принципе и пределе, неостановимо восхождение-отрешение праха явлений, абстракция от множества, пока не упрешься — в Единое, Абсолют, который разновариантно обозначается: Бог, Дух, Материя, Дао и т. п.

Но когда доберешься до верха, вспомнишь, что шел ведь ты от низа, и низ есть факт и данность; и вот твоя жизнь и хлеб, и 1988 год (когда пишу это), и эпоха «перестройки», и вот эта соседка-курва — все это тоже ЕСТЬ, хотя, иным образом, нежели домогнутый усилием работы мысли — Абсолют, Единое. Возникает задача — их совместить: Абсолют и мир, Дух и Материю, Единое и Множественность мелких отдельных вещей, существ, идей: и меня, и птичек, и социализм, апартеид, очередь за водкой, Афродиту, компьютер и «рок» (как танец) и Рок (как Судьбу) — увлекательная работа: разобраться с точки зрения Единого во всем нашем многом — и построить из всего стройный мир, систему Бытия, Космос из Хаоса. А и разобраться в этих идеях-началах: Хаос, Зло — зачем они и как могут, при благом-то Боге и Едином?..

Итак: Единое бедно без Многого, и Богу скучно без мира: мир ему надо сотворить, чтоб было, что любить и действовать... Это одно построение... Но также справедливо и фейербаховское: человеку потребовалось Бога сотворить; это ему (человеку) страдно и страшно, и скучно, и бессмысленно без гипотезы Вышнего, Единого, Бога. Двухнаправленность и Диалог. У Соловьева (как и у Плотина и Шеллинга) — не просто Единое, но ВСЕ-Единое: включающее в себя разнообразие бытия.

И тут уж: у кого как устроен глаз,

оптика души, натура-личность, — такова и построится система Бытия. У Платона — одна, у Аристотеля — другая, у Канта еще и т. д. Но можно и принципиально против системы быть, как Сократ и Будда, Розанов и Шестов, Монтень и Ницше — и это тоже законная философия и возможная саморегулировка в мире...

Вот «здравый смысл», высмеивая философию, обращает внимание на то, как все они разной утверждают, философы, и между собою не согласны: значит, все «лгут», «ошибаются!» — и особенно любит чернь читать, как здорово и умно каждый философ опровергает соседнего; когда же усиливается позитив свой изложить, тут интерес к нему тухнет, и здравому смыслу становится скучно...

А между тем нет тут «лжи» и «ошибки»: само Всеединое — многоипостасно: каждый человек-личность-душа бессмертная есть потенциальный творец возможной философии и системы мира — единственно верной, с его точки зрения (а их мириады): так ему доставляет Себя видеть-строить Бытие. Так что множественность не о «лжи» всех (в том числе и меня) свидетельствовать должна, а учить меня понимать иную правду и любить непохожесть на меня — травки, волка, англичанина, буржуя, диаметра — и всех прочих явлений Бытия.

Но опять же и это — одно из возможных (соловьевское и настроенное на него мое сейчас) толкований...

Итак, СИНТЕЗ = соположение разного в Одно Целое — вот упоительнейшая и труднейшая задача уму. И за нее Русский Логос впервые в Соловьеве Владимире отважился взяться — по всем фронтам Бытия — и исполнил эту работу. А ведь обобщить надо было уже наличные на эту тему великие опыты и древнего ума эллинов (Платон, Аристотель, Плотин), и системы немецкой клас-

сической философии (Кант, Шеллинг, Гегель), и Восток (Лао-цзы, индуизм и буддизм). Никто в Европе в конце XIX века за такую тотальную задачу уже не брался: брали себе более частные — методологические, научные... Но им и не надо: уже проделана такая работа раньше. А вот молодая и «отсталая» Россия — по наивности и жизненности своей брызжущей — осмелилась дерзнуть. Да, прав Леонтьев: период «цветущей сложности» переживала Россия в конце XIX века; и вот Владимир Соловьев — тот именно сосуд, в котором отзывается всё — и стремится объ-ЕДИНИ-ться (невыносимо, значит, разнообразие русскому Логосу...): «Нам внятно все: и острый галльский смысл, и сумрачный германский гений» — о том же в русском Духе скажет вдохновленный Соловьевым Блок. Та «все-восприимчивость» и всепонимание и всеприглашение (о коих Достоевский), и «всесимпатия» (термин Томаса Манна) нашли в Соловьеве философское осмысление и реализовались в прекрасном построении его системы.

Итак: как совместить-взаимосмыслить Многое и Единое? Для Многого место — Земля. Для Единого символ — Небо. Схема их соединения — вертикаль, лестница, древо (мировое), уровни и ступени восхождения, путь... Человек и есть такой воплощенный путь — вверх, в самостроительстве Блага в себе. Но и Небо спускается на Землю и благословляет наше малое многое и материю — через воплощение Бога в человека («Слово плоть бысть»): Сын Божий стал человеком во Христе и так дал путь и человеку ввысь, но и освящение плоти, материально: жизни, и любви, и рожания, и труда, и всего нашего копошения в «мизере» существования. Вся «мелочь» — тоже имеет отношение к Абсолюту. Потому так любовно берутся внизу художники в «курятник» нашей жизни, со всеми ее ку-

дахтаньями-страданиями (Достоевский), а и Толстой — с «муравейными братьями».

Эта схема — во Пространстве: вечная, очевидная, простая, — и ее берет себе РЕ-лигия. Вторая схема — во Времени, по его шкале: Процесс, История, Развитие, Путь всего из прошлого, через настоящее — в будущее. Тогда Абсолют помещается в начале (Бог-Творец, рай, «золотой век») и в конец (Цель, Преображение, Новый Иерусалим, коммунизм, «будущее светло и прекрасно», всеобщее Воскресение); а Настоящее — поприще борений добра и зла; и арена их — жизнь наша, моя, человека каждого.

Соловьев, сын историка, кто во многих томах живописал мелочь множества событий, фактов, людей (и ни у кого от этого не прибавилось понимания насчет простого и главного смысла жизни, а напротив, затемнилось...), и любил-знал Историю, и отвращался от ее дурной бесконечности процесса и всеоткладывания на ПОТОМ исполнения всего благого — и тем самым лишения моего теперь идущего существование причастности к Абсолюту.

Напротив, Религия и Церковь — именно это и сообщают: всегда и вне времени доступно человеку соединение с Богом и реализация Абсолюта и Блага. Первую (историческую) шкалу ценностей в России исповедовали «западники» и «прогрессисты», либералы-политики; вторую — «славянофилы», чувствовавшие себя и Русь более в Вечности, нежели во Времени. Также и Тютчев, что домирный Хаос ближайше к сердцу ощущал, и все поэты — напряженность Бытия ЗДЕСЬ и ТЕПЕРЬ, а не когда-то там и потом...

И вот все это сопряг в своем построении Бытия Соловьев: и вертикаль-лестницу живой Жизни и религиозно-церковного сознания (Богочеловек Христос — как связь, путь и истина), и принцип историз-

ма, развитый наиболее Гегелем (в отличие от Шеллинга, который более Пространством мыслил-умозрел: сразу по Истине, а не по Истории...). Живая Жизнь человека тем всеосмыслилась: она — перекресток, через нее проходит как поступенное восхождение человечества к Богу в ходе истории, так и собственная духовная жизнь каждого человека сразу во Абсолюте и в любой миг имеет полный смысл и шанс Богоуподобления.

Нововведения Соловьева в мировую философию (хотя тоже имеющие прецеденты...) — это два посредствующих звена между Многим и Единым. Между Хаосом и Космосом — Душа мира, София; а между Богом и человечеством — идея и труд Богочеловечества: в нем встречаются Бог и человек; без человека и Бог невозможен, человек — богостроителен, человек Богу — сотворец и друг. Это и предвозвещено воплощением Слова в Богочеловека (Иисус Христос).

19.03.88. Всякая большая философия должна объяснить Мир (Космос, Природу), Человека, Историю (Общество) и Сознание. Но для этого вырабатывает свой «миф», свой образ-видение сущности Бытия сквозь все эти явления и миры: Метафизику («сверхфизику»); и там оттачивается система и аппарат категорий, которыми далее строится и объясняется все. У Соловьева исходен — Абсолют (Бог). Он в себе имеет свою «основу», «свое другое» — «становящееся Абсолютное», что образует Творение или Мир, а в нем — и Природу, и Человека, и Историю, и Дух. Если в Абсолюте — Единое, то тут — Всё, беспредельность отдельностей. Это был бы Хаос и Зло, если бы Мир не был ориентирован исходно на диалог с Единым; с чем они образуют ВсеЕдиное. И Бог «любит хаос, дает свободу хаосу», и Душа Мира им движет и живит. Меж ними — любовь, меж Богом и Миром. Послед-

ний — женская ипостась Бытия: то, что в иных системах называется — Природа, Мать(я), Психея... У Соловьева это — Душа мира, София (божественная Премудрость — жена Логоса), Богомать, Церковь (как невеста — тело Христово) — словом, Вечная Женственность (что потом и у Блока — «Прекрасная Дама»...), всепронизывающая Бытие и одушевляющая, и к чему и из чего — Любовь как движущая к воссоединению всего религиозная сила. В Природе это — эволюция от Хаоса к Космосу. На своей вершине, создав Человека, эволюция переходит в Историю. Человек — также двойственное существо: он — отдельное тело, в нем поддон — хаос, демонические силы, что влекут во множественность, грех, зло и смерть (но это в нем нужно, чтобы так он мог подцепить собою силы Природы — для их же вызволения и одухотворения). Но он, каждый — участник Всеединства: в нем «образ Божий» полностью осуществим. История — это арена встречи, диалог Бога и Человечества, прогресс Богочеловечества, в котором совокупный Человек усилием свободной воли одолевает в себе — и тем самым в мире — зло; и так совершается Преображение Бытия. Но для этого Бог подал человеку духовные силы и путь, снизшедши в мир и освятив плоть и материю — вочеловечением Бога-Слова и дав человеку модель поведения и мироотношения — в Иисусе Христе. «Это постепенное одухотворение человека через внутреннее усвоение и развитие божественного начала образует собственно исторический процесс». «К человеку тяготела и стремилась вся природа, к Богочеловеку направлялась вся история человечества».

Но и человек расколот на полыполовинки, на недолжные особи. Потому-то и влекутся друг ко другу мужчина и женщина: воссоздать целостного Человека. Но по пути к этому их ловит на этом влечении

Душа мира, оттягивает на себя Природа — и умножает дурную бесконечность, употребляя Любовь — на продолжение Рода, а не на воссоединение половинок в Единого Богочеловека. В трактате «Смысл Любви» Соловьев по-своему продумывает проект Федорова: как осилить «природный порядок существования», основанный на смерти и выталкивании отцов непрерывным рождением? Надо остановиться — на влюбленности: в ней совершается идеализация возлюбленного — и так Преображение: в человеке на подставке телесного существа зрится его идея, образ Божий, душа бессмертная...

Еще невольник суетному миру,  
Под грубою корою вещества  
Так я прозрел нетленную порфиру  
И ошутил сиянье божества,

так в стихотворении «Три свидания» исповедал за два года до смерти Соловьев тот пафос, что двигал им всю жизнь и мысль его одушевлял: три раза ему явилась Вечная Женственность! Сначала во облике девочки девяти лет (как Данте — его Беатриче); затем — среди книг в Британском музее — как Премудрость-София; наконец, в пустыне в Египте — как сама Душа Мира...

Да, он тоже — «рыцарь бедный», что «имел одно виденье, непостижное уму», — и созерцал его всю жизнь. И Блок образ Соловьева означил в своей статье «Рыцарь-монах»: нездешнес зрящий и в него вперенный.

Град Китеж он созерцал парящий над наличным бытием — и в нем уже обитал сутью своей. В Соловьеве — Разум восхищенный (не возмущенный, мутный): он постоянно в состоянии восторженной идеализации его в себе подерживал — как теургическую (бого-творящую) даже силу и медиумическую способность. Чуток был он и к теософии, к гнозису и магизму — и тем «грязноват»: замусорен в нем сим прахом Бог и Дух — именно потому, что исходна

для него интуиция тождества Бога и мира (а отсюда пантеизм...) — и не так слышна ему трагедия Бытия, что содеявается вторжением Творения и Искупления: рвет тождество и ускользает от рационализма... За то и критиковала Соловьева Церковь: религия в нем подчинена философии, Мысль ему любимее (ее игры и построения), нежели Истина сама... Он именно философ, «бхакт» Софии, ее дервиш-одержимый и Меджнун, как суфий восточный: не обращает внимания на свой внешний вид — ободран, может быть, и швырять деньги, отдавая, а сам не имея и поест что... Не от мира сего. «Он был до такой степени близорук, что НЕ ВИДЕЛ ТОГО, ЧТО ВСЕ ВИДЕЛИ, — писал о личности Соловьева князь Евг. Трубецкой. — Зато, когда взор его устремлялся вдаль, он, казалось, проникал за доступную внешним чувствам поверхность вещей и видел ТО ЗАПРЕДЕЛЬНОЕ, ЧТО ДЛЯ ВСЕХ ОСТАВАЛОСЬ СКРЫТЫМ».

Высокая философия дерзновенно фантастична поболее поэзии: она всегда «стирает карту будня» и видит нечто совершенно «несусветное» — и оно-то, в магии ее выкладок и построений, овладевает нашим умом убедительнейше, и строй этой картины мира становится нам дорожке, нежели хаотическая и мучительно дразнящая и глупая раздробь и смуть мира житейского и опыта, где нас швыряет в броуновском движении случайностей, и мы ничего не понимаем и чувствуем себя лишь телом приложения сил извне, которое лишь бессмысленно огрызаться и давать сдачи может. Потому-то так взыскуем мы мировоззрения целостного: какое ни на есть, но коли подойдет душе — мы за него удержимся, как за Небо и Соломинку; и оно, имматериальное, нас вывезет — и вывозит реально! Ибо пробуждает в нас вектор-усилие в осмысленном направлении и строит из хаоса нас составляющих элементов и движе-

ний души — некую структуру; и вот уже мы — стройны и красивы и подтянуты; а, как следствие само-строения, и мир вокруг нас становится строен: выглядит как Космос, и всё имеет со-мысл со всем.

Вот для чего нам нужна философия: нам строит мировоззрение = самосознание своего участия в чем-то высшем, нежели я сам.

Соловьев и человека зрел не как вот я, ты, он, всякая особь, но — как **Одного Человека**, которого образует Человечество за всю историю свою и чего каждый из нас лишь атом-рефлекс. «Субъектом исторического развития является человечество как... собирательный организм» — по образу **АРТЕЛИ**: собранность русская, («мы», а не «я»)...

Вообще Соловьев — воплощение Русского Логоса. Его первая крупная работа «Критика отвлеченных начал» — отвержение Западного философствования, где познание оторвано от духовной жизни (что ныне и у нас вполне мы имеем: информация и сведения, и эрудиция не связаны в профессионале-профессоре с ростом его личности и духовным восхождением)... То есть, он по формуле русской логики начинает: «Не то, а...». И вот начинает искать далее это «...а — что?» и выработывает свой позитив: в «Чтениях о Богочеловечестве», в «Оправдании добра»... Кстати, возмущился тогда здравый смысл: зачем это нужно Добру — еще его «оправдание» выкладками-доказательствами рассудка? Не замутняется ли тем очевидное?... Но ведь «Хомо»-то мы — «сапиенс»! И разум, как и Дух: «дышет, где хочет»; и ко всякой вещи и идее парен и сопряжен, параллельный ряд правомочен строить, уповая в своем оптимизме, что — сладит! И — наладит!.. И таким умом зачата и построена светлая, оптимистическая, гуманитарная философия Владимира Соловьева. Она именно — пик и венец Девятнадцатого века (умер в 1900 году)... В ней ли-

нейный прогресс Добра — примитив, без парадокса эсхатологического, который остро чувствовал Леонтьев: чем ближе к концу времен и Преображению, тем хуже мир, что во зле лежит. Так в математике функция, уходящая на графике в бесконечность вниз, вдруг из бесконечности сверху выскочит...

Однако, под конец — и в нем предчувствия совсем другого облика Бытия и мироустроения: не линейно из прошлого вперед, а все — в разрывах и катастрофах (зрелище чего и подает Двадцатый век, которого «манит страсть к разрывам» — по слову Пастернака). «Краткая повесть об Антихристе» вся в ожидании конца времен, который — близко; и тогда придет Антихрист — так каков же он? Нельзя ли попробовать предвидеть-предсказать его облик? И, вперяся в свое видение, прорисовывает Соловьев совсем неожиданные черты. Это, оказывается, великолепный молодой человек, гениально одаренный в науках, аскет и благодатель рода человеческого, филантроп и «филозой» даже (любит все живое и вегетарианец); и вот все в восторге выбирают его Правителем Земли, он устраивает благоденствие и мир всем — и его принимают за Мессию-спасителя. «Благодаря своей высокой гениальности к тридцати трем годам широко прославился как великий мыслитель, писатель и общественный деятель. Созная в самом себе великую силу духа, он был всегда убежденным спиритуалистом, и ясный ум всегда указывал ему истину того, во что должно верить: добро, Бога, Мессию. В это он **ВЕРИЛ**, но **ЛЮБИЛ** он только **ОДНОГО СЕБЯ**. Он верил в Бога, но в глубине души невольно и безотчетно предпочитал Ему себя». И в благодеяниях своих человечеству не Христа ради, а себя ради — все делал... Люциферен = «светоносный».

Предвещьем льгот приходит гений  
И гнетом мстит за свой угод —  
не о нем ли Пастернак?



Итак, не звероподобен Антихрист, а демон-ангел, совершеннейший экземпляр рода человеческого, брезгливый к деторождению и с думой лишь о всех: написал трактат «Открытый путь к вселенскому миру и благоденствию»... «Да это, друг, уж не ты ли?» — как в «Борисе Годунове» монах Варлаам, читая приметы Гришки Отрепьева... Не с себя ли писал, так проникновенно и со знанием дела и Соловьев сей портрет (как возможную себя потенцию)?.. Ведь и он долгие годы носился с проектом воссоединения церквей (сам благосклонен к католицизму) и мечтал России возглавить вселенскую теократию: государство-церковь, что установит Царство Божие — и на земле и в веке сем прямо... Оптимист! Утопист!.. Как и когда в 1881 году предложил царю простить-помиловать убийц его отца: тем чтобы царь, на трон восшедши, сразу заявил себя первосвященником христианским, а не «кесарем»!..

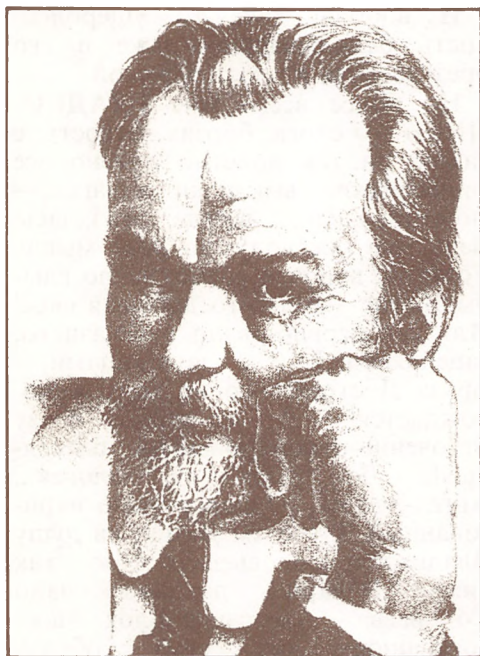
Конечно, в Соловьеве, как в сосуде тончайшем,—рефлексия, самокритика, ирония над собой... Правда, меня даже неприятно удивили юмористические стихи Соловьева: как жутко снизили они его романтический образ вдохновенного юноши-гения, моцартианский! А тут — как скрежет по стеклу: похохатыванье бесенятское. Как тень... — да, значит, нужная его От-Свету...

И вообще какая-то ущербленность безжизненная — даже в его брезгливости к плоти женской...

Но более всего мне ГЛАДКО-ПИСЬ его слога: борзая легкость, с какою он так полетно и ясно все философские выкладки излагал, — подозрительна всегда казалась. Ведь как тяжелодумно роет мысль Толстой, ворочая косноязычно глыбы Бытия — и что-то добывая свое! Или как нервно-рвано и неказисто, зацепляючись и с заусеницами, — фраза Достоевского на ходу живо рождается!.. А у этого — сразу отточенно-отполированная, блестящая!.. Да... Дух — не человек... Ангел-демон... Одновременно нарисованный Врубелем Демон на душу Владимира Соловьева похож — так вижу. Недаром духовное чадо Соловьева — Александр Блок — восторженное эссе сему образу посвятил.

...Прошелся. Остановила меня на себе вырвавшаяся формулировка: «Мысль ему любимее, нежели Истина сама»... А что? Если Достоевский мог возлюбить Христа пуще Истины, так ведь и философ может!.. Ведь что есть Истина? = Ёстина: то, что есть. А Мысль — может помыслить и то, чего НЕТ, Небытие, и возможное Бытие предположить, и должное стать построить: подвижное она Духу орудие — Мысль. А Истина — встала и стоит, Федора-дура...





## Розанов

20.03.88. Розанов — это: Аз — есмь! Вот он я, Господи! Никто за меня не умен, не решит, не счастлив! Я — живу! Никаких глобалий: ни прошлого, ни будущего, ни «путей Истории», ни «судеб России!» Абсолют — сей миг: из него весь смысл извлекаем. Да и слов таких: «Абсолют», «Единое», «Вечная Женственность» — знать не хочу, а любить их — тем более! Что их любить-то, вечные, нетленную красоту? Они и так бытийствуют, а любить надо вот этот комочек живого тела болезненной жены моей в драных перчатках, потому что новые — отдала дочери. Тленное-то — оно бесценнее, ибо вот есть — и нету! Над ним — дрожь и любовь, сверхбожественным, уникальным, единственным! Вот — Бог, а не Единое!

Таково возможное миро-воле-

изъявление каждого человека, если он так поверит в священность каждого мига своей жизни, как Розанов. Свое существование он ощущал как хождение пред Богом — прямо, как библейские перволюди на пустой еще земле и наедине с Творцом. Потому так внимателен к мигу и шагу; мыслью их метит и словом Богу наивно, как дитя: понял вот что из Твоего Творения! — выговаривает.

Но на такую-то «наивность» — отважиться надо было, особенно в России, где все претендуют от «мы» говорить и за сверхидеи общие прячутся, чопорно брезгливы к жизни и к физиологии тела — фи! дурно пахнут: подмышки да гениталии! Будто и не мыслители тут, а институтки ханжеские — и Соловьев Владимир, и Церковь вся христианская, что нос воротит от пола и зачатия. А ему бы, Ваське Розанову, и в миг последний живота своего прильнуть: целовать и обонять лоно женское — нет, прямо: женский половой орган (а не «лоно») или вымя коровы — священный источник Жизни, благоуханный! Как он еще мальчиком восьмилетним, сирота, спринцовкой лечил мать от женской болезни, ибо некому боле было, в бедности их сельской...

«Когда мама моя умерла, то я только понял, что можно закурить папироску открыто. И сейчас закурил. Мне было 13 лет», — так вызывающе жестко, без сентиментальных «соплей» — на эту тему. «Окончательная нищета настала, когда мы потеряли корову. До тех пор мы все пили молочко и были счастливы. Огород был большой. Гряды, картофель и поливка... Вообще жизнь была **ФИЗИЧЕСКИ** страшно трудна, „рабоча“...»

Да, бонны-немки не было (как у Соловьева). Каждый шаг жизни снизу вверх, из провинции — в Петербург — продавливался, был проблемой и мыслью с полным здесь вниманием. Нельзя было существовать, не видя близи и не ценя, а будучи

вперен сквозь вещество в даль и высь, как порхал Соловьев, аристократ и баловень.

Но в этом и благословение Божье Розанову и задание от Русского Логоса: впериться в близь и узреть ее торжественную небываль доселе и невидаль: миг Жизни, каждый, сей, текущий — как всемысл понять и выразить. «Я весь в корнях, между корнями. „Верхушка дерева” — мне совершенно непонятно... Все „величественное” мне было постоянно чуждо. Я не любил и не уважал его... У меня какой-то фетишизм мелочей. Мелочи суть мои „боги”». Отсюда и его жанр — открытие в русской литературе: мысль, схватываемая на ходу жизни в самонаблюдении, философская миниатюра. Вот: «Во мне ужасно есть много ГНИДЫ<sup>1</sup>, копошащейся около корней волос. Невидимое и отвратительное.

Отчасти отсюда и глубина моя (вижу корни вещей, гуманен, не осуждаю, сострадателен).

Но как тяжело таким жить. Т.е. что ТАКОЙ».

Никто до него так не вглядывался в себя. Ну, Толстой с юности вел дневник, где анализировал себя и судил-калялся. Но понимал это как частно-подсобное ко главной жизни и писанию дело: «заготовки» для будущих полотен-построений внеличных, от себя отрешенных. Розанов же понял себя как прибор Бытия, общезначимый во всех мельчайших и «постыдностях» (ибо такое — у всех), и осмелился всему дать Слово. И отчего бы нет? Ведь Бог-Слово — всехен и прямо глядит на меня, как и Солнце. Отчего же мне не сметь ему доклад писать, а кланяться кумирам выработанных культурой (философией) понятий-посредников: там «Благо народа», «Истина», «Демократия», «Россия», «Христос»?.. Моя жизнь — перво-

путь, в том числе и Крестный. Как первый день творенья и первочеловек я — и все первоизданно зрю! И потому всем готовым и расхожим уже в русской традиции идеям и понятиям почтенным Розанов дает поразительный преоборот: шибаящий в нос, как шампанское, неожиданностью и свежестью видения и выражения. Как озорник и хулиган.

«— Какой вы хотели бы, чтобы вам поставили памятник?

— Только один: показывающим зрителю кукиш.»

«Наоборошник» (так мой сын обо мне выразился: «мой папа — наоборошник!») — и в этом свое амплуароль среди всех групп и партий понимал и сознательно осуществлял, всех дразня. Вам, политикам, дорога Конституция? Манифест 17 октября? — «Папироска после купанья, малина с молоком, малосольный огурец в конце июня, да чтоб сбоку прилипла ниточка укропа (не надо снимать) — вот мое «17-е октября». В этом смысле я «октябрист».

И сразу отстранена вся сфера политики и толканий России к какому-то «лучшему будущему» и изменениям... Ведь это все — от бездарности и глухоты слышать наличное Всеблаго Бытия. Раз твое Всеединое, Соловьев, — во всем, то вот и в ниточке укропа — Бог. («Будда — это кусок дерьма» — парадоксально в дзен-буддистском коане заявлено.) Потому Розанов — принципиальный консерватор и противник всяких социализмов (что отменяют его «я» и его жизнь и мысль прямо во Абсолюте) и революций, и хлестко это все высмеивает, как слепоту к Жизни и жизненно-интеллектуальную бездарность и импотенцию — половую. Остро заметил, что отличнейшие умники и революционеры в истории — бессмейны и бездетны (Декарт, Кант, Белинский и проч.). Главные человеку страдания, проблемы и решения — не в политике, а в поле... «Связь пола с Богом — бо́льшая, чем связь ума с Богом,

<sup>1</sup> Здесь и далее в цитатах выделения Г. Д. Гачева.

даже чем связь совести с Богом, — выступает из того, что все асексуалисты обнаруживают себя и а-теистами. Те самые господа, как Бокль или Спенсер, как Писарев или Белинский, о „поле” сказавшие не больше слов, чем об Аргентинской республике, очевидно не более о нем и думавшие...» «Семья есть самая АРИСТОКРАТИЧЕСКАЯ форма жизни... Да! — при несчастиях, ошибках, „случаях” (ведь „случаи” бывали даже в истории Церкви) все-таки единственная аристократическая форма жизни.

**СЕМЕЙНЫЙ** сапожник не только счастливее, но он „вельможнее” министра...»

И во имя этой абсолютной ценности и правды: зачатия, рождения Жизни — он отворачивается от Нового завета и христианства и монашества, от лишь снисходительной к браку Церкви — и восславляет Ветхий завет и иудейство с его поэзией «брачного завитка». С каким вкусом в его статьи и книгах пересказаны и продуманы брачные обряды Древнего Востока (с его культом Фаллоса и Лотоса), Египта и Израиля: Бога Живаго он чуял, «обонятельное и осязательное отношение еврейства к крови»; и как, напротив, в России, и так морозной и чахлой на жизнь, еще и христианская идеология унизила любовь и Эрос и половую жизнь людей, воспевая девство и аскетизм! То — «люди лунного света» (то ли гермафродиты, то ли гомосексуалисты, то ли импотенты...). «Темный лик» — он даже в Христе узрел, кто внепол-андрогиен, не мужик!.. Христос «оскопил Бога». Розанов — язычник, солнцепоклонник, за Бога Ветхого завета. «Попробуйте распять солнце. И вы увидите — который Бог» — т.е. Офо или Иисус? «Бог охоч к миру» — т.е. полово страстен. «А мир охоч к Богу». Так, кстати, и в космологии Соловьева...

Как публицист, он исследовал «Семейный вопрос в России» и из

сотен страдальческих писем к нему составил два тома... У людей превратные понятия о ценностях, и ложный ум забывает живую и праведную плоть, запирает женское лоно во девичество и эмансипантскую умственность. А между тем «Всякий оплодотворяющий девушку сотворяет то, что нужно (канон Розанова, 28 ноября)». «Жена входит запахом в мужа и всего его делает пахучим собою: как и весь дом.»

На Западе тоже в это время на проблемы пола и секса выходит Ум: «Пол и характер» Отто Вайнингера, Фрейд: «либидо», «вытесненная сексуальность», «комплекс неполноценности» и «Эдипов комплекс»; взгляд-перегляд с этой точки зрения и поведения человека, и сюжетов искусства, и мифов древних (Юнг). Но пол там — в негативе, как придавленный, и источник психозов и неврозов, и надо культуре его пригасить, чтобы в сублимации человек возрос в Дух и науку и славу. У Розанова же первобытно-языческое, ну, ренессансно-восславляюще-радостное Возрождение славного Эроса на Руси — как широкая ей масленица во Логосе и миропонимании — творится. И сам он ликование семейно-любовной жизни во чадородии и взаимопонимании, как никто, воспел... И понятно: сирота, с отчимом в детстве и ошпаренный в первом браке со знаменитой эмансипанткой Аполлинарией Сусловой (которая и с Достоевским была), — как он возлюбил свою Варю — «Друга», «Мамочку», что пять деточек (из них четверо девочек) ему подарила и полноценным семьянином дала прожить! Пяток детей — целый выводок! Какая Беатриче и Лаура, отдаленно, на расстоянии и ритуально неприкасаемо воспетье, как Женственность-София Соловьева или Прекрасная Дама Блока, — сравнятся с этой поэзией физиологии животрепещущего супружества, где каждое наблюдение-переживание и словосказание — первооткры-

тие в ценностях бытия и в литературе!.. Нет для него ничего «низменного»: чем ниже — тем священнее! «У меня никакого нет стеснения в литературе, потому что литература есть просто мои штаны» — естественно купается и в Слове, как в Жизни... А когда пишет, то «для вдохновения» держится левой рукой за «источник всякого вдохновения» («лучше пишется»). Как подсоединяя к источнику тока мыслей, заземлял электричество ума, головы верхней — к местоположению нижней...

В это время в России уже почтенная наука образовалась: физиология (Мечников и Сеченов и Тимирязев); но у них она лишена метафизического смысла.

С другой стороны — все выше в интеллектуальный Китеж воспаряют вослед за Соловьевым профессиональные философы: князя Трубецкие, Бердяевы и Булгаковы. (Правда, Флоренский, «самый умный», по Розанову, с кем он дружил, — пол священно тоже понимал). Еще и поэты-декаденты-символисты в теософскую эротику вдались — но тоже всухую, без зачатия-рождения-жизни... Один Розанов тут здорово - раблезиански - ренессансно карнавалит и самочинно воцерковливал и освящал.

«Все мои пороки мокрые. Огненного ни одного.

Ни честолюбие, ни властолюбие, ни зависть не жгли мне душу.

Как же мне судить тех, кто не умеет совладать с огненными пороками (а я их сужу), когда я не умел справиться со своим мокреньким».

Хтоничен он, как отец Карамзев, сыроземен. С недром Земли все время связь имеет. Потому и право за собой чует нападать на сухих поверхностно-исторических умников и политиков — и ВСЕХ направлений. Только причтут его одни ко своим — глядь, он их с противоположной позиции тузит! Как угорь и Протей, как змей умный, выскальзывает. Ни к какой группе и мафии

не прикреплен. Потому-то Розанова знают и как горячего юдофила (в метафизике и психологии), и как антисемита (в политике).

Но — как уже видно по вышней мысли его — сам на себя постоянно покаянно оборочается и укоряет, колли судит, а права не имеет...

Так что никаких-то «взглядов» устойчивых и «позиций» и «убеждений» у него нечего и искать: противопоказаны его подвижности жизненности и ума. «Какого бы влияния я хотел писательством? Унежить душу... — А „убеждения“? Ровно наплевать».

Принципиально асистемен он и аморфно его писание: не трактаты, а «опыты». Зато ясен его метод: вживаться-вмысливаться беспредельно в сей миг и ощущение и сюжет-проблему, вбуриваться. Каждый ход его вчувствующей мысли — как пункция: сквозь кость мозг добывающая, суть — с более глубокого уровня, нежели может мысль системная и обобщающая. Опыт — как до-пыт: пытающее наблюдение. Он ЛЮБО-ПЫТ — и так ЛЮБО-МУДР.

А нюх его гениален: по смеху, как пес, учуял сатанизм Соловьева: в нем было что-то «врожденное и вдохновенное и гениальное от грядущего „царя демократии“, причем он со всяким „Ванькою“ будет на „ты“, но только не он над „Ванькою“, а „Ванька“ над ним пусть подержит зонтик».

Розанов — не системник, а семенник идей и даже возможных систем. Ибо из каждой его миниатюры, как из семени-зерна, может быть часто развит роскошный взгляд на целый круг проблем. Например: «Мало солнышка — вот все объяснение русской истории. Да долгие ноченьки. Вот объяснение русской психологичности (литература)». Да это целая концепция Русского Космоса и присущего ему типа Истории, Логоса и Психеи!..

«В России вся собственность вы-

росла из „выпросил”, или „подарил”, или кого-нибудь „обобрал”. ТРУДА собственности очень мало. И от этого она не крепка и не уважается.

«Воображать легче, чем работать: вот происхождение социализма (по крайней мере ленивого РУССКОГО СОЦИАЛИЗМА)».

«Русская жизнь и грязна, и слаба, но как-то МИЛА» — вполне эта запись на правах стихотворения — Тютчева, например: «Эти бедные селенья...»

Мысль - пункция, пронизательность острейшая — и, конечно, язвеще односторонняя всегда (ибо в другом месте также односторонне себя же, первую мысль, — и опровергнет). У Соловьева — многосторонность сразу (но оттого и экстенсивность мысли и выражения), а у этого какая-нибудь одна сторона («в единственном числе» в данный момент пронизается мыслию, но зато так энергично, что в ней чувствуешь присутствие всего Абсолюта: мелочь — как его ипостась и всепоглотитель. «От устости моих горизонтов происходили некоторые ПЛЮСЫ во мне».

Вьедливость — и в человека каждого: не так парил, не замечая, как Соловьев, но вникал и любопытствовал, и особо физиологией и «нижним бельем» писателей...

Соловьев и Розанов в саду Русского Логоса — как Соловей и Роза. Один взвивается в небо, на все лады переливается, щелкает, создавая «самый полнозвучный аккорд» русской мысли (С. Булгаков так о нем); а другой — та еще Роза! Вся в шипах!

Но радостно-ядовит ее укол, охраняющий священство ее бутона (фалла) и чашечки-розочки «брачного завитка» женского, жизнеродного...

«Всемирность» — решительно чепуха, всемирность — зло. Это помесь властолюбия одних и рабства других... Не спору: есть Бог Универсуса. Но мне как-то более нравится «Бог гнездышка».

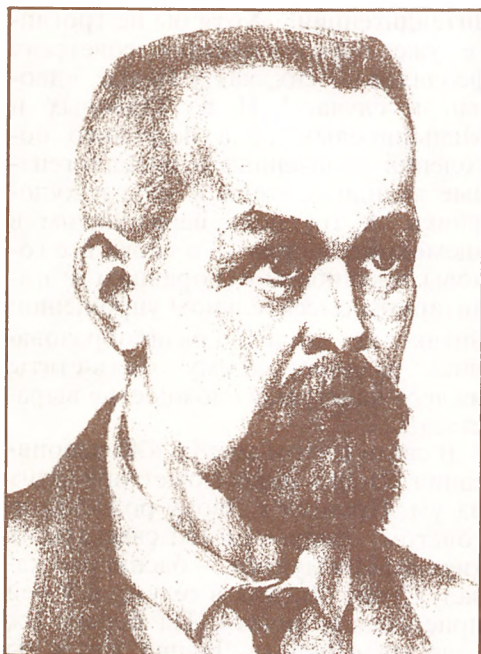
Розанов — это частная (честная) мысль — и в адекват и в аккурат сему — частное издание — автора. У нас же — ГОСиздат и мысль всеобщая (стертое клише и общее место), для чего редакция стирает и полощет-выплачивает всякую живинку, чутким нюхом нападает именно на самое «солнечное сплетение» мысли и фразы (наблюдение В. Б. Шкловского) — и его изымает, отчего организм рассыпается и превращается в искомый ими механизм...

Розанов не строит (как Соловьев, что — мужик, в этом смысле), не владеет даже своим вниманием: признавался, что внимание им владеет и водит-перебрасывает с предмета на интерес. Он — баба и чутко приметил «бабье в русском»...

В его шкале Целесообразность важнее Причинности. Ну да: последняя чинит-строит, зачинает; мастеровое дело, — ургийное. Целесообразность же волочит спереди: ее только слышь и отдавайся — и все будет в порядке... Недаром и первый его философский трактат — «О понимании» — женская способность, в отличие от Знания — самоуверенного и жесткого...







## Князь *Э* Евгений Трубецкой

21.03.88. Из древних Рюриковичей к рубежу XIX-XX веков вывелись два утонченнейших мыслителя, Диоскуры русской философии: Сергей и Евгений Трубецкие, друзья и последователи Владимира Соловьева. Тысячелетие на это потребовалось: чтобы с Кесарева уровня княжения, практически государственной деятельности, утончиться-воздвигнуться в Дух, кшатрию стать брахманом (если по индийско-кастовой терминологии). И естественно-органически это вышло просто потому, что всё испытали: и богатство, и власть, и все сласти-прелести; пресытились и сами отвергли всю эту грубятину, поняв высшие ценности и радости жизни в Духе, труда — в

мысли и Слове (да, именно труженики они, эти свержаристократы, были скромные и великие!) — и осуществив. И, напротив, кто «из грязи — в князи», тот стремится как можно более урвать себе благ материальных и почестей, жрать и жрать без конца, драть и драть в отмщении, и наестся, желудок имеет нескончаемый ибо здоровый, — не то, что «голубая кровь» английского лорда, которой довольно овсянки и чаю с молоком, так что дешевле обходится нации такого прокормить... А в нем еще и со-весть и покаяние — за вины предков: «кающийся дворянин» — важный персонаж русского демократического движения, даже революции. (А у «нувориша» и молодого господствующего класса — никакого чувства вины, совести, покаяния: напротив, долго уверен, что перед ним все виноваты: и страна, и история, и другие «классы», и право за собою чувствует все хватать и всем перепользоваться! Сколько поколений нужно, чтобы в таком пробудилась совесть и утонченность!)

И, кстати, Трубецкие — таковы: князь Сергей, став ректором Московского Университета, добился самоуправления для всех университетов в бурные 1904-1905 годы. А на съезде Земства произнес 6 июня 1904 года обращенную к Государю знаменитую речь: «Ненависть, неумолимая и жестокая, накопившаяся веками обид и утеснений, обостряется нуждой и горем, несправием и тяжкими экономическими условиями, подымается и растет... Нужно, чтобы все Ваши подданные, равно и без различия, чувствовали себя гражданами русскими... Мы хотели бы, чтобы все Ваши подданные, хотя бы чуждые нам по вере и крови, видели в России свое отечество. Народное представительство должно служить делу объединения и мира внутреннего».

Вообще, что есть в каждой стране-народе его аристократия? Все эти древние роды-фамилии: Вяземский,

Волконский, Черчилль, Чавчавадзе, Гогенцоллерн?.. Это же как «культурный слой» в археологии, что веками отлагается. Это как хумус — плодородящий слой в почве... А перережь-перелопать его: как быстро-просто делается (как и Дуб срезать, а нарастить — попробуй-ка!) — именно «дешево и сердито»; а точнее — наоборот: сердито (отмстительно) начали — да дешево-бедно вышло!.. Род Трубецких — да это же как храм на Нерли для страны, памяти-культуры, — только не из кирпичей, а из живой плоти мужчин и женщин!.. И человек с такой фамилией — как земля целая и губерния: их органический вырост-представитель и заложник за страну: на себя принимает ответственность, ибо звенит, как колокол, его фамилия — ему не укрыться — это тебе не Васька Розанов, безродный плут и озорник, кто отвечает только за себя, для кого государство — это «они» кто-то, и он легко критиканствует, ругая чужое... И в то же время кому они нужны за рубежом страны, эти фамилии?.. А мы их, миллионы живых храмов на Нерли и усадеб Останкино и Ясных Полян, сей культурный хумус России, как картины распродали, не ведая, что творим, — вышвырнули с ходу революционного... Миллионы живых замков и духовных стрессей, интеллектуальных и художественных, — вышвырнули. Вспомним «корабль философов», на котором в 1922 году в остракизм отправлен цвет русской мысли. Да еще спасибо и гуманно: живыми оставили... Почему и как это сделалось — понятно: вековая ненависть народная... (Хотя такое ли уж это доброе качество, мотив поведения? Почему человек-ненавистник — это плохо, а класс-ненавистник — это хорошо?) Но вот хорошо ли это стало-обернулось для страны и цивилизации в ней и ее богатства и культуры — в итоге-то?.. Теперь понаращивай-ка, построй-реставрируй подобный цвет

интеллигенции!.. Хотя бы не трогайте уже образовавшихся советских феодалов — сих, как у Петра, «дворян в случае!» И из Орловых и Меншиковых-то за несколько поколений утонченные и интеллигентные вышли деятели и умы и художники. А то снова перелопатим в «демократизации» — и снова все голы посшибаем и поравним в эгалитарном смесительном упрощении: никак не дадим разнообразию разнопородному быть-стать, из чего «цветущая сложность» вырастает...

В связи с этим мне из «Жизнеописания Эзопа» один сюжет приходит на ум. Пришли к Эзопу родосцы за советом: следует ли им свергать их тирана? Им мудрец — басню рассказал. Стоит Лисица в омуте, и к ней присосались пиявки. На берегу Еж говорит: «Лисица, Лисица, что ж ты мучаешься? Давай я отдеру с тебя этих пиявок — тебе легче станет». На это умная: «Не надо, друг. Эти, что меня сосут, уже налились моей кровью — и не так сильно сосут. А вон смотри кругом: плавают молодые да тощие и как много их! Только ты от меня этих отдерешь — присосутся те — и тогда мне уже полный каюк!»

Если как Лисицу мы Россию, как страну, и природу, и народ, пойдем, то кто ее повысосал попуще, какой класс? Барыня Раневская или промышленник из народа Ермолай Лопухин?.. Но тот — хоть хозяин толковый: не даст все погубить — доход потеряет! А вот уж массовый господствующий класс бюрократов из ненавидящих труд рабочих-люмпенов, для кого один принцип «грязной тачкой рук не пачкай! Это дело перекурим как-нибудь!» — вот они и засели за чистую работу писанины литературы резолюций, постановок и указаний — и перекурили и Байкал, и тайгу, и нефть и газ из недр (кровь и дух высосали), и миллионы крестьян-земледельцев; а им и не видно и не слышно в их кабине-

тах, и никто не в ответе: коллегиально же! Соборно!

Это я — не в укор, а в урок: чтобы сложность и неисповедимость путей истории и непредвидимых результатов наших будто поначалу благооправданных деяний и «свершений» исторических — иметь в виду и в осторожности разума...

К примеру — живопись. Плебей-купчик из русского народа Васька Розанов присосался к эмблематике Древнего Египта и Израиля — но не за красоту, а за прагматику брачно-обрядовую: везде фаллы да вагины изукрашенные усматривая — живородность низовую, половую, что проще пареной репы да всем доступно (хотя в уме и культуре — не видно и не оценено, и в том его, Розанова, заслуга — революция, нововведение). А князь Евгений Трубецкой, выросший в музыке и знаток живописи и изощривший ум свой философией, пишет «Умозрение в красках» — первое философское прочтение древнерусской иконописи, за чем последует и «Иконостас» Флоренского и проч. И идея его двухтомного труда «Миросозерцание Вл. С. Соловьева» образом иконы пояснена:

«В соборе св. Владимира в Киеве есть знаменитая фреска Васнецова — «радость праведных о Господе». Мы видим перед собою несметную толпу ищущих Бога. Бога не видать, но Он угадывается как общая цель, к которой со всех сторон устремлены пламенные взоры: Он чувствуется во всеобщем стремительном движении, полете человеческих душ, как невидимый для них самих источник вдохновения. Невидимо то самое, в чем всё и все едино. У самого преддверия рая три строгих ангельских лика отделяют верующих от мира Божественного: они обозначают собою грань двух миров, отделяющую посястороннее, здешнее от предмета человеческого искания — за ними в сиянии радужного неба предчувствуется потустороннее, запредельное.

В этом видении художника воплотилось то самое переживание, которое составляет жизненный нерв всего творчества Соловьева. Так же точно перед его умственным взором проходили вереницы ищущих, вопрошающих. Так же ясно он видел перед ними ПРЕДЕЛ, положенный всему относительному, временному, конечному. И так же глубоко он чувствовал и угадывал запредельный, бесконечный смысл всего этого полета человеческой мысли, воли и чувства, — смысл для ищущих невидимый и многим из них — неведомый» (с. 97).

То, к чему все тянутся, — невидимо, но действительно-действующе и ЕСТЬ: Абсолют, Верховно-вышнее. Розанов же ВСЕЕДИНОГО не видит, а от верха и света в мокроту пола жадно устремлен, где «земешь в руки — маешь: вещь!» — физиологически священный материализм. Но, взяв у семитов их метафизику русским в урок — их уму и понятиям, тут же, в бескультуре гражданственно-юридическом, атакует евреев в антисемитском ажиотаже вокруг «дела Бейлиса».

Патриот — и князь Евгений Трубецкой. Но русскую он ум-мысль извлекает из фресок храма Софии, а в политике ратует за конституционное равноправие и гуманность к инородцам. Разница — уровней!.. Но и оба да будут (в понятии, не в действии) — и да не аннигилируют один другой... Тогда богата страна и цивилизация, спектральна, как Радуга-Радость — любимый образ Евг. Трубецкого. Радуга — мост с Неба на Землю, многоцветие плоти и земных относительных порождений, как божественных, Абсолюта ценных, — символизирует, подтверждает.

В этом — его расхождение и с Вл. Соловьевым, учителем, перед которым благоговел вначале и кого они, князья-друзья, у себя в усадьбе «Узкое» приютили. К Государству, которое их, Трубецких, род создавал и

в нем работал, они не могут так легкомысленно относиться, как все же малородный интеллигент из рязнчннцев Соловьев, что в две крайности впадал. В начале жизни, как нигилист, Соловей-разбойник-ушкунник, на него подсвистывал, а в марте 1881 года с «розово-христианским» демагогическим предложением сенсационно к царю обратился: помиловать цареубийц; в конце же ратовал за устройство на земле идеальной «теократии», смешивая в своем максимализме Абсолют «Царствия Божия», невозможный тут, с относительным, разумным порядком общественного обустройства на земле, что в наших силах учредить. Но смешение Бога и Кесарева скверно и тому и другому: Соловьев в итоге понизил Абсолют, освятив им Российскую Империю, — как будто она его органом на Земле призвана стать. А другие, видя, что из максимализма такого ничего не выходит, — вдались в анархию и отказ от участия в жизни Социума. Трубецкой же Евгений так об этом мыслит:

«Евангелие ценит государство не как возможную ЧАСТЬ царствия Божия, а как ступень, долженствующую вести к нему в историческом процессе. Кто хочет, чтобы жизнь человеческая когда-нибудь, хотя бы за пределами земного, претворилась в рай, тот должен благословлять ту силу, хотя бы и внешнюю, которая, по выражению Соловьева, ДО ВРЕМЕНИ мешает миру превратиться в ад. Путь к Царствию Божию — таков, каким он некогда явился в сновидении Иакову: он — ЛЕСТВИЦА, коей вершина — на небе, а основание — на земле. Тот ложный максимализм, который с мнимо-религиозной точки зрения отвергает низшие и посредствующие ступени во имя вершины, — во имя христианского идеала отрицает христианский путь — это МАКСИМАЛИЗМ НЕ ХРИСТИАНСКИЙ, А БЕСПУТНЫЙ...

Есть и такие последователи Христа учения, которые во имя формулы — «или все, или ничего» с презрением относятся ко всему ОТНОСИТЕЛЬНОМУ, в том числе и к государству. Это — точка зрения тех, кто хочет быть более христианами, чем сам Христос» (с. 582).

«У нас в России формула „или все, или ничего” чаще всего служит оправданием полного бездействия. С христианской точки зрения, однако, такое оправдание не может быть признано состоятельным: если один всемогущий Бог может быть ВСЕМ, то отсюда не следует, что человеку дозволительно быть НИЧЕМ. Для него ЧТО-НИБУДЬ все-таки лучше, чем ничего; если он не в силах быть СВЯТЫМ, то отсюда отнюдь не следует, что ему дозволительно не быть порядочным человеком. С евангельской точки зрения всякая положительная величина, хотя бы и малая, должна быть предпочтена полному ничтожеству» (с. 584).

Хотя тут Достоевский и Розанов могли бы и втык князю сделать, напомня о сыне блудном, о «разбойнике благоразумном» и Магдалине: от бездны греха-падения переход через покаяние к святости — возможнее, чем от послушного сына, кто «тепел»... Тут — гениальный парадоксализм христианства... А у этого — линейная логика в сей выкладке...

Хотя тут разное — в виду: «все или ничего!» можно предьявлять в любви, к личности, к себе. А к учреждению — чего ж от него любви к тебе требовать? Достаточно, если по закону отнесется; умерен будь к наруже и власти, а уж максимализм — к себе! А то мы — ишь(!) рессантимантны как! От власти требуем отцовско-материнской «заботы» и чтоб нас любил! — как в повести Венедикта Ерофеева «Москва — Петушки» герой бухой философски вопрошает: «А как ты думаешь: где нас больше любят: по ту или по эту сторону Пиренеев?»

И сейчас — сколько у нас чисто-

плюев, что со стороны смотрят на усилия власти в «перестройке»: скептически и не участвуя! И сам я, привыкший отстраняться в аполитичность, — вот этими вышними аргументами — себя уговариваю: «Участвуй! Не презирай медленных шагов и малых дел»...

«Мирской порядок — вообще **ОБЛАСТЬ ОТНОСИТЕЛЬНОГО**. Тем самым изобличаются две крайности в области религиозных воззрений — и то учение, которое видит в мирском **БЕЗОТНОСИТЕЛЬНУЮ ЛОЖЬ**, и то, которое верит в его превращение в **БЕЗОТНОСИТЕЛЬНУЮ ПРАВДУ**» (с. 584).

Главное и последнее сочинение кн. Евгения Трубецкого — книга «Смысл жизни» (М., 1918 год) — писалась в годы катастрофы Первой мировой войны и в предчувствии грядущих разломов. «Потребность ответить на вопрос о смысле жизни в такие эпохи чувствуется сильнее, чем когда-либо. ...Где глубочайшая скорбь, там и высшая духовная радость. Чем мучительнее ощущение царствующей кругом бессмыслицы, тем ярче и прекраснее видение того безусловного смысла, который составляет разрешение мировой трагедии» (с. III).

Смысл жизни — в чем он? В знании этого заинтересован простолюдин и утонченнейший художник. В ответе на этот вопрос — прямая практическая польза всякой теоретической философии: она должна объяснить: есть ли он? А если есть — то в чем? Обосновать свое решение и дать человеку пути к его постижению и осуществлению. Смысл жизни — здесь встречаются и здравый смысл, и отвлеченное умозрение, и уроки истории, и религиозная вера, и личный опыт — и состязаются в решениях. Евг. Трубецкой стремится привести их к единству с помощью хрустально-прозрачного размышления — и это ему во многом удается.

Смысл = Со-мысл: с кем-то, с

чем-то — уже предполагает два уровня бытия: где поток существования, где жизнь наша и откуда средь мировой сумятицы выкидывается, как вопль и мечта, — мечта о смысле, как жажда компаса = «сопутника», — и уровень недвижных ценностей и идей, как звездное небо, по коему сверять путь. Уже само задавание вопроса: есть ли смысл у жизни и в чем он? — есть пол-его решения: как раздвоение человека на живущего и мыслящего, акт самооглядки и рефлексии, которою сверяет и примеряет и сличает (с Верой, Мерой, Лицом-личностью: «образом Божиим»...).

Но идее смысла противится зрелище всеповторяющейся крутели нашего существования: как белка в колесе или как осел за приманкой соломки бредет, так и мы: рождаемся, брачемся, рождаем себе подобных, умираем — и «все опять повторится сначала» — чего ж хорошего?.. И из-за этого-то и мучиться и на что-то тут надеяться? Зрелище вечного возвращения как порочного круга навеивает пессимизм: Сизифова работа, ад повторений. Чорт в «Братьях Карамазовых» — Ивану: «Ты думаешь все про теперешнюю землю. Да ведь теперешняя земля, может, сама биллион раз повторялась: ну, отживала, трескалась, рассыпалась, разлагалась на составные начала; опять же вода, яже бе над твердию; потом опять комета, опять солнце, опять из солнца земля; ведь это развитие, может, уже бесконечно повторялось и все в одном и том же виде, до черточки (революция, застой, перестройка, борьба за мир... = тройка, семерка, туз... — Г.Г.). Скучища неприличнейшая».

Недаром именно Чорт такие нам соображения внушает: погрузиться в отчаяние и просто развлекаться или убивать — ничто не имеет значения, все — равно. (Равенство! Энтропия...) Хитрее уловка тех, кто будто бы **ГАРАНТИРУЕТ** наличие смысла жизни, если только пойдешь за

ними и в их веру и группу: всякое «мы» не менее, чем «я», смертно — и тут лишь отсрочка бессмыслицы. Нет, смысл в полной мере — плод нашей свободно-личной воли к благу, он творчески в любой момент, а не тварчешк-рабск, где мы готовенькое получаем. Данное — это уже не СО-мысл. Ибо раз СО — то диалогичен: в той же полной мере он мой — как и того, с кем и чем. И пространство смыслов — это как стговор человека с Истиной посреди и несмотря на сумятицу видимой бессмыслицы, что манит и обманывает. Смысл — Богочеловечен, и нам он — в усилении: от зверочеловечества (войн и вражды) — к Богочеловечеству: путем Любви и жертвы. Тогда и страдания имеют смысл: «Вы печальны будете, но печаль ваша обратится в радость. Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее; но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир». Но тогда и наши действия среди относительных вещей и малых целей, интересов и ценностей житейских имеют смысл в той мере, в какой пронизаны этим вектором ко Благу, адресованы мною к нему. **Бог есть интеграл моих благоволений** — и так сокровищница всесмыслов, пребывающая «и ныне и присно и вовеки веков»... Через страдание и страстотерпие (а их предстояли мириады в грядущем веке, и князь будто предчувствовал и заранее вооружал душу на их перенесение) человек претерпевающий облучает Благом даже мучителя (= мученика злобы своей) и орудия казни: материю — одухотворяет, причащает к человеческому и далее Божескому смыслу-Слову. И потому крест (орудие пытки и казни и злобы) назван «животворящим»: в нем «горизонталь» земно натуралистической жизни нашей в телесно-материальных заботах и деловых суетах — на «вертикали» устремле-

ния в высь к свету (как и человек вертикально стоит и возносится), и оба эти направления нужны; недаром и в молитве главной сочетаемы: «да придет Царствие Твое» и «хлеб наш насущный даждь нам днесь»: Божеское — с человеческим, «макро» — с «микро» сочетаемы необходимо. И опять же это не значит, что Смысл (и Бог) — дан, а если смысла нет, то все позволено...

Собственно, да, «все позволено» (само по себе), но Ты себе не все позволишь, а только волишь Благое — вот этого от тебя ждет Все-смысл, и ты его так сорождаешь.

Так зло побеждается изнутри (прежде твоей борьбой со злыми поползновениями в тебе) — и это распространяется и во внешний мир неким излучением (нимб, ореол — это уже у святых) благом, «аурой» вокруг каждого поступка и доброй мысли, что образуют поле позитивных смыслов, пронизывающее кутерьму-океан-кучу малу по видимости бессмысленных или даже злых деяний. Но и они: как вызов твоему здравому смыслу и благой воле — вмешаться и упражнить компас Высшего смысла, — тоже имеют смысл; точнее, обретают так, пост-тебя-фактум, а имеют его — в потенции, в «провокации» — тебя на благосмысленное поведение из свободной воли твоей и из любящего сердца.

Потому не надо отрешаться, а надо участвовать в даже микро-делах мира сего: всю ткань его надо так постепенно причащать-пронизывать Всесмыслом — и поднимать и одухотворять («спасать»). В том числе и в борьбе за мир участвовать и внешне обуздании зла. «Именно признавая мирской порядок „царством антихриста“, мы отдаем его во власть антихриста. А отказ от борьбы за мир есть недостойная человека, и в особенности христианина, капитуляция перед господствующим в мире злом» (с. 225).





## Блок

24.03.88. Блок. Нет: АЛЕКСАНДР БЛОК — так именоваться ему. БЛОК — немзыкально, сухо... А ФЕТ?.. Тоже — нет?.. Оба имени — немецки: германский закрытый слог, что знаменует индивида как Дом-Хаус, самостного, как Кант — философ жесткий, «яйный», глухой насчет музыки. И Блок всю жизнь комплексовал перед Музыкой, Хаосом и стихией, сам будучи профессорски педантичен по натуре и воспитанию (и в порядке на столе, среди бумаг): как бы стремясь усилием к открытости души и жизни, поэтической отзывчивостью противостоят кирпично-блочному каземату своей фамилии. (Как бы германский Haus перед Raum; Дом — перед Пространством преклонился...)

Да, Блок — новую страту и среду, тип творца в русском Слове являет: ИНТЕЛЛИГЕНТ. Если до того был Барин (большой или мелкий), Разночинец, из духовного звания... — то вот из профессорского (Бекетовы, Менделеевы, Соловьевы — его окружение с детства) и инженерного (по мужской линии); и среди женщин-литераторов Бекетовых: три сестры — энергичные писательницы и переводчицы; на стихи Екатерины Бекетовой Рахманинов написал известный романс «Сирень». Густая среда культуры и литературы. Властная мать-эмансипе, подавившая и первого мужа (отца Александра), а затем и сына, который всю жизнь избавлялся от статуса «маменькина сынка», да так и не смог: извращения были и его семейно-брачные отношения с женой, дочерью Менделеева, что тоже в свою очередь была в претензии к слабой мужественности супруга: обманул! перевел в дружбу и дух (в «Стихи о Прекрасной Даме»), а сам закованную в семействе душу свою раскрепощал — там, где простор и вихрь, воля и нет обязательств: где цыгане и улица, вино и снежные маски, и встреча на ночь, и Кармен: любовь — дитя свободы!..

А душа его — арфа: «ангельская лира грустит в пыли по небесах!», словами Тютчева сказав... Нет, и демонская: по жизни во плоти грустит, по грехе и разгуле, что тоже не удаётся, ибо — порядочен, воспитан слишком!.. А это — гнет — почище политического, ибо тот хоть снаружи и далеко, а этот: космос порядка, интеллигентный Домострой и рационализм — вот он ежесекундно тут, дома, в матери, в жене, в себе, в своей закованности — и некуда деться! То-то так понимал Блок пушкинское взыскание «тайной свободы», что необходима поэту для исполнения своего назначения: слышать стихии и претворять Хаос в Космос.

Да, пожалуй, даже наоборот: в Космосе-то и строе он перевоспитан

(как индивид и джентльмен закованный) с молоком матери и генами-кровью потомственного интеллигента, так что вырваться в неуправляемость, где «древний хаос.., родимый» (Тютчев), — на родину души и вольного вдохновения — в этом тяга его всей жизни. То-то он томился среди паллиативов: в богемной среде поэтов-символистов, на очень учено-порядочно организованной «Башне» Вяч. Иванова, и в театре «новаторском» (хоть и был среди них признан как первый поэт эпохи), — и лишь на роковом для поэта тридцать седьмом—тридцать восьмом году жизни, предсмертно, вырвался и срастился со стихией — Революции, и исторглась из него ее Музыка, а его лебединая песнь — «Двенадцать». Да, это — Блоковский «уход Толстого» из среды своей жизни (то-то так со знанием дела и души гвоздил интеллигенцию в статье «Интеллигенция и Революция»). Но это было и его самосжигание раскольничье, хотя это его всегдашний лейтмотив: «здесь человек сгорел» — на «снежном костре», и подобно себе он чуял и своего предтечу — Вл. Соловьева. И, конечно, не надо искать в «Двенадцати» отражения реальной революции и ее народа: на них Блок спроецировал свою суть, всю жизнь, рвавшуюся наружу, на свободу, свой чаемый образ мира: Музыку, Гармонию Хаоса, полнозвучие Всеединства в раздере голосов, что, наконец, ему удалось расслышать в январе 1918 года и космизовать в строй и стих. Он слышал гул Духа Земли и узнал, что «сегодня я — гений».

Впервые человек дорвался до «МЫ»: от имени скифов заговорил к космизованно-упорядоченному романско-германскому миру Европы (в культе и культуре которого был воспитан), с сардонической ухмылкой смакуя, как «хрустнет ваш скелет в тяжелых, нежных наших лапах». Как «власть имеющий» заговорил он и в инвективе (обличитель-

ной речи) «Интеллигенция и революция» к своей художественной братии; так Христос разгонял бичом торгующих во храме Духа.

Это, конечно, в него вошла избыточная сила: вдохновлен апокалиптическим разломом мира — и ликует, «чуткий демон»... Но так, «пока не отвердел закон» (Есенин); когда же стихия свободная обуздана и музыка отлетела — ему перестало хватать воз-Духу, и он задохнулся — на третьем году Революции.

Итак — АРФА. Всю жизнь рвался издать чистый абсолютный тон, что был бы и простодушно искренен, волен, и оформлен, строен. И хотя уж стал первым среди поэтов, он-то чуял, что это все не то — и потому носил непонятную толпе трагическую маску. Ему и самому было противно такое амплуа, но все же в этой позе он себя комфортнее и защищеннее чувствовал — по крайней мере, от наружных притязаний, отдаваясь лишь внутренней муке, скуке и тоске — оттого, что это все — не то, что ему удалось сказать... И главное — недостаток пифийства, одержимости: слишком мастер и умелец формы сразу! Завидовал косяноязычию: «Мне мешает жить — Лев Толстой», — так он ответил поэту, что признавался в своей зависти к нему, Блоку...

Высшей его амбицией было (как у гениального актера, мученика всех возможных ролей) — сказать «не своим голосом», а голосом Бытия, стихии, иного слоя. Так и «Двенадцать» — народно-частушечной и блатной стихией-интонацией голосит, люмпен-пролетарской...

По поводу стихотворения «Голос из хора» («О, если б знали вы, друзья, холод и мрак грядущих дней!») он сказал: «Очень неприятные стихи. Я не знаю, зачем я их написал. Лучше бы было этим словам оставаться несказанными. Но я должен был их сказать».

То — долг Арфы: если налетает

ветер, малейшее откуда дуновение, — она не может запереть свою отзывчивость. Арфа — экзистенциально незащитна. И Блок такой был, а еще более таким себя выделял, выпрастывал от всех псевдозащит, какими человек обороняется от муки и трагедии многосложности бытия: кто — пряться за удобные убеждения позитивной науки, кто за силу группы-партии, кто за коллектив единомышленников в профессии, кто — за Бога и Церковь, кто за обычай народно-деревенской жизни на земле. Ни верха (Бога), ни низа (почвы) у Блока не было. Без «субстанции» существовал. Культура, Дух, Слово — его воз-дух и пространство жития — меж Небом и Землей. Потому-то так и рвался из помещения в открытые пространства — и все равно свивался бумерангом назад, в свою среду и дом, в кабинет и комфорт, раны залечивать — на день и отдаваться тутошнему безумию и суете («День проходил в сумасшествии тихом»), чтобы в ночь — выйти в неприкаянность и бесприютность: в метель и под фонарь, в тревогу... Но даже быт богемы чище и честнее, чем твой, обыватель, покой: «Ты будешь доволен собой и женой, Своей конституцией куцей. А вот у поэта — всемирный запой, И мало ему конституций!». Также и убаюкивающие себя «стройными» философскими выкладками насчет «смысла жизни»: будто Евгению Трубецкому, спокойно-академичному, шлет Блок свой стих про суету и бессмыслицу:

Запущенный куда-то, как попало,  
Летит, жужжит, торопится волчок!

И, уцепясь за край скользкий, острый,  
И слушая всегда жужжащий звон, —  
Не сходим ли с ума мы в смене пестрой  
Придуманных причин, пространств, времен...  
Что ж пора приниматься за дело,  
За старинное дело свое...

25.03.88.

— Засаживаем себя за труд, ремесло  
свое будничное — после всех мета-

ний и порывов ко Абсолюту, полетов и отчаяний там,<sup>1</sup> — за послушание относительного тканья... Так душа, ангельско-демонская, поплакав, потосковав о горней родине, откуда низвержена и послана на воплощение в теле земли, смиряется и приступает к исполнению долга, службы своей скучной, будничной, но — нужной зачем-то Бытию. Знающий себя гением преклоняется под ярмо и надевает хомут.

Вот это в Блоке, может, наиболее редкое и ценное: выброс, протуберанец, извержение стихийное и самоотдача Хаосу, — и одержание себя, самодержавие: жесткая дисциплина каждодневного труда, а не расхристанность в загул и запой. Широкая раскидность славянской души в нем сопряжена с волей к труду души германской. Он — их синтез, гибрид и всеединство: но не как тождество и упокоенность, а спор, живое действо, источающее сюжеты и смыслы, слова и стихи. И оттуда — амплитуда: чем мощнее отдача себя Хаосу и стихии в «славянской» бесшабашности, самозабвении и самоотвержении испепеляющем мотылька на огонь (не «солдат бумажный» Окуджавы он...), тем большая воля и усилие творчества требуются, чтобы это обуздать и ввести в форму. Шедевры Блока именно так получались: «Двенадцать», «Незнакомка»... В последней — зачарованность, некий ступор околдованной души, вперившейся в романтический «голубой цветок» и готовой идти за Нею, «с очами, полными лазурного огня». И потому неслышанная доселе музыка в русском слове родилась в тишине-медитации этого стихотворения. Но в нем и мысль: оберегать Незнание! Оно — «сокровище», и само придет-отдастся нам, если не лезем его ловить и превращать в Знание и овладевать

<sup>1</sup> Исповедальное писание того утра имеет-ся в виду, здесь выброшенное. — 9. 4. 88.

силою! Совсем на других путях: любви и благоговения и самоотдачи, а не преследования-исследования, к тебе придет Истина, София, Премудрость, Дева радужных ворот, Вечно Женственное. Тут Блок досказал соловьевское умозрение...

Как в Элладе был один храм, посвященный «НЕВЕДОМОМУ БОГУ», — как некий «ИКС», пустое множество, место для будущего заполнения-пришествия и уразумения, потенция... (ее затем христиане заполнили, объявили предчувствием Христа), так и в Русской Думе: Неведомому Богу (или Богине?) — выделяется самое «свято место»: оно — пусто — именно в чайнии, что САМ(А) взойдет и скажется. И непрерывно туда входят кандидаты: то Христианская Троица (Сергий, Рублев), то Гегелев Дух (Абсолют), то Православие и Церковь, то Россия, то Революция... — и очередно смахиваются черты — «Нет, не то!..» — и снова оставляется место, заполненное не объектом (свершением-решением), а чайнием, взысканием, любовью к... — чему?.. Любовь и знает (в тяге своей продуцирующей), но — не скажет, ибо иначе пропадет нужность дела-бытия самой Любви: как и творящей и (по)знающей энергии...

Вот это-то все на рассудочном языке я должен был примерно сказать, чтобы дать понятие о философском содержании «Незнакомки». Тут полностью сказалось преимущество поэтической мысли — над философскою: первая свободнее, полетнее, не связана долгом верности к своим предыдущим построениям, а может все в миг разрушать — и снова первоначинать (как Бог — свой Храм). Каждый миг — открыта Откровению-Вдохновению: может, на сей раз, в сей стих взойдет Истина сама?.. А философ разве что имеет единожды или счетное число раз в жизни озарение-откровение Высшего смысла, видение строя

Бытия (Декарт и Шеллинг даже точно даты зафиксировали: где и когда?..), — и затем уже всю жизнь им живет и его формализует-рассказывает рассудочком, в его чертежах выкладывает... Потому-то Философия и идет под конец своих трудов-усилий — на поклон к Поэзии: Ф. Шеллинг поздний, Вл. Соловьев, М. Хайдеггер, Л. Карсавин... (ну, этот еще — и по лагерной нужде...).

И в этом — сюжет Блока и символизма: свято место надо и содержать чисто-пусто, и в то же время оно «пусто не бывает» — и непрерывно туда находят прекрасные претенденты, явления частные (вот Незнакомка, вон Поле Куликово, Соловьиный сад) — и их надо ловить-описывать — и смахивать «случайные черты», и снова видеть: «мир прекрасен!». Зыблется все пространство Бытия и Духа, и частное лишь на миг намекает на Всецелое — и улечивается.

Потому Бог Блока — Ветер, Вьюга, Мятеж, Белый снег, Снежный костер, — что вмиг вычищают-высвобождают Космос мира и его души: он должен быть всегда пуст и готов для нового творчества. Всякое нагромождение (город ли, туча ль над океаном...) — враждебно вырождением Бытия. Из координат Пространства: даль, зов и полет, путь-дорога-странничество, перекаати-поле — вот что дрожит в его душе, на струне ее арфы, притом, что она не может сорваться и убежать, прикована к месту, чтобы именно дело свое исполнить: улавливать Хаос и претворять в Космос. Но это — и «убить!» Рок творчества:

В жаркое лето и в зиму метельную,  
В дни ВАШИХ (не моих! — Г. Г.) свадоб,  
рождеств, похорон,  
Жду, чтоб спугнул мою скуку смертельную  
Легкий, доселе не слышанный звон.

Вот он — возник. И с холодным вниманием  
Жду, чтоб понять, закрепить и убить...

С моря ли вихрь? Или сирины райские  
В листьях поют? Или время стоит?..

Прошлое страстно глядится в грядущее.

(«Пророчески-прощальный глас»  
Тютчева. — Г. Г.)

Нет настоящего. Жалкого — нет.

И, наконец, у предела зачатия  
Новой души, неизведанных сил, —  
Душу сражает, как громом, проклятие:  
Творческий разум осилил — убил.

Вот почему — грех чуял, Поэт:  
убийца жизни, дух угашающий!

Есть в напевах твоих сокровенных  
Роковая о гибели весть...

И любил погибель пуще жизни,  
влекся к ней. И потому время от  
времени голосил: «Чур меня!» — и  
исповедовался в любви к жизни (как  
Тютчев — к Матери-земле):

О, я хочу безумно жить...  
Он весь — дитя добра и света...  
Принимаю тебя...

Но чувство ВИНЫ (в отличие от  
ОБИДЫ), как где-то говорил Бер-  
дяев, — творческое. И потому из  
покаянности человека и восхищения  
наружей родилась великая русская  
литература XIX века, а из обижен-  
ности и обличительства — зудящая  
беллетристика и чтиво... Потрясаю-  
ща всепониманием запись в дневни-  
ке Блока от 6 января 1919 года:  
«Всякая культура... — демонична», и  
«демон — барин» — «ой, за нас  
ли?..» и что «НЕ СМЕЮ Я СУ-  
ДИТЬ» народ, гжущий мою усадьбу  
и библиотеку...

И потому мистический ужас испы-  
тывает поэт перед теми, кто — уве-  
рен и всякую вещь, дело, и место, и  
слово принимает не за намек и сим-  
вол, а за окончательную сказанность  
(= умерщсть, значит). То люди —  
мертвящие (чиновники, властители  
новые), хотя бы они на волне самой  
Жизни и вихря Революции были  
воздвигнуты. «Эти чиновники и суть  
— наша чернь...

Чернь требует от поэта служения  
тому же, чему служит она: служения

внешнему миру; она требует от него  
„пользы“... Чиновники... собирают-  
ся направлять поэзию по каким-то  
собственным руслам, посягая на ее  
тайную свободу и препятствуя ей  
выполнять ее таинственное назначе-  
ние».

«Если бы мир прекратил свои на-  
доевшие всем и бездарные занятия  
(я говорю, конечно, о войне), с кото-  
рыми лезет и пристаёт (всякий волен  
быть бездарным в своей комнате, но  
навязывать свою бездарность на  
улице — неприлично)!..».

А у нас бездарные эти занятия и  
речи многословные в связи с ними  
не стесняются, не затаиваются в ре-  
флексии тютчевского «Молчи, скры-  
вайся и тай...» у себя на дому, но  
торжествующе разглагольно запол-  
няют бумагу и эфир и слух на ули-  
цах и собраниях, отучая души от  
тишины и глубины, от вникания и  
сосредоточения...

Но и тут Блок не чистоплюйни-  
чал, а побуждал интеллигенцию иди  
ти сотрудничать с новым классом,  
направляя и образуя его, иначе сглу-  
пу сомнет, как танк, не замечая, раз-  
давит культуру, а потом очухается:  
«Да иде ж она?..»

Если на языке четырех стихий по-  
нять Блока, то дороже всего ему —  
Воз-Дух. Пушкина «убило отсутст-  
вие воздуха». Интеллигенции —  
«слушать ту музыку, которой гре-  
мит „разорванный ветром воздух“».  
Воздух — для Музыки. Но Музы-  
ка — антиСвет. Потому — Ночь,  
«Черный вечер» или сумрак, закат,  
заря, луна, серебристый месяц, цвета  
лиловые и синие, и перламутр... —  
мерцание света лишь приемлемо. Не  
день, не солнце, не лето. А — зима,  
мятель, «Ночь, улица, фонарь, апте-  
ка», «По вечерам над ресторанами».  
Не дневной свет, а лунный и отра-  
женный (зеркала, хрусталь, бокал).  
День = сумасшествие (как и для  
Тютчева); Жизнь Истины — ночью.  
И София — звезда в ночи, с неба  
падает — и вот она обернулась Не-

знакомкою (в пьесе). Абсолютно чужда — стихия ЗЕМЛИ: ее толща и вес-вещественность — задавливает. Читает поэт только свободную поверхность над землей: степь, поле, даль, чтоб там «Летит, летит степная кобылица и мнет ковыль...» — Русь!

Женское начало Блоку не Мать-сыра земля, т.е. «водо-земля», но водо-воздух, «туман» (как в Польскости...). Стихия ВОДЫ — тоже чужда. Лишь как снег и туман — приемлема: на гранях, канунах своего превращения — в воздух и свет, но безжизненный...

А ОГОНЬ-стихия? Он в двух ипостасях: ЖАР и СВЕТ. С одной стороны, Блока, мотылька воздушного, манит в Огонь-костер: сгореть, испепелить свою тяготящую плоть-землю и высвободить душу! Но, с другой, Свет — немзыкален, а Жар — лишь холодный («числ» и вьюги обжигающий хлад и ветер) приемлем и любим.

В первичном (дантовом) Вихре и Туманности, из которой образовываться лишь еще вселенным, — чувствует себя обитающим Блок по сути своей. А мир кругом — уже оземлянен, отвердел: город, история, культура, политика, вражда... Себя чувствует обреченной жертвой — прекрасно разубранной; и готовил всю жизнь себя на костер, и тосковал оттого, что вот еще раз остался демоном, Агасфером по России бескрайней, упырем. Все ждал последней трубы (эсхатологические ожидания тогда у всех). Ликовал, что 9/10 России уже погибло в Революцию. Но сам принимал на себя ответственность за то, что весь интеллигентный ген и кровь его вскормлены Культурой, и готовно алкал взойти на Голгофу, грехи мира Культуры на себя принимая. Потому ревнив ко Христу, и про «Двенадцать» записывал: «Не в том дело, что красногвардейцы «недостойны» Иисуса, который идет с ними сейчас; а в том, что

именно Он идет с ними, а надо, чтобы шел Другой... Но я иногда сам глубоко ненавижу этот женственный призрак...» — влияние Розанова... Но и Люциферово конкурентное отторжение: ибо сам Блок есть тоже «женственный призрак»...

Также и об Истории его мысли характерны: его динамизм не во Времени (эволюция, история, Богочеловечество, прогресс), но в Пространстве (вьюга и мятель и вихрь). Время — не важно. Лишь взрыв Времени — в Вечность. Такое было в I веке нашей эры — Христос и христианство; и вот теперь снова Начало времен, и задумано «Переделать Все!». Не новый виток мировой истории даже (круг он не принимал унылый, ницше и соломонов), а Перво-сотворение мира. И ему он, Блок, ангел-демон сгорающий, — Слово и Жертва и первоначало — ядро. Потому с таким азартом демоническим и в обаянии восторга — в вихрь Революции полетел и на костер ее!..

В таком контексте и координатах мировых — его понятия обо всем, естественно, необычайно глубоки и пронизательны: ибо всякая вещь и твердь, и мысль, и идея для него просвечены и сдвинуты со своих «естественных» мест — и на экране Всебытия вольного, вихревого видятся... Потому — читать и уметь через Блока!.. Но и — с осторожностью!.. Ангел-Демонизм...

Например, в «Ни сны, ни явь» (кстати, характерное для него пространство обитания) воспомнен некий «политический» на велосипеде, нелегальный, — вот он пришел к власти... «Но ведь „политический“, что бы ни произошло, всегда останется „политическим“ и „нелегальным“» — и в завоеванной им стране — не хозяин, а вор, разворовывает страну, что воровски приобрел, чему мы свидетели...

А страну Блок — как жену чуял; постоянно у него рядом:

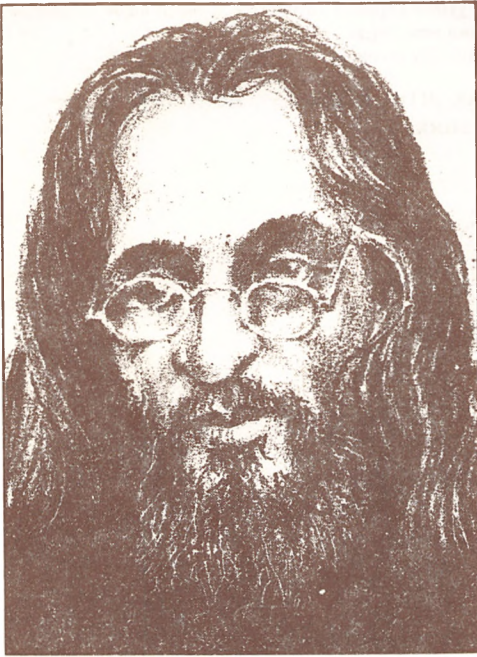


О, нищая моя страна,  
Что ты для сердца значишь?  
О, бедная моя жена,  
О чем так горько плачешь?  
О, Русь моя! Жена моя! До боли  
Нам ясен долгий путь!

Наш путь — стрелой татарской древней воли  
Провзил нам грудь  
«На поле Куликовом»

Так что Блок — не блок, а —  
сквозняк!





## Флоренский

26. 03. 88. Господи! Вразуми! Впервые священное лицо промышлять приступаю: подай трепет и благоговение и ум надмирный. Ибо двуми-рен таков человек уж: землян и небесен; причтен — к «причту» посредников между Небом и Землей, Духом и Материей, Отцом и Матерью, Абсолютом и относительностями. Ноуменом и Феноменом, Вечностью и Временем.

И вся его работа, Флоренского, в Духе и Слове — передать сей стык между Небом и Землей: и как самочувствие человека в Бытии, и как особое миро... Нет! — отчего только «миро»..? И Богом-и-миро-понимание, Бытие-понимание. А отчего «понимание» только? И — житие в Боге-мире зараз...

«По первым словам летописи бытия, Бог „сотворил небо и землю“, и

это деление всего сотворенного на-двое всегда признавалось основным, — так начинается Флоренский свой труд „Иконостас“. — Так и в исповедании веры мы именуем Бога „Творцом видимых и невидимых“... Но эти два мира — мир видимый и мир невидимый — соприкасаются. Однако их взаимное различие так велико, что не может не стать вопрос о ГРАНИЦЕ их соприкосновения. Она их разделяет, но она же их и соединяет. Как же понимать ее?»

Вот тема думы Флоренского на всю его жизнь. Всякую вещь и идею и миг жизни, будь то магнит, теория множеств, сон, гравюра, имя, шаг, — он видит в своей, особой, оптике, как взаимопрорасветивание и встречу видимого и невидимого: духа и вещества, — и тогда все есть символ, исполнено смысла большего (и даже бесконечного, ибо причастно к Бытию в Целом), чем вот сей факт и данность и форма: твой взгляд, осенний лист, формула «А есть А», складки одежды на иконе... И вся эта полнота бытия и смысла — не когда-нибудь, а — вот она! при нас! Бытие есть сбыточность радости и рая. Нет процесса и истории: ты, человек, уже искуплен и спасен — и только вникай и ликуй в роскошь храма-дома Бытия!

Откуда такое мирочувствие в человеке в наш Двадцатый век, век архистраданий, падений, отчаяний, поисков, восстаний к небу? Не проклятость (как Блок), а — благословенность?..

Флоренский = Флоренция русской жизни и философии: «цветение», высший цвет. И — Павел: «паулос», по-латыни, — «маленький», «мальчик»: умалился, смирил себя — до служителя-слуги: преуспевающий мыслитель и ученый — ушел из мира и принял рутинный труд священника в церкви: лишь бы быть, самочувствовать себя постоянно — в Лоне Матери, в Доме Семьи — дитятею. Детскость на всю жизнь = ге-

ниальность (по его, и вообще, толкованию).

Мы помним, как презрительно к чувственности Бытия относился ангел-демон Владимир Соловьев, тут только тоскующий и вспоминающий в темнице заключения в сей жизни и теле, среди скучных песен земли, — о райских звуках. И взгляд его — не видел близи, проскакивал, как сквозь несуществующее и несущественное и несусветное...

Совершенно иной взгляд — у отца Павла Флоренского: он просто вливается сладострастно в бархатистость Бытия, в аромат и струение всякой «такости», в устройство всякого механизма и листочка, проникая в нем торжество и присутствие всего высшего, его представительство и посольство во всех наших будничных предметах и словах и поступках. Они, видимые, именно СУСВЕТ-ны: со-смысленны с невидимым, суть его «обличение» и символы, воплощенности. Каждое явление — торжественно, есть микрооткровение, сказ и завет Всего Бытия.

Да он же — в раю! То — самочувствие Адама — в Эдеме! И как же такой себе учредить остров спасенности — в нашем аду?

Какой же «ад»? Ад есть «А-ид», — начнет вдумываться и толковать Флоренский. А по-гречески это: «А-идес», буквально: «не-вид», то есть ты просто не видишь, неправильно видишь. Надо поставить зрение (как ставят голос певцу) — и тогда ты увидишь смысл и рай — да, рай и радость! — даже в том, что тебе, незрячему, уставившемуся во тьму кромешную, — представляется как «ад».

И вот всю жизнь и занимался Флоренский в своих писаниях и прочих трудах выправлением зрения всем — через вникание в феномен собственного зрения, просто делясь опытом правильного видения, которым он был благословен-одарен с

детства. И совершенно не надобно для этого «стирать случайные черты» (как призывал Блок: «Сотри случайные черты — и ты увидишь: мир — прекрасен!»). Да что ты, голубчик? Нет никаких случайных черт: взглядишь в них — и ты увидишь их полносмысленность и корень и росток красоты и в них.

Откуда ж пришла к нам такая оптика? Не наша она, не совсем русская...

И верно: рождество Цветущего — на Юге, детство — в Колхиде, «в краю Медеи и Золотого Руна», где «земля была насквозь пронизана испарениями античности», — писал он в самоаналитических «Воспоминаниях детства». Отец — русский инженер-путеец, строивший мосты (и себя потом Флоренский понимал строителем мостов между горным и дольным). Мать — из древнего армянско-грузинского рода... О, тут большой замес, крутой заквас! Грузия и Армения — это Вьсь и Низ, Воз-Дух-Отец и Мать-Земля, Живопись и Музыка, Свет и Тьма. Те же вроде бы горы и Кавказ. Но для грузинства гора понимается как отталкивание земли, разгон на взлет в небо, а для армянства — как захват-засос Неба Землею, вздыбленность низа вверх, всасыванье невидимого — видимым: себя на продухотворение и осмысление... Так и понимал Флоренский гору храма: как ниспуск Неба в Землю, Духа в чувственное вещество. Ну и жизнь так свою: как купель в саду Бытия, что вкусил еще в Эдеме детства — в Колхиде, где встреча гор с морем, следы Эллады и мистерий орфических дыхание. Живая мифология. Недаром и нынешний писатель Отар Чиладзе, местом действия избирая сей же космос — Колхиды, непрерывно мифотворит, переплетая Вечности со Временем учиняет, переплет примет нашей современности — с античнo-мифологическими персонажами и сюжетикой... Да даже и несчастный отверженец от блаженства жизни

Маяковский так о Грузии писал: «Я знаю: глупость — эдемы и рай, Но если пелось про это, — должно быть, Грузию, радостный край, подразумевают поэты». Да там недалеко и первый Эдем, а близ Арарата и Ковчег. Батуми же — сад и цвет, и испарение жаркое, и струение, и сочный плод просолнечный, и сладость вкуса мякоти плотной. И в саду сем дитя — ползком. По интуиции Розанова: «Вся натура его — ползучая. Он ползет, как корни дерева в земле. (О Флоренском)». И, продолжая ту же думу: «Воздух — наиболее отдаленная от него стихия. Я думаю, он вовсе не мог бы побежать. Он запнется и упадет. Все — к земле и в землю».

То есть Анти-Блок — вот Флоренский!.. Тот весь — сквозняк из духов воз-духа бесплотных, демонов (что облегают землю и перехватывают сообщение прямое между человеком и Богом-Небом), упырь бессубстанциальный. Этот же — как божественный паук, иль райский «гад ползучий», земноводное чувственное, при том, что воды тут — ливни солнечные, субтропические. Клубится для него бытие. И событие США, и всякую жизнь в пограничной ситуации меж невидимым и видимым, на сей нейтральной полосе, где подлинно «цветы — необычайной красоты» (и отец Павел может это Высоцкое представление засвидетельствовать), он толкует как химическое срастворение того и другого миров друг во друге, «и жизнь наша приходит в сплошное струение, вроде того, когда подымается НАД ЖАРОМ ГОРЯЧИЙ ВОЗДУХ» («Иконостас», с. 83). Так что: ОГНЕ-ЗЕМЛЯ — его стихия. Причем Земля — не «Мать-сыра», а в неге чувственной под Солнцем ласкаемая. И Свет его — не сумрак, вечер и заря (кануны и переходы меж днем и ночью), но — зенит и полдень эллино-платоновой полноты Света-Вида, Идеи. Платоник он (как и присуще грузинам): будто сам

Дионисий Ареопагит к нам, вослед за Феофаном Греком, из грек в варяги прибыл помогать самоосмысляться. Но и тонкий привкус, придух грегорианства, монофизитства — в густой плотности его мироощущения, как мироощущения и осязания — даже на вкус! — в его построениях и описаниях чувствуется. Не просто «пантеизм» и «гностицизм» (что пришивали и Соловьеву, и другим русским философам строгие православные ортодоксы), но прямо МАГИЗМ. Да он и сам в шутку и всерьез себя «магом» называл. И действительно, его анализы и описания околдовывают: будто прямое сопричастие и соучастие в жизни описываемого предмета и ситуации получаешь: просто переносят тебя — и превращают в сию вещь и мысль.

Но это-то как раз то, чего доселе не хватало Русскому Логосу: мудрость плоти Бытия, чувственную жизнь — как всеосмысленную и Бого-благословенную понимать, а все-то тут спиритуальны и аскетичны, от земли отрывны в даль и путь-дорогу бежать, не сидеть вертикально, и к телесности — «фи!» — как институтки, как тургеневские барышни. За плоть воинствовал уже Розанов — но именно насकोком и вызовом эпатируя. А Флоренский простым житием своим, мирно-брачным и многодетным, и разумом восхищенно-умиленным райскую сладость-радость и божественное очарование всякой «твари», как обители одной из многих у Бога, — нам описал-воспоял.

Конечно, уже в символизме поэтов Серебряного века плоть и чувственность приподняты в смысле и восценены: нарастала, значит, насозиждена трудом-культурой материальной и в России блага и разумная предметность. Тут же и теософия подверсталась (Штейнер и Андрей Белый), в которой, напротив: все духовное представляется как на самом деле тонко-мате-

риальное, эфирное, замутненно-потемненное<sup>1</sup>, — и нет чистого Духа и Света. Символ — лучше и чище: он не смесь-смуть, а намек, встреча Духа, Абсолюта — и плоти, материи, малой вещи сей: они узнаются друг во друге, но не отменяют, не смешиваются...

Но и в символе — разные акценты могут быть. Вот символ Блока: «Узкий твой бокал и вьюга За глухим стеклом окна — Жизни только половина! Но за вьюгой — солнцем юга Опаленная страна!» Она — Истина, а первое: «бокал», «вьюга»... — туда проход, окно, сквозняк. У Флоренского же акцент обратен: будто Истина себе входит и уютно располагается в вещи нашего быта: «Опаленная страна» — в «узком бокале», и так осматривается в нашем мире мелочей жизни, их и вкушает, придавая всему свою Абсолютность и ею наслаждаясь — в граненом стакане, в котором бы сахарную воду в доме Флоренского детства нервическому Достоевскому заботливо, скандалезному, поднесли: «чайный — непременно граненый — стакан — с сахарною водою». Помните розановскую ниточку укропа на огурце в июне? То же гурманство чувственно-философической! Тут Абсолют обкасывает детальку нашего воплощенного быта, как Свое Творение ласкает и приговаривает: «Зело добро!»

Да, картина мира у Флоренского — это Седьмой День Творения, вечная Суббота, когда все натворено уже прекрасно — и только созерцать-осмыслить в Премудрости и одобрять! Ни тебе мук грехопадения — и восстановления в покаянии Истории и в эволюции Богочеловечества. Никакой динамики, нервно-

сти, порыва. А — статика и исполнение сроков, и полнота Всебытия и приход к себе. Энтелехия. Телеология. Совпадение концов-целей и начал-причин...

Хотя — нет, совсем не то: сам акцент то ли на Начала (Причины), то ли на Цели (Идеалы) — все это суверенитет либо Прошлого, либо Будущего — и, значит, проходность-несуществование-текущность Настоящего как бывания и существования и становления — в отличие от Бытия, что где-то и когда-то, за пределами нам, к чему нам лишь рваться, как за пером Жар-птицы, а мы и всё — проходно и бессубстанциально...

А в миросказании Флоренского — Абсолют ставшего Бытия, совершенного, которому некуда стремиться, а только бытовать-бытийствовать и бесконечную благодатию наслаждаться, в сиянии лучей созерцать Творение, мир как уже Божий! Без проблем — греха и зла даже. Не нужно и «я», и «свободы». Потому акцент — на Настоящем, которое и есть Истина, что взвидена им как Естина. А житие и мышление — соборно-хоровое: Я-ТЫ-ОН — как Святое семейство и Троица. Недаром жанр его главного трактата «Столп и утверждение Истины» (Настоящего!) — это письма к другу, «ТЫ-мышление», бахтинский принцип Диалогоса предвосхищая, Сомыслие взаимное, со-зерцание, а не вперенность одинокого декарто-кантова «я» — в отчужденный предмет-объект, враждебный. А тут и в мышлении, и в гносеологии-онтологии — «и на земле мир, и во человецех благоволение».

Оттого столь сладостно-медоточива речь Флоренского: ну просто Златоуст наш, словно пчела помазала его язык в детстве. И раз он — глаз и ум Бога в Седьмой день Творенья, то его взгляд — любяще-мудрый на малых сих, на мелочишку всякую натворенного Бытия. Потому-то Флоренский — естест-

<sup>1</sup> Когда я летом 1970 г. читал теософскую книгу Э. Шюре «Великие посвященные» и показал ее Бахтину, он улыбнулся: знакомое!.. «Но это все второй сорт», — сказал. «А что тут первый?» — спросил я. «В этом вообще нет первого сорта», — подумав, сказал Бахтин. — 9. 4. 88.

воиспытатель и математик, ученый в Природе и Культуре, описатель-исследователь устройства мелких явлений-феноменов во всех областях, науках и профессиях. Как-то я по себе понял: идеалисты, те, кто взывает видеть перед собою Свет, Истину, Бога, — люди внутри черные и грешные: так они (и я) лечат себя, прикладывая к душе-нутри своей белизну-пластырь сих горних созерцаний. А кто жучка какого или водоросль под микроскопом разглядывает, — у него, значит, на душе рай и мед, все в порядке: материалисты... — поблаготатнее в душе их самочувствие. Вот и Флоренский таков: богослов-естествоиспытатель, для кого естествознание и культурология — совпадают с Богослужением и восславлением: «Аллилуйя!» — «Хвалите Господа!» — во всякой тварине Его Он просвечивает.

Потому-то слабее и хуже Флоренский в анализе Первоначал и в построении системы (философской), в чем сила и талант Соловьева — «идеалиста», с Флоренским в сравнении: все время надо было его Люциферянскому Высочеству жадно вглядываться в Идеи вышние, в Софию Саму, Дочь и Жену Бога Отца-Творца, ревниво любствуя к ней, — за Небо держаться, чтобы не сверзиться в самое неприличное какое-нибудь достоински-подпольное... А этот — и не ведает всего такого срамного, упасен сие знать, а, как дитя райское, по Эдему Бытия шастает-шатается, ползает и богоосмысляет мелочишку всякую и «веточку» — ВЕТОЧКУ!

Так что не его дело — система. И хотя «Столп и утверждение Истины» представляет собою по затее большой философско-религиозный трактат, призванный представить систему мира и Бога и Церкви, но сила его и уникальность — не в новом выстраивании Принципов и Начал и сведении их с Концами, — а в огромном материале природы и

культуры, наук и искусств, что привлечен сюда, — и проумозрен каждый элемент как вмещающий в себя полноту Божественной Премудрости, что в суходрочке догматики так схоластична, а тут впервые у нас (после Григория Сковороды) выступила цветисто, как «Луг Духовный». Так умели наивные святые видеть в первые века христианства; а потом ученые засушили «цветочки» ассизские и заскучали над своими «трансценденциями» и «ноуменами-феноменами». И вдруг снова философствующий ум лазурно святоотеческими глазами на все посмотрел и натужную (у Гуссерля и прочих, с потугами на строгую научность) «феноменологию» превратил в акт духовной жизни, в «стяжание Святаго Духа». В таком познании совершается встреча энергии образа Божьего, что во мне, с образом Божьим и подобием — в вещах: брачевание и братотворение.

Тут я употребил федоровский термин. Они с Флоренским тем настоящим сходны, что христианские люди уже в спасенном мире пребывают, искупленном. Только для Федорова Христос — нам прообраз и задание для действия преобразования себя и мира в труде и соработничестве с Творцом (потому-то мы и можем не мнимое дело, и истинно-христианское делать, что уже внутри искупленного и потенциально спасенного мира происходят наши действия: воскресение отцов, в том числе и в первую очередь, как цель), а для Флоренского наше — делание созерцания и употребления, техники, хозяйствования и игры. Христа и Креста для него словно еще нет, сие не наступило и не вопрос. И верно: для обитателя Субботы — это так... Но — не минует и его: Крестный путь и Голгофа ему уготованы — под конец жизни: в лагере ГУЛага, на Соловках и в Коми. А в середине жизненного пути он их будто миновал и не знал, и не видел тут проблемы для мысли. Никакой Трагедии.



27.03.88. Зашел вчера, услыша звон колокольный, во маленькую церковь переделкинскую — и постепенно обволокнут был красотой и любовным теплом: лики святых со стен принимают тебя, сожительствоуют, приглашают в свой мир. Действительно: ИКОНА = ОКНО — куда? То ли в душу тебе, то ли в мир невидимых?.. Но точно: встреча происходит, как и толковал Флоренский. «Окно есть свет, или оно — дерево и стекло, но никогда не бывает просто окном» (с. 98). Вот три варианта видения всего: символизм («конкретная метафизика» Флоренского), материализм (натурализм) и позитивизм научный. Или магнит — что есть, и как изобразить? Кусок металла или вместе с невидимыми силовыми линиями-энергиями? («Но.., если бы художник нарисовал, пользуясь, например, хотя бы учебником физики, и силовое поле, как некоторую вещь, зрительно равнозначущую с самим магнитом — со сталью, то, смешав на изображении вещь и силу, видимое и невидимое, он, во-первых, сказал бы неправду о вещи, а, во-вторых, лишил бы силу присущей ей природы — способности действовать и невидимости: тогда на изображении получились бы две вещи и ни одного магнита. Ясное дело, при изображении магнита должны быть переданы и поле, и сталь, но так, чтобы передачи того и другого были несоизмеримы между собою и явно относились к разным планам. При этом сталь должна быть передана цветом, а силовое поле — отвлеченно...» (с. 130). Так работает и классическая иконопись, и умозрение Флоренского, в котором детски-наивное чувственно-зримое представление пронизывается лучами сверхидей из философского Эмпирея. Он вливается в и соте явление, как пчела в цветок, хоботком словомысли, облизывает всякую мелочишку божественным язычком в своей символической феноменологии.

И всё — статично, не динамично. Его не интересует, как и почему вещь стала такою, а ЧТО она есть и ЗАЧЕМ такова (функция ее). Не по ИСТОРИИ, а по ИСТИНЕ зритолкует.

Что значит счастливое, беспроблемное детство — без «комплексов» и напряжений вдавленности и «сублимации»? В их благодатной семье и в сад их не вступало неприятное из жизни: уродство, злоба. Флоренский рос — как царевич Гаутама Шакьямуни (будущий Будда): в неизвестности старости, болезни и смерти... Но и когда вышел из семьи в «большую жизнь», в учение на Севере, в Питере, и столкнулся с отвратительным в существовании... — быстро юркнул свилса-прибрался снова в Божественный уют-приют: женившись, приняв священство и начав жить в Троице-Сергиевой лавре. Так что из Эдема детства, почти без грехопадения и проклятости «в поте лица своего добывать хлеб», — ощутил себя в восстановленном Эдеме, в Новом Иерусалиме: ибо Церковь и мыслится как Небо на Земле, Дом Бога среди нас... Так что для Флоренского Бытие, чуть попробовав развития, — совершилось уже, так что он его в божественно-окончательном виде и формах созерцает. Не надо никакого Богочеловечества, сотрудничества-дружества (соперничества) с Богом, а вечно сладкое Сыновство — у Христа за пазухой... Да, Павлик Флоренский (не Павлик Морозов!) — «запазушник», только не маменькин сынок (как Блок), а папенькин; и вообще он свято-семейственный: ласковое теля — двух маток сосет. А он — и всех...

И для Блока, и для Флоренского не важна История. Первому — оттого, что Хаос, стихия, доистория его сердцу ближе и роднее. Второму — потому что Космос, в коем он, — это уже Сверх-История, до-и-пост-история: совершение, а не становление.

История дорога кому? Гегелю,

Соловьеву — кто во глубине души богоборцы, соперничаючи с Богом-Отцом, Люцифериане Эдиповы, гуманисты... Сам, мол, я, конечно, слаб, один, но в совокупном Человечестве да в постепенности прогресса, со временем, мы разовьемся и сравнимся с Тобою, Творче-Отче наш!

Ну, конечно: у Соловьева, росшего под знаменитым уже папой, естественно импульс соперничества возник и искал путей своих, на коих превозмочь Сильного!.. И — пафос развития, изменения...

А для Флоренского характерно вот какое видение (оно в письме к детям из Соловков от 11-12 января 1937 года.): «Видно, мои мысли только с вами. Сегодня я опять видел вас со сне, необыкновенно живо, и опять маленькими, и опять ваши образы сливались с образами моих братьев и сестер, когда те были маленькими». То есть, совместились конгруэнтно (как выражаются в его любимой математике) два Эдема: семьи его детства и им созданной семьи как священника в Лавре.

Но если всё — совершенно, то ум имеет и задание и привилегию Адамову в Эдеме: хозяйствовать и давать имена: раздавать — всякому ноумену — по феномену! И так как всё глядится во всё, то соизнавания и братания, уравниения явлений из разных сфер (мнимости в геометрии и структура мироздания у Данта...) — такова работа Флоренского в безбрежности его предметов. Каждый становится языком для описания другого: гравюра Дюрера — для характеристики немецкой классической философии; масляная живопись

поясняет органную музыку. «Водо-разделы мысли» он перекрывает мостами и туннелями, всесвязуя. «Ин-варианты» (как на нынешнем языке скажут) — во всем. А то, в сущности, — Божьи замыслы, Логос-Слово и Премудрость-София, что «в начале» Творения. Если философы — о принципах (вон и Карсавин ревниво к Оригену написал книгу «О началах» в 1925 году), то Флоренский — о жизни Начал во всех концах Бытия — писал... И потому его ум от совершенства твари и произведений культуры может утверждать бытие Бога: «Из всех философских доказательств бытия Божия наиболее убедительно звучит именно то, о котором даже не упоминается в учебниках; примерно оно может быть построено умозаключением: «Есть Троица Рублева, следовательно, есть Бог». «Как уже издали йодистый запах водорослей свидетельствует о море», так и иконная живопись — то «видимые изображения тайных и сверхъестественных зрелищ». (с. 99).

«Метафизичность жизни и жизненность метафизики» открывает Флоренский, вглядываясь в свой духовный опыт, который совпадает с жизненным: есть вдумывающееся препровождение жизни. Потому он пишет лично и интимно и имеет отвлечение к бесстрастному стилю отвлеченного философствования, чего требовал дотоле этикет мышления. Как мысли Розанова — это письма себе, так «Столп» Флоренского — это записки Другу. И еще дальше пошел в дневниковом стиле мышления и письма, но прерван был.





## Карсавин

28.03.88. Как человек строит себе дом внешний из материалов вещественных, чтобы оберегаться от стихий Природы, так и внутри нам необходимо выстроить дом духовный, чтобы устроено-уютно там жилось душе среди множества идей, сумятицы ценностей, понятий, целей, хаоса желаний...— из этих «материалов» топорик Ума сколачивает нам домик по душе каждому. А души все — разные. Так что и мировоззрения = мироздания внутренние, системы — индивидуальны. И каждый человек такое индивидуальное мирозерцание имеет-складывает. Только большинство это — бессознательно образует, а вот философ — сознательно: специальной целью это себе ставя и с профессиональным умением, с чертежами и техникой, накопленными сим цехом мудрости —

от изначала Бытия и сознания. И если конструктор машины новой лишь последней, современной техникой и книгами пользуется и нет ему надобности-потребности читать Архимеда и Птолемея, то каждый мыслитель обдумывает всю махину мировой мудрости снова-здорово: от мифов и Библии, от Платона и Будды, чрез Канта и Маркса — и снова глядит первично-наивно в душу свою, и детски вглядывается в природу вокруг, игнорируя все ухищрения рассудка и культуры. Так только и возникают оригинальные философские построения — как художественные произведения, читая которые мы недоумеваемся и себе смысл жизни просветлить, и домышку мирозерцания внутри себя самообслужного («про домо суо») для души построить.

Уж много таких домов-теремов отличнейших, палат царских, мы с вами провидели. Теперь приближаемся к странной и гармоничной (когда приглядишься) конструкции. Имя на ней — Лев Платонович Карсавин (1882—1952). Кто же и из каких материалов построил и какую душу там разместил? И в каком климате эпохи?

Снова — потомственный русский барин-интеллигент: мать — внучка Хомякова (что было очень важно для Карсавина), отец — балетмейстер, а сестра — всемирно-славная балерина, краса русского искусства. С детства одарен и блестящ, вращался в изысканной умственно-художественной среде Серебряного века русской культуры (с конца XIX до, примерно, 1929, Года Великого перелома станового спинного хребта России). Честолюбив: в отталкивании от ренессансно-гуманистической богемы, модной, его окружавшей, — устремился за устою — в Средневековье, причём западное, католическое (то взаимообогащение православия с католицизмом продолжая, что начали Чаадаев, Соловьев...), и строгость «схоль», и жи-

вую веру ересей там впивая-пости-  
гая. Его первые книги: «Очерки ре-  
лигиозной жизни в Италии XII—  
XIII вв.», 1912; «Основы средневеко-  
вой религиозности в XII—XIII вв.»,  
1915 и др. Отсюда излился на него  
уверенный онтологизм, исходя из  
которого мог он так презреть ново-  
модную научку гносеологию. «Из-  
давна лукавые людишки,— писал он  
в живой беседе с читателем „SA-  
LIGIA”, 1919 год,— подстрекае-  
мые князем тьмы, ославили великих  
мудрецов именем «схоластиков»,  
придав этому имени — ибо что иное  
вся земная жизнь наша, как не «схо-  
ла», или школа мудрости и правед-  
ности? — хулительный смысл. Не  
довольствуясь этим, вернее — не на-  
деясь на успех своей злокозненно-  
сти, обвинили они великих мудрецов  
в незнании недавно измышленной  
ими, лукавыми, хочу я сказать, лю-  
дишками, лженауки, называемой  
гносеологией и подобной в некото-  
ром отношении зверю, носящему  
имя «скорпион». Ибо, как известно  
всякому, скорпион этот, будучи  
окружен огненным кольцом, от бес-  
сильной ярости сам себя умерщ-  
вляет, хотя жало дано ему Создате-  
лем совсем не для самоубиения, а  
для иной цели» (с. 6). И верно: гно-  
сеология — вроде бы наука о позна-  
нии, теорию познания вырабатыва-  
ющая, совершенно развела уверен-  
ность нашего ума и вергла в  
грусть-тоску агностицизма... Карса-  
вин отбрасывает вопрос: как мы мо-  
жем знать?— и прямо приступает к  
познаванию, хотя весь Запад после  
Канта как с ума сошел на этой про-  
блеме (неокантианство, феномено-  
логия и проч.).

Вообще в Русском Логосе не был  
пока существенен вопрос: КАК Я  
МОГУ ЧТО-ЛИБО ЗНАТЬ? — ре-  
флексия, что на Западе с античности  
разработана (Сократ-Платон: диа-  
логи «Теэтет», «Парменид» и др.,  
потом Декарт и Кант и т. д.), а  
прямо берут наши быка Истины за  
рога и выкладывают, не мудрствуя

лукаво-гносеологически, но просто-  
душно еще (даже Соловьев — и у  
него слаба гносеология),— свою  
картину мира, не запутываясь в диа-  
лктике субъекта-объекта. Я (грубо)  
так понимаю-прикидываю причину  
сего: не «я», а «мы», или безличен  
тут постигающий Ум, так что в прин-  
ципе он неопределен и неопреде-  
лим, ибо общинен, соборен, артелен:  
не атом, а размытое поле некое. А,  
во-вторых: и Космос, и Социум, и  
История России — не сплошняк, а в  
зияниях и разрывах, так что никакая  
постепенность-последовательность-  
логичность перехода от звена к зве-  
ну, ко мне и от меня, «субъекта»,— к  
миру — невозможна: придется не-  
прерывно прыгать, как через полы-  
ньи, или шагами гиганта перелетать  
пустоши, метя сразу схватить Це-  
лое, объять необъятное, а не шаг за  
шагом скрупулезно сочленения вну-  
три него проследивать, ибо и не-  
исполнимо это тут, в отличие от  
ставших и внутри себя притертых  
миров Запада: Германия, Франция  
и т. д.

Потому-то русская философская  
мысль прибегает к умозрению и  
образу и близка художественной ли-  
тературе: есть просто ее самый  
интеллектуально-тонкий жанр. Так  
это доселе. Не знаю, как будет...  
Хотя в первой половине нашего века  
в двух своих струях русская филосо-  
фия домогалась до строгости: с од-  
ной стороны, у нас — марксизм-  
ленинизм, который именовал себя  
«единственно научным мировоззре-  
нием»; а с другой — в эмиграции:  
Бердяев, Франк, Лосские (у нас Ло-  
сев и Бахтин), вот и Карсавин и  
другие — профессиональную фило-  
софскую проблематику и язык раз-  
рабатывали...

Приступая разбираться в системе  
каждого философа, я ишу ее, так  
сказать, личный нерв: зачем это ему  
нужно — именно так и вокруг таких  
проблем и на таком языке выстраи-  
вать в своей душе дом мироздания,  
им ее облегать, лечить и утешать?..

Ибо, в конце концов,— таково значение всякого писания и умствования. Это тем более нелегко сделать (сей «нерв» и пафос и импульс личный отыскать), что, во-первых, правила философской игры очень отработаны, проблемы и язык общи всем; а, во-вторых, этикет философствования будто запрещает личностно-эмоциональную интонацию и исповедальность ситуационную: каждый пыжится всеобще-безлично-мировую Истину сквозь себя, как просто ясную трубу взорную, представить, быть органом Абсолюта и его Логоса... Правда, есть эссеистика Монтеня и Паскаля, Киркегора и Ницше, у нас Розанов — но они не претендовали системы создавать. А претендующие — себя убирают, прячут — и тем невольно лгут и нас обманывают. Ибо все равно каждый системостроением своим решает свою личную, только запрятанную и неосознаваемую, загвоздку и муку, в которой и стыдно признаться бывает... Вот почему — если честно бы — тем более важно каждому и раз-отвлеченному мыслителю отдать себе отчет в этой домашней личной своей заусенице, что он в эмпириях абстрактного миропостроения сублимировать будет. Какую «мысль разрешить» — ему по горло необходимо, иначе не прожить, не продыхнуть? В этом позволяют себе сознаваться персонажи художественной литературы — вот у Достоевского. И их авторы: Толстой и др. Но вот философы — на этот счет, как правило, скрытны и чопорны. И Карсавин таков: уж так старается безлично выкладывать свои трактаты — даже «О личности»: казалось бы, самая личная проблема!.. Хотя именно потому и надо ее постараться общезначимо рассудить...

Но вот в одной книжице — и Карсавин проговорился. А именно в этой «SALIGIA», которую я уже процитировал: вы уж расслышали там иронически-шутливую интона-

цию и позу. Давайте взглядымся-вслушаемся в сей его «проговор»-прокруху... „SALIGIA”, или весьма краткое и душеполезное размышление о Боге, мире, человеке, зле и семи смертных грехах» — вот тема книжицы малой (75 стр.), опубликованной автором самочинно в Петрограде 19-го года в Издании Трудовой Артели Профессоров и Педагогов «Наука и школа».

Итак, Зло и Грех — откуда они, раз Бог всемогущ и всеблаг? На эту тему косвенно и Флоренский «Столп» писал: его подзаголовок — «Опыт православной теодицеи...». А «теодицея» есть «оправдание Бога» (таков ее традиционный сюжет) и, главное,— за наличие зла в совершенном Его Творении.

Итак, нашего героя — предполагаю — язвит острое чувство собственного греха — иначе зачем же на такую тему ринулся?..

Вообще, мне видятся два магистральных пути, по которым человек приходит к Богу: первый — восхищение красотой Бытия, гармонией мира, великолепием богослужения (на этом основании князь Владимир предпочел православное христианство в «споре вер», отвергнув ислам и иудаизм); а второй — ужасание человека себе, аду зла внутри себя и отчаяние, немощь с ним справиться, если не уцепиться за Небо прямо, хоть за соломинку, и импульс чаяния, выброс-протуберанец веры, ее вектор вверх — вытягивает, спасает...

У Флоренского явно — первый случай: красотой очарованный, бродит-осмысляет сад Бытия райский. У Карсавина (показалось мне вначале) — случай второй... Но когда вчитался — да Боже мой! — к чему дело исследования всего склонилось? Что зла и греха и смерти в сущности нет, а есть лишь несовершенное, ленивое соработничество человека Богу — в воссоединении тварного мира с Ним. И доказано это с вдохнове-

нием и блеском: самопростил себе все — рассуждением философским, без всякой надобности Церкви, культа: просто «правильно» поставив себе зрение...

Справился у знающего его биографию: были ль «комплексы» какие, подавленности в детстве в семье?.. Нет, любим, блестящ и удачлив. И брак хорош, трое дочерей. Но еще и искрометный роман за рубежом семьи вскоре (который даже афишировал в обществе: вот, мол, какой я сверхчеловек!). А лекции читал в Соловьевской аудитории, и, будучи и внешне похож, вставал прямо под портретом — не смиренно, а вызывающе...

Но, с другой стороны, сколь апокалиптически страшен вдруг оказался в его время мир наружный Общества и Истории (Первая мировая война, Революция, война Гражданская) — весь в крови, зле; и как выжить, если не найти божественное сему оправдание? Значит, надо в системе мира расширить координаты мысли и углубить начала, чтобы выйти за рамки близкодействия дешевого морализма и аханья — и чтоб, с одной стороны, мужественно и сурово смотреть прямо в ужасы мира сего (такова стилистика мышления основных затем трактатов Карсавина: «Введение в историю», 1920; «Восток, Запад и Русская идея», 1922; «О началах», Берлин, 1925; «Церковь, личность и государство», Париж, 1927; «О личности», Каунас, 1929...); а с другой — игрово, даже легкомысленно (как вот в этой «SALIGIA», написанной, возможно, в эйфории страсти шампанской: по-моцартовски развивается тут самоопровергающая диалектическая мысль, а не натужно и с потом, как потом в «О личности»...), так что Н. О. Лосский в своем очерке философии Карсавина писал, что у него Бог *играет* с сотворенным Им миром.

Бог (который — Абсолют, Всеединство, а, точнее, у него — Три-

единство, совершенное в различиях испостасей) из ничто созидает мир тварей своей ТЕОФАНИЕЙ = Бого-явлением: как бы индукцией, наитием во всякую вещь, существо, форму и идею, — и тем в ней образует абсолютное содержание; и всё причастно Богу, именно «всё — даже самое мерзкое и ничтожное, ибо мерзко и ничтожно оно только для нашего неведения или недведения, сотворено же «дobre зело»... И греховное и немощное узреваем мы сущим только как Божественное; взглядевшись пристальнее, перестаем видеть в нем греховность и немощь, исчезающие подобно дыму. Созерцая свое тело, малейшую часть его, тончайший волос на голове своей (и возлюбленной...—Г.Г.), созерцая, как все это существует и движется, растет и живет, мы везде находим Бога и ТОЛЬКО Бога... Бог как бы проносится в творении Своем, сущем лишь на миг соприкосновения с Ним» (с. 9). Подобный же «птичий» образ и в трактате «О личности» употреблен в пояснение смерти: «Эмпирическая смерть не перерыв личного существования, а только глубокий его надрыв... внутри дурной бесконечности умирания, между эмпирическим и метаэмпирическим бытием, «врата адовы»... Так птица падает на водную поверхность, чтобы, едва задев ее крылом, снова подняться над ней» (с. 55).

Бог-Отец = первоединство. Бог-Слово — саморазъединение во Всеединстве и теофания-богоявление в тварный мир (=вочеловечение Сына). Бог-Святой Дух уже есть воссоединение всяческое во всем в полноту совершенства. Это все в Боге-Троице сразу, а в тварном мире — по частям (тактам, актам) и в последовательности: отсюда — история, ее шестиве и ступени-эпохи становления. То же трехтактное устройство пронизывает и жизнь личности индивидуальной, ее познавание и дела: все живое в ней — от теофании. Она тоже — всеединство малое; но и



Всеединство (Триединство) большое сюда глядится, как в зеркальце, и так дает истинное содержание всему нашему — в том числе, и тому, что мы на горизонте нашего узкого сознания именуем «грехом». А это — всего лишь некий вариант несовершенства твари и человека. Божество — это «движение стойкое и стояние подвижное» (по словам Эриугены, или Оригена); «Бог как бы БЕСКОНЕЧНО быстрое замкнутое в себе самом, т.е. круговое, движение, которое по причине бесконечной быстроты своей есть в то же самое время полный, истинный и живой покой. Соделывая Себя постижимым, т.е. творя Себя, как теофанию, в творимом Им относительном, Бог как бы разворачивает, развивает Себя в Божественно-тварные обнаружения. Поэтому все тварное есть подобное Богу движение Богом, в Боге и к Богу, но движение относительное, т. е. не бесконечно быстрое и, следовательно, не сверхвременное, а временное» (с. 42).

Человек, по косности, ленится — и тормозит, замедляет движение: в этом его «зло» и «грех». Но все равно он — в движении, т. е. во Боге, и априорно — упасен, содержится в лоне Всеединства живых и мертвых, трав и морей, царей и червей. «Так в каждой твари и во всем мире раскрывается нам великое множество теофаний (что в разном темпе вертятся. — Г.Г.), расположенных в дивном восходящем порядке. Весь мир и каждый из нас (и каждый поступок — «злой», в том числе и «убийство». — Г.Г.) и есть та лестница, виденная отцом нашим Иаковом, которая ведет с земли на небо и по которой нисходят и восходят ангелы Божии, знаменующие Божественное в теофаниях». Так что «не суди!» — хотя и можешь: ничего страшного — это же самоосуждение внутри Бога, Всеединства, в тебе: то одна теофания, быстрее движущаяся, журит медлящую. «Сознайся, что в неполноте Божоявления (в тебя и в

мир. — Г.Г.) виноват ты сам и виноват тем, что недостаточно стремишься к Богу, а был косен и ленив... Ты недостаточно хотел, т. е. не — «хотел не хотеть» (тогда в тебе есть сила иная, антиБожья. — Г.Г.) и не — «хотел чего-либо иного» (тогда в мире есть нечто, кроме Бога.— Г.Г.), а просто — НЕ хотел или мало хотел, почему теофания и была неполною. И в том-то и вина твоя, что из-за тебя, из-за малости твоего хотения, недостаточно проявился Бог» (с. 36).

Вспоминается тютчевский «Проблеск»: «Мы в небе скоро устаем» — и некрасовский «Рыцарь на час»; нехватка темпа — из-за тяготения в нас понизового «Мати-сырой земли»: после мига просияния (когда «эфирною струею по жилам небо протекло») — «вновь упадаем»...

«Зло или первородный грех Адама, а в нем и всех нас, т.е. и мой, и твой, любезный читатель, заключался в свободно недостаточном, слабом или замедленном движении к Богу...» (с. 47).

Какой РУССКИЙ АКЦЕНТ в сей Теодице! Лень наша родная, обломовская, «мать всех пороков», — оказывается и субстанцией греха и зла: замедленность движения, дрема. И мука наша смертная и смертного греха — оттого, что «мир ленится умирать, медленно и косно разлагаясь в своей тварной отъединенности, задерживая воссоединение всех и всяческая в Божестве...» То-то наш родной Ленин — главный атеист и задержитель Вседержителю!

30.03.88. О, как исцелительно после дня суеты «деловой» прикинуть к симфонической музыке философского мышления! В выси подымает и дышать Эмпиреем дает, а смятый в коллапс тюфяк твоей души тургорно наливает, надувает, выпрямляет — и вот ты уже вертикально самостояишь!.. Нет, не САМО-, конечно, а снисхождением Неба в тебя, Богочеловечьим наведением — в тебя, тва-

рину ничтожную! За Небо держишься: в выси — твои корни!

Но, собственно, я передал этим основную интуицию философии Карсавина: тварь есть лишь субстрат-подставка для того, чтобы было куда, на что и во что совершиться ТЕОФАНИИ = САООТ-КРОВЕНИЮ Божества Триединства. И мера бытия твари всякой = мера наведения-индукции Божества как Личности.

...Осадок у меня некоторый остался от позавчерашнего изложения карсавинского видения совершенного Божества и мира во грехе: круг стремительного вращения, в нем спотыкающийся индивид, — и так вроде бы отмена зла и ответственности, и вины. Но это — обоснование простить Другого, кто тебе боль причиняет (чтоб тебе сносимее было его НЕ СУДИТЬ, исполняя заповедь), но не довод к себе: к себе же, напротив, предельное требование отвращения и отталкивания от ползновений зла и эгоизма, императив самоотдачи, жертвы: положить душу за други своя! Тогда лишь совершенно открывается человек-тварь к теофании Богочеловека Логоса в него — и Ему уподобляется, обожается. Так что именно в такой оптике: прощения другого — надо читать рассуждения Карсавина о семи смертных грехах, о зле, убытве даже...

В них (в ипостасях разных грехов) Всеединство тоже — только нашей вины = немощи, и отсюда — братство и жалость к глупому. Гордец — самонаслаждается ничтожеством тварности своей, тогда как все бытийственное в человеке — это отблеск Божества; и знаем его, когда знаем со-страдание как наслаждение. Гордец же — глупый вор: обкрадывает Бога в себе... Скупец — тоже: расточает высшее в себе, скопидомствуя тварным. Распутник и чревоугодник приходят на смену скупцу (как у Пушкина в «Скупом рыцаре»); «второе я» (тварное, не

Божественное в нас) расщепляет всеединство личности в себе и принадлежит всякой мелочи-ничтожеству похотного зацепления, облизывающегося. Зависть (не-на-висть) — ошибка видения (как, по буддизму, «неправильное видение» — причина страдания); это ЗА-бытие: в ничто бытия завидующий вперед. И виноват я тем, что МАЛО завидую Богу, Красоте = недостаточно люблю. «Не стремлюся я к светлому и блаженному страданию жертвенности, к самоотдаче и мучаюсь в себе самом, сам и мучитель, и жертва. А должен-то я быть мучителем ВСЕГО, все поглощая, и жертвою ВСЕГО, всему отдаваясь. Взгляни, как прекрасен гнев и как великолепна мощная и темная ярость! (Кажется — язычник Карсавин! От силы в восторге! Да, но не внешней, а духовной бодренности и трезвения! Ну — не совсем так: есть в нем опьянение — собою... — Г.Г.) Слышишь ли в громовых раскатах и потрясающем мир вое урагана голос тихого Божества? Гневайся свято; а свят твой гнев, как стремление твое в другие „я“.» Недаром на средневековых картинках гнев изображается в аллегории худой женщины: «Руками... своими яростно разодрала свою одежду и терзает грудь свою, точно хочет себя уничтожить... Все это полно глубокого смысла. Бессильный гнев — а гнев... всегда бессильен, — обращается на самого себя и яростно самого себя уничтожает... Но ведь это — „я второе“, которое и должно быть уничтожено для того, чтобы воскресло упрямое им глубоко в землю души (какая энергия выражения и образа! — Г.Г.) „я первое“. И не благодетелен ли такой гнев, не есть ли он любовь к «первому я», а в нем и ко Всеединству?» (SALIGIA, с. 61).

«Где нет гнева, где изнемог он и затих, там ждет душу последний и самый тяжкий из смертных грехов — тоска, воистину грех смерти и тления». Какой русский поворот в ие-

рархии! По западной традиции архигрех — Гордыня. А у нас — самая родная „грусть-тоска”. По западному это еще — УНЫНИЕ и его вариант — ЛЕНЬ. Но тут обратна иерархия в воззрениях Личности интеллигентной на Руси и Народа: для Карсавина ЛЕНЬ — ядро зла, ибо — косность и не дает воспарить в сверхдвижении кверху, Духу. Для народа же — самый свой, милый грешок (Иван-дурак на печи! И Лень — как его вождь к „светлому будущему” по-шучьему велению...). А вот гордый = самый грешный. Для Карсавина (кто сам — горд) гордец — мил, а ленивый — отвратителен: клейкая масса, кисель ползучей гниющей сыры. Мать-сыра земля — отвратная стихия. Карсавин, конечно, — огневоздушен, по составу стихий. Пленительна ему — ВОДА как озеро и океан и гроза — оттуда его огню женское начало, но чистое, без смеси с землей, отчего — грязь, болото, топь под-Петербургская. И в этом — итальянство Карсавина: космос атома в сияющей пустоте и сухости — против чухонских топей. И самое смерть он представляет не как сгорание, а как гниение-разлагание, УМИРАНИЕ: оно чувствуется мукою только потому, что мир «ленится умирать, медленно и косно разлагаясь в своей тварной отъединенности». «И победить смерть можно только истинною смертью («смертию смерть поправ». — Г.Г.), как тоску можно преодолеть лишь истинным страданием, которое уже не страдание, а страдание и блаженство» (с. 62).

Вот мы постоянно повторяем: «за все в ответе», и «один за всех, и все за одного», и что каждый ответствен за все, — но бездумно и не понимая. А Карсавин философией Всеединства дает этому продуманное обоснование. «Итак, в каждом из нас живем мы все. В каждом из нас — всечеловеческое зло, все зло падших ангелов и помраченного Денницы, все мировое зло. Но в нас оно не

само по себе, ибо само по себе оно не существует, а — как немощь Адама и немощь всей мировой воли. И виновен каждый из нас вселенской виной (за „Природный порядок существования” — в термине Федорова-Семеновой. — Г.Г.), и страдает мировой скорбью, как и весь мир виновен и страдает виною каждого из нас... Не думай, будто в твоих хотениях и твоей ярости один только ты хочешь и яришься. Нет, в тебе хочет и ярится весь мир, увлекая с собою тебя, так же, как и ты его с собою увлекаешь (этот поворот важен: для свободы воли и вменяемости личности. — Г.Г.). И чувствуешь ты в себе этот поток, заливающий тебя и несущий с собою в стремительном течении своем. (Буддийский образ: мир = поток! — Г.Г.). И — что удивительнее всего — чувствуешь в себе силы ему противостоять или — лучше — его за собою увлечь (а это — уже христианский поворот: свобода, и не отворачиваться от мира, а, с просветления себя начав, вызволить и всякую тварь. — Г.Г.)... Тебе кажется, будто мировое зло тебе противится. Но если побежишь ты, стараясь увлечь за собою меня, тихим шагом за тобою идущего (как у нас в пятилетки; или „попутчики” при „неистовых ревнителях”, которые нервничали: или мы догоним, или нас сомнут... Правда, вектор тут иной был, материально-насилственный. Хотя тоже — вверх: к „сияющим высотам”. — Г.Г.), разве не покажется тебе, что и я тебе противлюсь?». «Дробность и частичность тварных объединений обманывают нас видимостью борьбы и разложения и застилают от глаз наших неуклонно созидающееся всеединство. Мы и не помышляем, что дело в замедленности круговорота, что, совершаясь он стремительно, мы бы видели в нем не только растечение, а и слияние, не только смерть, а и жизнь. Мы не знаем, что дело в косности и лености мира» (с. 67).

Так что «зло» и «вражда» причину

имеют в разных темпах круговорота различных индивидов и групп. И потому «не противьтесь злomu», ибо нет зла и нечему противиться.., но творите благо, т.е. узревайте во всем, что называют злом, «слабый огонек блага и раздувайте огонек этот в пламенение мира. Тогда зло исчезнет само собою, т.е. перестанет обманчиво быть, как исчезает дым в торжествующем огне». Но отсюда — и практические выводы человеку света и духа для поведения в мире сем, где отовсюду напирает чернь. Знай, что «не ведают они, что творят», т.е. — «думая, что они убивают, они воскрешают и, думая, что творят зло, творят благо» — даже самые злодеи века нашего, Двадцатого!..

Но это — тебе для ориентировки в доме души своей: чтоб не кипятился попусту и жалел казнящих тебя... «Видишь ты злоумышление или насилие, останавливай его словом увещания (не словом осуждения)... Не поможет слово увещания — стань между жертвой и мучителем и положи душу свою за братьев твоих... Но есть великое искушение... В нашем мире видимых борения и вражды, может быть, придется тебе самому защищать слабого насилием и спасти жизнь невинного убийством виновного... Но смотри не спеши и не обманись, ибо это самое тонкое и опасное искушение! — можно, говорю я, ощутить как веление Божье, необходимость защитить на земле правое, убив несовершенное, а вернее — вернув его Всеединству. Голос Божий может сказать тебе: «Омочи по локоть руки твои в крови братьев твоих, разрушай и убивай, ибо такова воля Моя, все возвращающая ко Мне! Есть правое убийство и святая война». Но смотри: не прими за Голос Божий голоса Лукавого, ибо Антихрист весьма похож на Христа... Ты должен убивать любя и любить убивая (как Арджуна в «Бхагавадгите» по научению Кришны. — Г.Г.). И тогда постигнешь ты, как любит

тебя дающий тебе убить его (ибо, если не даст он себя убить, ты его и не убьешь) и как велика жертва любви его. А ее и ты должен будешь принести убитому и вместе с ним всем. И пусть станут перед тобою тени всех убитых тобой и наполнятся уши стонами вдов и сирот, а сердце твое пусть жгут слезы их, научая тебя великой жертвенности любви и источному единству наслаждения и муки!» (С. 72).

Это — архисюжет для нас после Гитлера и Сталина и гекатомб жертв их. Как относиться теперь, когда совершившееся — факт, и исправить можно не жизни-тела убиенных, а души наши? Упражнять ее в гневе бессильного злобствования на тиранов и палачей? Или мудреть — прощая?.. Тогда-то (предположить можно) и начнется ад раскаяния для тиранов — будь их души еще одарены сознанием на «том свете»... Если же мы усиливаем проклятия СЕЙЧАС — это же закон, что обвиняемый автоматически стремится оправдываться, чем более на него нападают, — и так пуще укореняется душою в зле и грехе...

Потому-то и АД так понимали святые: как самомучения совести некогдашних мучителей: картины жертв своих с осязаемостью, сводящей с ума от конкретности — пущей даже, чем при жизни воплощение, ибо там тело скрывает процессы духовно-душевные и страсти, а тут они — обнажены.

Но во всех этих выкладках нарастает у нас вопрос: есть ли у индивидуального человека-личности прямое сообщение со Всеединством Божества, или лишь через посредство участия во тварном всеединстве и его образованиях, и группах, и темпах, и кругах пространственно-временных (страна, эпоха, партия, народ)?.. И тут мы перейдем к историческим воззрениям Карсавина и его учению «О Личности» — главный труд.

31.03.88. Вот что значит — фило-

софское открытие! Так это просто и оче-видно, и давно бы возможно: заменить понятие ВИД на ЛИЦО! Но если вмыслиться и разработать — чревато это преобразованием всей картины мира вне, а также устройства души и установки поведения. С Платона «вид» («эйдос») = ИДЕЯ заняла сверхважное место в Духе. А ведь всего лишь ВИД(и-мость) это, взгляд внешний, снаружи!.. «Если же мы хотим указать на то, что «лежит за видом» как нечто первичное,.. постоянное,.. пользуемся словом «лицо». «Лицо» природы (изменяется (само! — Г.Г.); «виды» сменяют друг друга).

Христианство — религия Личности, Бог есть Личность (Един в трех лицах) — это знаем, но философия как-то уклонялась от сего исследования и снова подставляла свои «отвлеченные начала»: Бог есть Абсолют, Дух, Ум, Сущность, Субстанция и т. п. Лицо есть предел выраженности, откровения, к чему и стремится Бытие из (в, сквозь) Ничто: се — теофания («богоявление») Божества в твари. В Личности и открыто, и замыкается Всеединство. И если все: вещь, событие, поступок, миг — понять как личность (от-личный!), ее момент или аспект, переворачивается в тебе вся шкала ценностей и ориентировок и меняется отношение ко всему вступающему в твой опыт.

Варианты ЛИЦА: «лик» (это образ Божий, высший аспект Личности) и «личина» — «персона». «Большое несчастье для западного метафизика, что ему приходится строить учение о личности, исходя из понятия «хари» (persona). Не случайно, думаю, в русском языке со словом «ПЕРСОНА» сочетался смысл чисто внешнего положения человека, частью же — смысл внутренне необоснованной и надутой важности, т. е. обмана» (О личности, с. 8).

Еще у Баратынского как бы зерно этой философской возможности: «Лица необщье выраженье» есть и

дар (благодать), и проблема (трудность особому существовать), и звание, идеал...

Но — не путать «личность» и «индивидуум» (тем более — «особь»). Христос, который высшая Личность, есть самоотдача, анти-«я». Эгоизм, как центростремительность твари, стяжение мелочишки существования вокруг себя как центра, есть крайняя помеха надарению тебя Личностью: чтоб в тебе, как в зеркальце, отразился Божий Лик = принять теофанию... Напротив, всякое выхождение из себя: в любви, даже в любопытстве познания, — есть служба воссоединения бытия в Троиединую Личность после его само-раз-лич-ения. Смысл жизни — «лицетворение».

Остановка бытия в разъединении — это «живущая смерть»: затерянность во множестве и белка в колесе. Без цели воссоединения (воскресения) люди бы глупели (пребывая в раздерганности на рефлекс). Напротив, всякий акт воссоединения (например, в познании и поэзии) есть умение, ибо это — шаг к совершенной Личности из моей несовершенной и из отдельностей будто «внешнего» мне бытия. «Если я воспринимаю удаленное от меня зеленое шумящее дерево, его зелень, шум, пространственная форма, его пространственная удаленность от меня, т. е. само пространство, в котором мое тело соотносится с деревом, суть и МОИ качества, и МОЕ порождение, и МОЯ личность. Это и я (конечно, — не мое физическое тело) зеленою и колеблюсь в листве дерева, пространственно ка-чествую» (с. 80).

Отсюда — динамика, развитие в жизни человека и в истории имеет следующие этапы: «сначала — только один Бог («Отец». — Г.Г.), потом Бог умирающий и тварь возникающая (Бог-Сын, Логос, Жертва Бого-человека, Раз-лич-ение, разъединение, сотворение мира. — Г.Г.), потом — только одна тварь вместо Бо-

га (этап грехопадения и эгоизма «я», предел разъединения тварей, война и вражда всех. — Г.Г.), потом — тварь умирающая и Бог воскресающий (свобода воли твари — уже к добру, любовь — саможертва. — Г.Г.), потом опять только один Бог» (с. 161). Эта пятерница моментов — просто разветвленная Троица: со сцеплением в звеньях. И это — всегда и во всем: такова структура всякого бытия (все эти «сначала» и «потом» — условны; нам для понимания).

Но все Бытие — собор личностей (как Церковь в толковании Хомякова). Космос — Личность. Индивидуальная личность человека входит в более широкие и высокие соборные личности, которые Карсавин называет «СИМФОНИЧЕСКОЮ ЛИЧНОСТЬЮ»: например, семья, партия, народ, человечество, весь тварный мир в целом. Получается иерархия: всякая «низшая» симфоническая личность — момент в вышней. И тут уже — опасность свободе: тоталитаристские тенденции распылял в учении о симфонической личности чуткий на этот счет Бердяев: философское оправдание рабства человека...

И не без основания. Карсавин выступил как философский идеолог «евразийства». Россия в этом движении понята как синтез Запада и Востока, и акцентируются «восточные» в ней элементы. В частности, резко отвергается демократия в пользу «корпоративных» единств, коллективных личностей, где индивид включен в жесткую иерархию... И эти образования уже выступают в роли «сотворенных кумиров», оттесняя прямое, с глазу на глаз отношение человека к Богу, что именно первично в христианстве... Так что в «евразийстве» есть некоторое сродство с тоталитарными идеологиями 20-30-х годов XX века. «Дух времени» — и в нем. Но по существу — это интереснейшее «постреволюционное» течение в русской эмиграции: оно принимает революцию —

как факт и развивает альтернативу как большевизму, так и либерально-западному пути.

Но Карсавин ни в какую посредствующую «симфоническую личность» не влагаем, в том числе и в движение «евразийцев». «Язывительный и экстравагантный,— пишет о нем С. С. Хоружий,— создатель изощренных «спиралей мысли» в философии и богословии, носивший с вызовом реноме ересиарха в религии и «большевистствующего» в политике, но при всем том всегда верный православию и кончивший свои дни в... концлагере (советском, в Коми... — Г.Г.),— таким был Лев Платонович Карсавин.

Для миропонимания в нашем убийственном веке важно карсавинское положение: Зло — сила (стихия) БЕЗЛИЧНАЯ. Личность — это из оперы Божества, Добра. Так еще по Августину и другим мыслителям: зло — безсубстанционально, есть тень добра, несовершенство.

Но как тогда бороться со злом, что — должно?

«Если не выходить за границы эмпирии, не ясно, как надо бороться, почему даже злодея грешно убивать, почему единственное верное и успешное средство борьбы со злом заключается в прощении врагов и обид, в самоотдаче, в жертве собою. Если же выискивать какое-то среднее решение, т. е. хромать на обе ноги, что всегда пользуется в обществе большим успехом,— неизбежно придешь к богоухольному олицетворению зла, т. е. к предположению злых личностей или, вернее (потому что злы-то мы все), личного зла или зла как личности» (с. 96). Таково нашенское будто понятие — «культ личности»: усиленная персонафикация зла, как прежде — добра в кумире... Это ничего не объясняет, а только запутывает, что и свойственно всякой трусливой эклектике.

Не удержусь, еще процитирую: «Этически существенно различаются казнь, убийство и убийство на войне,

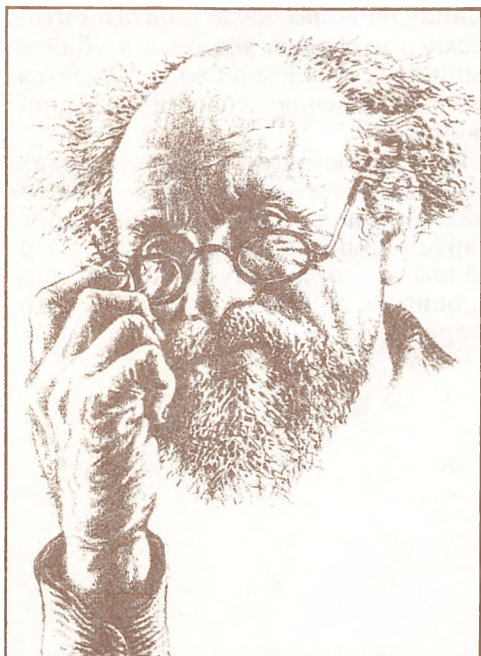
где некоторым образом уже есть согласие убиваемого быть убитым. Но и эмпирическое несогласие быть убитым... вовсе еще не является полным несогласием личности... Говоря грубо и мифологически, в мета-эмпирическом своем существовании личность насильственно убиваемого рано или поздно доходит до того, что «ПРОЩАЕТ» своего убийцу, т.е. преобразует насильственную свою смерть в вольную свою самоотдачу. Она отпускает своего

убийцу на волю после долгого онтического процесса, который в убийце эмпирически яснее всего выражается как «угрызения совести», «эриннии» (с. 96).

И в предсмертных своих стихах (сонетах и терцинах, чудом дошедших из концлагеря) больной старик жарко молил ниспослать ему дар жалеть и любить мучающих и убивающих его, ибо «не ведают, что творят!»







# ПРИШВИН

1.04.88. Остались нам Два Медведя — два русских тотема, два Михаил Михайлыча: Пришвин и Бахтин. Как Пушкин и Чаадаев открывают Русскую Думу данного созыва, так эта пара — завершает, пока...

Медведь с записной книжкой на пне уселся и медок Бытия слизывает язычком Слова — таким мне видится Пришвин. Леший русского Логоса. Перед ним все больше — горожане, ну — птички, на отрыв от Матери-земли и лона Природы в Небо и воз-Дух взлетать норовящие: Соловьев, Карп-савин... Соловей и Ворон... Карсавин меланхолично передразнивает гармоническое КРАСАвин, драматизирует сей Космос: в недрах его прорыв прорыва хаоса (Ничто, тварь...), ощущая, и с ним борясь, усиливаясь — к Лицу.

А эти, Два Медведя, — БАХ!-тин:

из эмпиреев сверзлись Выси, с горизонта Социума в жуткий век наш панически бежали в спасительное лоно, зарылись: один — в Природу, другой — в Душу (книга о Достоевском) и Тело (книга о Рабле) — из механичности наружного мира сего, из Общества и Истории.

Пришва — деталь ткацкого станка. И Пришвин-писатель = ткач из всех мелочей-деталей, как шелкопряд, — «вещества жизни» (как у Андрея Платонова — «вещество существования») — особой материи-субстанции, земли и пространства-времени, в чем можно существовать-дышать-питаться человеку живым и настоящим бытием, в отличие от предлагаемого и навязываемого отовсюду суррогата и эрзаца: в городе, в технике, в комфорте, в науке, где информация вместо живородного понимания...

В детстве он мечтал бежать «из неволи душных городов» — к индейцам, в Америку; а выросши, устремился на Север, в «Край непуганых птиц». И всю жизнь скитался, Робинзон-странник, калика переходящий, все тело страны России пронизавши, на душу и мысль свою наматывая и в слово переткав. Но калики — странники по путям-дорогам открытого пространства, а этот — в ворс-шерсть русского тела, в леса немеряные забился — и забился от раздражений города и культуры удушливо-интеллектуальной начала Двадцатого века; от изысканностей и искусственностей всех «башен» ивановских и символизмов — к первичному приник, роднику, откуда Океан Слова: к народным речениям — их записывать пристрастился, на них его охота главная. И —<sup>е</sup> прислушиваться к жизни-дыханию Природы и ее существ: как из них перво-рождается Дыхание-Дух, мысль-смысл, и голосо-логос: из курлыканы журавля, из лесной капли, из росинки, из листочка...

Отбросить города искусственных мыслей, построений и слов, нако-

пленных за историю Культуры, — и припасть, по-антеевски, к земле, прислушаться чутким ухом к тону и ритму ее сердца и к пульсации жизни в каждой тваринке-травинке — и воскликнуть: О, Боже! О, чудо! Вся «тварь» — это Ты! Всебожественна! А не просто скудное и несовершенное отражение (как горожанин Карсавин брезгливо материю и плоть и зеленый шум отринул в даль «теофании»...).

Но нет: не просто к «земле» — как стихии и почве и поверхности... Это то и прочие русские писатели и мыслители чуют и писать умели: голую землю — простор бесконечный и на нем разгул стихий (Тютчев, Гоголь, Блок...), но именно к ПриРоде, рождающей Жизнь, живое — даже не «вещество» (как одновременно Вернадский с учением о Биосфере), но существа, многие, бесконечно разнообразные и умильные, и любимые и умненькие, как детки Божьи: все эти зайчики и капельки, и тропки, и клюква, и Серая Сова, и бобры, и сосна и т.д. Он перебрал-записал, как ботаник и зоолог, сотни тысяч жизненок, но не объектно-предметно, а братски-душевно, вслушиваясь в то Слово, что каждая излучает-говорит в мир. Как волшебник добрый: речь птичью и звон сосен различал и как они все возговаривают человеческим голосом — через него, записчика-писаря Природы. Переводчик он нам ее умов-голосов. Толмач.

**МНОЖЕСТВО — БОЖЕСТВЕННО!** — вот философское заявление-тезис «системы» Пришвина. После всех **ВСЕЕДИНСТВ**, маниакальных устремлений Русской Мысли к Единому, с брезгливым пренебрежением ко Многому и «деталям»-мелочам, как малым сим (ну да: баре, столбовые, высшие классы! Что им — травинка да лягушка, печка да лучинка — все тут «маленький человек»!), так именно потребовалось Бытию, задышавшемуся уже в гарротах-городах разных философских

систем-ошейников, схематизирующих и упрощающих (Соловьев, Трубецкие, Карсавин...), насладиться своим избытком, вчувствоваться в свое неистощимое Множество — как не мнимость смысла (не «майя» и «авидья»), но как его переполненность в каждом образовании: капле, перепонке птичьей лапки, в дупле и в дупеле. И никто так не населил живыми существами-смыслами русский Космо-Психо-Логос, как Пришвин. Как Даль собрал слова словесные, так Пришвин — слова живоприродные, перворождающийся из Материи Дух в каждой точке Бытия как Жизни телесной, в формах живых существ; форма живого тела и есть его за-явление-слово и сказ: потому описывай неустанно и подслушивай в тишине, наедине, в берлоге — как в кабинете, в скитупустыне. Да, вся Русская Природа — Оптина пустынь Пришвина; тайга — его скит, а он в ней — как беглец-духоборец-раскольник... Хотя нет: нет в нем отталкивания и злобы даже к городу и культуре, откуда бежит... Убежав-то, он им и принесет, возвратит, золотоискатель-старатель, — несметные сокровища: добудет, разработает!

Так что он, скорее, — как Преподобный Серафим Саровский, благодатный и благоуханный: с медведями в мире и любви живет, и всяк-то ему зверь = человек и «Радость моя!» — так к нему априорно обращается...

Но каков же импульс, завод каков? А он — с детства. Вглядимся: он сам себя непрерывно анализировал, а роман «Кащева цепь» — самоисследование автобиографическое.

Он — из купцов. Купили имение, усадьбу, гнездо дворянское — как господи! — и так зажить старались. А всё — неестественно как-то себя чувствовали: не на месте, на чужом будто, на подворье, а не дома. Сей комплекс неполноценности того, кто «без году неделя» свободный чело-

век, а по сути еще раб, не бар, — стыдом жег чуткого Курымушку. Особенно когда прекрасную барышню — Марью Моревну, из дворянской сказки, Пушкинской, чужой, Татьяниной, — встретил, ослепительную. И что поразило? — Простота! Мы-то, плебеи и смерды, все — в ужимках и искусственно наверху ведем себя, натужно, образуя механизм и сложность как имитацию жизненности; а эти — как Бог прост! Простая субстанция, оказывается, — самая утонченная и прозрачно-духовная, и царственно-господская: самодержавие человека как любимого Сына Бытия. А я — пришлец, не на своем месте, и времени у меня не было такого в истории — сложиться — и простым стать! Простак, что из грязи в князи, — сложным старается казаться. Пастернак в конце жизни — про ересь «неслыханной простоты»: «Она всего нужнее людям, Но сложное понятней им», как вот нам, руководимым и организуемым, и так содержимым...

И везде Пришвин чувствовал себя — на чужом месте: и в гимназии, и в науке агрономии, и в учебе за границей, в Лейпциге и Париже, и в среде петербургской интеллигенции, среди элиты интеллектуальной, хотя посещал их, Мережковских и К°, и был принят и оценен.

Нет, не свое, не мое пространство-время, среда обитания. И — бежал: в первозданность НЕ! — неокультурного Бытия, чтобы можно было вслушаться — и самоначать (свое дело) и самоначатся с ним — как человек. «Искусство как поведение» — осознает он это потом. Но и сразу на этот путь навелся. И, уцепясь за Слово (Неба-Культуры скаרב, взятый Робинзоном с собою: умение и ум), с Божьей помощью в сердце и лоно Природы, в тайну и святыню ее, в пещеру тайги забрался: жить, дышать, подсмотреть, записать. Как художник-естествоиспытатель-экспериментатор на себе...

«Никогда не становись на второе место», — запомнил гимназист слова дяди. Но где же найти то, где я — на своем и первый? Среди богемы петербургской — второй и третий. Но есть же оно где-то и когда-то, где я — первооткрыватель! И вот — нашел! Эврика! В лесу с записной книжкой медок сказок и слов природы и пониманий собирать. И далее учение о таланте: что у каждого есть свой, только вслушаться-открыть надо — свое дело и поведение...

И каждый миг — талант, а каждая встреча — сказка и притча. Пошел в баню с шайкой — и показалось, что тут и враг его П., и не хочется глаз поднимать, заранее готовится огреть его шайкой в случае чего... Но вот человек попросил спину потереть — глянул: это не П., и дружки трет ему спину. Себе же мотает урок на ус и утром записывает, как Гамлет в свои таблички, мысль: «Так что сколько бывает случаев возникновения страха и неприязни к человеку только из-за того, что не хочешь глаз поднять и посмотреть на него... Сколько раз так было со мной: собрался врага шайкой хватить, а вместо того намыливаешь мочалку и трешь ему спину» («Еще враг» — из цикла «Мастерская дятла»). И себя чует Антеем, который возрождается, припадая к земле поутру, на заре, когда свет и новая жизнь всего наливает его живым ритмом. На дню он уже скисает и особенно к вечеру, когда и начинается электрическая, искусственная жизнь культуры и города. Если у Блока — сумрак, вечер, ночь, то у Пришвина царствует утро: заря предутренняя, потом восход — и разлив света до полдня — вот его собственное Время живота.

Состав же стихий его каков? Не — огонь как жар. И даже не воз-Дух. Земля тоже — мать, но не он сам... А вот ВОДА и СВЕТ — это его стихии и состав. ВЕСНА СВЕТА — его нововведение в Русский Логос, в лексикон философических субстан-

ций. И это — он сам: Весна = Вода, Утро года, Разлив. Роса на заре, нимб света вокруг нее, как алмаз, — вот атом его состава, так сказать, «пришвиненок» (медвежонок) — ро-синка-лучик из горлышка птички. «На водах тихих, на ручьях звонких, на лугах росистых, на снегах пуши-стых и на лучах светлых солнца днев-ного и звезд ночных — везде тогда я нахожу след души моей». «Река жи-зни», «поток» — постоянные архети-пы у него. И плавность фразы, ее некоторая даже экстенсивность, равномерные волны: прилагатель-ное с существительным... — отсутст-вие неровности, от пропитанности «световойдой». СВЕТЛАНА — он!.. Дева света, не мужик. В нем — бабье в русском, что и Розанов отмечал в себе: не он владеет вниманием, а оно владеет им — и ведет, перебрасы-вает от предмета к животному, к ольхе...

Он перенял сюжет «Медного всад-ника» и природил его себе так на языке стихий: «Медный всадник» — «он», государство, Евгений — «я», душа... «Всадник» это настоящее, это необходимость, власть, «он»; «они» — это берега, а Евгений — вода текущая...» (т. 8 с. 340).

Потому влечет его живой Север: болота карельские и чухонские, пер-вичная жизнь там: животных, рече-ний народных. И на Восток повер-нут: тайгу исходил, в том числе и Дальний Восток, обращен и на Ки-тай, и на Корею («Жень-шень» — «корень жизни», на человечка похо-жий: растение — человеку архетип). Отворот от Запада (хоть и был он там, но не впечатлил он его), а ли-цом — на Север и Восток, в отли-чие от Юго-Западной ориентации Десятого и одиннадцатого века: Европа, Кав-каз, Крым, ну, Средняя Азия... Евразиец он, Пришвин, — не де юре (не по идее), а де факто: как Евразию он Россию постиг.

Собственно, такова ориентация и трудов Советской власти: освоение Сибири и Севера, а спиной — к Запа-

ду и даже к своему Центру (упадок Нечерноземья...).

Итак, Пришвин — это оправдание Природы, Множества. Если Соловь-ев писал «Оправдание добра», Кар-савин — Оправдание Истории (и «зла» в ней) и «О Личности», то Пришвин — личность каждой тра-винки и горлинки узнал, в «антропо-фании» своей души-личности навел-срастил — и так «платформу» Абсо-люта, где жить по истине и совести, всем нам добыл.

2.04.88. Пришвин — это лебединая песнь русской Природы в канун ее стирания с лица земли, чему уж эле-гию слагают Распутин и Белов, За-лыгин и «деревенщики» нашего вре-мени. Пришвин предчувствовал: «В России быт только у диких птиц: неизменно летят весной гуси, неиз-менно и радостно встречают их му-жики. Это быт, остальное этногра-фия... и надо спешить, а то ничего не останется... Россия разломится... Скреп нет...» (с. 49).

А это потому, что у нас культ исторического движения, бега — с Петра: «Русь! Куда же несешься ты?..» «Летит степная кобылица и мнет ковыль» — и все под собой живое сминает катком своей исто-рии: и зайца, и лошадь, и мужика, и пруд, и родник, и мысль, и лич-ность — ее тоже стирают с лица земли: раз у земли отбирается лицо, то и у души... И потому Пришвин — как вцепился удержаться... разлуку — и посадил Россию — на штыри елей и сосен, на иглы леса-тайги, припи-лить дуру Федору, что, как Евпрак-сеюшка в «Головлевых», эмансипан-точка, соблазненная легкой теорией, пошла в разгул и разнос...

Так что хваленая прежде симво-лика: «Путь-дорога», «Ровень-гла-день» балто-славянского щита, что тянет к эгалитарному смесительному упрощению (Леонтьев), отменена у Пришвина: вместо быстрой езды (Гоголь) — медленная ходьба и си-дение на пне и на лужайке, и медита-ция над надрезом, откуда березовый

сок, над зябликом-воробьишком: себ-бя прививает к каждой одиночной тварине, ненавидя и отвращаясь от «скопа» и «соборности» и массива всякого однородного «мы». Питание своего «я» черпает лицом (как ковшом), к лицу души каждого существа оборотясь.

Это в XIX веке, когда личности были в господах,— те, не ценя это явление, идеализировали СОБОРНОСТЬ и ОБЩИНУ. А в XX веке, когда душа-личность отовсюду выдвлена катком массы, коллектива-коллектора, как пузыри воздуха из оплотняемого в материю и партию вещества, тут хоть за соломинку ели-недоноска («Корабельная чаща») вцепиться, иль за росинку на паутинке: чтоб попитать вертикаль самодержавия в человеке. И за волшебную палочку Русского Слова уцепился Пришвин, как последний могикинин русской классики, — и выдюжил... «В России надо жить долго, — говаривал Корней Чуковский (знаю в передаче поэта В. Левика), — тогда что-нибудь получится». Вот Пришвин и не спешил, тянул по-кутузовски свою жизнь...

Про древних скифов (у Геродота, кажется) рассказано, что они умели спастись от нашествия полчищ в болотах: нырнуть, а дышать через трубочку. Пришвин так через соломинку ручки пишущей продержался: жил, дышал. Ну и в живой храм-церковь Природы вхож: прямо в Китеже жил, неуловимый и невидимый, так что не надо ему и Церкви, и Богочеловечества хваленого и знаменитого в Русской Думе интеллигентской, что на идеализации Истории и Призвания России замешена-заквашена... Нет, не надо судеб и величия! Ничего хорошего величие России как Социума и исторического тела не сулит Природе, Жизни в России: и птичке тут, и реке, сосне и человечку... В этом на жестоком опыте убедила история XX века... Потому-то у Пришвина новое в философии русской вот еще что: чело-

век тут не с человеком спарен и братан в «род людской», или «на-род русский», или «класс» там какой, — а со стебельком, с пчелкою, с торфяником = «кладовою солнца» — в совсем иное Единство. С ними у меня общая судьба, а не с «мне подобными», двуногими «хомо сапиенсами». И Пришвин дает пример нам всем и прецедент: как человек сам может из любимых элементов создать свою Вселенную и в ней жить. Туда входят: утро росистое, тишина, собака Травка, дума о жене, слово, запись. Вот мой «коллектив», а не тот, что заседает на собраниях и празднословит...

И вот еще чему научил наш век и Пришвин — уразумению какому. Бояре-дворяне-феодалы опасности для Природы не составляли. Купец начал уже переводить леса и портить жизнь Природы. Но ни в какое сравнение его выборочная порча не идет с натиском организованного в Государственный аппарат рабочего класса, что, горожанин и заводчик, природы, земли, жизни леса не знает и не любит, и для кого это не Мать-Природина-землица-травушка, а «материал» и «сырье» и «техническая культура»...

Елец, родина Пришвина на Орловщине, обезлесена была уже в конце XIX века. То-то, как за водой из суши, устремился на Север, в леса еще немеряные — землемеры и учетчиками. Но скоро и сему — конец: «социализм — это учет» = закрыта жизнь-природа на учет — Кашеем-Морозом — своих владений.

Потому, как тайну жизни России, хранит народ Корабельную рощу в неприступности — даже в годы войны: не дает ее перевести на пользу фанеры для аэро... Это — Китеж, антипод Кашеевой цепи Социума и Истории... У Пришвина — «геоптимизм», как это в письме к нему означил Горький. Это в них еще — народное чувство (когда народ еще на Руси был не переведен на мыло в

Год Великого перелома костей России...). Это в них еще — соответствие наличному в настоящем Народу: мужику-земледельцу или интеллигенту, духовному труженику-памятнику Слова России. Ныне же «народность» в писателях есть (Распутин, Айтматов, Астафьев...). Но она не аналог реально существующему рядом «на-роду» (он уже переселен в города и обращен в фабричных, механизаторов, размолот), а есть ПАМЯТЬ о некогда бывшем тут На-роде и При-роде. Меланхолический стон. И «геооптимизм» ныне, в эпоху отравы Байкала и Онеги и «лес рубят — щепки летят», — оправдания не имеет. Да: родники вод изучены. Но для того надо было сначала замутнить-окопать родники вдохновения (Блок).

Сначала заткнули глотку Слово России (вольной мысли, интеллекту), а потом уж расправились беспомешно и с Природой: заткнули кляпом химии глотки живым родникам. Если бы голос Блока и Вернадского, Бехтерева, Вавилова и Платонова слушала власть пролетарская, а не кичилась бы «народностью» своею (будто!) перед «прослойкой» презренной интеллигенции — о, если бы!..

Но Бытие — многоисточно и имеет «п-измерений». Урок Пришвина — что и в нашей ситуации каждый человек может открыть и собрать-сообразить себе Всеединство и Вселенную: жить в ней и описать, и ею питать душу свою, поддерживать во благе и долгожитии. А потом окажется, что и всех это питает, всем подкрепа.

Конечно, Пришвин — как Дедушка благой, архаичный. Не знает в душе адского поддона тьмы, что уже до него Достоевский открыл в одиночном человеке, а мы это упражнили в массовом масштабе, открыто и на свету. Целен он. Не знает раскола себя — и потому, не ведая ада в себе, — не ведает и Бога: не нужен он ему. Тьму и зло в себе и

вокруг — просто игнорирует. Еще может: не так задавило! И так рассуждает: читателю интересно хорошее, и в век наш — нехватка счастья. Потому дурное и боли свои я не стану восписывать — даже в дневниках!..

Значит, не так болит и не так дурен! Толстой бы так не рассудил... Благообразна натура Пришвина: добр от природы. Как-то я понял: добрый человек и без Бога хорош, а вот плохому (или кто таковым себя чувствует) — Бог нужен: на идеал смотреть-чиститься чтоб. Пришвин же подобно объясняет свою методу: на мелочишку он взирает (а не прямо на Солнце) — и так и твари, и светило славит.

Вперявшиеся прямо в Солнце (Ума, в Абсолют, в Идею, в Бога) философы хором гласят, что слепнут в вышнем свете, и уже сомнамбулически ту Невидаль горнюю в апофатическом глаголаньи нам прорицают. Бытие = Ничто, Сверхсвет как слепота-темнота. Бытие — как Небытие, Забытие... Это — от восторга и экстаза, наших чувств превосходения. Пришвин же их любил и ценил: талантливость наших органов чувств и их меру, — и гармоническим к сей мере словом выражал. То-то ощущения в нас уютности и детской человечности из мира его произведений: в них действительно — мир среди войны, даже страшнойшей, Отечественной!..

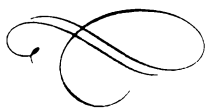
Как-то уберегся он от Колеса Истории, по обочине обойдя центры-столицы. Как Скула и Ерощка, скоморохи в «Князе Игоре»-опере: «Бязать? А куда бязать-то? — Во ляса!» Вот и сокрылся там Пришвин от репрессий и раскулачиваний. Провинциал! Как и Бахтин ему подобно: тоже обходил Москву и Ленинград: жил в Кимрах, Савелове да Саранске — и так уцелел в сих берлогах, подале от центрального ада-ва огня.

Итак, Пришвин — Пушкин: Космотворец и тоже Бог-Слово. От-

крыл-вословеснил Россию — как Природину. Но Пушкин — глобально, en gros, как говорят французы, а Пришвин — детально, экспериментально, на опытах своей шкуры, чувств и первослов. У Пушкина — макрокосм. У Пришвина — микромир, атом каждого существа, каждой мыслицы, брезжение просветления. Соответствует новейшей физике и ее картине мира — квантовой (в дневниках по поводу бесед с Капицей Пришвин так свой метод и картину мира осмысляет). Он ежемигновенно ставит собою духовно-интеллектуально-художественный опыт и ведет его запись, как штурман — судовой журнал сквозь плаванье всей жизни. И все нанизано на себя, собою продумано, внутрь введено, и образовало внутри уже не образ Божий, а — Бог его знает, какой... Во всяком случае, тут Всеединство и Личностное (всё — личности и через его личность пропущенное и возванное к словесному бытию — Разуму). И не «тварь» и «Творение» — этого он не чувствует и не любит, а — Природа и Рожание и Жизнь и Бессмертие — через сердечную мысль всех друг во друге. Ду-

ховное — чувственно у него, сенсуально. Материализм! Только анти-исторический, живо-природный: материю — как живое вещество-существо чуял. Ибо так называемый «исторический материализм» — мировоззрение недаром пролетариата, кто далек от природы и Матерь-землю не чувствует, а лишь материал труда, производства. Если труд, то именно кустарно-ремесленный, а не фабрично-заводской, коллективный, воспет Пришвиным: труд чудиков-мастеров, единоличников: кто сам — с лицом и во всем лицо и личность чувствует: и в деревне, и в птице (охотник), и их тайны и повадки и характер знает-ведает. И уж, конечно, никакой не ЗАведующий, НА-чальник — РУКОВОдитель (руками разводитель) вместо ремесла: месить руками вещество жизни...

И — анималист он, Пришвин, в отличие от растительной чуткости прочих русских... Хотя и у него еще вопрос: что внутренне принимал, с чем самоуподоблялся: с растением или животным? И то и другое им испытано...







## Бахтин

3.04.88. Бахтин — это Город (а не Природа), Люд, разноголосица (а не тишина), диалог (а не единый Логос), полифония (многозвучие), плюрализм, а не единство, крепкий чай (а не березовый сок) и ночной семинар до утра в своем кругу, в избранной общине интеллигентов, как в культурной церкви, в молитвенном доме, — да, нечто от словесно проповедничающих баптистов, а не от православия есть и в его религиозности. Не Бог, а ближний — на этом акцент: «где двое (диалог! — Г.Г.) собралось во имя Мое — там и Я среди вас»: возлюбил ближнего — так реализуешь Бога...

Бахтин пережил Жизнь, Смерть-забвение, но и Воскрешения при жизни сподобился. Творил-мыслил в 20-е годы в Невеле, Витебске и Питере (все — Запад России, среда еврей-

ская), затем сослан, забит и забыт — где-то в степях Казахстана, в лесах Мордовии, в Саранске. А с 60-х годов воспомнен (летом 60-го года мы втроем: Кожинов, Бочаров и я — первые приехали к нему в Саранск) — и вокруг него живая церковь культуры образовалась, где сходились иначе разьединенные: структуралисты и славянофилы, лингвисты и искусствоведы и т.д. А он — лишь БЫЛ, просто молчал и слушал. Как старец Оптинский был нам. Серафим Саровский Культуры в лесах Слова.

Большая переориентация через него — в Русском Логосе, в миропонимании.

Слово в XIX веке стало де-факто первой действительностью русской жизни: там самая истинная и живая жизнь шла — реально. Но это не было осознано, не подвергнуто рефлексии. Бахтин вперил ум — в Слово, в его жизнь: Логос — в Логос. Кантово дело у нас предпринял. Если предыдущие русские мыслители тяготели к Платону и преследовали Единое, Свет, Идею-вид-лицо сквозь суету телесности и вещественности и множества (Вл. Соловьев, Трубецкие...), то он — резко антиплатоник и антивизантиец, и сомнительно православен, и вместо соборности важной — праздник Вавилонского смешения языков, но понял его именно как Богу-угодное событие и нам задание на труд и усилие взаимопонимания. Его первая философская любовь и школа — неокантианство, Коген, Марбург (как и для Пастернака...). Традиционное — и уже скучное — противостояние «я»-«он» (субъект-объект) в европейской культуре и кантовскую проблему непереходимости тут — он смело и свежо разрешил введением ТЫ-бытия и ТЫ-мышления: «Ты еси!» Ты — это Другой как «я», изнутри него: и мы уже не как объекты друг другу, как вещи, противостоим, а СО-стоим в обществе общения и повернуты лицами друг ко другу и превращаем Другое — в

Друга. Вот его вариант Эроса (платонова, духовного): ДРУЖБА — как преодоление «ЕГО», Онности человека другого и всякой вещи и явления. И так в беседе и сосмысли двоих (или более: диа- и полиравно-мощны у Бахтина) реализуется Бог, который есть Любовь.

Ну да: если доселе внешне друг другу брали эти определения-сущности Божества: Логос (Бог-Слово) и «Бог есть Любовь», то Бахтин раскупорил Слово и обнаружил там — Любовь. Там — Богочеловечество, человечество во Боге обитает и живет и голосит в общении Города и Культуры.

Так что Бахтин и его мир — СОЦИАЛЕН: Социум, Политика им принимается всерьез и как ценность; агора, форум и площадь — он слышит их гул, встречу там разных слоев социальных = как жаргонов и пластов языка, живых и божественных образований... Потому, если для платоников — Свет и Дух, то для Бахтина — разноцветная тьма, радужность (вместо единого луча белого света), огни искуственные, ночные: факелы и электричество — и дионисийство карнавала (=вали «карно»: тело-плоть — в кучу малу!).

Так же и русскую проблему: МЫ — Я (где «МЫ» задавливает «я» бедное и ссылает его из АЗ-а, первого места в алфавите — на Камчатку-Чукотку дальнего Севера или Востока, куда и реально в XX веке многие уж сильно проявившие себя «я» сосланы: в ГУЛаг-Логос Колымы) Бахтин разрешил — вклиниением ТЫ. Тогда не отвернуты друг от друга все «я», видя в другом лишь отчужденное «тело» — ОН, вещь, но лицеприятны: повернуты друг ко другу лицом и слышат в другом — не «его», а «твое» — Я, как возлюбленную на меня непохожесть... Так обогащена исконно российская идея «соборности», которую доселе понимали как объЕДИНение личностей в тяготении всех — к Высшему: к Богу, к Родине, в чем

растопляются уже и не важны отличия. Нет, в «соборности» по Бахтину все глядят не вверх, на Небо, или вперед, на священника и алтарь, а друг на друга, на нашенском, низовом, горизонтальном уровне, осуществляя кенозис Бога — на площадь: нисхождение к нам и жизнь среди нас; в каждом — особого образа Божия обитель, так что развивай в себе слух его расслышать и люби всю эту разноголосицу и атмосферу обильной духом жизни. Дух — как не наверху, чистый, в свете и небе обитающий, а воплощенный, расцветенный, очеловеченный, телесный — подлинно и приемлюще, а не застенчиво-стыдливо, поинститутски... И в этом Бахтин впитал Розанова и чтит благословенность плоти людской как соцветия и оркестровки.

Если русский поэт, чтобы внять Богу бежал «на берега пустынных волн, в широкошумные дубровы», то Бахтин за Богом — в самую гущу «улиц шумных, где сор сметать; а «сор» = алмаз разноСловья.

Если Тютчев — в ночь и тишину от дня и суеты, от шума — в молчание (также и Жуковский: «И лишь молчание понятно говорит»), то вектор Бахтина — разговор, речи как проявленность Слова во человецех. Потому роман Достоевского, исполненный диалогов разных сознаний, — живое откровение... не Божества даже (как хотел сначала сказать), а каждого «я» в атмосфере всеобщего ТЫ-бытия, реально человечество как БРАТИЮ ощущая, переживая и понимая. Братия — не Кратия (будь то «демо-кратия» или «аристо-кратия»), кратер всякой силы и мощи, куда давится и подавляется дух жив и каждого «ты» любимого.

Потому-то и любовь понимает не как вождеделение — вариант воли к власти (как Ницше и Фрейд): насилить тебя как «его» вещь — и утвердить «я» свое, пустое и абстрактное. Другой именно любим как иной и

непохожий: будучи обращен лицом ко мне в Ты-отношении, он проникает меня и видит то, чего я в себе не знаю, и впервые образует во мне некий образ, определение меня как «он»-а. Так что через Ты я себя впервые узнаю как «предмет» и «онность» и «другого»: взаимоотражение; но оно только начинается этим актом, а далее — замерцало в симфонии бесконечных живых рефлексий и в слухе друг на друга.

Так что нет Творения как данности, а мир ТВОРИМ каждый раз — в общении, во встрече, в усилии друг друга слушания (не разглядывания — и в этом Бахтин антиэллин и антиплатоник: те все чтили вид и зрение, а он — слух; значит, свет не важен, и тьма даже лучше, как на концерте: не отвлекают зрение внешние формы).

И человек — не дан, а ЗА-дан: тебе на усилии проникновения в Дружбе. Нет ничего ставшего, совершенного, но есть открытость Бытия и свобода для тебя: Бытие ждет от тебя не рабства-послушания, а быть ему Другом (даже не «сыном» патриархально-монологического Отца). Если что завершено-совершенно, — мертво, значит. Живое — открыто и реагирует (так и определяют в биологии: жива ли клетка? = реагирует ли на раздражения среды?).

Потому в философии и эстетике категория СОВЕРШЕНСТВА — отвратительна и безобразна для Бахтина: свидетельствует об умерщвлении, законченности явления, жизни. Напротив: если торчит в живых заусеницах и топорщится что, в косноязычной речи пробивается нелинейно, — вот признак жизни и живого Слова; таков стиль речей героев Достоевского.

Также и «гармония», и «космос», и «единство многообразия» — все эти архаического сознания критерии суть свидетельства плоскости рационалистической мысли, ее монологизма и линейности. В этом смысле Бахтин в культуре гуманитарной —

как Эйнштейн и квантовая физика вместе: диалог = дополнительности взаимной принцип. Относительность систем отсчета = источников бытия и слова: их обернутость друг на друга в кагале и вслушивание. Да, в кагале и Содоме Бытия — как Божестве...

Предмет Бахтина и его среда обитания — литература. Он сделал литературоведение, рефлексию литературы о себе (поэтику), универсальной философией. Доселе что было? Бытие и Мышление: философия строила системы мира — Бытия (Платон) и самоисследовала свой инструмент: Логос, Мысль — как возможно познание? (Кант). Но ведь за историю цивилизации все это осело — в Слово, письменность, литературу — всяческую: от устного жаргона, минусово-литературного («мата»), — до выпрненной риторики, политического ораторства... Мир Слова — это, оказывается, целое Общество, Социум. И исследуя архитеконику литературы, ее произведений и жанров (романа и проч.), изучаешь стык Бытия и Сознания в Жизни Общества. А она целиком проецирована в разнослойность и разножанровость литературы. Роман — это Город. А роман Достоевского — Мегалополис. Так что исследуя категории поэтики, общезытийственные и философские проблемы проникаешь; только тут удобнейше и проявленно их можешь улавливать: в лаборатории художественной литературы, в данности и подручности ее книг, а не в камере обскура экспериментов над открытой природой или среди схоластических гаданий самомышления гносеологического.

Вот, например, соотношение автора и героя в поэтике достоевского романа. Провозглашается такой тезис: герой как автор своего сознания, которое обладает живой свободой становиться и неожиданно незавершенно. И к нему сам автор произведения относится вопро-

тельно и, ожидая, на него ориентирован и с ним диалогичен, одноуровнев... Да это же человек и Бог! Человек выходит самотворец, относительно (именно: Тебя!) свободовольный, а не тварь рабская, как персонаж-герой у всевидящего монологического автора (как Толстой, например, который все знает за своего героя и тот в его руках — как вещь-изделие, готово-совершенно-определенное им).

Последнее слово не сказано: оно — за героем-личностью. И на границе перехода, на пороге — может неожиданностью обернуться (как покаялся благоразумный разбойник). Так что и до смерти человек не завершен. А и после — тоже... И произведение искусства: живет и перетрактывается. Даже целые цивилизации древние, как египетская или эллинская: вроде бы завершили свой внешне-телесный исторический век и путь. Но путь духовный их продолжается: в переосмыслениях и в участии диалогическом среди последующих образований культуры.

Человек — самоавтор своего сознания и потому ответственен, а не Бог за него отвечающий: ты меня сотворил-породил — ты и гадишь и убиваешь или благотворишь мною... Нет, «алиби» нет: человек самоответственен, и всякий шаг его — поступок; и даже мысль = поступок, а не просто игра отвлеченными терминами, шалая-валяя празднословное. Например, моя мысль — о тебе: что ты, небось, своровал! — уже есть мое воровство, дурнота моя в бытии тебя. Небезразлично и безрезультатно помышление — как помысел греховный. И человек каждый существует весь в атмосфере мнений о себе и слов и отражений и чутко ловит и формирует свое миропонимание и образ самого себя в ориентации на чужое слово. Так что Другой также формирует меня и есть автор меня, как и я свободен и самоответственен. Но и ты — свободен и есть развивающееся «я», а не «пред-мет» (и не «гегенштанд»

= «противо-стой» немецкий) и «представление» фасадно-онное, лицевидно-идейное... Нет: слух не на перед и высь, а на глубь, низ и зад, на всю толщу — вот подход музыкальный, мозгозвучный.

Также и Роман — как жанр. Да это же — Город! А его жанры — это формации общественного сознания, в которых обитать слоям социальным и стилям их речей. Так что форма есть первосодержание, а не «про что» в романе рассказывается, — как содержание и идейность видит плоский взгляд традиционного (не беспокоящего) гуманитарного сознания в духе «доброе старое время» Деятнадцатого века.

И тут мы подходим к недоумению: где? когда принялся этот ум предаваться эквилибристике литературного самосознания? В годы Революции и Гражданской войны! В двадцатые бурные годы и потом — в пятилетки! Какое это имеет отношение к нашей жизни и истории и для простого крестьянского или рабочего человека?

Но ведь то многоголосие, в которое вслушивался Бахтин, — это же голоса, которыми «гремит разорванный ветром воздух» в музыке революции, подслушанной Блоком в «Двенадцати»: тут тоже стилистические пласты каждой части представляют голос класса, сословья в Слове как общественном устройстве: романс (город), частушка (деревня), марш (армия), лозунг (политика) и т. д.

Бахтин исследовал ту же «многоукладовость», что Ленин отмечал после революции в структуре образовавшегося общества: различные «культурные» археологические слои — в одновременность диалога и полилога вступили: классы, группы, борьба интересов, профессий, миропониманий разных...

И что же произошло у нас? После перезвона-масленицы разных голосов-сознаний, образов жизни владел Один голос и «Единственно правильное мировоззрение», и «Единство воли», и «Партия и народ

едины»—и заглушено всякое разно-голосие и иное сознание, и «я» и «воля» и всякая Другость. Другость стала Врагость... народа. И «если враг не сдастся—его уничтожают», добиваясь Монолога тотального: чтобы большинство было не просто больше, но—всем и единственностью, а то, что меньше,—вообще чтоб не стало слышно и исчезло с лица бытия. Так что бахтинское отстаивание слуха на другое, на многое и разное, на личное и самоответственно-свободное,—конечно, было активной социальной альтернативой возобладавшему казенному монологу. Как если бы вместо симфонического оркестра осталась одна гигантская труба и орала бы и оглушала бы нас и наш ум, и отупляла сознание, массируя целый век,—и ничего чтоб не слышно иного... Недаром так полубился прежнему у нас государю ансамбль скрипачей Большого театра, что простенькие и доступные звучания единодушные до слуха властительного доносит. А оркестр, симфония — это для такого слуха какофония...

Теперь мы пробуждаемся от морока единосвучия и единомыслия и, как больные—ходить, учимся слышать другого и не хвататься сразу за пистолет, уловив другоячьсть мысли и миропонимания... И тут Бахтин—нам школа и учитель первейший. Причем: Другой—не вынужденность мне (с чем, как с помехой, приходится считаться!), но необходим именно для образования меня и самопонимания и развития, для расширения и расковы-вания свободовольно-творческого в мире,—и продолжения себя как шестивия в неизвестность и незавершенность: путь открыт вперед! Как это притягательно и отрадно! Я и себе, и миру не известен—до конца моего—и уповаю, и могу высшее и самое благое под конец сотворить и понять!.. Также и каждый мне—не «Он», а друг возлюбленный—именно за другость свою!

А его мысль об ответственности:

что нет у человека «алиби»! Это, в-первых, значит, что я занимаю уникальное пространство и время и место в бытии: именно единственный я и незаменимый. И если я с сего места уйду, с долга своего сознания и взгляда, и поддамся на замену—просто другим, одинаковым, то я—дезертир Бытия, работник на энтропию и падение Жизни, служащий Смерти. Если прежние философы Единство и Всеединство любили, как слияние всех в одном, и, значит, ненужность каждого и, в общем, заменимость (а у нас именно это: «незаменимых нет!»), то здесь Единое понимается как Единственность, а из нее—Оркестровость и Хор и Спектр радужный Жизни.

А что мысль = поступок (развито в «Философии поступка») — да это же просто идеология для ЧК и ОГПУ: за мысль инаковую сажали и казнили. Но Бахтин это понял—не как беду, а как восцеление мысли: вот доказательство ее субстанциальности: она — не дуновение, а реальность, раз «опасность»...

Как кто-то из европейских писателей—чуть ли не Ибсен—говорил: завидую русским писателям: у них такой прелестный деспотизм! (В том смысле, что страх власти перед Словом—набивает ему цену: слово у нас—дело серьезное, тогда как на Западе привыкли болтать, что хочешь, и не придают значения идеям-словам разным...) Так что сажание у нас за малейший отличный оттенок мысли (на это—«шестое чувство») вышло колесо у партийных работников и чекистов! Нюх на слово: «душок» какой-то почувствовали—«не наш!») было «доказательством от противного»—величия Слова и что оно = Дело. И именно Общее Дело: таким у Бахтина исследовано строение Языка и Литературы—как Космоса и Общества.

Ну а его книга о Рабле, где воспеты «ширшественные приношения гастролятров»,—разве это не народная утопия о молочных реках и кисельных берегах — как сон в эпоху смертного голода 30-х годов?.. А народный

карнавал и хохот над всем официальным и над казенной серьезностью, обряд окунания короля в дерьмо и избрания шутовского короля в мистериях и мениппеях античных, средневековых,—каково нашей чопорной серьезности и величавой ритуальности— всё это снижающее бого- и кесарехульство? Так что сей ученейший муж, наш Эразм Роттердамский по образованности и утонченности культуры,—самый народный демократ — он, а не те «рукамиразводители»-начальнички, что во имя и от имени и на благо народа выступали и клялись...

4.04.88. Поотмыслюсь!.. Как переворачиваю направление души при этом сразу! «Интенция» — иная: не на мир и на предмет выход, на бой и ристалище и под угрозу удара и неудачи. А — в себя, спокойно, в дружелюбное пространство, где только хорошо может быть: от сосредоточения и очистки — не прячась от Божья глаза, не имея в виду ни «читателя», ни редактора, но Ангела-хранителя разве что в собеседниках. Он кротко всепонимающе слушает и наводит тебя на мысли, но сам — не говорит, не влагает тебе в уста слова: лишь тягу некую дает — вниманием — и так наводит.

И тоже отличие «Ангела-хранителя» от «Демона Сократа»: тот тоже не говорил «что», «да», но говорил «нет! не то!» — давал сигнал неудобством в душе, дискомфортом совести: отталкивая от пути ложного и наводя тем самым на возможный истинный. Но этот сигнал «нет!» — пограничен и формален: как ток электрический по проволоке концлагеря ударяет тебя, в сомнамбулизме любознания шастающего.

Ангел же -хранитель наводит на положительное содержание, но маревом-облаком неопределенного поля...

Вот и я ум свой держу в позитиве, а не в критиканстве упражняю (это уже — внутренняя полемика с Юрием Давыдовым и Юрием Каржиным).

И вот УРОКИ БАХТИНА — мне

самому — попробую уяснить. Вчера я его пояснял предметно, ОН-но, как «вещь», хотя бы духовную,—и это уже фальшивовато, по его взгляду на все...

...За окном прошелестела, взвыла черная «Волга»: начальничка какого-то повезли — в кабинет свои волокут: в ихнюю тюрьму! А они величаются, важничают! Думают, будто «хорошо» живут!..

А что лучше-то вот моего у окна сидения, взглядывания в березы да сосны — и в душу свою, где собеседу не с начальничком, а с нашим Сократом — с Бахтиным — веду?

Вот уже и запись эта — про черную «Волгу» — в духе Бахтина: открытость меня, внемлещость входов-впечатлений, не отталкивание их в самозамыкании, а чужье слухом: вот тебе из ДРУГОСТИ подача, вход некоего слова-сказа мира, Господом насланная волна, волнующая твой внутренний покой и самозамкнутость и побуждающая на выход из себя и на РЕ-акцию мыслию: произвести некое новое, общее с сим входом СЛОВО — в Полилог Бытия. Мышление — как беседа!

Но не с читателем, а вот с шумом «Волги» под окном и с мыслию, во мне наваянной чрез сей сигнал. «Читатель» — это условное «ТЫ», хуже, чем честное «ОН», — это Сатана Бога, передразниватель истинного Диалога = открытости и беззащитной прозрачности, когда обращен к Другому — не на охорашиванье себя иль защищаясь-оправдываясь, а благодаря-радуясь наличию Другого — как того, что поможет разобраться вместе в Бытии, во Всем — и во мне. Поможет, хотя бы ТЯГОЙ — из меня вон и на выход: пробита моя скорлупа-граница, и открыт манящий и неожиданный мир вокруг — и я лицом к нему обращен. Именно: ЛИЦО во мне рождается впервые — при обращенности куда-то от себя, и тогда в эту сторону станет ПЕРЕД, образуется из меня (как в сказке к избушке: «Повернись к лесу задом, ко

мне передом!»). Ну да, пока я сам — я чувю себя или точкой, или расплывчатым во все стороны объемом: как БОГ, чей центр везде, а окружность — нигде. Таково самочувствие одного — без обращенности куда-либо, а лишь внутрь себя или в слух бытия в полноте-Плироме (как при и в Музыке) обратясь...

Да, вот еще и новое вывелось: в Бахтинстве — я поворачиваюсь лицом к тебе, но не на взгляд, а на слух: не глаз тут мне нужен, а ухо — внешнее и внутреннее, ума сердечного.

То есть, не ИДЕЮ — Вид я ловлю: она поверхностна и плоска. И не ЛИЦО-личность твою даже (Карсавин!), что есть сход толщи твоего бытия тоже к переду и виду-фасаду, хоть бы и как в Единое Целое. То все подходы из СВЕТОВОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ. А Бахтин — из МУЗЫКИ, что антисвет и антиЯвление, а звук и слух, и матьма, и полнота атмосферы отовсюду. С закрытыми глазами постижение бытия у Бахтина. Недаром в среде музыкантов (Мария Юдина — пианистка!) и евреев, кто музыкальны, а не зрящи, и в душу-Психею устремлены, и для кого материя бытия — не Мать-земля, тем более: не Мать-СЫРА; а ТОРА = СЛОВО — вот их Территора, Материя-вещественность.

Тоже и акцент на ТЕЛЕ народа (в «карнавале» — из книги о Рабле): это ведь именно еврейство свою субстанцию содержит не как Космос-Природу (земля, климат, время и пространство, четыре стихии и т. п.), но содержит ПЛОТЬ свою чистою, — и на то предписания Моисеевы: что́ есть и как, а гигиена — на правах законов, которые в странах-народах с землею регулируют отношения между пространственными величинами: хозяин, участок земли, вещи и их присвоение... А тут все направлено — на ТЕЛО!

И вот живое, редкое во российстве ощущение Бытия — как ТЕЛА плотского, человечья (Мир — как Адам! Кадмон! Каббала!) — это опять из Витебска в Бахтине. Из кагала Шагала,

что его там плотным эротическим кружком обступал и глядел в его ум и восхищался, обволакивая и направляя и питая, — и наводил, и творил через него новое и неслыханное доселе в Духе и Слове. И спасибо им всем, бахтинским сотрудникам, за эти совместные открытия.

Итак, куда же меня отнесло от промышления про и с Бахтиным? — Да никуда в лишнее, а куда надо: все более навораживаются на мою мысль собеседниками новые агенты и «слова» Бытия с ними. Вот и витебский круг Бахтина стал и моим собеседником-сомыслителем. И помогает.

Вот еще вторжение Бытия и его Голоса в ПОЛИЛОГ мой, или, точнее: со мной. Уборщица пришла белье менять. Смотрит: я печатаю.

— А что Вы пишете? Поэзию? Прозу?

— Мысли.

— А что это такое?

— Но вот Пасха сейчас скоро. Бог — есть? Нету? Что такое?

— Бога нет, это выдумали, его никто и не видел. Я в книжке читала.

— А музыку Вы видели?

— А как же? Играют...

— Что играют, Вы видите, но вот музыку же Вы не видите, а как палками шевелят и губы надувают.

— Да, не вижу, а слышу.

— Значит, уже это не доказательство: что Бога нет, раз его никто НЕ ВИДЕЛ. Он слышен может быть — в душе, совести...

— И Николай угодник — это просто у царя хороший человек-чиновник был.

— Вот и это мне для мысли задача: Наш мир — с начальниками-руководителями, и Вы во всем такое устройство видите: и Небо, и устройство козьявки: там «начальник» — голова, или сердце, а прочее — передатчики...

Еще спросил:

— А в церковь ходите?

— В детстве ходила, а теперь — дети, некогда. Это бабкам есть время, кому нечего делать. Да и устанешь



там: войти — войдешь, а не выйдешь. Это в других странах — скамейки: сидеть можно, а у нас — стой и задыхайся. Мучение!..

Вот уже сколько мне от Бытия нашвыряно слов-идей, под коими изгибается прямая линия-выкладка моего мышления, и она должна принять их в себя и изогнуться — и так углубиться: траектория волнующаяся, что присуща толще Бытия, ее внимать и проникать, — образуется.

И Бахтина кружок сидящих: радение, горизонталь Социума. А в Церкви православной — стоять: свечою в Небо себя ставя и сгорая; вертикаль с куполом в небе — вот СОБОР. А у Бахтина — СОБРАНИЕ-заседание, как и в советском заводе-стиле. Божественная Политика...

Вот и я вчера в церковь переделкинскую завезен был Юрием Селиверстовым — и выстаивал раздраженно: влип в чужую дхарму! — так роптало мое тут самозамыкание, не желавшее растворяться привходящим впечатлениям и голосам из Полилога Бытия, что мне предложили себя — окружили «предлагаемыми обстоятельствами».

...Лежу я послеобеденно, дремлю — после утреннего штурма Бахтина: за раз на вершину его взлетел — три с половиной часа умозрел и вроде набросал образ, — и уж голова болела от перенатуги. А тут вдруг Селиверстов приехал: Никитин Валя там и итальянка из Милана. Приехали дачу Пастернака смотреть и могилу; и в церковь — ну, пошли. Поначалу хорошо — воздух. Но потом — сверх меры моей стало. Алехин Юрий Владимирович, директор несуществующего музея, рассказывал о перипетиях: угрозы «Памяти»: не будет тут музея! Как начальство Союза писателей не захочет отдавать дачу — и разве что музей на всех тут устроить. Как Вознесенский, председатель комиссии по литнаследству, лишь себе на этом рекламу делает, а реально — мало... Как и пожар был — и всех бы устроил! — и не разобрались; а

был — поджог, наверное. Как даже из Белграда писатель высказывал опасение, что музей Пастернака может стать приютом диссидентов. Как приехал японец маленький, и когда Алехин сказал, что не может пустить без разрешения Министерства культуры, тот залепетал тихо: «Гласность, Ускорение, Перестройка» (как «Тройка, Семерка, Туз»), — и не выдержал Алехин: открыл. Красивый большой русский мужик с бородой, но стал еврея Пастернака защитник. Умилительно...

Потом на могилу проехали: прямо через поле у церкви; так что «жизнь пройти — не поле перейти» — буквально в его случае сказалося Бытием: из дома глядит на свое кладбище и наоборот.

В церкви Валя Никитин сказал мне: когда впервые бухнулся на пол — от всей души, — тогда впервые к церкви причастился, хотя и крещен был...

У меня было такое — но забылось. И снова чурбаном стою.

И я выстаивал монастырскую долгую службу (тут же «Афонское подворье») — представительство Пантелеймонова монастыря на Афоне) и роптал в душе: сейчас у нас — ужин. И сидел бы дома и читал Бахтина, как вчера, — и наработывал бы уразумения на утро (на сегодня уж) промышлять-писать. А так — прервал коитус с Бахтиным... Раздражение...

Но вот утихомирил себя — с помощью Слова: его как мир поняв-расслышав и все мучения вчерашние — в голоса в хоре Слова превратив: в мысли-идеи надоумливающие, в собеседники Полилога, все вместе думающие о Бытии; и теперь мне уже все вчерашнее — плюс.

О, именно Божественность Слова: все в него взойдет, трансформируется — и благом окажется! Вот реально — Бог есть Любовь: всякий зуд и удар, и грязь, как только назову и вовлеку в мысль, — тут же Смерть теряет в том свое жало, и Враг превращается в Другого = Друга! Мышление и есть способ возлюбления —

Бытия и Бога и ближнего, включая и вещных ближних: заноза под ногтем, или тошнота в желудке... или запор в кишке. Раз в слово обратимо — уже равнобожественно. Вспомнился коан дзенбуддизма: «Будда есть кусок дерьма». Ну да: название «дерьма» словом есть уже превращение его в «Будду». Хотя бы так — не дискутируя вопрос о субстанции Всеединства (откуда тоже выводимо дерьмо как ипостась Бога...).

И вот тоже важный момент бахтинской гносеологии: отказался от споров по существу Бытия и Сознания-мышления, а на промежуточной меж них территории — Слова — всё стал разбирать; а Слово — их реальная встреча, единение и брак, и третья. Трансцензус. В Слове — полное представительство и Бытия и Мышления — и все их проблемы тут уловимы и ставимы и разрешимы — ли?.. Но это и не важно: именно для Слова важна его открытость и незавершенность, что значит: бессмертие и жизнь всегда, и впереди — есть работа!..

А в Слове берется не просто первое: субстанция — Язык (как лингвисты изучают), а — Литература: образования из слов, существа, произведения, жанры, формы — как в естествознании организмы, их классы и строение. Так и для Бахтина Роман, Менишпея, Новелла — как Млекопитающие, Рыбы, Насекомые. А в Романах — подвиды: воспитания роман, авантюрно-бытовой, роман-исповедь и т. д.

А статья «Слово в романе» — это трансформация Бога-Слова в кенозисе воплощения на площади города и в тутошних сюжетах и переплетах.

Но это ты снова сбился Бахтина промышлять. А ты-то как? Тебе какой подсказ на жизнь — перечтение нынешнее Бахтина, а многого — и впервые?..

Во-первых, — удар по моей установке отъединения от людей: чтобы не мешали внутреннему слуху и сосредоточению. Но в итоге так кору наращиваю и не люблю Другого, чужд

Дружбе. А всё лишь Эрос и Любовь читил. Теперь — смиришь в гордыне одинокого самомышления: беседуй и вслушивайся доброжелательно — и из всего извлекай голос Бытия и тебе подсказ.

Во-вторых: чтение и Культура — восвятились. Возжизнились! Всё ты через них можешь иметь, внутри мира Слова, — только внимай поглубже! А не думай, что главное — телесно-плотская жизнь и участие в Обществе, и «дела» — то, что тебе как раз не удастся — и мучительно!

Бахтин — баб не барал и на флот не ходил (как ты в рывке — в жизнь!) и деятелем не был в культуре, а сидел дома, читал и писал-мыслил. И — глубочайше ЖИЛ в БЫТИИ — через СЛОВО: им дыша-проникаясь и служа.

Так что можешь возвращаться к милому литературоведению: оправдано и обожено это дело — Бахтиным.

Также не брезгуй современным — его читать, и методологии всякие западные. Бахтин ведь тоже — из Когена, неокантианства, начинал и развился, и на свою ногу-дуду вышел...

6.04.88. В ночи — встреча с Бахтиным. Проснулся в 5 — и взял книгу. Чем мучиться заставляя себя снова заснуть и при этом бороться с волнами гадких образов, наплывающих из вчерашнего дня в городе и в попытке дел, — лучше я уж сразу в сновидение мысли уйду — и забуду. И так и произошло — и **СОВЕРШИЛОСЬ ПОНЯТИЕ!** Короткое замыкание встречи. Понял! Пронзило — как озарение: **НЕ ВЕЩЬ, А ЛИЧНОСТЬ!** — вот слово Бахтина во Русском Логосе (и по его формуле «не то, а...»). К этому все шло — и уж Карсавин даже специальный трактат написал «О Личности» — вот именно: «О»: Личность там — предмет, как вещь, и вещной еще логикой рассматривается и выстраивается в дедукции. О Личности, но не она сама!..

А Бахтин со всей мощью ума талдычит, не устает: О личности — ничего не узнаешь, если она САМА тебе не скажет-доверится, а ты — слух имей — и отвечай. Только в свободо-вольном диалоге совершаемо познание — и то как ВЗАИМО-лишь-познание двух друг другу ТЫ, а не Я против ОН как предмета и представления. А так доселе мыслили понять Личность — даже сильнейшие германские умы. Все равно — как вещь-предмет. И у нас все красивые построения дотоле — того же Соловьева, не говоря о ранешних, — постигают Бытие и Историю и человека как форму и вещь определенные, некий строй-Космос, идеювид и цель-Целое, за(со)вершенным, значит, предполагаемое за-умно (в смысле: «один пишем — два в уме»).

Бахтин оставляет впереди — бесконечное многообразие: настаивает на открытости и незавершенности бытия — и человека, и всякого явления, даже после их смерти и вроде бы «конца» — да, вечно, но не личностно-духовного, которые уже — в ином «пространстве-времени» «ТЫ-общения» думы и памяти и развития в диалоге эпох и личностей — живых и умерших. Вот и во мне сегодня — жизнь Бахтина интенсивная идет, диалог и споразумение, и движет меня — более мириадократ, нежели вчерашняя дискуссия в Институте с живыми сослуживцами...

И в этом Бахтин реализует русские и мировые идеи, их синтез. Соборность — да, но ВНУТРЕННОСТЬ Соборности: обернутость всех личностей друг ко другу на ТЫ, а не просто объединение прутьев индивидов в пучок СИЛЫ. Нет: не сила, а СО-ВЕСТЬ совместная — вот что в диалоге совершается. Тут — не сила, а как раз расход сил — на рефлексию общины внутрь себя: все сюда уходит; и после разговора-беседы-взаимопознания люди истощены более, нежели после битвы на кулачки с соседней сомкнутой общи-

ной, где они — вещь на вещь: какая вещь больше и сильнее — так соревнуются, а себя как личностей погашают, как душу и дух, ибо лишь тело нужно Социуму — на дела, труд и на войну. И вечно устроенный мозг принимает эти правила игры. А результат — массакры, геноцид, боины мировых войн и концлагерей и массовых ликвидаций людей — как не тех кровей, анкет, идей, происхождений; и везде тут не лица, а головы-шары имеются в виду в человеке.

И то-то писатель-коммунист Гроссман Василий, в итоге долгой страды вдумывания в глобальные идеологии и системы XX века, в их сшибку и дела уничтожения людей — будто бы во имя счастья их же; и как сами же люди готовно принимают такое с собою обращение, в гипнозе идеологий: на себя как на вещь, а не на личность привыкают смотреть, — приходит в романе «Жизнь и судьба» (вчера днем как раз читал во граде) к такому понятию:

«Человеческие объединения, их смысл определены лишь одной главной целью — завоевать людям право быть разными, особыми, отдельному чувствовать, думать, жить на свете» (глава 53).

Вот, замученный свалкой собраний и толп, человек у нас еще не Личностью, а хотя бы Индивидуумом, Индивидуальностью, хотя бы Особью даже мечтает стать: не в коммуналке жить и не в бараке — всегда на виду, в массе и коллективе просвеченным, не имея одиночества! В пытке на миру умирать непрерывно (кто сказал, что там — «смерть красна»?..). Но когда обеспечена особенность и индивидуальность, тогда человек уже свободновольно, сам тянется навстречу другому — в тяге высказаться, изнутри, душу излить; и это уже общение не тел и особей и даже не индивидуумов-характеров, но — Личностей: их внутренняя жизнь, пронизывающий их мировой

ДИАЛОГ или ПОЛИЛОГ в Духе Святе, что идет через миры и вселенные и поколения истории. Только вслушайся — и все голоса — в тебе! Твоя жизнь — их живая память и воскрешенная жизнь — в обращенности друг на друга, в братстве.

И тут в Бахтине — особым, странным образом — интуиция ФЕДОРОВА работает: братство всех и обращенность друг ко другу и к отцам и воживляя все прошлое — давая ему продолжение жизни в поле внутреннего диалога, в установке на слух ко всем когда-либо сказанным речам и подуманным мыслям: «чужое слово», делая своим, МИЛЮЯ его и так понимая-по-имая. Акт Любви и восценения. Потому другой мне нужен — пуще меня самого: как удостоверитель идущей во мне жизни Духа, причастности к ней, что я и каждый — Его сквозняк и поприще...

Хотя — снова не так, не точно передал мысль Бахтина (то-то он такое значение придавал кенозису выражения — как низхождения Слова — в слово): не «ты» и «я» — явления некоей Сути, а она именно сотворится нашими личностями — из них исходит (из облака Памяти о бывших жизнях-душах и речах), сей посев в себе за жизнь (талант не зарыв) человек приумножает — и далее передает, живя и питая «субстанцию» мирового Полилога: не Слова, не Диалога даже, и не Духа (как неких замкнутых Единых Целых), но копошения нас, милых и страстных душ; сей ангельский муравейник голосов — вот вечная жизнь какова, а не просто немое созерцание Славы Божией в золотистости Все-Света.

Но я еще не довел-додумал цитату из Гроссмана. «Чтобы завоевать это право (быть особыми, отдельными, — Г. Г.), или отстоять его, или расширить, люди объединяются. И тут рождается ужасный, но могучий предрассудок, что в таком объединении во имя расы, Бога, партии,

государства — смысл жизни, а не средство. Нет, нет, нет! В человеке, в его скромной особенности, в его праве на эту особенность — единственный, истинный и вечный смысл борьбы за жизнь».

Вот к чему привела ужасная реализация идеала насильственного коллективизма в веке нашем и строях общественных, где «личное надо приносить в жертву общественному», где общественный интерес — превыше, противопоставлен личному, как Молох-Левиафан всепожирающего Государства.

Но когда искомая особность достигнута, не давит власть соединяться, тогда люди начинают свободно, по внутренней потребности и избирательному средству душ стремиться друг ко другу — в живые, малые, СКРОМНЫЕ, смиренные, но честно-совестные «коллективы» — малых встреч, даже разговоров, даже мыслей. Вот я сейчас образую коллектив с Бахтиным: думая о нем и с ним, точнее...

С НИМ Со-мысл и Со-весть и Со-знание, ибо Со-бытие = С ТОБОЙ — так точнее и вернее: ОН — закупорен, с «НИМ» (поскольку Он и Предмет — это замкнутая, застегнутая на все сто форма) «С» — не бывает. И с «Я» тоже не бывает, а только когда Я и Он стали ДВА ТЫ. И тогда образовалось поле бесконечного источника Со-держаний и Со-мыслов. В нем обитает Бахтин и нам это откровение сообщает: мыто в нем живем и реализуем, но не осознаем (как то, что «прозой» говорим). Вот Бахтин и довел до нашего ума — то, что реально происходит в бытии и жизни, и как и чего ради все совершается: высказывание Личностей. «Другому как понять тебя?» — Тютчев задал вопрос в «Силенциум!» — и вот через век посев вопроса в ответе-жатве Бахтина совершился. Ответ Бахтина: «Как тебе понять себя — без Другого?» Так что сам обернись на Ты к Другому

как Другу — не Врагу, и будете любимы и поняты взаимно.

Мы же, тупые, продолжаем мыслить о человеке и человечестве, и народе, о себе и тебе — как вещах. И наука так считает: вероятно и статистически, и информатика-эрудиция ученых: все извне и по форме, как законченные вещи, не подзревая в личности свободный взбрык и фортель и прерыв ваших выкладок. Потому-то в таких «узлах» и фокусироваться стала жизнь Личностей, и Достоевский эти миги любил: в них живут его персонажи и их души, и воли, и слова...

Но совсем не обязательно такое полемическое, «эпатажное» существование личностей и их свободной воли лишь в мигах... «У Бога обителей много» — неестественно: Бесконечность ведь — пространство-«время» жизни Души в нас — не Интеграла, а КАЖДОЙ! Бахтин — даже не столько бытие Бога утверждает, сколько БЕССМЕРТИЕ ДУШ — второй важнейший постулат христианской культуры. Так что спокойно и плавно пристало, волею и раздельно личностям, душам и словам-разговорам быть — особенно в бесконечном просторе Руси и долгими зимними вечерами и ночами, когда «У самовара я и моя Маша» — так и Бахтина кружок за чаями ночи в беседах препровождать — «чтоб только вечность проводить»...

Итак, приводя Бахтина к формуле русской логики (мною ранее предложенной): НЕ ТО, А... ЧТО?... — усматриваю тут ее полную реализацию. Начинает Бахтин — с критики вещной логики, «формального метода» — и в литературоведении также: когда к слову подходят как приему и форме, механической детали, а не как источению личностному — и, значит, всегда неучитываемому, микрооткровению. Также и в книге о Достоевском вначале дает парад ложно-вещных подходов и к герою, и к идее, и к жанру романа, отвергая

их и смахивая: «Нет, не то!» — как толковал наш музыковед Серов начало финала 9-й симфонии Бетховена: проводит уже готовые и данные темы — и речитативом их отвергает, пока не зазвучит ТА! ТЫ (не ОНА) — и тогда Эврика! Ликование...

Следующий шаг после «Нет, не то» в мышлении Бахтина — переключение хода думы на иной диапазон: открытие Личности как ТЫ-бытия и Соузнавания. Ничего не получается, когда Личность пытаются постигать по модусу и под соусом «Я» и «Он-она-оно». А когда Личность — не одна, а всегда — Лицо к Лицу, минимум, — два, тогда всегда, минимум, — Диалогос, а не МоноЛогос, как мыслилось в философии до Бахтина, хотя в жизни-то и реально всегда так и было, а в литературе художественной, не скованной обетом верности рассудочной логике, так и осуществлялось. И вот почему философ наш и мировой XX века, Бахтин, был именно ЛИТЕРАТУРОВЕД, а его философия имеет форму ПОЭТИКИ.

И тут уже — открывается бесконечный простор взглядов и впечатываний друг друга и слов — в хороводах любви и игры, притяжения и отталкивания — словом, Жизнь во Боге, который — Любовь... Но это все — полутаинство всегда, и неизвестно, какое ЧТО скажется... И этим ЧТО — даль нескончаемая: Много-ЧТО-чие... Так что воистину: НЕ ТО, А — ЧТО?..

Бахтин — враг формул, но такая, себя уничтожающая сама, могла бы его частично устроить...

И — внушает она оптимизм: Диалог-то нескончаем, незавершен — без меня и моих. И все — его участники, даже умершие телом и истлевшие конечностями. (Вот, например, сейчас, какой бурный диалог идет со Сталиным! Разве что-либо подобное по обилию живых слов, к нему устремленных, имел-слышал он при жизни тела своего?.. Так что Сталин сейчас — «живее всех живых»! А и с

прочими: переобсуждаются платформы и позиции, удушенные силою диалоги — слова, не сказанные в свое время (в 20-е и 30-е годы), как жгуче страстно нами говорят и восприимлются!

И недаром из всех русских писателей именно Достоевский оказался в последние десятилетия наш самый собеседник-современник.

Какая раскупорка вен души и мысли — этот Бахтин! Снова сангва заструилась (аж стихом заголосил я, ликуя!).

А! И вот еще что! Перестань гипнотизироваться апокалипсической интонацией конца света и века: угрозы бомб и гибелей, и стираний с лица земли. Всегда-то они были — и то новая уловка Вещной Логике: тебе себя телом и вещью считать и угрожать, и заставлять трепетать и играть по нотам Тотала Толпы и Тела Целого (Человечества и Бытия). Это сейчас — новый морок, как прежде идеи: Земной Рай, Светлое Будущее, Колесо Истории и проч. На трепет выживания, на ЖИВЦА этого — именно! — шуку души поймать! Чтоб она себя именно — шукой чувствовала, хищной стала и огрызалась, палачом или жертвой, по логике Гёте — Димитрова: «Тяжким молотом свергайся, Или наковалней стой!»<sup>1</sup>

Нет, вся эта оппозиция и выбор — отвергаются, смахиваются как ложные и мнимые: телесно-вещественного о человеке соображения продукт, в забвении его как личности, в которой иное пространство Бытия. И если мы все совокупно забудем бороться за телесное выживание человечества — мы тем самым иную систему ценностей утвердим, и сама собой отпадет угроза, аннигилируется этот уровень, в За-Бытие перейдет.

То есть: чем более я думаю о враге и жду его, и готовлюсь его отразить и победить, принеся в жертву

этой готовности и думе все прочие занятия, — тем более я врага и утверждаю, и зло, и всю эту ориентированность и сферу бытия питаю. А если я просто займусь земледелием и чтением и любовью и деторождением — т.е. положительными деятельностями, — так и ослабится эта натяга и натуга... А то ведь «Есть упоение в бою И бездны страшной на краю» — и чем более туда вглядываешься, тем более манит сверзиться...

Не «борьба за мир», а просто мирные занятия — вот путь...

Но также подобно — откинь и трепет твой за пропажу писаний твоих по смерти, и суету беготни по издательствам с заявками печатать, на что расходуешь остатние силы живота, неизвестно, на сколько тебе оставшегося. И глупеешь, и себя презираешь... Не только «рукописи не горят» (урок Булгакова), но и слова, думы и разговоры не выветриваются, но стоят-пребывают, образуя атмосферу, которою питается живой Диалог, Общество общений душ и дум из века в век («и ныне и присно и во веки веков»<sup>2</sup>).

И — откройся встречам с людьми, и чтениям, и глазениям: и природы, и кино, и теле... Всякому привхождению будь благожелателен — нет, благо-любезен — даже злему! Да, и ему «благожелателен»: такую встречу — обезоружишь наёжившегося Врага, превращая его из Другого — в Друга, растопляя его твердость. (Это и по Карсавину: личность утверждает Личностный принцип — саможертвою, готовностью на нее.)

1.30. Прогулялся с Латыниным — бесприорышное дело: по воздуху прогулка и беседа легкая, ненагужная по пути. Говорю:

— Бахтин — оправдание литературы написал, как философы «Оправдание добра» и зла, и мира, и бы-

<sup>2</sup> Это — Ноосфера Вернадского-Леруа: из той же оперы и той же сущности понятие, что и «Диалог» у Бахтина.

<sup>1</sup> На Лейпцигском процессе Георгий Димитров эти стихи Гёте процитировал.

тия, и ума. А то доселе я тужился за умом-пониманием в философию ходить: у них, важных и умных и трудных, ответа ища. А теперь Бахтин, постигнув все философии, спустился с их Синая и сообщил, что там правды нет: она — меж нас. Читай книжки художественные — там больше истинной правды и ума и смысла. И жизни и радости при том...

Еще сказал я:

— А ведь у него лексика эзка: у Достоевского — «слово С ЛАЗЕЙКОЙ»: чтобы было куда удрать, запасной выход, когда теснят и загоняют в жесткое определение заключения рассудочного. Так что и Бахтин имеет и выражает БЛАТНОЙ ЛОГОС, как и Есенин, и Шукшин, и Высоцкий — Слово с поддона Бытия, гонимых; вот и интеллигент тончайший — блатарем себя чувствует в век Единственно Научного мировоззрения, сей духовной тюрюги, где пайку ума и миропонимания — «Краткий курс», сию баланду умственную, — выдают.

И Латынин на это:

— И у Гумилева Льва лексика эзка — в его историописаниях. Так и слышишь, как тюрки устроили шмон повоеванным народам...

...Ой, как хорошо это: прийти с весеннего воздуха — и душу свою отпустить — в Слово. Есть домушка родименькая! Выговориться — как надо! Вот тебе и вся правда Бахтина в этом, ее почва всенародная: выговориться — важнее, чем поесть-попить! Особенно — в воздух, попутчику, кто тебя не знает! Так

что — прямо НА ВЕТЕР, про что и песня: «Хотел бы в Единое Слово Я слить свою грусть и печаль И бросить то слово на ветер, Чтоб ветер унес его вдаль!..»

Вот СВЕТЕР русских равнин — восприимчик и Бахтинского Диалога: человеку невыносимо тухнуть-душить в себе Слово, а требуется душу нараспашку, другу в жилетку хоть поплакаться — и великая в этом тебе услуга.

Потому-то и пьют: душа раскупоривается от вешности и самочувствия себя вещью, а соседа — предметом-формой, и готова выйти тет на тет, антенной стать (перифразирую «тет а тет» — хрэнцузское... — оговариваюсь, дабы не ловили редактора на неграмотности. Вот — «слово с оглядкой на чужое», на контекст и ситуацию, — сейчас, по Бахтину, я проговорил — такой жанр мышления...).

О, снова живым становлюсь: вывободил Бахтин мне душу на покаяние — именно! — перед литературой, перед которой я давно грешен стал, ее заброся, чтение и думанье над нею.

Ну — обедать! Два!

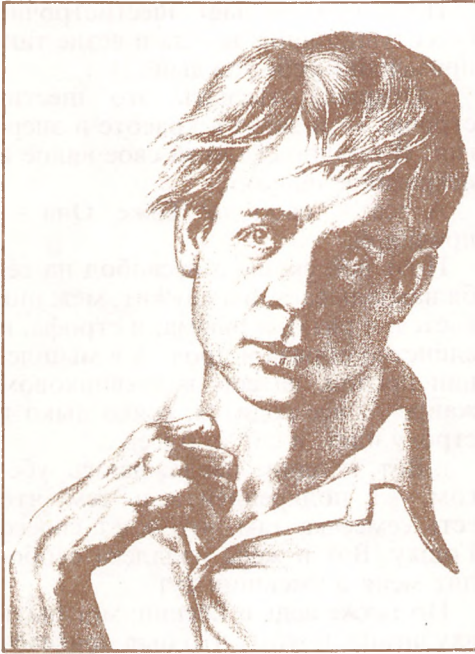
— И чего тебе не хватает? Денег?

— Нет, сам себе мешаю: отодрать себя от суетности... Хотя — она и дает материал и сюжеты на мысли и слух на люд. Так что — быть среди суеты, но — радуясь и великодушно!

А еще от низкопоклонства перед Жизнью избавляет Бахтин — то, что было моим комплексом — читающего отрока...







## Приложение с Есениным

### Встреча в Солотче

(Очерк одной поездки)

Есенина я, конечно, читал и знал про него — кто ж из филологов не знает? Уж положено, по программе даже...

И все же: и не читал я его, и не знал, — как это понял, когда вдруг пронзенным сердцем слышал его душу и речь — и плакал.

А было это дело — в Солотче.

В начале марта приехали мы с приятелем на турбазу, что между Мещёрой и Окой, — погонять напоследок на лыжах, а заодно, конечно, и Константиново посетить. Четыре дня мы вместе катались, ели, читали, спали; потом он уехал, а я еще на двое суток остался один в комнате и использовал их, чтоб заглубиться и встречу сердца с Есениным

продумать-записать. Так что наилучше будет дать слово дневнику тех дней.

5 марта 1984.

«Ой, как хорошо!» — расправляющее крылья души восклицание вылетело птицей из меня. Начинаю быть сам. Полчаса, как меня покинул мой спутник... Виктор Визгин чует долг вернуться в Институт, в мир. А я вот чую зов — вывалиться из ролей: сын, муж, отец, научный сотрудник, собутыльник, поздравляющий женщин-сослуживиц с 8 Марта и проч... В метафизическую дыру, в трансцендентный колодец хоть на сутки-другие провалиться — и очухаться, одуматься: где я? кто я? и что мне делать?

Самое трудное — это вырваться, снять португепю датчиков, что приложены к тебе ежедневно и что чувствительны становятся, когда их начинаешь с себя сдирать. Оказывается: и по тому нельзя, и по этой причине не вовремя, надо отложить! Да и куда? Чем плохо дома?.. Да еще собираться...

Но когда все же усилием скинешь с себя препояс эту датчиков и проводов, к тебе подключенных, — обнаруживаешь в себе ДУШУ, а до того в тебе — НЕРВНАЯ СИСТЕМА: в синапсах, рефлексах и прочих обвязках коммуникаций. То есть: нечто сложное, механически-системное. А Душа — нечто простое. И вот этой-то душой здесь я — и на душу Есенина вышел, постиг, сопряг...

Но отсюда и гносеологический вывод: наука «психология», подходя к нашему внутреннему миру, не может его, свой предмет, иначе положить (предположить), чем как «нервную систему» — по аналогии со своим аппаратом, сетью, которою и вылавливают эту рыбку нутри нашей. Что вложишь — то и получишь: системный подход — систему и видит во всем, а не «организм» и не «душу», «целое».

С каждым годом всё более вяжущая инерция и препоясанность обя-

занностями, и кажется: лучше не шевелиться — безболезненное тогда ляжки и тяжести давят. А вот как равнешься скинуть — все недовольны: домашние, любящие, прежде всего. Да и дела...

Ну а если бы удар, болезнь, армия, тюрьма, смерть вырвала? — и все, оказывается, можно и без меня: и жить родным, и делаться делам...

«Дыра! Невосполнимая!» — с уходом человека образуется, — говорят. А ну-ка, я сам в эту дыру от своего исчезновения позалезу: посмотрю, каково там, в вакууме без-меняйного существования? Аннигилируюсь. Хоть пусть на время.

...Ветер гудит, высокие верхушки сосен продувая. Вот они, свечами на снегу выстроились, желтоствольные, совертикальнички с человеком, мостовые между небом и землей. И головы их качаются в копне волос, — как и моя думает в шапке ветвей-извилин. Созвучники! Собеседники ныне мои! И я — сопостою с вами, посострадаю...

Сходил на ужин по талону. Публики мало — человек 50. Большинство — девиц. Славно чувствовать себя защищенным от поползновений — любовью к жене! Тоже свобода! Да еще какая! Везде-то приметы свободы и легкости душа твоя высвобожденная находит.

Только одна у тебя несвобода — вот от этой привычки писать, когда думаешь. А думать и не писать — тебе мучение...

Да ведь и сюда-то поехал, взяв книги и предвкушая: вот начитаюсь! И верно: пока был Виктор, по вечерам сидели-читали. Я — Марселя Пруста, что он мне привез: «Любовь Свана». Но вчера ходили на лыжах к Есенину в Константиново — и взял томик его стихов и разбередился так, что и спал плохо, и на мысли повело — и вот это писание затеял.

Тебе бы, по муке руки твоей остеохондрозной, — стихи писать: мало. А тебе все — ситуацию подавай описать да разветвления мысли.

Поэт вон — дает шестистроичие бесситуационное: всегда и везде так, применяй к себе каждый!..

...Открыл отыскать это шестистроичие — и завяз в красоте и энергии. И стыдно стало за свое вялое и некрасивое письмо.

А все — свобода! Тоже. Она — причиной.

Поэт вон сколько несвобод на себя накладывает, им служит, меж них вьется: и ритм, и рифма, и строфа, и единство образа и проч. А в мышлении прозой, да еще в дневниковом жанре — все годится, всяко лыко в строку идет: и сор, и бисер...

...Вот я один, наслаждаюсь убогом, — а подкреплен ведь тем, что есть семечка там, что ждет своего Гошку. Вот и жена издалека свободит меня от женщин тут.

Но также ведь и Есенин: мог быть «хулиган», потому что был привечен изысканной культурой начала века, Серебряным веком русской поэзии, Блоком и проч.: ими принят, обласкан — и на этом фоне мог себе выкобениваться.

Также и Маяковский: рушить и хулиганить и «Растрелли — к стенке!» — пока налицо роскошь культуры была. Балованные сынки щедрой Культуры: пока она еще жива была — они там выпендривались эпатажно: скандалист Есенин и Маяковский в желтой кофте.

Ну а когда всерьез и безвозвратно разрушили эту плазму высокой культуры, на фоне и внутри которой только и значил их вызов и бунт, и когда уже не Блок и Вячеслав Иванов, а Авербах стал «Ценителем» их поэзии, а решать вопрос о художественности стал Бедный Демьян?..

Да, только Культурой, внутренней причастностью к ней, могли продержаться при насоках громил-вульгаризаторов многие сформировавшиеся ранее художники и мыслители... И даже Платонов и Заболоцкий были дезориентированы и забиты вначале, потому что не имели диапазона Истории и Культуры,

чтобы воспринимать остракизм себя — как все же эпизод и держаться и питаться Градом Духа, — но смущены фундаметально были: свои ж бьют! — так им казалось.

А Маяковский — люмпен из пролетариев, друг техники и враг природы, и наоборот ему Есенин, ужасавшийся железу и паровозу от имени роц, собак, берез и жеребят, — и тоже без корней (ближайших: ведь человек в микромире живет... — а дальние-то корни у них — глубочайшие: народные, гениальные!), семьи, инерции работы, культуры — при всем вызове, абсолютно беспомощные сосунки душою, подростки, недоросли, не мужи! Держались они — чем? Сначала — за реальность чужой Культуры, потом за стихию Революции и ее захватывающую Красоту освобождающих всеперемен: (Пугачевский виделся бунт — для Есенина); Маяковский верил в совпадение футуризма и Лефа с новыми установками; — когда же оказались в подозрительных и не нужных — у обоих почва из-под ног, и нечем дышать... Не твердокаменные же сосуды-то, не те, из которых «гвозди бы делать»; укокошить таких чувствительных ничего не стоит...

Но ведь Культура — тоже учреждение, истэблишмент. Культура — она тоже Контора! Чопорна и тупа по-своему к сердечно-лично-душевной боли. И ее-то они, неприкаянные, и выразили: трагедь и вопль. И Есенин — больше: даже душу Маяковского он заодно выразил, пока тот обольщался своим уж единством с всеподозрительными проверяльщиками из РАППа и проч.— и горланил... Этот же — пил и стонал предсмертно, предчувствуя...

И его стихи двадцать второго — двадцать пятого годов — это сплошная лебединая песнь. Это молитвенник обреченных душ, выломанных, у кого — ничего: ни кола, ни двора, ни дела, ни цели, ни жены, ни любви, ни детей - семьи, — а лишь «не забуду мать родную!» — наколка на руке,

на груди. И таких — миллионы, и десятки миллионов в век наш ломок и переломок, загнанных и разогнанных, кто нигде и никуда... И таких душ язык — Есенин. Их он — Бог-Слово.

Но ведь и все мы — такие души, каждый человек — если честно-то, если не обкружится стенами дел и культур. И я такой, хоть и вроде образованный и семейный.

\* \* \*

Что ни возьмешь — какая пушкинская интонация! «Любимая с другим любимым» («Цветы мне говорят прощай») = «Как дай вам Бог любимой быть другим».

Виктор, когда я читал ему в вечер Есенина:

— Но он не новатор в поэзии, не дал нового, не ставил себе формальных задач, как Маяковский, Пастернак... А традиционен, как Кольцов и Никитин, — узкую крестьянскую струну выразил...

— Но ведь и такие великие поэты, как Лермонтов и Тютчев, — не «новаторы», не обновители стиха, а — в пушкинской традиции и норме... Что же до сравнения с Кольцовым и Никитиным, — они поэты локальные, а Есенин — поэт мировой трагедии, экзистенциально-глубочайший, с чистейшей нотой. Когда ничего нет у человека — одна душа осталась, и все тело — душа, сплошная ранимость. Как вон и Шукшин потом таков: вздрагивающий каждой артерией и нервом пёс. Это душа — выкинутая в никчемность и бесприютность. И Есенин ее последние слова лопотал. Она и сказала чистейше — меж двух твердых эпох. И пока — больше никогда... «Новаторство!» А на хрен оно? Вот — слушайте:

Не криви улыбку, руки теребя,  
Я люблю другую, только не тебя.  
Ты сама ведь знаешь, знаешь хорошо —  
Не тебя я вижу, не к тебе пришел.  
Проходил я мимо, сердцу все равно —  
Просто захотелось заглянуть в окно.

Это же — архи! Это чистейшая истина и музыка и красота — и простота и искренность! Как стихи народные. Как стихи Сафо иль Гёте — иль как Катулла миниатюра: *Odi et amo* = «Ненавижу и люблю».

...Не могу!.. Открываю: и каждый стих — прямо уколom в сердце: не в ум и соображение, а в самую подноготную души.

Но и — отличная от Пушкина нота в любви: иная готовность делиться с другими. Не самоотвергаясь, он желает ей быть счастливой с другим, а потому, что все — общие и повторяемые (вот что ему кошмар: обнаружившаяся повторяемость всего!); и она, и я — подменимы; а я — разве что лишь «цветок неповторимый», а не «я» = личность.

Тут — хоровость, артель русская и недостаток (иль утрата?) чувства личности — в эпоху, когда коллективизм и «незаменимых нет!» и «Дело не в личности, братья: личность может переменить занятия» (Демьянова формула). Вот и на ум Есенина это легло, как роковая формула: «Все на свете повторяемо» и «умирать не ново, но и жить, конечно, не новей».

Как пьяная братва пьет из одного стакана, женщин по очереди день за днем меняя; и он — Дон Жуан поневоле — каждый вечер у других колен...

О, какая встреча! С кем беседа в этот вечер! С кем разговор! Лично со мною сам с того света — главные слова говорит святой бог здешних мест. Под завыванье им воспетых ветров. И льет, и питает душу...

И вот я уже знаю его «буераки... пеньки... косогоры», что «обпечалили русскую ширь». Излазил вчера их. И всё:

Нездоровое, хилое, низкое.  
Водянистая, серая гладь.  
Это все мне родное и близкое,  
От чего так легко зарыдать.

Его пространство внято душой. И он — Слово этого пространства, источенное, как вода из колодца.

Боже! Но как это хорошо читать: сердцем к сердцу слова внемля! А не — изучая, ознакомляясь-осведомляясь, чтобы «быть в курсе» — и «объяснять»! А ведь так доселе я читал Есенина: не сердечно, а умственно. А это — все равно, что не читать его.

Да и хуже, чем вовсе не читать: ибо создает в тебе иллюзию, будто ты — знаешь, понял, уж занимается свято место — оно уж не пусто, и мешает, не дает прорваться вдруг — истинному причастию-пониманию.

Не допускает — к встрече «ты» с «я», все-то — «он» тебе.

Вот: «Я очутился в узком промежутке» («Русь уходящая») — к тому, что я о нем понял выше.

6 марта 1984.

Какой ужас! Воздвигся сатанинский черный столп клубящегося дыма на снегу: слева стройка и жгут мазут, что ли? О, черно-черное, смрадное дыхание! Красная кабина, за нею огонь-язык, а над ним — черный султан из клуб и хлопьев.

А вокруг — свечечки, сосенки-есенинки на беленьком снежку! Приговоренные?.. Нет: задохнется смрадное в своей же черни. Небо — не взять им. Лишь Землю — это могут...

Даже Хлебников, технократ: нож Земли, каким Бештау-бандит в неба горло нацелился,— признал пригвожденным к земле лишь и прекращенным тем самым. Вон из стихотворения «Осень»:

Это Бештау — грубый, кривой...  
Небу грозил боевым лезвием,  
Точно оно, слабое горло, нежнее, чем лед,  
Он же — кремневый нож  
В грубой жесткой руке,  
К шее небес устремлен...  
Но не смутился небесный объем:  
По-прежнему ясно чело.  
Как прокаженного, крепкие цепи  
Бештау связали,  
Прибили к долу и степи...

Это я еще буду с Есениным Хлебникова сравнивать: как лебязьи шеи

режут, колос серпом заваливая...

...Откинулся. О, какой хор верхушек боров, какие танцы-переплеты предо мною в выси!

Вспомнилось живое кружево голлой ветлы (иль березы?) в Константинове. В автобусе, что долго стоял, я в окно глядел на это дерево на высоком обрыве над Окой: ветры со всего наката-разгону из степи налетали на нее (ветлу иль березу, — но именно «ее», в женском роде хочется это называть тут, а не «дерево» — «оно» и «его» — в роде среднем, ибо Ветр — муж, а Она — женщина, дева...), а она преображала, как Эолова арфа, их свирепый горизонтальный набег и налет, односторонне сверагающий долу, — в разнобразные колыхания ветвей, что такое гармоническое созвучье, дивно оркестрованное, образовывали, что я, замерши, созерцал — как симфонию долго слушал. И как они, плавные, разнорукие, встречно сходились, расходились: то скрипочки и пикколо-флейточки тонюсеньких веточек оконечных, то фаготы расклонений, то тубы и тромбоны несущих стволов...

...Вот и Есенин, бедняга! Вроде славу имел и реализацию одновременно с жизнью своею. Но ведь потом — похоронен на долгие десятилетия был, дискредитирован («есенинщина»! как «обломовщина» — слово было произнесено, и клеймен им был, как каторжанин духа) — и лишь 10—15 лет, как воскрешен и допущен.

Это я додумываю сейчас применительно к Есенину то, о чем мы на днях с Виктором, гоняя на лыжах по сияющим просекам мещёрских лесов, толковали. Что у деятелей культуры в России не одна, а две эпохи, как правило: одна — в которую реально живут и творят (признаны или не признаны — это уже варианты), а вторая — в которую воскрешаются, уже задним умом Истории, который — крепок (а не хлипкок, в отличие от переднего). И что Культура

вообще — не только исторична, но и сверхисторична. Правда, самодовольные и счастливые в современном выражении, полностью самоосуществившиеся Гёте и Гегель провозгласили тезис: только тот имеет шанс быть современником всех, и дальних эпох, кто был хорош своим современникам и выразил их дух и голос — и объективировал это в предметы, вещи, произведения и имел удачу и успех. А чего не принял Мировой Дух в твоё время — то уже не имеет значения, а есть лишь твоя дурная субъективность. Так что торопись вписываться в те формы и возможности и жанры культуры, которые осуществимы при жизни твоей...

— Ну, у них, в Европе, пространства не те! — заметил Виктор.

— Да, но при не тех пространствах мы в России имеем то же время, да еще и покороче... Так что нам бы, пропорционально Пространству, и другой шаг Времени и в индивидуальном веке-сроке жизни иметь!

— Лет 500 бы жить...

— Вот именно, не меньше. Если уравнивать отношения Пространства страны ко Времени жизни человека в Англии иль Франции, например, и в России. Да и поболее выйдет, если на плотность населения разложить. Пространства у нас почти в 50 раз больше, а населения — в пять. Значит, пространства на человека у нас в 10 раз больше, и если средний ныне век человека в Европе — 70 лет, то нам бы в десять раз больше, т. е. 700 лет жить надо: век библейских патриархов, Мафусаиловы и Аридовы веки!.. А мы сверживаемся — толщу Пространства на себе вынося — еще и меньше западной нормы живя (35 лет в среднем, поэты...).

Вон Хлебникова только-только воскрешать начинают: книга В. П. Григорьева «Грамматика идиостиля», 1983 год... Все — по мере очухиванья нашего от надменного якобы всезнания и отмычки ко всему, что

будто у нас в руках и за пазухой, — как нормативисты-вульгаризаторы 20—30-х годов всем поотмерили мер и значений для «нас» и навсегда и вообще. Такого хорошо Кустодиев изобразил: шагает Громадный, пропирает, режет насквозь всю Жизнь и Россию — и с невидящим взором (и не глядящим на то, что крушит: «на что он руку поднимал!..»).

А Есенин, душа мила, жива! — ведь как старался понять и сестричкомсомолок, и новый язык!.. Но понял, увы, что «Капитал» ему не осилить. Не тот глагол, не его язык.

Ни при какой погоде  
Я этих книг, конечно, не читал.

Когда я Виктору эти стихи сказал, он:

— Он имеет в виду, очевидно, «политический климат», период истории, иносказание тут...

— Да что вы! Именно — погоду! Ибо всегда — погода та или иная: хоть сегодня, хоть вчера, хоть сейчас, хоть через час, хоть на Западе, хоть у нас, хоть при Владимире, хоть при Ленине. Так — прекраснее и сильнее, абсолютное выражение. Как инопланетянин он к этому. Ай-яй-яй, Виктор! Это именно рассудочник и не поэт может так мыслить — «политический климат» под «погодой» иметь в виду. А поэт вольный и вдохновенный именно погодой шпарит по фолианту, т.е. чем-то совсем с ним несоизмеримым и трансцендентным.

С утра сегодня упустил поездку в Рязань и то же Константиново: автобус с турбазы, пока я колебался, ушел...

Ну и ладно. Заповедь хорошая: не жалеть ни о чем, ни о какой вещи, а человека — жалеть.

Ну что я бы там? Напичкался бы внешне-историческими фактами — и отогнал бы время интимного возуглубления и выхода на сердечную встречу с тем же Есениным, что сейчас во мне идет.

Даже что-то символическое сейчас понимаю в том, что ничего-то мы толком в Константинове не видели: продрогшие после 25 километров на лыжах по пойме Оки (из Солотчи — на колокольню Богоявленского собора в Пошупове взяв курс), а потом на ветрах по степи почти голой, с оврагами да перелесками чахлыми, — забились мы сперва согреться, чай попить, а потом пришлось бегом по мемориальному музею и в дом рождения, — чтоб успеть на автобус на Рязань в 3 часа вроде (ибо назад против ветра тот же путь было б нам не осилить: носы и пониже выступы отморозить, да и лыжи спилить совсем по обледеневшему насту).

В музее же — толпа экскурсии и заученный текст экскурсовода — как кошмар. Глянул на некоторые экспонаты, но Виктор меня торопил. А он потом рассказал, что проскользнул в соседний зал и видел цилиндр, перчатки и стек Есенина...

— Что ж вы меня-то не позвали? — обиженно я... Очень досадно было сначала. А потом смирился и понял: и хорошо, что так мало в меня вошло внешнего есенинского мифа, не возобновился он во мне, не подтвердился, не втвердился — и не встал барьером к его душе — от моей души. Ибо внешний миф его: русский красавец («красавец!») — слышу это в самоироничной интонации Шукшина из «Калины красной»), шикарный хулиган и приклатненный; иль сусально-березово-розовый-весенний... — все это преградой меж нами встало бы.

Вон и ресторан «Русская быль» — в виде огромной избы с пряслами и прялками, с чеканкою коней, да с «русскою похлебкою» в горшочках, куда закинуты обрезки курьих ножек — бабье-ягино варево отвратное, и дорогое...

Все это — индустрия, эксплуатирующая есенинский миф, в котором он, душа жива, убивается, при-ока-зенивается.

На уровне Есенина как хлыща со стеклом я вот этот, южномордый, на лыжах с рюкзаком, — тоже нечто совершенно инородное, отвратное, и только враждебность бы в нем вызвал.

Так что снимем этот экскурсионно-разглядывательско-разузнавательский лак и слой, и обнажимся сердцами и словами...

А вот главное: Космос Есенина, к Пространству его я причастился, почувал, и домушечку его неказистую — тоже в сердце внял.

Однако, уж за 12. Давай на лыжи. Да в Солотчу за бумагой и стержнями съезди как раз по снежку-то свеженькому.

И руке дай отдохнуть — бедняжке, рабе графомании твоей. Вот, понял: **рукоделие мое — писание**. Как монаху рекомендуется ремеслом заниматься, молитву непрерывную творя, — так и я: умом «молюсь» — думаю, а рука — на подхвате: рыбку мысли сачком слова — и в гербарий!.. — иль как там... — словом — в коллекцию. Мавзолей!

И без четверти два уже. Как тихо на душе и как благоуханно! Съездил на лыжах в городок ближний Солотчу, тетрадок купил, стерженек мне уделила продавщица милосердно свой (в продаже не было). Снабдилась стройматериалом — и вернулся тропинками среди бора. В душе — нераспискаемый сосуд благодати и тишины. И уж в нем, чую, как милосердие начинает притекать-натекать ко своим, домашненьким, девочкам — бедненьким, нервненьким, безвитаминным, что судьбу мою неизбежно разделяют: Меньшикова в Березове... И даже захотелось послужить им — миленьким: подзаработать что... Деревеньку им наладить на лето и огород засадить. А уж — отлынивать собирался.

И про Есенина дума... Кстати, в Солотче два маленьких мальчишкольника просили их проводить-

оберечь от собаки, что за ними увязалась. Беленькие мальчишки, в ушанках и валенках. Представил, что и ведь Сереженька такой же был-ходил, той же породы, рязанские пацаны. И, умилясь, оберег их, проводил.

Да... Такой, как он, и я снаружи: он со стеклом, хлыщом и фертом, а я — фрайер в очках, — мы друг для друга неопознаваемы и необитаемы. И неподходимы даже. Но — сняв все это... Лишь на уровне сердечной глубины встречны все люди: и Есенин — с Прустом Марселем.

Ведь первоначально, когда позавчера так мощно вторгся в меня Есенин, его именем плеванулся я было на Пруста: вот, фрей! о чем пишеть-выписывает!.. Все эти переживания Свана во любви к Одетте — на сотнях страниц!.. «Не хрен собаке делать — так она яйца лижет!» — так словами матроса Вити Пилипенко на мои «Морские мемуары» — и про Пруста захотелось презрительно. А тут, у Есенина, — жизнь, душа, кровь, трагедия!

Но потом — осекся, устыдился: нехорошо ведь одним именем, одною частию — бичевать другую! Это и есть плебс во человеке: так тот мыслит, понимает и действует.

Вот тебе еще урок: не пренебрегать законными путями. Вернулись соседки из экскурсии в Рязанский Кремль и в Константиново:

— А вы фильм о Есенине видели? Нет? Живой он совсем и живой голос! Вы много потеряли. Колоссальное мы получили удовольствие!..

А мы — как побирушки, сбоку пощипали объедки с барского стола законных экскурсий. Аутсайдеры самодетельные!.. Но зато — сами: по личной воле, когда приспичило — и на лыжи, и к Есенину... Свобода!..

Ну, ничего: как обычно, тоской о несбывшемся попытаемся — и сыты будем горечью в сердце... Тоже ведь сблизает — с тем, от кого горечь...

Без семи 7. С лыж вернулся. В



свой метафизический колодец. Что ж ты сетуешь, что не в Рязань на экскурсию ездил? Тогда б предал идею своего метафизического колодца. Ведь только начал в него погружаться, заглубляться. Хорошо вот, что уже на уровень умиления к семечке вышел нашей. Но дальше, глубже опускайся. Додуматься надо до уровня, где братаются и поймут друг друга Есенин и Пруст, совесть и логика.

С последнего я начал наши философские беседы с Виктором еще в метро, в Москве.

— Вот ваш, ученых, любимый Аристотель ведь совсем туп к нравственной проблематике, в отличие от Платона и, тем более, — Сократа. Для них со-весть звучаща. А для этого — лишь по-знание: поверх предмета, объектное.

Со-весть же есть «ты-знание»: с Бытием на «ты», на равных. И отсюда — самочувствие человека и достоинство. Врожденный компас истины в нем, в себе чувствует: что хорошо, что — дурно. И это — независимо от образования и даже ума: и глупый совестлив может (и должен) быть.

Но совесть не говорит: что хорошо (дурно), а, как «демон Сократа», дает сигнал в чувстве довольства (комфорта души), иль свербит, что и значит: «нет, не то тут что-то». А что? — Там уж умом начинай разбираться, в чем тут дело. И тут-то и путаница.

— Да, на уровне рефлексии совести, — Виктор уточнил термином, — уже вступает логика с ее аппаратом понимания.

— Вот я, с флота возвратясь, задумал писать «Историю совести».

— Историю нравственного сознания — точнее.

— Да. И к Бахтину пришел. Он: «А на что вы обопрете совесть? Для меня это — Бог. Ну а вы, коли этого не чувствуете, пишите так, будто совесть — последняя инстанция: так тоже неплохо будет». Но как только

стал я вникать в «феномен» Совести, — сразу уперся, что она зависит от картины мира — и перешел к изучению национальных образов мира, т.е. от этики — снова к эстетике: национальные миропонимания постичь.

Бросил унылую философскую плетень, счеты эти, — снова зачитался Есениным: душу его всасывая, с судьбой собеседую. До чего ж чисто-ясно все там, в людях той эпохи и их судьбах! И как грязновато все у меня! Муть-перемуть, как мать-перемать.

Ничего не перелить, не перемять.

Неказист и ублюдок, недородок-выродок я...

И мысль и слово мои — грязны, смутны. Винегрет, сборная солянка отовсюду.

Мысли — недодуманные.  
Слова — невылепленные.  
Промежуток. Межеумок.

Но рад, что не пошел развлекаться, в кино, а весь вечер читаю есенинское.

Кино — Молох века: выпивает наши веки, оки, очи — и через них и век наш высасывает, и мысль и душу; кретинит нас... Потому: просто от жанра этого беги — к жанру книги, музыки, к задумчивому, архаическому.

И зачем, кому, какому человеку — развлечение потребно?

Это — рабу машины, работы, аппарата. А мне зачем? Я и так слишком развлечен-рассеян. Собраться надо. Приздуматься в тишине о главном.

Но почему Любовь его не спасала, и никого тогда?

Я люблю другую, только не тебя.

Но ведь и «другой» нет, кого он любит. Это просто — знак, пустое значимое место, некая вакансия смысла, как в формуле русской ло-

гики (как я ее понял-вывел<sup>1</sup>): если формула определения в аристотелевской-эллинской, а затем и западноевропейской логике: «это есть то-то», — то схема русской логики: «не то, а...» Или: «это (все) — не то, а (что?)...», т.е. как бы отказ от определения-ограничения — и вопросительность, а не утвердительность всякого «что». И тут у Есенина: «не ты (не та), а — другая». Но «другая» — это не конкретная другая женщина, а просто X (икс), неизвестное, многоточие, отсыл в путь-дорогу...

..Тихий вечер. Вспомнил, как ночью проснулся: перестук где-то мышино-крысиный. Неприятно?.. Но что сделаешь? И — зачем? Я ж не претендую управлять шелестом сосен. У них — свои миры и меры. Оставь их, не мешайся...

И этим, успокоясь, заснул.

(Перепечатывая это сейчас, 26 марта, вижу: да это ж в тебе — Есениным вложенное любовно-со-страдательное отношение к каждой тварине: не лезь, не мешай, дай им жить-быть, как хотят...).

Читаю — и — нет! Хорошо, что

---

<sup>1</sup> В статье «О русском и болгарском образах пространства и движения» — в кн. «Поэтика и стилистика русской литературы». Л., 1971. С. 304—305.

Что формула русской логики: «(это все) не то, а (что?)...» есть, конечно, сильное утверждение, и его надо хоть чуть раскрыть. «Нет, я не Байрон, я другой» (Лермонтов); «Не то, что мните вы, природа» (Тютчев), «Нет, не тебя так пылко я люблю» (Лермонтов) — и не счастье... Русской мысли (энергии), чтоб разогреться (как двигателю среди снегов) и двинуться, надо сперва оттолкнуться (реактивный принцип, что недаром на Руси, в ракете Циолковского осуществлен) от некоего отрицания: «фи!», нечто развенчав, некое положение-тезис (чуждый), как жертвенного агнца растерзав, в этом деле набрав разогрев и напигавшись смыслообразующим натиском,—приступить затем к поиску своего утверждения, чего-то положительного: от «нет» — к «да». Отсюда полемически-критический пафос русской литературы («критический реализм» недаром здесь) и критики. «Война и мир» — это тоже «не то, а...» = не Наполеон, а — Кутузов... Достоевский весь реактивно-отгалкивателен от Запада и рационализма и т.д.

не автобусом. Мы лучше пришли в Константиново: пробираясь чрез степи и доли, и овраги, и перелески, поднимаясь на высокий берег Оки со стороны монастыря, — а не прикатили машинно-точечно: музей смотреть. Но — как паломники: труд и подвижность приняли, чтоб ко святыне добраться. Зато я чую главное — просторы и ветра, обрывы и дали...

7 марта 1984.

О, последняя мне благодать! Святое утро в солотчинском бору. Вечером — в уезд... Не могу ж я женщин своих без единственного мужика оставить: я ведь у них, как младшенькая говорит, «на пять баб — один прораб».

Итак, свинтиться должен я ныне и в узел связать заброшенные нити и сети мысли в эти дни.

И как только напрягаюсь — в центральную точку совпадения всех попасть — ускользает, и — отчаяние... Вот я Совесть поставлю в Центре: уж, кажется, человек может быть и не учён (без культуры), и глуп (без логики), но последний и главный духовный регулятор во всех — един, и он — совесть: хорошо иль плохо он делает?.. — Но и тут все распадается: как совместить конгруэнтно совесть Альберта Швейцера, европейца-гуманиста, — и каннибала? Даже в «не убий» не сойдутся: для людоеда убить = жить-есть.

Оставляю... Беспомощен... Правда, совпадение всех нас есть — именно в этом чувстве своей человеческой малости — и в передаче прерогатив разума, суда и смысла чему-то сверх нас: Природе, Матери-и, Небу, Тотему, Богу, Разуму, Истории?..

Вот и я сейчас: забрасываю решение всесвязи и всеузла — не моему уму, а чему-то «эдакому» отдаю это дело, сам же приступаю описывать милые постижимые частности, что по силам моим и по вкусу.

Частности! Вот и над этим задумался, глядя из окна возвратного тогда автобуса из Константинова на

садовые участки-домики под Рязанью. Воскрешаем теперь вкус к личному хозяйству, а как это выкорчевывали тотально 50 лет назад! Но трудно возродить в людях охоту: не пришьешь яйца к мерину... жеребца пожелав восстановить. И вот это в устройении человека ума удручает. Что «по частям видим и постигаем» — это еще в древности понято и сформулировано. Так что не это удручает, что «по частям», — но что, умнея по отношению к той части Истины, которую мы сегодня острее и очевиднее понимаем, мы роковым образом глупее и становимся дураками и даже убийцами — к другим: бывшим и будущим, потенциальным истинам, если не только думаем-понимаем, но еще и руки отпускаем и дела делаем на основе своего частичного понятия.

Вот почему всегда памятовать надо, что частен наш ум и понятие, и не полагать это видимое нам сейчас частное уразумение сего дня («злобу дня») — всем, полной Истиной. И потому должна быть именно СОВЕСТЬ: память у частного разума о том, что он частичен, а не всеобщ, и не всем подходящ, — и со-ведать о других возможных вещах, которые другим сейчас видны, а и мне потом станут. Ну — как ценность того же Сергея Есенина, которого, почитай, полвека шпыняли. И за «есенинщину» из комсомола исключали... А сейчас ведь сбывается по слову поэта: и тем знаменито Константиново, «что здесь когда-то баба родила российского скандального пиита». Вот почему уважать другое мнение всегда надо, пусть оно и в меньшинстве сейчас, а мое — в большинстве. Ибо в нем — та часть, которую и я увижу как имеющую в себе Истину, но потом, спустя... — да как бы не упустя...

Кстати, в этом как раз — совесть и честность Науки. Когда я стал на нее нападать, что Логика, поскольку Всеобщее полагает знаемым, всегда заступает за Совесть, больше на се-

бя берет, чем может, — на это мне Виктор хорошо возразил:

— Ученый-эмпирик знает, что его опыт частен; ученый-теоретик для критики и опровержения подставляет щеку: в этом совесть исследования, честность науки — и в этом она честнее религии, которая, не зная, верит, что знает Истину, и заставляет, и воюет...

Да: такая частичность = честность: часть по части = честь по чести.

...Итак, главное, что желанно и в чем сходятся все, — это Любовь и Мудрость. Чтоб не только ум, но и сердце. Вон — как плывет на сердце и плавит его — чтение стихов Есенина. Но ведь через ум и они поступают в меня: через чтение-разумение смысла слов! И тут же — и Сван Марселя Пруста. Сошлись! Связались все — во взаимопонимании!

Значит, общее, в чем мы сходимся, все человеки: и каннибал-людоед и ученый, и Пруст и Есенин, и его критик-«напостовец» — это в самочувствии малости нашей милости и жалкости: что слабы, умрем, и нужна Любовь. И, следовательно, напротив: расходимся, когда самочувствуем себя великими, знающими что-то точно и совершенно истинно, — и тогда превозносимся, чувствуем силу и право на суд. Значит, основа всеединства — память смертная... Тогда и нюансы чувств «слабака» Свана к Одетте — не зрительны предстанут Есенину, кто в кабаке с той, что «измызгана» и смотрит «синими брызгами». Все — несчастны и милы.

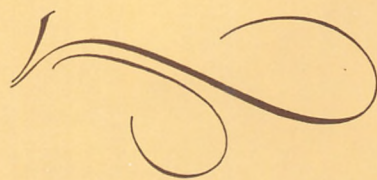
Вон этот поэт милосердья — Сергей Есенин:

И зверье, как братьев наших меньших,  
Никогда не бил по голове.

И листик, и цветок сердечно чуял.

— Но это же язычество, дохристианство, анимизм! — мне Виктор, когда я ему зачитывал «Песнь о хлебе»:

*Русская  
дума*



*Иллюстрации Юрия Селиверстова*













*Александр Пушкин*



*Петр Чаадаев*

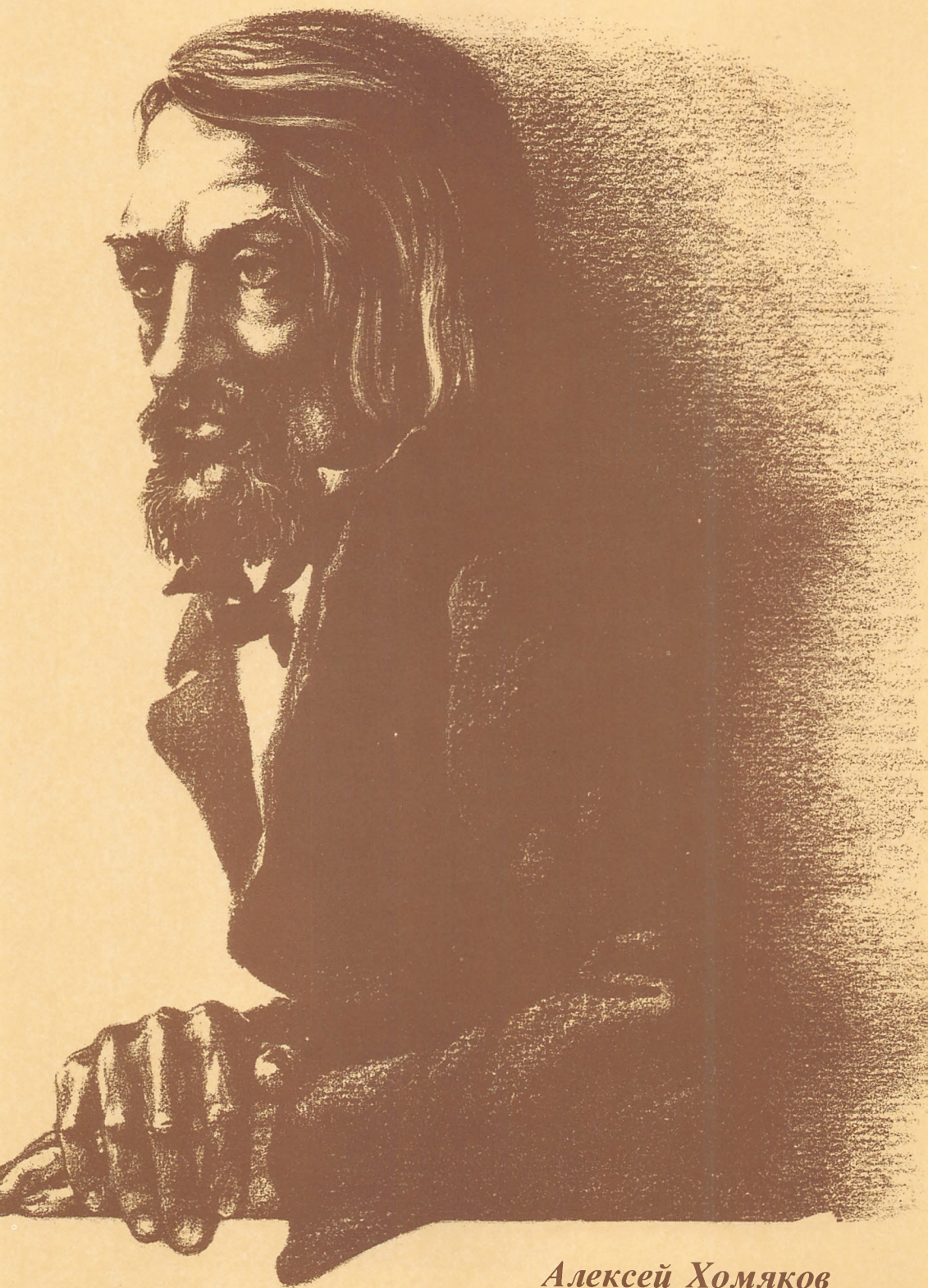






*Иван Киреевский*





*Алексей Хомяков*





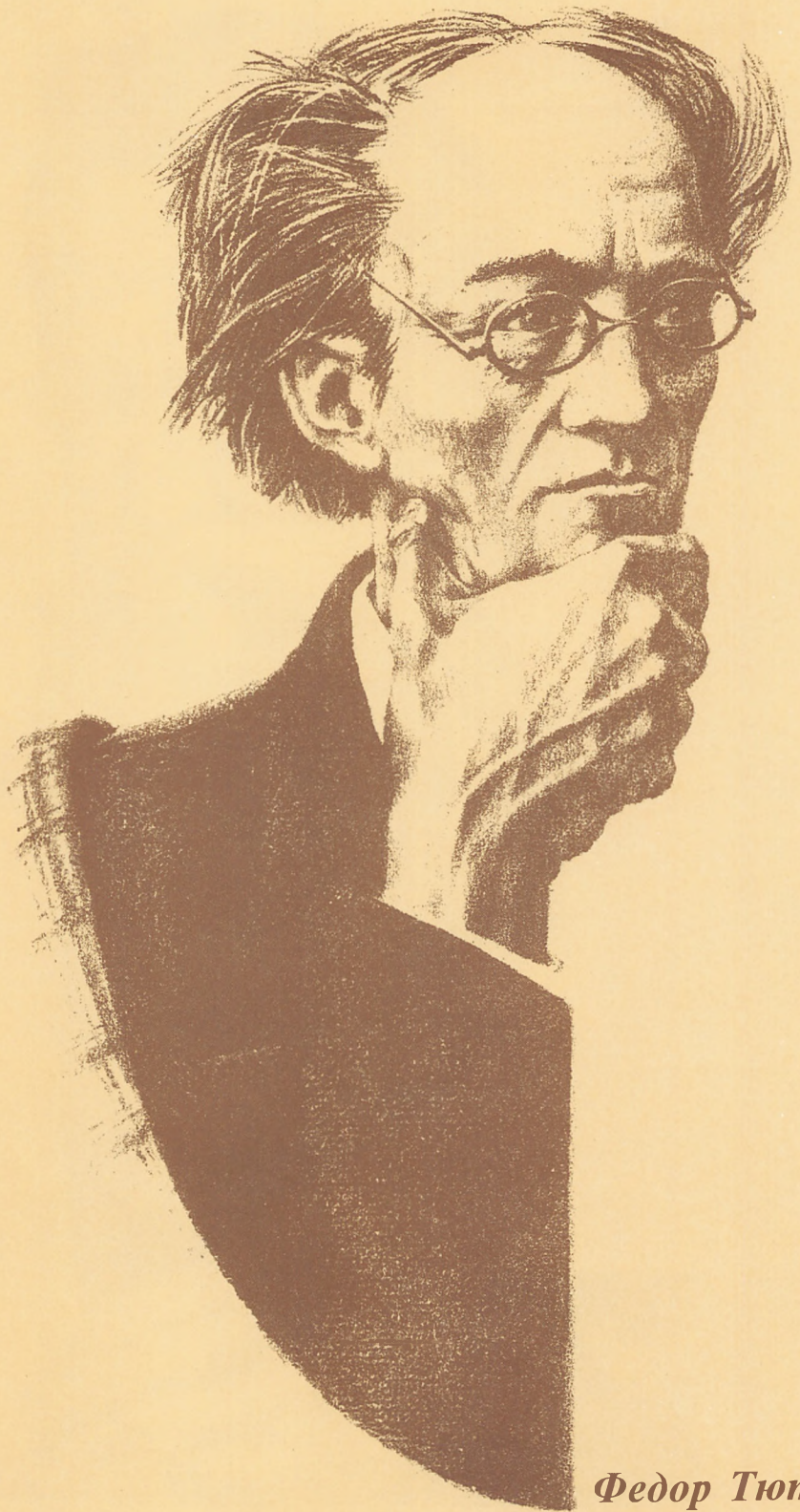
*Николай Гоголь*



*Аполлон Григорьев*

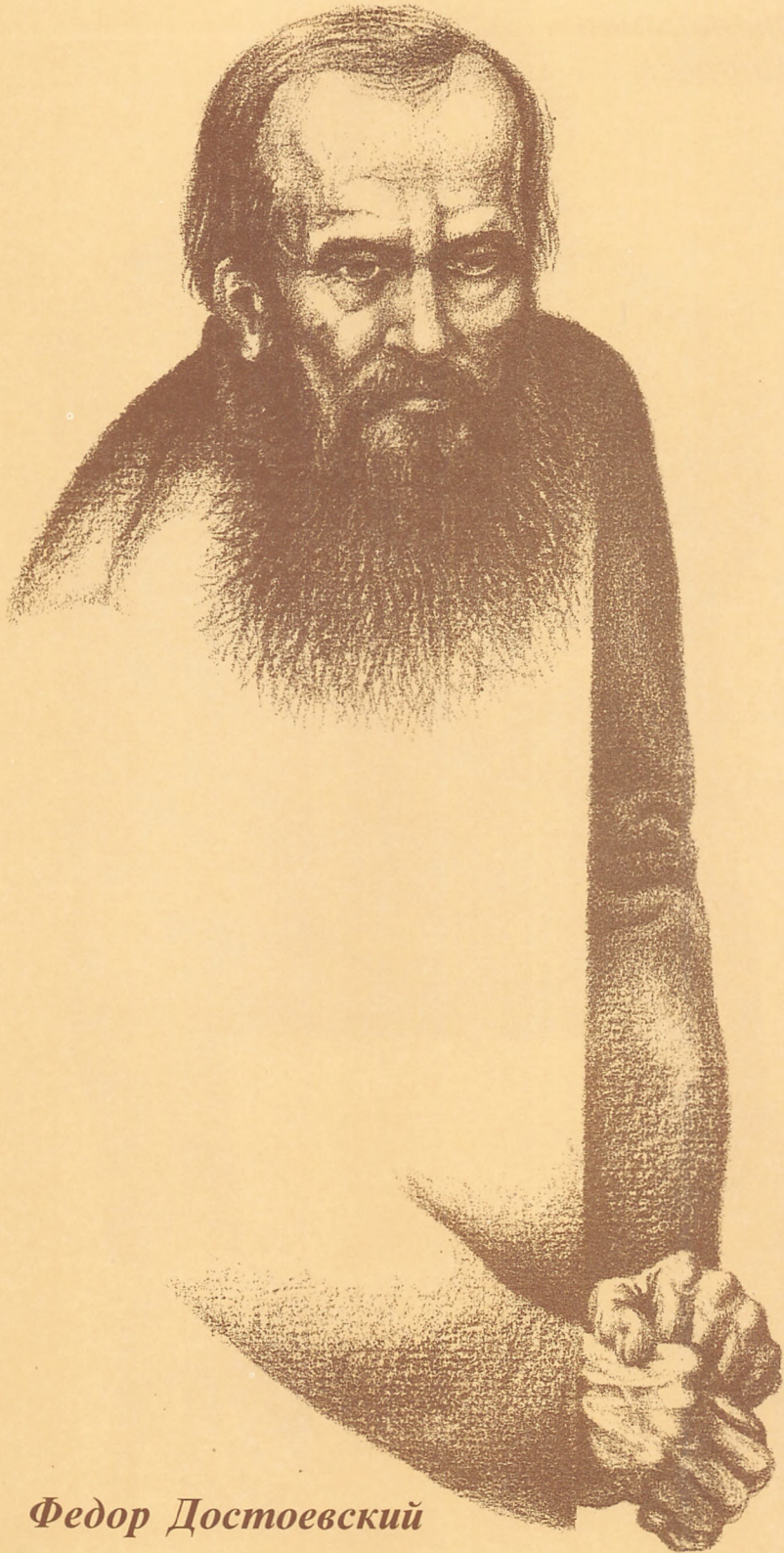






*Федор Тютчев*





*Федор Достоевский*



*Константин  
Леонтьев*

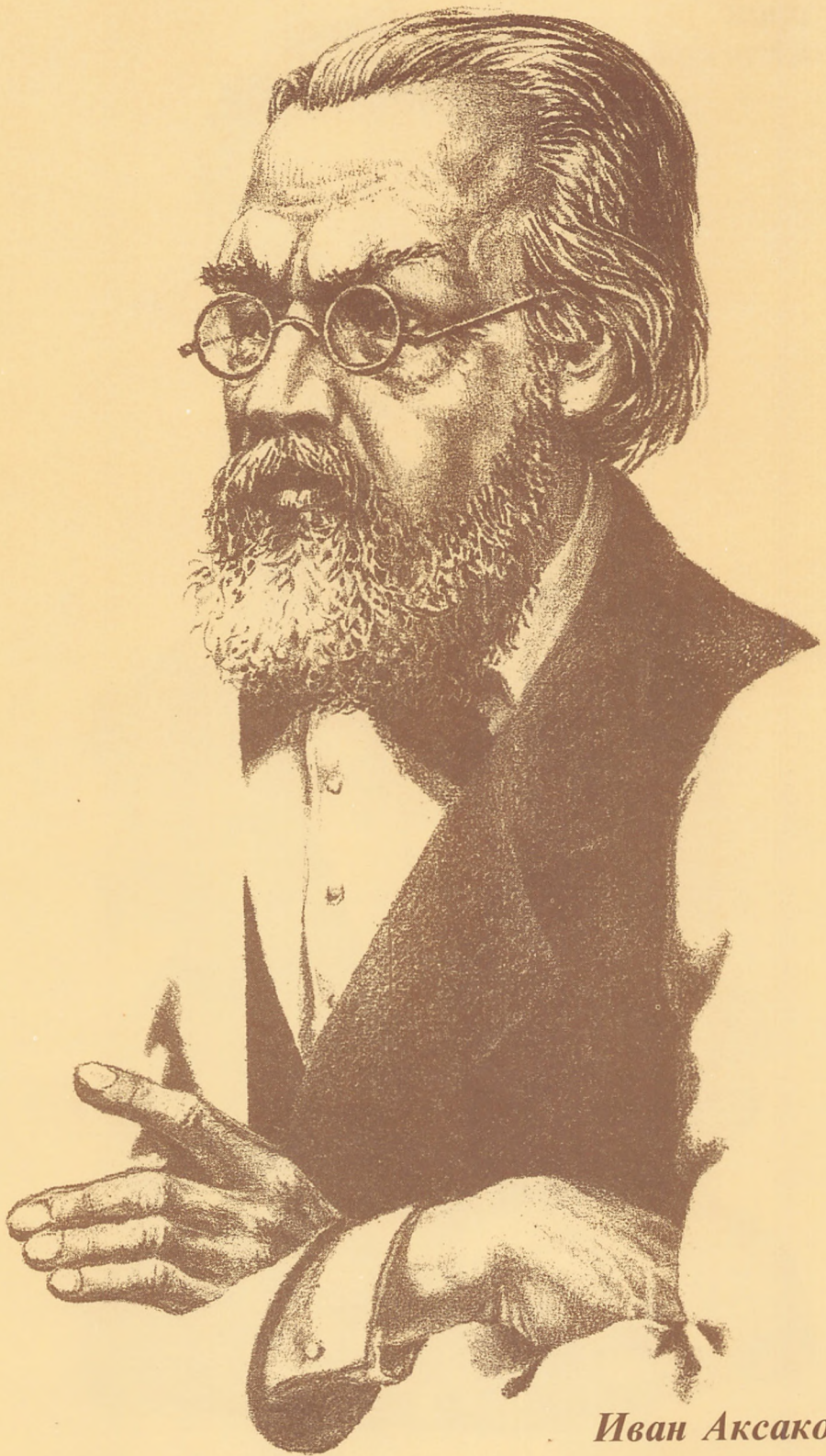




*Николай  
Данилевский*







*Иван Аксаков*





*Лев Толстой*

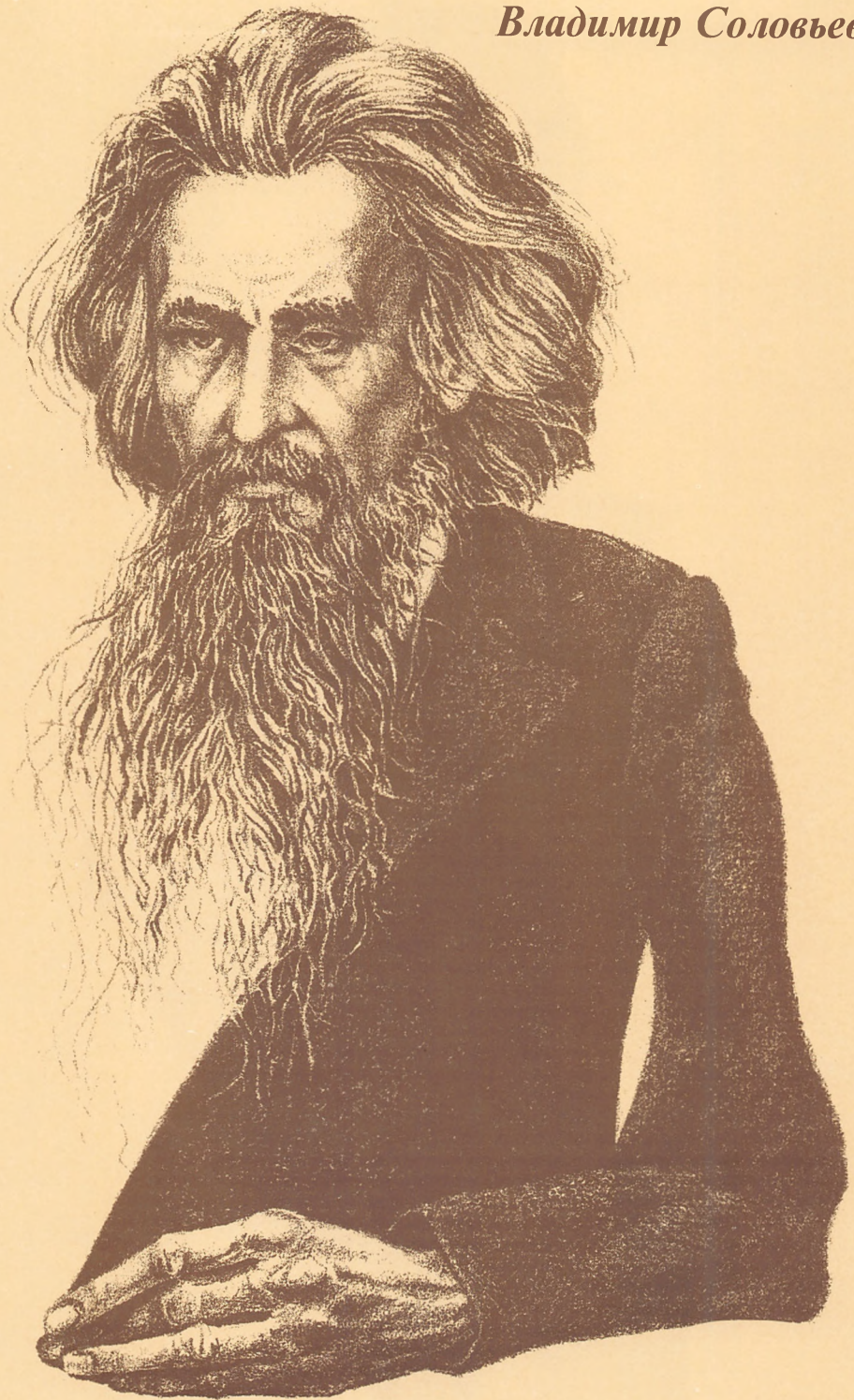


*Николай Федоров*





*Владимир Соловьев*







*Василий Розанов*



*Евгений Трубецкой*







*Александр Блок*



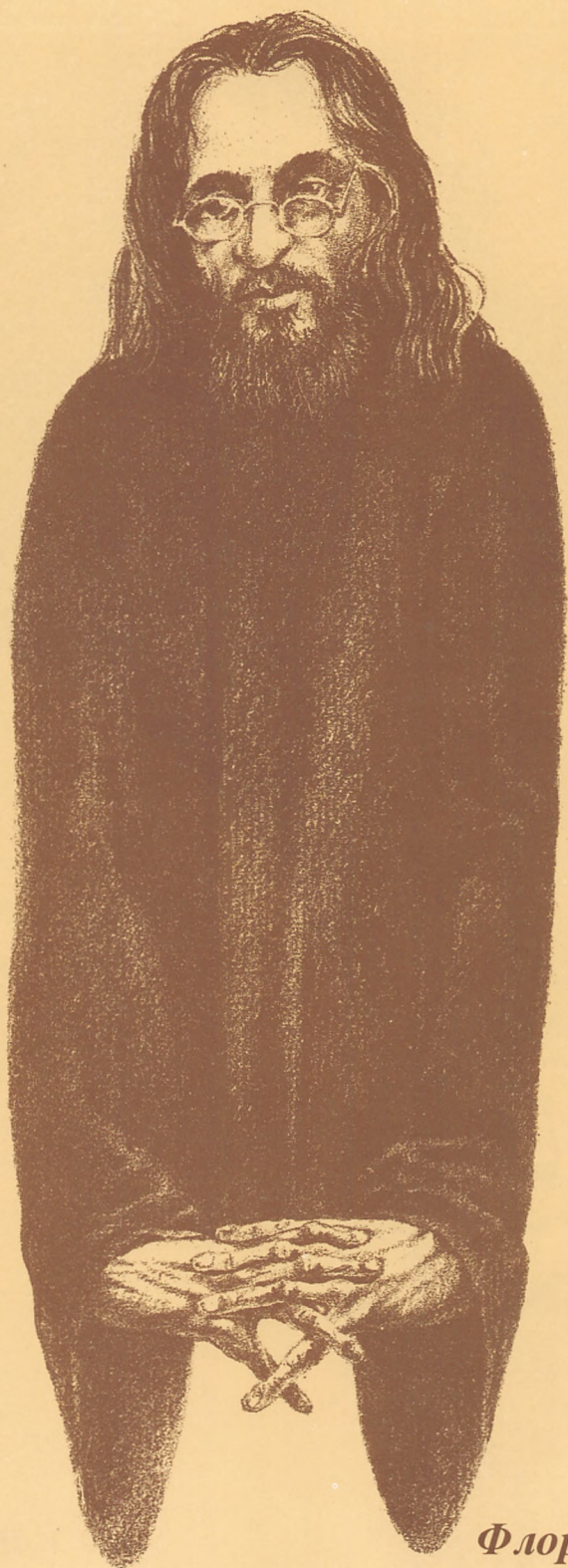


*Сергей Есенин*





*Сергей Булгаков*



*Павел  
Флоренский*





*Лев Каравин*





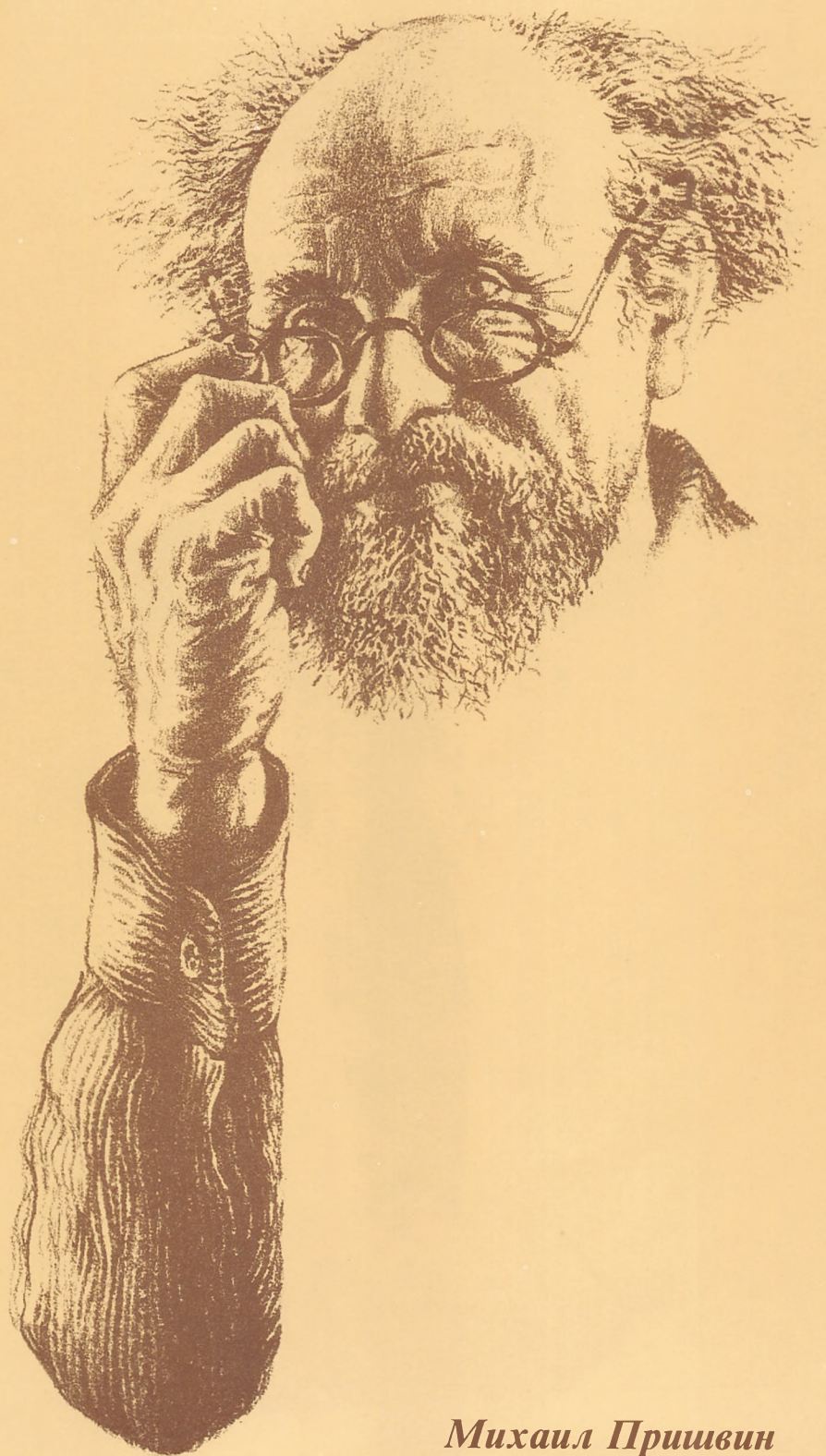
*Николай  
Бердяев*



*Семен Франк*

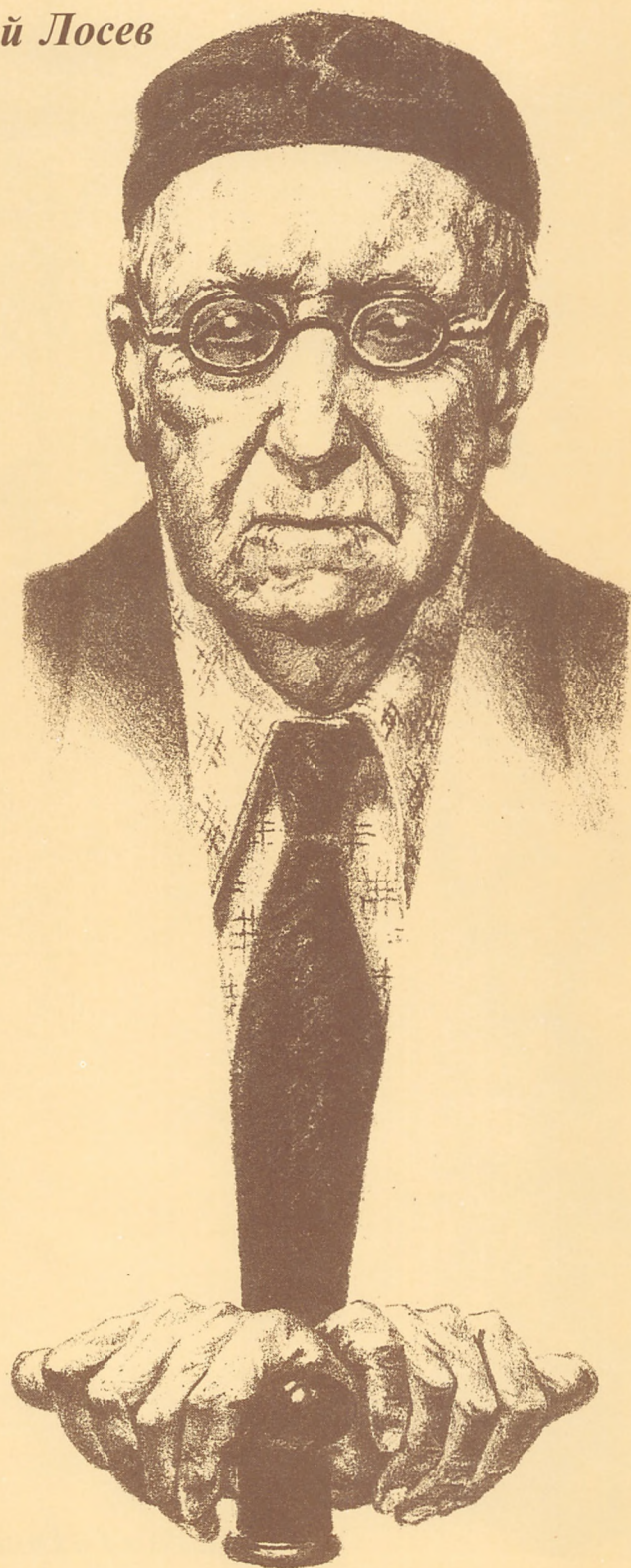






*Михаил Пришвин*

*Алексей Лосев*







*Михаил Бахтин*













*Юрий Селиверстов*

«Так же, как неразлучимы в России живопись, музыка, проза, поэзия, неотлучимы от них и друг от друга философия, религия, общественность, даже — политика. Вместе они образуют единый мощный поток, который несет на себе драгоценную ношу национальной культуры».

Это сказал Александр Блок и сказал словно на полях судьбы Юрия Селиверстова и его «Русской думы». Сибиряк по рождению, математик по строю ума (мальчиком он легко побеждал на популярных тогда олимпиадах), архитектор по образованию, мыслитель по природе духа и художник по установлению

дара, Селиверстов счастливо подтверждал эту полноту всеодиняющей русской души. Он создал графические портреты земляков-писателей Распутина, Вампилова, Астафьева, Шугаева, стал известен иллюстрациями к Акутагаве, Ивлину Во и Воннегуту, но подлинное признание получил благодаря первому после 1917 года отечественному иллюстрированному изданию Нового Завета. Он выполнил графический цикл по «Слову о полку Игореве», написал о нем статью «Источник извечный. Записки художника».

Его жизнь шла вполне по-московски — летуче, многослойно, порывисто, без внешней логики, а между тем оказалась редкостно последовательна и едина. В свой час судьба привела художника к М. М. Бахтину, чтобы здесь в беседах о Достоевском однажды родилась идея вот этой серии портретов. Всегда мощная в художнике тяга к символу подсказала поначалу и евангельское число мыслителей — двенадцать. Но русская душа плохо уживается с подказками умозрения. Как только мастер вошел в настоящее сердце национальной мысли, философы, писатели, музыканты, поэты, чья «неразлучимость в мощном потоке культуры» так хорошо отмечена Блоком, сами стали приходиться один за другим, укрепляя и призывая друг друга, чтобы свод был полон и животворен.

Эта работа длилась и наполнилась до раннего смертного часа художника. Она была его душой, его молитвой, его живым деланием. Тут согласно соседствовали умнейший Вл. Соловьев и детский простой в евангельском неисчерпаемом смысле преподобный Серафим Саровский, непримиримый К. Леонтьев и сострадательно-открытый ко всем (и именно к мученикам ума особенно сострадательный) оптинский старец Амвросий. И если художник не рисовал и не литографировал портреты духовных подвижников, то потому, что всегда знал, где начинаются святые пределы иконы, и не вступал в них.

По «Русской думе» видно, как серьезен был не один философский, но и церковный опыт художника и как сказалась следом за школой М. Бахтина и аскетическая школа покойного Ленинградского митрополита Антония, издателя «Богословских трудов», глубокого мыслителя и умного иерарха, тонкого наставника и прозорливого психолога, сумевшего направить душу художника в великое русло русской религиозной мысли в самый нужный час, когда сердце открыто и «почва души» более всего готова принять зерно благовестия.

Все, что билось порознь, что всходило сильно и свободно, что как ручьи стекалось самым прихотливым образом отовсюду, будто разом соединилось и осветилось, и галерея внешне разрозненных портретов выросла в единую «Думу», в завет художника услышать наконец это великое наследие во всей полноте и ответственно воспользоваться им, чтобы наше Преображение было достойно русской мысли и национального призвания.

*Валентин Курбатов*

Режет серп тяжелые колосья,  
Как под горло режут лебедей...  
Каждый сноп лежит, как желтый труп.

— Нет, тут всеосстрадание, ощущение своей гибели — в снопе. Это после многокровья войн и революций — жалость ко всей природе, обреченной под железо и паровоз, — а не языческое пред ней преклонение, перед Матерью-Природой, как пред Всесилю в цвету. Сейчас же она так же смертна и несчастна: и река, и месяц, и собака — как и я, человек. И потому кругом образы железной смерти:

Вот сдавили за шею деревню  
Каменные руки шоссе.

**Шею** особенно чувствует: горло, куда пить, и откуда — слово!

Вообще эту «Песнь о хлебе» хорошо бы сравнить с балладой Бернса «Джон Ячменное Зерно». Там именно — языческий оптимизм Смерти-Возрождения. А тут: убийца хлеба — убитой мукой убивается:

Вот тогда-то входит яд белесый  
В жбан желудка яйца злобы класть.  
Отравляет жернова кишок.

Пища, добытая убийством природы — да, вот эти безобидные блины! — расширенно воспроизводит в человеке убийцу в принципе:

И свистят по всей стране, как осень,  
Шарлатан, убийца и злодей...  
Оттого что режет серп колосья,  
Как под горло режут лебедей.

Именно это и понималось, вероятно, под термином «первородный грех», а именно: «природный порядок существования» — в терминологии современного мыслителя. Превзойти его призван человек.

(26.3.84. Выполняя тогда задуманное, взял сейчас Бернса и перечитал это поистине великое и народное стихотворение. Тут все благие процедуры земледелия буффонно приравниваются к акциям злых сил: вырыли могилу Джону (= пахота и сев зерна); когда тот все же ожил, вырос и вырос, его обезглавили (=

жатва), зверски избили (молотьба), развеяли прах (веянье), растерли сердце (на мельнице), утопили его в колодце (квашня-закваска), сожгли на костре (варка) — и что же? Кровь Джона (= пиво) веселит и радует души и крепит отвагу в людях. Все весело, жизнерадостно. Убийство — это так, метафора, иносказание, красное словцо, «понарошку».

У Есенина ж: нет, не «понарошку». Настоящее убийство. И нечего эгоистически буффонить, человеке. Ладно уж: жри блины, коль иначе кормиться не можешь. Только не забывай при этом совесть со злагом убиенным и зарезанной лебедью, и память и понимай: оттого-то и человекоубийца ты, что животное-травноубийца ты. Так что не ликуй уж так на тризне по Природе, как ликует у Бернса Роберта добрые йомены...).

Вдумываюсь: любовь у Пруста и у Есенина.

Вот Сван вроде так детально и долго проникается в одну Одетту, а наш Сергей только и меняет женщин: у других колен себя застает в новый вечер. Один, кажется, постигает одну, вглубь, а этому — как глубь и суть женскую постичь, оставаясь рабом поверхности, дурной бесконечности множественности?

Но ведь нутрь Одетты, душа ее совершенно закрыта для нас: описывается она лишь в ее капризах, изыществах, обманах страдающего Свана: он — изнутри, она — извне.

А этот: «Излюбили тебя, измызгали» — сострадание к сестре = «аниме» своей, душе, проникание в ее несчастность, как несчастность суки, у которой топят щенков, — и во всех женщинах суть их, сквозь смену тел и обликов, чувствует, жалеет. И если Дон Жуан он (каким себя вдруг с удивлением обнаружил: «походить я стал на Дон Жуана») — то по-русски: поневоле, душевный сострадатель (таковой же Дон Жуан — даже князь Мышкин), а не покоритель-коллекционер, гордый испанец: «Ну а на-

ших испанок? А испанок — так ты-сячи три!» — как «Ария-список» у Моцарта нам сообщает.

Сегодня утром, проснувшись, прочитал «Письмо матери»:

Ты жива еще, моя старушка?  
Жив и я.

Ну что проще и божественнее? — и слезы и тогда, и сейчас, когда пишу это. Ибо то — молитва всего неприкаянного на Руси люда, всех, для кого последней зацепкой за жизнь осталось: «Не забуду мать родную», наколкой на груди, как на камне, высеченное, не вытравимое Слово, как клятва, как «символ веры», — с чем и под пулю, и в могилу, иль кого мятель заметет... А еще щемит это всплывающей бритой головой, поющей эти слова в «Калине красной» Шукшина.

Мятель заметет его в степи Батая, и забудется он; ровнем-гладнем его покроет, забудут его, но не забудет он! Эти слова: «Не забуду мать родную!» — как исповедание любви к Земле у души, возвращающейся из воплощения временного — на Небо, к «Отцу». Тут ответ Есенина Лермонтову на того стихотворение «По небу полуночи ангел летел»; тот тосковал на земле по небесам (как и Тютчев в «Проблеске») — этот будет и на небесах тосковать по Матери-земле: песнь памяти о Матери-и поет, разносит:

Слишком я любил на этом свете  
Все, что душу облакает в плоть.  
...Счастлив тем, что целовал я женщин,  
Мял цветы, валялся на траве.

Если лермонтовской душе, которую нес ангел:

И звуков небес заменить не могли  
Ей скучные песни земли,

то есенинская — и на небе не забудет цветов и песен земли, — там, где бесцветно, сухо и абстрактно:

Знаю я, что не цветут там чащи,  
Не звенит лебяжьей шеей розь.

«Лебяжья шея» — это как всесвязующий образ в мире Есенина, как «сред-

ний термин силлогизма», что объединяет и женщину, и колос ржи в мироощущении поэта «благоразумных разбойников» и блудниц-Магдалин. Он всем брат, и все ему — сестры; и мать есть ему: сын он ей, но не отцу земному, а Слову он сын: пиет. Только вот что: не отец он сам!

И вот сюжет-дело, завещанные наперед русскими поэтами: все они почти — сыны, но не отцы. А особенно в XIX веке-то... А только сыном себя чувствующий — инфантилен неизбежно, подростков по психике, рессантимантен и обидчив, не самостояит, но подветрен (в открытом просторе) и подвержен — и самовалится легко, самоубивается... Значит, надо, чтоб творец-поэт был-стал сам семье-строитель, муж и отец, порождающий свое Пространство-Время, поле жизни, счастья и свободы, — и самодержно чтоб существовал — и других поддерживал, а не цеплялся за других, прихлебатель у чужих семей и жен, — и сам валился и других бы сваливал — как справедливо Маяковский Есенину выговаривал: «Над собою чуть не взвод расправу учинил».

27 марта. Да вот совершенно диалогичное «По небу полуночи» Лермонтова и с «Проблеском» Тютчева стихотворение Есенина: «Душа грустит о небесах». Вспомним тютчевскую строку из «Проблеска»:

Ты скажешь: ангельская лира  
Грустит в пыли по небесам!

Но какое густое заземление всего «небесного» у Есенина: хотя душа «нездешних нив жилища», но влюблена, очарована всем телесным, и весь взор ее не вверх, а вниз: даже совсем под землю, в корень заглубиться (как мужчина — в женщину) алчет:

О, если б прорасты глазами,  
Как эти листья, в глубину.

А «глаза» ведь = звезды, а звезды приравнены — листьям:



И расцветают звезды слов  
На их листве первоначальной.

Так что «понятен мне земли глагол». Его, Сергея Есенина, поэзия и есть глагол Земли — Логосу Неба: рассказ-донос-доклад гордовлюбленный того, кто — не отрекается от Матери-и:

Но не страхну я муку эту.

Заглянул снова в томик Есенина. «Товарищ» прочитал, 1917 года. И подумал: неумелы, неуклюжи его концепционные построения — везде: и в «Пугачеве» даже, не говоря о прочих поэмах, где умственность понятия требуется. Шатко-валко, концы с концами не сходятся у него в стихах подобных (как и у меня в рассуждениях, если разобраться...). Но зато образы и подробности, частности на этих каркасах неуклюжих — как верны и хороши! А в них-то все и дело: в верности частных, но знающих себя именно честными частностями, а не всеобщностями, и не претендующих на Целое и Единое.

И вот тоже гордыня западной эстетики: требование Единства Целого в произведении: чтоб непротиворечиво самодержалось оно и концы сведены с концами были (Аристотель, Гёте...).

Нет! Пушай топорщится все! Как «Мертвые души». Как «Евгений Онегин». Как «Братья Карамазовы»...

И еще идея: «ЕСЕНИН и ХЛЕБНИКОВ» — такое сопоставление произвести, хотя вроде разноразноуровневые они, в отличие от пары «Есенин и Маяковский», что проще рассмотреть: не такой перепад, из одной оперы две арии-варианта.

Хлебникова не знаю, а вот захватил, читаю сейчас его томик и о нем (Григорьева дали мне книжку — чтоб мне помочь самообъясниться: «идиостиль» свой отстаивать, право на текст у мыслителя...), как и Есенина, впрочем, не знал так уж...

Душу он, конечно, не кормит. Но

Слово, Логос — это да! И, конечно, — умник-разумник-системник, в отличие от Есенина; символик, в отличие от образника-безобразника (= «имажинист» и «хулиган-скандалист»). История и культура тут, наука и математика, космос и число — энергии и питалища его Слова.

Читать тяжело: не льётся-поётся, как у Есенина, у кого не надо над словом застревать-думать, в нем нет «сопромата»: оно — прямой проводник, от сердца к сердцу собеседа и язык со-общение.

Для Хлебникова Слово — именно Сопромат («сопротивление материалов»), и каждое — ребус, загадка, потрудись умом над связью слов-мыслей, уважь самочин этот и родовитость Самовитого (и самовитого), самовидного, кто сам с усам!

И это, конечно, — опора! Вот кто себя твердеише в Бытии ощущал, ныне разваливающимся (войны, революции, перестройки), в отличие от подветренного, шатучего Есенина, самосвального и неприкаянного. Какие б ни были тут мятели и смуты и ветры внизу, — у этого на небесах План Бытия, независимый и прочный, продумывается, начертан, и он — самодержец тут, «председатель Земного шара».

И это — необходимый труд и поиск как раз среди шатучести всеобщей и относительности: вперенности в Абсолют! А что есть тело Абсолюта, как не Слово? Бог = Слово и Свет (и Счет, — уважим подсказ опечатки машиночье) для Хлебникова — так же, как для Есенина другая ипостась божества сказуема: Любовь и Жизнь. Оба — монахи-бхакты-адепты-верные своих вер: Есенин — вихрем Жизни предан и Любоявям, аскет насчет холодного ума и логики (ужас перед «пузатым «Капиталом» и «ни при какой погоде...»); а тот — аскет насчет женщин и жизненного гнезда: нищ и странник, перекати-поле. Сын инженера и историка. А тот — купца

и крестьянки. Естествоиспытатель-математик один. Университет. Лобачевский. А другой — церковно-приходскую кончил: лампада и ладан, священное писание и его мифология и образы — ему язык, наряду с природой и народной песней и русской поэзией.

Глянул в «Уструг Разина» — кстати сопоставить бы с поэмой «Пугачев» Есенина: душевный сюжет в Пугачеве расслышивает один, а в Разине тот — космический.

И сразу наткнулся на принцип вяжущего слова у Хлебникова:

Где пучина, для почина...  
Кулак калек...

Иль, помню: «утих, утук, утех, у тех...»

Слово за словом из слова выводит, порождает, цепи и хороводы — сразу, бок о бок, слово о слово высекая кресалом, но именно фактурное, фразатурное, а не по мысли. Слово — гарант мысли: такое тут, обратное обычному соотношению. И созвучье = сосмыслие и силлогизм на арене самового слова, самодержавного; Слово = Пантократор и самообеспеченность смыслами!

Вот: «ножами наживы», «копейки на попойке», «он невидим и неведом»... И совершенно верно: новые смыслы так высекаются, новые умы и думы — чрез «за-умь», что совсем не оскорбительное слово, как «За-Бытие» есть вывод еще дальше, по ту сторону, в «сверхБытие». «За-умь» — это как ультразвук и инфракрасные лучи: то, что за «порогом» меры нашего восприятия и умения — пока...

И даже именами они на разное закланы и призваны. «Сергей Есенин» — как «Евгений Онегин» — плывет музыкально-песенное, на звук шири «е» и дали «и» (основные векторы русского пространства, святые: тут «даль» и «ширь» — вместо «выси» и «глуби») и всё сонорными и звонкими согласными (а в них — воздух и вода — стихии) инструмен-

тованное имя. А «Виктор («Велимир» — самопрозвище) Хлебников» — всё имя рубленое, дискретное, атомарно рассеченное на равные закрытые слоги, с глухими согласными, звуками труда и огне-земли, мужскими, так же как женски-любовны звуки сонорные («л», «м», «н»). И в имени «Виктор» = «победитель», по-латынски: римлянин, римская воля: «Вели — миру!» Urbi et orbi = «городу и миру» — адресовано слово Хлебникова: технике и Космосу. А этот осенне-весенний весь: хоть и от корня славянской «осени»: «есень» его имя, но всё также весною звучит и, во всяком случае, — боками года, сторонами, которые на Руси — родимы, окольные, в отличие от выси-прями-вертикали. Потому и в сутках родимы сторонки: утро (заря) и вечер, а не полдень (чтимый во Франции, как и лето) и ночь (чтимая в германстве). Хлебников же — летний (когда хлеб-жар-солнце на столе), вертикален, земле-космичен, вселенск.

И «Сергей» — серенький, как си-тец небес российских, рязанских, имя главного молельника русского, святого Сергия Радонежского. Да и град его — Ря-зань, а у того — Астра-хань: «звезда» латынская + (плюс) китайское «Хань» (=самоназвание Китая: «страна Хань»), — космополитизм задан ему и астрал, как ареал думы (совершенно вольное веду этимологизированье поэтически-научное, по-хлебниковски же, да и по-давно-моему. А смыслы многие так неожиданно выковыриваются!..).

...Читаю стихи про «Эль». Тут — космостроительство вершится из звука как идеи и субстанции, пророчества. Как можно задаться вопросами: какие предметы, изделия — из дерева, какие — из железа, какие — из стихии воды иль огня, — так и у Хлебникова натурфилософская поэма об устройении природы (как у Эмпедокла и Парменида) — исходя из

звука как первоэлемента, первостихии Бытия: что из чего?

Ленивец, лодырь или лодка, кто я?  
Эль — это лёгкие Лели...

Однако, 12 уж. Последние лыжи в Солотче... (тоже на «эль» и мой тут сказ).

8 марта 1984. Хотя в Москве уж я, но уразумениями в Солотче полон. А еще — приник и не мог оторваться, пока не дочитал, — к «Драчунам» М. Алексеева. Начитавшись Есенина, захотелось: а что дальше в деревне стало? — и отложил Пруста Марсея (что мне сейчас Сван и Одетта, когда сердце в крови и душа из тела народа вон — в голоде 33-го года?!). И дочитал вчера в электричке с Рязани до Москвы про 29-й и 33-й годы. Но какой сильный символ: «драчуны!» — эх, вы! Пацаны глупые... Как быки, наверное, попав в смертный загон и понимая лишь быков же, причину зла друг во друге усмотрят и все неудобство свое и «дискомфортность» станут вымещать друг на друге, — так и наши «драчуны» российские в непрерывной драке многодесятилетней. Так мужик, ущемленный в социуме, на службе, — приходит домой и лупит жену и детей пугает... И какая гражданская невоспитанность, незнание своих прав и отсутствие навыка их отстаивать, а — покорность, неумение пользоваться своим же народным принципом власти, которая — совет (а не приказ) да любовь!.. — недаром спариваются эти святые понятия на Руси.

Все это, конечно, от громадности Целого и неисповедимости и невидимости и непонятности его воли, так что принимается презумпция: нам, на местах, — не видно, не нашего ума дело, там — виднее, а кому? что за Сверх-Ум предполагается? в ком, в чем?... А там ведь тоже сидят не боги и горшки обжигают, а свои же ребята, кто тоже об «выпить-закусить» непрочь сообразить...

Да, трудно Логосу в Космосе таких пространств. Еще и освящают это поэты, гордясь пред Западом: «Умом Россию не понять...» Опускаются руки-крылья ума...

Ладно, оставь глобальности. Частности милые описывай, вникай, запечалевай... Но ведь ты ж — «мыслитель!» Как же тебе без ума-то? И без потуг понять-обнять умом все, в том числе и необъятное?..

Вот еще уразумение — чрез думу о Хлебникове и Есенине. На Колесо Истории как-то слишком восторженно полагались энтузиасты — чуть ли не как на Кривую, что — вывезет, авось! А ведь оно — как то же Колесо Фортуны, колебания то вверх, то вниз, маятник механический, непрерывное опровержение смыслов и ценностей, вознесение, а потом ниспровержение и надругательство. Ничего устойчивого (кроме Оси, Центра, нуля), поток существования, каша бессмысленная. Смысл — лишь в Бытии, в Истине, в Слове, в его табло, что во Космосе, в устроении мироздания, в частности, — на небесах писано звездною азбукою. И к ней Хлебников мудро приник: держаться за скрижали неба и за крышу дома бытия, — когда «колесо истории» на бурные обороты повело и вихри и мятели внизу. А им податлив, их любит Есенин — во Эросе к погибели...

... Приехал вчера — и до 3-х ночи со Светланой о Есенине — проникались. Показал я ей, как на стихотворении «Песнь о хлебе» надписал: «Светлане!», а она улыбается: что ты! это давно для меня важнейший текст! Природный порядок существования, со смертью в корне и основе, тут так пережит-продуман, высказан...

— А ты читал «Ключи Марии»? Не помнишь? Вот — смотри!..

И я читал и ахал: какой именно ум ясный! А я, дурак, ему отказывал в способности на концепцию!..

— А вот Ахматова не считала его за серьезного поэта...

— Пижонка она, Анна... в этом.

И сегодня детям я рассказывал, как впервые Есенина узнал! Что так вот бывает, и со мной было: вроде и читал и знал про него. А узнал — впервые сейчас: когда сердцем зачуял, когда резонанс в душе случился с его волной. А до того было: знание, любопытство, сведения, информация — но не понимание: ибо не понимал я его, не поймал в себя, **собой**, ибо в понимании «я» — и место-амбар, и сачок-инструмент.

Однако все равно надо образовываться: грузить, чтоб в памяти были стихи и идеи (даже и не очень-то понимаемые слова...) — и ждали, когда вдруг искра сплавления пробежит и резонанс наступит: чтоб было, чему резонировать. Потому в Индии учили священные Веды и Махабхарату — и не понимая смысла: чтобы сами слова в тебе жили и работали незримо и неосознанно, латентно... И у меня ведь Есенина многие стихи были на слуху и до этой встречи...

Но, с другой стороны, заботится сусека черепушки нашей сведениями и словами, без понятия запущенными, — такую кашу там и отвращение может произвести, и именно препятствием стать к сердечному знанию-уразумению, которому через крошку эту и не пробиться!

11 марта 1984.

Звучит в сердце, звенит в ушах:

Радуюсь, свирепствуя и мучась,  
Хорошо живется на Руси.

Это — в ответ на рассказ знакомой болгарки, живущей в Лондоне: была вчера у нас в гостях и рассказывала, как успешлив ее сын, в 26 лет уже профессор славистики, издает книгу о Чаадаеве, везде ездит. Я сидел, кислел, завидовал... Но вот что подумал: как бы умно и прекрасно он ни писал о русской культуре, — не имеет он этой тоники русской мысли: органного пункта — на страда-

нии, что дает жизнесонок экзистенциальный нашей мысли и слову: «дело прочно, когда под ним струится кровь» (Некрасов). И это именно **дар — пострадать**: за мысль, за идею, за слово — и вообще...

Настолько это непереносимое тут качество, что даже Лев Толстой страдал, что не мог **пострадать!** — всю-то жизнь свою, и выдумывал-находил себе иные страдания (духовные кризисы, и «арзамасский ужас», и самоубийства соблазны, и севастопольские подвиги) — и все-то мало, не то! — и под конец все-таки — **убе́т** совсем! Его уход и есть эта алчба — «принять страдание», урвать себе и из этого, самого сладкого на Руси для деятеля культуры, пирога кусок — хоть под занавес... Достоевскому же не надо было этим комплексом мучиться: отмутился уж наперед, на всю жизнь, на Семеновом плацу!

Да, различны формы и пути, какими себе находили **СТРАДАНИЕ** русские-мыслители-писатели: крест от власти (протопоп Аввакум), водка и саморазрушение (Аполлон Григорьев и Есенин), тоска (Блок), самоубийство (Маяковский) и проч.

Правда, в этом есть и опасность духовная: надменность страдающего...

Но вникни: в чем же тут дар мысли и слову?

— Да кровеносность, наверное! Кровеносным сосудом соединены они тогда с Бытием, субстанцией, Жизнью, а не произвольно-игрово тут слово иль отвлеченно-учена мысль.

Ну да: мысль-то, в общем, — глупо ли, легко ли, красива ли, — всегда съемна и летуча и другою заменчива, подобною же, — и в этом уже мука — своя, собственная, всякого мышления: необязательность в себе (на этом и диалектика и софистика основаны, и скептицизм и проч.). Потому так маниакально и упорно ищет Мысль опереть себя на Бытие, иль Опыт, иль вообще объ-



вить себя Бытием (=тождество Мышления и Бытия в идеализме, пантеизме и проч.), — но так или иначе завоевать себе это качество, ЕСТЬ! = «аз-есмы!», что хотя бы в глаголе-связке постоянно присутствует: «Сократ есть человек» никакого смысла не добавляет к отношениям понятий «Сократ» и «человек», но дарует им качество — Бытия! — всему этому провозглашению, укореняет, кровеносным сосудом снабжает.

Русская тяга-жажда Мысли и Слова — пострадать бы! — как раз туда же направлена и есть поиск себе этого «есть!» — качества Бытия, что на Руси, в космосе рассеянного бытия-небытия, когда все так вопросительно и сомнительно — в том числе и мое существование («Жизнь моя? иль ты приснилась мне?» — Есенин), не говоря уж о мысли, чем-то эфемерном и летучем, как сон, — так на Руси это качество «есть!» смертельно желанно! — как достоверность и удостоверение моего собственного существования и его значимости и смысла, что я хотя бы по боли могу получить: по боли в сердце, по тоске, по ссылке и дыбе...

Да, на Руси декартово-французово: «мыслю = существую» — недостаточное удостоверение ни того, ни другого: ни существование этим не удостоверено-заверено — отсылком к мысли, за справкою в ее ведомство, ни сама мысль — тем, что «я существую!» А что такое тут «существовать»? Недаром так шатковалко и даже унизительно это слово оценивается: «существовать» тут = «прозябать», «тлеть». Гоголь в юношеском письме из Нежина, кажется: жизнь населена ничтожными «существователями» = «обывателями»; «существовать», по-русски, — это еще мнимое быть.

Нет, русский силлогизм должен

быть иной: «Страдаю — значит: существую», а точнее: «есмы!», «живу!» — и тогда — «мыслю!» — обоснована в таком случае моя мысль: существенная она и «существительна», а не «прилагательна» (по раскладке мудрого дурака Митрофанушки про дверь...).

Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать —

вот и весь точный об этом сказ и формула — у Пушкина.

Конечно, и на этой почве ложь себя проявляет, а именно — переворачивая отношение: «раз я пострадал за идею, труд свой и слово, — значит, моя идея верна, мысль — истинна, а слово — прекрасно!» Мало, что ли, история наша знала таких тщеславников-бездарников, кто за свои некогдашние страдания и подвиги не только «законно» заслуженное право причинять страдания другим, садизм свой удовлетворять стяжевали, но и художественских лавров домогались?..

Потому так важно было на Руси — уметь пострадать беззлобно и неосудительно: чтоб «печаль моя светла» (Пушкин) и как Жуковский, у кого «светлая печаль». Не укорять других своей печалью и не носить страдания, как ордена. На этом — Достоевский и та школа, что через его творчество русский дух прошел.

И эта же милая, благородная, пушкинская нота — вполне у Есенина: нет вызова и укора кому-то, чему-то, человеку какому за всю раненность свою, но — приемлет, и тихо уходит, никого не виня. И в этом он и Маяковского превзошел, кто все ж обидчиво, рессантимантно отошел...

Будь же ты вовек благословенно,  
Что пришло процветь и умереть.

Март 1984  
Солотча — Москва





## ЧАСТЬ ВТОРАЯ

---







## От автора

20 марта 1990 года. Прошло два года (как я написал то, что стало первой частью этой книги). Хотя интерес к русской мысли нарастал, мой текст, как слишком личное продумывание, был еще не ко времени: шла пора простого ознакомления, информация-сведения требовались. Ю. Селиверстов пошел другим путем: приглашал авторов на каждого персонажа — и вот в «Литературной газете» появилась серия «Из истории русской философской мысли», где выступают специалисты и знатоки по каждому мыслителю, просвещают нас и свои концепции излагают. Достойнейший труд, и я из этих работ себе научение извлек.

И вдруг — неожиданная заинтересованность просвещенного Издательства АПН: включают в план и предлагают дополнить — еще есть время. А у Селиверстова как раз есть несколько портретов мыслителей XX века, кого я не продумывал еще: Бердяев, Франк, Булгаков, Лосев — какие фигуры вдохновляющие! Какой шанс — ими заняться и вытаскивать себя из жутко жгущей злобы дня, хоть на время, в эмпирию Духа и там подышать вольным воздухом, горным и горным, умозрения и так подпитать в себе Психею, Ум и Дух,

да и здоровье даже. Ибо успокаивают, умиротворяют медитации философов, равновесие и возвышенность духа в тебе устанавливают.

И снова ринулся я в Переделкино — в уединение монастырское на сосредоточенное промышленение, и устроил себе философский марафон: на траверс четырех горных вершин подвигнулся...

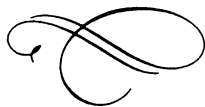
Читателя, верно, давно уже смущает неравномерность проработки мною персонажей Русской Думы: кому — пять страниц, а кому — 50... Дело в том, что в первый присест, два года назад, когда мне предстояло делать разом траверс двадцати одной вершины гигантов Русского Духа, я, естественно, начал сперва гнать во весь опор и щелкал по фигуре за день... Когда же почувствовал, что — смогу! — успокоился и стал помедленнее шагать; да и персонажи пошли мне понезвестнее, кого подольше почитать-поизучать: Вл. Соловьев, Евг. Грубецкой, Флоренский, Карсавин... И потому на них больше времени и пространства текста выпало.

А уж последние четыре философа — их я делал не торопясь, всласть проникаясь ими. Да в них и некие ближайшиие к нам стадии, про-

*блемы и сюжеты русского религиозно-философского сознания, так что хотелось повнимательнее их промыслить и в связь с нынешними загвоздками нашей общественной ситуации и темами ума привести.*

*Им, собственно, и посвящена вторая часть. Но тут как раз в канун приступа к этим четырем философам понадобилось мне собрать в узел*

*свои идеи насчет Космософии России — в связи с обсуждением страстным в нашей печати национальной проблемы и, в частности, соотношения русской и «русскоязычной» культуры в российской цивилизации. Потому и начну с этих заметок, а дальше опять пойдут «портреты».*



# Космософия России

8 февраля 1990 г. (Год дальше везде один и тот же, и я его писать не буду.) Удивительно, как гадавшим о судьбах России не приходило на ум спросить ее природу: чего она хочет, какой бы истории она могла желать от народившегося на ней человечества? Все русские мыслители, чертавшие ей модели развития: от Чаадаева до Шафаревича, — думали в рамках ИСТОРИОсофии. То есть брали некие схемы развития и устройства обществ, которые сказались на поверхности земли за тысячелетия цивилизаций, и прилагали эти карты к России, раскладывали ей пасьянсы. «Западники», «славянофиль», «соборность», «православие и католицизм», «Византизм и Славянство», «Россия и Европа», «народ-богоносец», «Развитие капитализма в России», «Русская идея», «Евразийство», «Социализм», «Русофобия» — все берут некие надземные готовности вокруг России и принимают ими соображать насчет нее. Так это и в нынешних страстных публицистико-политических спорах: «что нам менять и брать?»... Будто страна и ее природа есть некая пассивная безгласность и безмысленность и просто материал-сырье истории в переработку. Но ведь уже устройство природы здесь есть некий текст и сказ: горы или море, лес или степь, тропики или времена года — это же все некие мысли бытия, сказанные словами природы!

Историсофия есть «мудрость Истории»: какие строи и общества она разыгрывает на территории данной страны как на экране, исходя из своих ценностей: КОСМОсофия, что я развиваю, — есть «мудрость Космоса». Природа страны понимается как Природина Народу, который ей и Сын, и Супруг. Культура,

что возникает в ходе их сожительства за историю, есть чадородие их семейной жизни. Природа есть текст, скрижаль завета, что Народ должен прочитать, понять и реализовать в ходе Труда, в творчестве культуры на сей земле. Причем Труд и культура восполняют то, чего не дано стране от природы. Каждая национальная целостность есть Космо-Психо-Логос, то есть: тип местной природы, национальный характер народа и склад мышления находятся во взаимном соответствии и дополнительности друг к другу.

«Русь! Куда же несешься ты?» «Что пророчит сей необъятный простор?» Писатели-художники, поэты чуяли излучения воли и смысла от Русского Космоса и пытались угадывать их значения. Пушкин, Гоголь, Тютчев, Блок, Есенин, Пастернак... Но чистые умники: философы, политики, даже историки (чуть есть о русской природе в начале «Историй» Соловьева и Ключевского...) как-то решали за Россию без хозяйки. Не говорю уж о марксизме, который будто уж «материализм», а совсем не любит «Матушки-природы», который попросту налагает схемы своих пяти всеобщих формаций и не ждет милостей от природы, а насилует ее...

Ныне ахнули: что сделали с природой! — и возникло слово «экология». Но оно, научненькое, — тоже гуманистично-эгоистично: будем жалеть природу, как рачительный хозяин жалеет кобылу, не загоняет конягу в усмерть. Нет — вернуться к благоговению перед Природой как сокровищницей сверхидей тайного разума! Это умели и первобытные народы, и древние философы. Вот и я, строя Космософию, прибег к натурфилософскому языку четырех стихий. «Земля», «вода», «воз-дух», «огонь», понимаемые расширительно и символически, — суть слова этого языка, его «морфология»; а его «синтаксис» (вос-связь всего — «ре-лигия») — Эрос (любовь). На

этом языке и принялся я читать национальные миры, в том числе и Россию, ее природу, историю, культуру, литературу и мысль — и даю здесь несколько на сей счет предложений.

Но для начала дам некую схему Русского Космоса. Россия — Мать-сыра земля, то есть «водо-земля» по составу стихий. И она — «бесконечный простор»: Пространство тут важнее Времени. Беспредельность — аморфность. (Для сравнения — Космос германства: тут первоидеи — «огне-земля», форма, труд, и Время важнее Пространства, которого, «жизненного», не хватает...) Россия — огромная белоснежная баба, расплзавшаяся вширь: распостерлась от Балтики до Китайской стены, «а пятки — Каспийские степи» (по образу Ломоносова). Она, выражаясь термином Гегеля, — «субстанция-субъект» разыгрывающейся на ней истории. Очевидно, что по составу стихий ее должны восполнить «воз-дух» и «огонь», аморфность должна быть восполнена формой (предел, границы), по Пространству должно врубиться работать Время (ритм Истории) и т.д.

Это и призвано осуществлять Мужское начало здесь. Природина-Россия-Мать рождает себе Сына — русский Народ, что ей и Мужем становится (как Гея-Земля в греческой мифологии рождает себе Уран-Небо, что ей тоже и Сын, и Супруг). Его душа — нараспашку, широкая — значит, стихия «воз-духа» в нем избыточна. Он легок на съем в «путь-дорогу» (сверхценность это в Русском Космосе); Даль и Ширь здесь привилегированнее Выси и Глуби (что, напротив, во германстве сверхценнее), горизонталь мира важнее вертикали (опять же обратное — во германстве, где горняки-рудокопы и шпиль готических кирх пронзать небо устремлены; русские ж церкви приземисты, и округлы грибки-боровички куполов). Русский народ = СВЕТЕР (Свет + Ветер — мой не-

ологизм): гуляет, «где ветер да я», летучий, странник и солдат, плохо укорененный. Неважно он, такой беглый, пашет свою землю, как мужик бабу, — по вертикали, так что его даже прищипливать приходилось крепостным правом, а то все в бега норювил... И потому второго Мужа России понадобилось (уже не как Матери-Родине, а именно Женщине-жене) в дополнение, который бы ее продраил по вертикали да крепко обнял-охватил обручем с боков, чтобы она не расплзалась: заставой богатырскою, пограничником Карацупой, железным занавесом — бабу в охряпку... И этот мужик — чужеземец. Охоча холодноватая Мать-сыра земля до огненного чужеземца в дополнение к своему реденькому, как иная бороденка, Народу: он свой, родной, любимый, да больно малый да шалый. Воз-Дух и Свет (недаром и мир тут — «белый свет», как снег) он ей подает, но ведь у стихии Огня вторая важнейшая ипостась: Жар, а сего недодает. Вот и вынуждена Россия варяга приглашать на порядок-форму и закон, из грек правосостояние православия (тоже прямая, вертикаль и закон — Божий), половца и турка с Юга притягивает, татаро-монгола — с Востока. Потом немцы с Петра правили, социализм с Ленина, грузин Джугашвили, в ком соединились Петр с Тамерланом (догматический марксизм и талмуд идеологии с Запада — и султан «секим-башка» с Востока). Уж он-то так продраил Русь-бабу, что бездыханная лежит... Потом чуть полегче: хохлы-малороссы с Хрущева пошли, с выговором на фрикативное «гх» — и у Брежнева, и у Горбачева. Как бы в отместку за присоединение к России, Украина в пору «застоя» своими людьми стала Россиию править: куда ни глянешь в аппарат власти, армии, культуры — везде от всяческих «енко» рябит...

Даже стратегия русских войн — от охоты России-бабы на чужеземца.



Она его приманивает (поляка, француза, немца), затягивает в глубь себя: никогда не на границах ему отбой, а взасос его вовлекает — и уж тут, во глубине России, самый оргазм битв: летят головушки и тех и других, орошают ее топкое лоно огненной кровушкой, как спермою: им смерть, а ей — страсть да сласть. Так ведь еще в «Слове» битва как свадьба видится, как смертельное соитие. Если германская тактика — «свинья», «клин» = стержень, то русская — «котел», «мешок» — как вагина, влагалище.

Да, в каждом национальном Космосе обитает и особый национальный Эрос. Он определен прежде всего вертикально: Небо (мужское) — Земля (женское). «Здесь, где так вяло свод небесный На землю тощую глядит», — такой, не страстный Эрос отмечал Тютчев в России, где вектор Выси переходит в тягу Далигоризонтал: путь-дорога, разлука, поэзия несостоявшейся любви, тоска... Родима тут сторонка, край, косвенное, «косые лучи заходящего солнца» любил Достоевский...

Итак, в Русском Космосе три главные агента Истории: Россия = Мать-сыра земля, а на ней работают два мужика: Народ и Государство-Кесарь. И оба начала ей необходимы. Народ — это тот малый, что протягивается по горизонтали: из Руси — всю Россию собою покрыть напрягается, хотя и убогий числом-населением: мал да удал! Но — и бегл, не сидит-стоит на месте. Потому и понадобилось жесткое начало власти, формы, порядка — и оно естественно с Запада натекло. Оттуда же — индустрия (огнеземля промышленности) и город. Народ = воля, а Государь (ство) = закон. Меж ними и распялена Психея России, душа русской женщины. Недаром в русском романе при ней два героя, что реализуют эти ипостаси: Онегин — и Генерал при Татьяне, Вронский и Каренин-министр при Анне, непутевый, бесСТАНный Гри-

горий и есаул Листницкий при Аксинье, поэт-доктор Живаго и комиссар Стрельников при Ларе и т.д.

Раз уж я Психею затронул, что обитает в Русском Космосе, то и о присущем сему месту Логосе итог своих исследований доложу. Тут ум тоже двойкий, как и два его субъекта — мужских начала, и он все время мыкается-трепыхается в этом поле, усиливаясь сводить начала с концами. Поскольку Кесарево начало власти, закона и формы у нас не первовырабатывалось, а уж пришло готовым, как итог и результат, с Запада (и мы не посвящены в те поиски и мучения тысячелетневековые, в которых эти итоги и законы и формулы так же мучительно рождались), закон, аппарат и ихний Логос — рассудок обретают невольно догматическую недвижимую форму: тезисов, положений веских и жестких: «так надо!» — и послушания науке и логике и идеологии и правой вере: «молчать! не рассуждать!» — за тебя уже рассудили люди знающие, что ТАМ — наверху...

В противовес этому — Логос воли-свободы, поиска пути и смысла жизни, что в поэзии, песне, в фольклоре русском. Литература же великая, русская классическая XVIII—XX веков, Слово России, — два эти полюса сопрягает, и потому в ней такая пружинность и энергетика, что вечно питать будет. Также и мысль философская во России отмечена напряженной поисковостью, тут не ответы, а вопросы... Принципиальная незавершенность и несказуемость «последнего слова» — это и Бахтин отмечал в строении русского романа и в мысли.

Если формула логики Запада, Европы (еще с Аристотеля): ЭТО ЕСТЬ ТО-ТО («Сократ есть человек», «некоторые лебеди белы»), то русский ум мыслит по логике: НЕ ТО, А... (ЧТО)?..

Нет, я не Байрон, я другой...

Не то, что мните вы, природа...

Русский ум начинает с некоего отрицания, отвержения, и в качестве «тезиса-жертвы» берется-кладется некая готовая данность (из Запада, как правило, пришедшая). Оттолкнувшись в критике и так разогревшись на мысль, начинает уже шуровать наш ум в поиске положительного ответа. Но это дело оказывается труднее — и долго ищется и — не находится чего-то четкого, а повисает в воздухе вопросом. Но сам поиск и путь — уже становится ценностью и как бы ответом.

По этой же логике и «Война и мир»: не Наполеон, а Кутузов; и Достоевский: не Рим и Запад, а мы... И т.д.

Даже ракета недаром у нас изобретена. Ее принцип движения —

самоотталкивание: тоже «не то, а...». «От самой от себя у-бе-гу!..»

Мир удивляется: как это у нас критика и полемика такая жестокая и страстная между собой! А я это понимаю как необходимый разогрев: в промозглom космосе Матисырой земли, чтобы не свалиться на обломовский диван, на uspение в медвежью берлогу, — все средства хороши: в том числе и разогрев злости. Да и работяга русский, когда хорошо работает? Когда разозлится, раззадорится...

Но — хватит давать итогов, как пилюль готовых к пониманию. Я-то эти идеи вывел за 30 лет исканий и изучений. Теперь поразмышляйте-ка немного со мною, читатель!..



# Русь — жертва России

(Неосторожные соображения  
Русскоязычного)

## Русскоязычная цивилизация

2 февраля. Встретился мне на днях один мой добрый знакомый из чистопородно русских — и говорил: «Книжку твою купил о «Национальных образах мира» — интересно, конечно. Но пишешь ты как-то странно: вроде на русском, а не по-русски... Все-таки чувствуется — не НАШ...»

Задумался я. Тут в его реакции — отторжение возрождающейся строгой рускостью — «русскоязычных», к кому и я принадлежу. Действительно: на теле России в XX веке вырос слой из пришельцев, чужеземцев, слетевшихся из других народов, почв, космосов и этносов: евреи, нацмены из республик Союза ССР, политэмигранты. Пастернак, Мандельштам, одесситы: Бабель, Багрицкий... Айтматов, Быков... И уж вся перемешанная культура моего поколения.

Тут, конечно, на языке русском создана некая цивилизация, культура, ценности. Но, с точки зрения отесненной этим чистой русской традиции, — это и тем хуже: что так сильно и внятно на русском языке, сказав его поле этою силою, проявились таланты-инородцы. И сейчас естественно возник процесс отторжения таковых от своего поля, которое надо возродить, пока совсем не засорилось «русскоязычными». И я член той культуры, отторгаемой и уже прошлой — для набирающей свежесть и пассионарность чисто-природно-русской.

И как ты не сказался, не мог вылезти наружу в свое время (из-за

идеологических препон), теперь снова тебе не выйти в печать — уже из-за препон национально-русских. Ты для них — еретик в Слове. И чем талантливее и ярче твои мысли, и слова, и тексты — тем опаснее, сообразительнее.

Это свое безместно-безвременное положение надо понимать.

Но смешно и паниковать. Тут — Неразрешимость, просто сюжет динамический, что вечен для России и волнами туда-сюда ходит.

Кстати, почему нет такого сюжета в США, где тоже слетелись иммигранты-чужеродцы?.. Да потому, что там и общий язык — английский — тоже импортированный, как и все съехавшиеся нации: не привилегирован он своей там почвой, а въезжий тоже.

А в России, которая тоже приняла много инородцев, язык аборигенов — русский — привилегированный и крепимый почвою и кровию основного народа. Русские сейчас на советчине оказались в положении американских индейцев для интернационалистов-пришельцев: тоже искореняли народ-крестьянство и веру, и дух, и вот язык: его из родниково-почвенного соделать горизонтально-общительным, нейтральным, не диалектным (как тот, на котором пишут Айтматов и Сулейменов). А если кто поигрывает языком и словами — то это баловство с игрушкой, с бабою: так и смяк ее распяливать и смотреть, перелопачивать, конструировать — то есть, безпиекетное, не целомудренное отношение к языку — не как к святыне, но игровое, хамское: впериваться в наготу языка и свежевать-анатомировать. Так что моя стилистика — это анатомический театр русского языка.

Хотя тут есть и налет сверху — с неба, из Духа и Логоса, из мировой культуры — ее присест на коверсамолет русского языка и на нем полеты и резвление... Здесь сказывается, конечно, бесцеремонность

индивидуальности: кто не чувствует себя в народе, а сам — наедине с языком, свободно к нему подходит и выкаблучивает на нем, отплясывает в его материале — вот именно: как в материи, а не в святине.

Но ведь и Пушкин — от французского к русскому перешел и свободно в нем резвился: то-то и смог сотворить в языке первообразы и образцы, модели, по коим равняться затем...

Но язык не только почвен-землян, он еще и воздушен, надземен, космичен: язык Света и Духа, сверху нисходит. И инородцы русскоязычные этот завет еще приемлют: слух на Небо и идеи с неба и из культуры мировой. Так мыслители работают (Чаадаев — тот вообще русские идеи по-французски излагал), философы XX века: Флоренский, Бахтин...

И разрослась огромная цивилизация инородцев на русском языке — и разносится по миру. И вот ныне, когда выпирают — плечиками и локотками и кулаками, — куда деваться? Земли для таковых нет. Есть лишь Небо Духа, культуры... Кстати, потому так к культурологии падки таковые (и я, и семиотики): мировая культура — наш дом и почва; история, ее театр и идеи — в них жить-плавать-дышать...

И это тоже чуждо и соблазн, хотя, казалось бы, самопониманию содействует... Но НЕ ТО это понимание, не изнутри, не НАШЕ, чуждым духом — и опасно тем более.

Так что — нет, деваться никуда не надо. Это выпирание — не мгновенное, а хроническое во России: какое-то сосуществование динамичное учредится в итоге — ибо куда же денутся десятки, а то и сотни миллионов «русскоязычных» на территории России? Раз уж подвиглась стать империей: не Русью, а Россией, — то и бремя инородцев на себя принимать, и отвечать за них, и привечать, жить давать и пользу от них брать.

3 февраля. Да, РУССКОЯЗЫЧНЫЕ — становится это неким культурным образованием и автономией: и еще посостязаться в ценностях и творчестве могут с РУССКИМИ. Тут — Флоренский, Ахматова, Ходасевич, Пастернак, Слуцкий; теперь Айтматов, Искандер, Окуджава, Высоцкий, А. Ким...

И даже более выгодная тут для творчества в Духе, в Логосе ситуация: есть силовое поле противоречия: между Языком и Этносом, плотью, кровью, землей-натурой. Они вступают в диалог — и лиются в этом перепаде творческие идеи, мысли, слова, как укрощающие эту трещину. Это — продуцирующее противоречие.

А у чистокровных русских — этого силового поля нет: единство плоти и духа может рождать покой, ровность, сон, обломовство и диван, водку и бытие-небытие. Может не доставать силы подъемной: противостать засасывающей энтропии Космоса Мати-сырой земли — на творчество, плодотворение.

Так что во России для творчества во Логосе — как раз продуктивна закваска чужой крови. Так и было во многих творцах тут.

Тождество Бытия и Мышления тут производит — сон, небытие и того и другого. Здесь греет спор их, этих начал, — и из него высекаются искры мыслей и слов, культура и литература...

Родина Духа — Небо. Там — Логос. Он — не землян, а между небом и землей. Русский Язык — в Небе России: ее покров — над всяким под ним оказавшимся народом («всяк сущий в ней язык» — как не слово, а



плоть бысть). Не из почвы Руси (то первично было), а с Неба России получают люди тут Слово — как Божье уже, а не земляно-русское. Ради Бога, да будут там почвенники и да развиваются диалекты — как родники и притоки, питающие Волгу языка. Но Русский Логос — не русских лишь собственность, как и русская женщина — Мать-сыра земля, Россия: она тоже приняла в свое и на свое лоно чужеземца и чужекровца, точнее, — головушки их и тельца там равномошно с русскими лежат, удобряют — ее добром, милостию и благостию.

Итак: и Небо России (Русский Логос), и Мать-сыра земля, женщина русская — принимают гостеприимно всякого (то «всепонимание» и «всевосприимчивость» русских, о чем Достоевский).

И, конечно: тут историческое «кви про кво» совершилось, перипетия. Русь расширялась в Россию, поевывая уже не русские земли, а иных народов. Так что Россия — не Русь: и по народам, и по землям. Сибирь — якутов, бурятов. Средняя Азия — казахов, киргизов, узбеков, туркменов... Даже до Урала — татар и башкир земли и этносы. Так что Русь не по чину взяла, распростершись и поевав — и Украину, и Литву, и Белую Русь даже. Так что если по тождеству Бытия и Мышления рассуждать и брать, то вбираться в берега Руси — даже до Ивана Третьего. Ибо уже с Грозным — Татария и Ливония вошли в сюжет русской истории.

Так что первородный грех Руси — расширение, и за него ныне, в XX веке, платится. Но это был и **Рок расширения** — и цивилизующий до известного предела. Русский Логос стал Мыслию Севера Евразии, России, а не Руси лишь. Как Рим и язык латинский — язык полумира цивилизованного. Язык Августина-африканца и Эразма-германца... Можно парадоксально выразиться: Русь костями легла жертвою за Язык

свой великий и могучий, за его вознесение на Небо России всей и пространство и покров — Софией, Премудростию Господней — над всеми вошедшими в орбиту России народами и этносами и телами и кровями.

Сама же Русь ныне в прострации лежит — и опустошена даже от народа своего, что был мужик, а стал солдат и начальник-опричник Всея России, руководитель-рукамиразводитель... Бедняга. Люмпен стал.

### *Две женщины: Русь и Россия*

Значит, тут вопрос: почему же Русь сошла с катушек своих и русский народ-мужик оставил свою бабу — жену, землю Руси, и двинулся в даль и в ширь в путь-дорогу? Разве плоха своя земля-баба? Еще на худших люди обитали — и не сдвигались, а возделывали и превращали в земной рай (Голландия и проч.). Или рядом соседи были так жирны землей и слабы народом-мужами, что нетрудно их поевовать? Это отчасти так — особенно на Востоке, в Сибирь-тайгу. Но рядом — сильные: и татары, и турки, и Крым, и Кавказ... Разве что Украина и Белая Русь — не сопротивлялись так, а просто просачивались туда русские — как свои, своеязычные (хоть и не своеэтнические: этнос русского и украинца — розен).

Значит, слаба вертикаль и ее тяга на Руси. Эрос-хоть-лоно России-женщины перетягивает любовь к своей благоверной Руси-бабе, которая — Мать-сыра земля... И это понятно: опасна она мужскому началу, которое вообще и тут особенно есть: воздух, огонь и свет; она ж норовит в себя погрузить и засосать, осырить и загасить — волю, свободу, мужскость, самостояние. То-то и тянет его от своей земли, от ужаса перед ее ловушкой, могилой глиняной и топ-

кой, болотистой — куда прочь, в даль-простор. Вот его, русского духа, женщина: Даль, Ширь, Путь-Дорога, Родимая Сторонка — Страна. Недаром именно этим корнем названа Родина, всеЦелое России. Страна = сторона, бок, ТАМ (а не ЗДЕСЬ), вечное ТУДА-стремление, очарованность нездешностью, неземностью («Очарованный странник» — русский человек). И оттого так податлив на мающиеся сверхидеи, что уводят от тутошнего дела и воздела земли и жены — на бега и во солдаты (русский способ путешествовать, как по анекдоту: каким транспортом кто мир видит? Американец — самолетом, француз — на «Рено»-авто, а русский — на танке...).

Потому податлив и на ману-искушения-соблазны идеалов: коммунизм, мировая революция, светлое будущее...

Итак, новое для своей Космофизии России нахожу-вывожу. Две женщины, оказывается, тут: Русь, своя баба, и Россия — страна. Русь — дома, изба, разбитое корыто, не убежит. Синица в руке. А вот Россия — пышна, богата, Шемаханская царица, не тут, а на стороне: до нее дойти надо, повоевать!.. Она — суха и горяча, в отличие от своей бабы, что мокра-сыра и рыба кровь русалки-водяной...

### *Застенчивость и самоуверенность в русском человеке*

До сих пор я непродуманно до конца полагал, что РОССИЯ = МАТЬ-СЫРА ЗЕМЛЯ, и она есть субъект русской истории, а при ней два мужика: Народ-сын, свой СВЕТЕР, и Государство-цесарь, чужеземец, закон, аппарат...

Теперь в самом женском начале обнаруживается раздвоение: сам русский народ, человек — в поле тяготений и выбора. Как эллин — между двумя Афродитами (у Плато-

на): Афродита земная = своя жена-баба, земля мать-сыра, Русь,— и Афродита небесная, влекущая от себя и отсюда: в небо, в даль, к идеалу, от жизни сей, очарованность. И тут это — Россия, Страна родная, Родина-мать ЗОВЕТ — опять же от тебя-себя, идти в даль, куда-то, где Граница, Влади-Восток! Влади-Кавказ!.. ДАЕШЬ?! (А ЧТО даешь — неважно: всегда что-нибудь очередное появится: Коммунизм, мировая революция, пятилетка в четыре года, Афганистан...)

Нынче ЗДЕСЬ — завтра ТАМ!

Итак, распялен русский человек-мужчина между вертикалью привязанности-любви к бабе своей: земле, Руси, к хозяйству на ней,— и горизонтально: то тяга в СТРАНУ родную, родимую сторонку, «от самой от себя у-бе-гу!» — в даль, в путь-дорогу странничество, во бега. И тут готовно русский человек из ампула-роли мужика-хозяина переходит на роль солдата-начальника (в других местах начало класть, краеугольные камни), руководителя других детей за ручку: вечными недорослями их полагая, кого я могу научить — своему понятию...

Тут поражающее всех противоречие в психике русского человека проявляется: он застенчив, стыдлив, кроток — и нагл, самоуверен... Но это в разных местах и отношениях. У себя дома, на Руси,— он неуверен и чувствует себя виноватым, ибо — верно: плохой хозяин, плохо гребет-возделывает жену-землю и дом свой; чует в себе зуд в даль — и в том грех перед своей бабой землей (знает кот, чье мясо съел!) — и покорно принимает кару и тюрьму, как раз чуя в себе готовность суму принять: скорее она ему по душе, посох страннический и ружье, нежели лопата и плуг. Потому у себя дома покорно клали голову на плаху — и стрельцы, и новгородцы, и когда раскулачивали... Тоже некрепко сидели на земле, и даже виноватость за излишнее в нее вклевчение

за десять лет НЭПа чуяли — но уже иную виноватость: за измену тяге горизонтали — на съем в путь-дорогу и даль. Тогда их силой — в даль, но по внутренне согласной онтологии человека тут...

Совсем другая психика и душа и самочувствие у русского НА СТОРОНЕ: там, куда пришел в мессиизме расширения Руси во Россию и где он уже пришелец, начальник — полагающий НАЧАЛО новой жизни тут, как цивилизатор... И верно: он несет Русский Логос: Универсум Слова, раздвигает покров Небес. Но он также устанавливает свои привычки и порядки как всеобщие и присущие — и переучивает всех жить и мыслить, и страдать, и что делать. И тут он — слишком самоуверен и ограничен и незыблем: начальник не может поступаться принципами (= «началами», по латыни) — перед лицом всего мира: и Юга, и Запада, и Востока. И совсем не слышит другое слово и опыт и сознание. И это в разлад с тою всевосприимчивостью и всепониманием, о чем Достоевский и Блок и другие — как черте русской души...

Теперь и тут кое-что проясняется: эта всевосприимчивость — у русского дома, когда слушает сказки о чужих краях, очаровывается их обычаям и стремится их по/н/ять — в жены.

Это — что касается Психеи русского человека, душевности его.

Но эта всевосприимчивость есть более черта русского Неба (где Логос, Слово России) и Космоса России — как плиты, равнины балтославянского щита, распростершегося от Балтики до Китая и Океана: всевосприимчив и приглашающ этот щит — прикатить сюда все народы — и помереть.

Так что под знамена Русского Логоса приглашены и сходятся люди разных пород телесных — соучаствовать.

И, кстати, какие русские писатели эту всевосприимчивость проявляли

и о ней ратовали? Да те, в ком примесь иной плоти и крови есть: Жуковский, Пушкин, Достоевский, Блок...

Да, о самоуверенности русского начальника на стороне, что учит других, как жить и что делать,— памятно мне сказал в 1964 году в Тарту эстонский поэт, теолог и философ Уко Мазинг. Он говорил, что Эстония между Германией и Россией, и почему Россия ей — меньше зло. «Немец приходит — он хочет всего лишь немножко убивать. Русский приходит — все начинает переменять и всех учит как жить. Но главное: он учит ДЕЛАТЬ НИЧЕГО! Год живи — делай ничего, два, всю жизнь...»

Тут гениальная формула: не «НИЧЕГО НЕ ДЕЛАТЬ», но «ДЕЛАТЬ НИЧЕГО» — как объект труда; Небытие, Пустота — как изделие. А делать при этом приходится очень много движений, прямо сторать на работе («кипенье в действии пустом»...).

Но тут некая метафизическая призванность России — как Космоса Рассеянного Бытия-Небытия, что

ТОПИТ в пропасти забвенья  
Народы, царства и царей.  
А если что и остается  
Чрез звуки лиры иль трубы,  
То вечности жерлом пожрется  
И общей не уйдет судьбы.

(Державин)

Вот это эсхатологическое и апокалиптическое призвание России и русского народа (может, в этом он — «богоносец»: приблизить все к последним временам и всеобщей гибели всего земного — как мало стоящего и «человеческого, слишком человеческого»: в том числе и рожания людей, и культуры изделий—идолов сих) чуялось и Чаадаевым, и Гоголем, и Блоком, и Андреем Платоновым, и русскими религиозными философами, и в революции, и во всей советской истории уничтожения и самоуничтожения — сильно проявлялось...

Влечение к Небытию, к Смерти, к погибели сказалось и в знаменитой жертвенности русских и готовности умирать — не рожать: «Все как один умрем — в борьбе за ЭТО!» — некое обличье идеала, под него может что угодно встроиться: и Царствие небесное, но и Мировая Революция и Смерть всеобщая...

Конечно, естественно соперничество в Логосе России двух творческих потоков-источников: первичного, из Руси, чистопородно-русского, где чуют сильнее волю почвы, низа, плоти Матери-сырой земли (русалки, воды, Волги... — недаром водяны символы русских писателей последнего времени: и «Царь-Рыба», и «Прощание с Матёрой»...) — и тех, вовлеченных в поток истории России: повоеванных или привлеченных, как азиаты, евреи, иммигранты «интернационалисты» (немцы, поляки, болгары и др.), кто первично плотию не русск, но очарован русским небом: Словом России — и в нем парит-творит. И тут творится тоже Русский Дух, который, однако, не РУСЬЮ ПАХНЕТ, не землей-почвой, как вертикалью, а более — верхом (Небом, Богом, Святым Духом, и далью-горизонталью вселенскости мира). Тут цивилизации мировой идеи: сверхценности культуры и философии проблемы. Для их поднятия и решения — приветлив Русский Логос, ум. И особенно ныне: после века Голгофы и опытов страданий теперь в ум и разумение приходиться и за всех мыслить — после того как за всех, за все человечество пострадали...

Конечно: рассуждению сему импульс — вопрос о месте под солнцем. Что делать вовлеченным в историю-путь России чужекровцам или полукровкам? Именно: под солнцем России им, безусловно, место есть, и туда они привлечены всей историей России — приглашены-призваны в Русский Логос: он им даже более родина, нежели та или иная земля и этнос на планете, ибо

они уже сдвинуты и свихнуты с устойчивости той или иной в этом (и Пастернак — не еврей, а Айтматов — не киргиз и т.д.), так что и никакой им Израиль не «родина» и не «свой народ» — нет уже у таких «своего народа». Но есть — РОДНОЕ СЛОВО: в нем они даже более рождены, нежели во плоти: в русской литературе, культуре, цивилизации... Как Сын Девы — не столько от плоти, почвы и земли рожден, сколько от Духа зачат...

Итак, что делать далее: выметаться «подобру-поздорову», но куда? Нет нигде им ниши в бытии — везде они не свои и не-у-местны, чужие. Их родина — Слово России.

Или есть и им дело в дальнейшей цивилизации и культуре России — совместно или наряду с почвенно-русскими? Иные из последних говорят: убирайтесь, не нужны вы, достаточно нам испортили, сбили с панталыку. Мы сами будем свой порядок устанавливать...

Но ведь как раз этим занималась Русь во России более пяти веков — и на то положила свои силы и их истощила, и все, что по-своему хотела: в Сибири, в Средней Азии, в Татарии и на Украине, — уже принесла и сделала. Но — за счет самой Центральной Руси. Истощил русский человек свои силы на расширение и руководство Россией и миром даже — в XX веке, а свой родной Центр, Русь — в пустошь и мерзость запустения привел. Теперь надо оттягиваться: спасти именно Русь — и здесь сосредоточить силы и ум почвенно-русских: восстановить земледелие, крестьянство, промыслы, быт, уклад, веру, культуру, чтоб каждая провинция ожила и лицо приобрела. Возродить почву именно Руси, а не «всей Руси» — всеядно ее всепожрав, как доселе, и самопогубительно — именно!

Итак: вот русский Рок — Россия. Она — и влечение, и идеал, и служба — но и прорва, погибель. Она оттянула русский народ, сняла его с



Руси, из мужика сделала солдатом, руководителем, начальником, а не хозяином.

Особенно после войны с немцами этот рок сказался. Когда остались после немцев сожженные города и села Смоленщины, Брянщины, Орловщины и т.д., заповедных давних исторических территорий Руси, почему не вернулись солдаты, не обзавелись теми же или новыми семьями и не стали возрождать села, пепелища, а убежали от отеческих гробов — на приглашаемые новые земли: в Прибалтику и Калининградскую область (где в качестве солдат и руководителей и рабочих им привилегированные условия Центром создавались для колонизации опять же новых земель) — притянулись? Опять Россия и служба ей — во вред Руси пошла. Они невольно изменщиками и предателями родины, дезертирами оказались. И пусть не говорят, что сталинские колхозы и работать за галочки — это было везде. Но коли б в русском мужике сильна была вертикаль почвы, а не тяга на сторону (что «родима»), то вернулся бы и была бы Русь жива.

Вот это теперь и надо делать, пока не поздно. А не братья снова малыми своими и вымирающими силами — за правление всею Россией и изгоняя оттуда (и так совсем редко населенного пространства) исторически прижившихся там инородцев и полукровок.

### *Сюжет с еврейством*

Он тоже возник «по воле Рока» русского — России. До разделов Польши в конце XVIII века евреев на Руси не было. Причина их появления — слава русского оружия: наша гордость — Суворов — взял Прагу, вошел в Варшаву, и, ликвидировав Речь Посполитую, Россия заполучила три миллиона евреев, а с тем — и революцию 17-го года и казнь царя; также и поляка-отмсти-

теля Дзержинского, создавшего ЧеКа<sup>1</sup>. Так что рукоплещешь Суворову — принимай ответственность за присоединенных в орбиту своей истории. Тоже ведь своя победа = свой грех, свое поражение. Такова ироническая диалектика Истории и воочию неисповедимость ее путей нашим рассудочком — обличает.

Или еще: Ермолов завоевал Кавказ, Шамиля победили и «Владыкавказ» на знамени города написали? Ну что ж, заполучили и Джугашвили себе — как бич Божий и возмездие за Владей Кавказом, что порешил-повырезал русское крестьянство и интеллигенцию и довел до войны с немцами.

А сюжет с еврейством отчего так страстен во России? Если каждая национальная целостность есть Космо-Психо-Логос, то еврейство оказалось способно обходиться без своей Природины, родного Космоса (и тем это — «избранный народ»): в диаспоре две тысячи лет, в порах других стран. Так что еврейство — это **Психо-Логос минус Космос**, причем минус тут — как в математике отрицательная величина: не просто отсутствие, но значащая величина: Космос оказался как бы вдавлен в Этнос (природа еврейства — это его народ, живые тела людей «Бога живаго»), а также за счет Космоса наполнились энергией Психея и Логос. «Тора» — их **территора**: Закон Божий, Буква Слова, а также трепетная и живо реагирующая психика (недаром и психология — развита евреями: Фрейд, Фромм, и психиатры они сильные...). И когда в России оказались после разделов Польши миллионы евреев — тут же возникло

<sup>1</sup> Мицкевичем в поэме «Конрад Валленрод» создан символический образ патриота-предателя. Литовец становится Великим Магистром германского Ордена крестоносцев и в решающей битве со славянами так располагает свои полки, что приводит их к поражению. Такой Конрад Валленрод Польши явился и во России-СССР в ипостаси Феликса Дзержинского.

метафизическое влечение — род нудуга: минус-Космос привился к такому сверхКосмосу, как Россия. И этот восторг — в Левитане-пейзажисте, а у Пастернака — просто плотоядная влюбленность в русскую природу. А дар Божий Русского Слова!..

Но некий рок исторический свел в Революции эти два политически невоспитанных народа на общий путь-пролом. Ибо русские люди на рубеже веков только приучались жить в гражданском обществе, обретали правосознание и юридическую культуру. А уж еврейство имело лишь религиозно-идеологически-бытовой закон, но никакой традиции жить обществом гражданским и государством — не то, что Англия, Франция... А между тем, когда миллионы дворян и интеллигентов были изгнаны из России, святы места интеллигенции волей-неволей заняты были юркими евреями из местечек — пока-то прочухается русак с его замедленным, по природе-берлоге, темпоритмом!.. Вот и стало еврейство тут законничать, а закон-то знали — как Тору и Талмуд, и выработали из марксизма и социализма — идеологию начетническую, буквалистскую, что оцепенила умы. Также «ам-хаареца» = «человека земли» традиционно презирали во иудействе — как низшего, и, не имея понятия о земледелии, крестьянина (еще и = христианина) — в низший разряд отрядили в сравнении с классом-мессией, по Марксу, — пролетариатом. Так что, когда пошло раскулачивание:

Не мог понять в сей миг кровавый,  
На ЧТО он руку поднимал!..

Сами-то мало марались, но идеологию такую дали...

Так что грех великий произошел... И во многом по неразумию, а не столько по злой воле... Однако в верхних слоях атмосферы — в Духе, в Культуре, в литературе, искусстве и науке — еврейский Ренессанс, что

совершился в советские годы, — многое творчество общезначимо ценное внес в культуру России и мировую. Накапливавшийся за века диаспоры потенциал народа тут пассивно и пружинно распрямился — за два-три десятилетия. Но — трагедия, грехи, недоразумения, счеты!..

4 февраля. О, милая моя КРИВАЯ! На тебя полагаюсь — кладусь: повози — чуток, покатай утречком. А то слаб-вял сегодня. Плачу, верно, за вчерашние полеты избыточные — и по Руси-России, и по Болгарии. Однако, вот уже и крючок-зацепочка — на промышление: вспомнил вчерашнее соображение, что под конец умозрения появилось, — интересное: РОССИЯ — с ЗАПАДА (из «варяг»), РУСЬ — с ЮГА (из «грек»).

Итак, Россия — превозможение Руси, ее самопревосхождение, напрям-натуга быть не самой собою, но больше себя. И подвигнута Русь на то — с Запада: контактом с ним и самоприравниванием к его меркам — тоже империей стать, величием, «грандёр»...

Оттуда подстегивается растекание Руси во Россию — на Восток и на Юг — в соперничестве с Англией (на Кавказ, в Среднюю Азию). На Западе — жесткие стычки: с боем дается туда распространение на каждый исторический шаг, и от него отдача раската беспрепятственного на Восток — за Урал, в Сибирь: отдается — затягивает. И легко снимаются — в даль, растекаются. Так Русь не создала интенсивного жанра развития: наращивая цивилизацию, на месте сидючи, — а все в экстенсивном пребывала; и доселе соблазняет легкость решения проблем — через Пространство беспредельное. Но эта простота и легкость — кажущаяся и обманная, как «многая простота есть удобопревертна» (по слову Исаака Сирина). Так и вышло — и обнаружилось ныне, к концу второ-

го тысячелетия: веселое и легкомысленное растекание вширь было заманиванием Руси Востоком в западню (как и в тактике татаро-монголов некогда, кочевников). Простодушные линейные земледельцы — шли и шли — и растеклись — и потеряли упругость, разрядились их ряды — и потонули в беспределье: не хватило рожаемой Русью массы народу. Так, если река, мощная и упругая в присущем ей русле, будет выведена растекаться на плоскую степь, то заилится, впитается, улегнется — прекратится. Так что та хваленая «БЕЗМЕРНОСТЬ» русско-го человека и души, и бытия, и «бесконечный простор», которым восторгался колдун Гоголь и льстил искушающе Русскому Богатырю, — обернулся грозным утоплением Руси во России.

Недаром еще мудрые эллинские философы (Анаксимандр с его учением об «апейроне» = беспредельном, безмерном, и Аристотель в «Метафизике») толковали «беспредель» — как аморфность, незнание Меры, податливость на количество, величину и массу — в ущерб качеству, структуре и уму. Принцип движения Русскости во Российскость — это Единство, понимаемое как одинаковость, неразличенность. «В единении — сила»; а раз «сила есть = ума не надо» — вот тут стал принцип: давить массой, количеством, «жизней не жалеть»! — как выигрывал сражения Жуков. И это тоже — экстенсивный принцип в воинстве, как и в хозяйстве.

Все это — от самодовольного самохвальства о БОГАТЫРСТВЕ РУССКОМ, в чем подначивали и подзуживали его — уж и не знаю, кто: свои ли, чужие ли доброты, или погибели Руси желающие — в ее растворении на беспредельном лоне России-империи? Чтобы — «душа нараспашку» = на ветер душу, туда силы и слова пускались, бессчетно и щедро-расточительно.

Так вот теперь: надо замкнуть ду-

шу, кафтан застегнуть, пока не вылетела вся прана, — и вобраться в свои пределы и там возродиться и воскреснуть, набрать упругости и качества, и своей меры и формы — и перейти к развитию и жизни в своих берегах, исконно при-сущих = при сути своей, а не в дали от нее; мужиком и мужем бабы своей, а не в вечных солдатах и начальниках... — тоже, кстати, характерное понятие для экстенсивного стиля бытия: начальник — вечно начинает только, но не завершает — и стройки, и проч. Тут — как душа, так и стройка: нараспашку-нараспушку — и народные денежки — на ветер. И тоже принцип «незавершенности», аморфности, что и в романах русских: есть начало — нет конца... (Бахтин восславил уже высокую «незавершенность», открытость — как Духу навстречу, в отличие от замкнутости атома-индивида Запада.)

Итак, хваленый БЕСКОНЕЧНЫЙ ПРОСТОР, по коему манил катиться Гоголь Русь-Тройку (точна интуиция: «Русь» — на раскат по России сблазняется), оказался прорвой-бездной, бочкой Данаид, куда ухнули силы Руси.

Так что сейчас русским патриотам — не величаться величием России и героизмами и воинскими подвигами, но плакаться о том неразумном растекании и саморастрате. Или, точнее: да, это было — и то был жертвенный труд России, но теперь он исполнен, и не в эту сторону далее развиваться, а именно потому, что это сделано и далее в эту сторону погибель, надо назад, на откат в себя вектор развития устремить и цель поставить — не в дали, а в центре, в сердце. Как и другие мировые империи, исполнившие свою цивилизаторскую роль: Священная Римская, Карла Великого, Османская, Британская — потом вбираются и мирно существуют как Италия, Франция, Австрия, Турция, Англия. Так и Русь может — и не стыдно — вернуться к разбитому

корыту, построить тут терем — и не вздыхать о былом величии. Нет, вздыхать можно: петь — «о доблестях, о подвигах, о славе» — минувших времен, как Баян, как Гомер — об эпической эпохе, героический эпос слагая. Но как точно выяснено филологией, героический эпос слагается, когда героические времена прошли — и начинаются прозаические. А те — уходят в легенду, в преданья старины глубокой.

Так и ныне изобильные произведения о воях русских и российских — как раз примета конца этой эпохи. Эпоха отрезвления начаться должна. Понятно: сейчас — шок, страна в ситуации конца эпохи величия и в ощущении себя малой и слабой... Но «сила Божия — в немощи совершается». Полезно ощутить себя слабым и глупым — тому ум и сила подадутся, тогда как при гордыне и кичливости — и последние отымутся. И каждый народ — свой грех да помнит, а не тыкает другому — его грех. Конечно: со стороны чужой грех очевиднее, понятнее — и странно, как ты сам своего не видишь (как своих ушей), когда он мне так яснее (твои уши моим очам) виден!

Ну да: глаза-то у нас так устроены — наружу! Потому и считается, что это труднейшая способность и именно Божий дар:

Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешенья,  
Да брат мой от меня не примет осужденья,  
И дух смирения, терпения, любви  
И целомудрия мне в сердце оживи

— не удержался до конца процитировать эти божественные строки, хотя собирался лишь первые две. Но тут указан также исцелительный вектор: внутрь себя собраться, в сердце — и тогда в тебе **целая мудрость**, и с миром ты и в со-вести. Когда же вектор центробежен (а до сих пор курс истории здесь, как путь Руси во Россию, был таков), тогда очи зрят наружу, чужое хорошо различают, а свое забыли. Теперь же наступает такт — **центростремительности**: к самопознанию призыв

и своей меры уяснение — вот задача.

И тогда встает вопрос о такте времени, о стуке сердца и ритме вдоха-выдоха. Русь — в прострации (вернувшись из пространства — России: очнувшись от соблазна этого и всемирно-исторического себе искушения-привзвания, исполнив его, «долг, завещанный от Бога мне, грешному»). И надо дать очухаться. И как дитяти или выписавшемуся из больницы не задают сразу полную нагрузку, но помалу и пищу, и движения, приучая самого ходить и разуместь, — так и тут предстоит заново классы истории проходить, а не перепрыгивать через необходимые фазы, чем и отличалась русская история доселе: нарушением органики, ускоренным пробеганием — без интенсивного самовызревания стадий, а примеривая чужой кафтан и меру (Петр, пятилетки, «догоним-перегоним!», «ускорение и технический прогресс!»...). Нет — лошадку бы да плуг, но, наконец, на своем куске земли: выращивать «я», самопорность и самость русского человека, вместо вечно вытягивающего его из вертикали вбок — «мы». Самочувствие русского как «мы» — есть околдовывающий зов России, Дали, Смерти сладкой: перестать быть деревом-растением-земледельцем, а сняться со своего дома-порога — и стать ее служивеньким, солдатом, странником, чиновником, начальником — других, но не начальником самого себя, господином самого себя, самодержцем, как англичанин — «самоделанный человек» (self-made man).

Вот и ныне: через «мы» русских взять курс на «я» русского — таков вектор, а не через «мы» русских — на тоже «мы» других стран и народов (как это было доселе — такой тип самосознания господствовал здесь).

Ведь от культа «мы», от слабости личности и неверия в «я» свое и в его здравый смысл и способность суждения, — и такая увлекаемость



русского в чужие идеи и дела, свихнутость с вертикали самостояния твердого — в бок; в неуверенности, застенчивости — он за стенку чужую держаться норовит... Потому и массовому психозу податлив — в мятеже и революции: «коллектив всегда прав» (это еще от «мира» и «схода» и «общины»). То-то без особого труда и отнять единоличную собственность, и в колхозы втянуть удалось. С иными народами — с иной, не «мы-йной», но «я-йной» психологией в человеке,— это бы не прошло: не удалось бы свихнуть — и выдрать с корнем; но тут слабы были вертикальные корешки, не глубоко в свою землю пущены, а все на чужие вдаль озирались...

Так и сбит со своего панталыку быть смог в увлечении самопогибельным здесь коммунизмом (как «чевенгурцы») — ибо тут уж собрались окончательно порешить все вопросы (а Жизнь и есть неразрешаемость проблем — иначе, как только самую жизнь: ее течение и есть нагромождение проблемы на вопрос, как Пелиона на Осу) — и «все как один умрем» — так ласково, обнявшись во любви к товарищу — не к «я», а к «мы»... А «товарищ»-ближний — тоже «родимая сторонка»-человечинка, в отличие от яйной человечинки семьи, что по вертикали рода от меня происходит, как древо жизни. Россия же для Руси — не Древо жизни, а Древо познания добра и зла — во муках и испытаниях. Да, Русь — была рай, Эдем, а потом — грехопадение во Россию совершилось; и в этом зоне бытие тут до сих пор пребывало — но вот, кажется, кончается...

### *Темпоритмы истории*

— о них тут вопрос. Разные они — у каждого народа и страны. А у нас — трагическая какофония шага Времени, присущего на родном, ограниченном, умеренном пространстве

Руси, — и шага Времени, что изыскуется на «бесконечном просторе» России. Тут бы все вдсятеро подольше надо — всем процессам протекать. Подобно тому как такт сердца у мамонта иной, чем у волка, как год вращения Юпитера вокруг Солнца в 12 или более раз дольше года Венеры или Земли. Так и медведю русскому — а ему еще и полгода в берлоге отоспаться зимою, приглушить жизненные процессы ассимиляции-диссимиляции надобно, чтобы выжить нормально. А тут выволокли его из лесу цыгане-коммунисты и на потеху чужим нациям плясать в центре исторической площади заставили — по чужим нотам, чужую музыку исполняя и в игре участвуя. Ясно, что ошалел Мишенька и еле жив...

Так вот: если бы органическим, своим темпоритмом развивалась Русь-Россия, она бы те фазы и формации, что Запад проходил за век, должна бы растянуть на пять веков: феодализм — тысячелетие, капитализм — полтысячелетия... То же и формации в культуре: классицизм, романтизм, реализм...

Но из-за подключения к темпоритму Запада, с Петра особенно,— в хвост и гриву стали погонять конягу Руси-тройки по России: чтобы соответствовал, мерзавец! — на уровне был и в курсе современного и современного в Европе.

В этом смысле Китай и Индия — своим темпоритмом развивались — точнее, жили: тысячелетия... А Россия — на переходе, Евразия: волны-импульсы от Западной Европы ей биения пульса учащенные создавали. Так что история России — задыхания и непереваренность одного, неизжитость — и уже наваливается иное... Несварение исторического желудка... Но это — тоже особый тип и путь и рок — и уникальность, и себе уже присутствие, и «лица не-общье выраженье» обеспечивает среди других стран, исторических це-

лостностей... Но вздыхать — можно: болезненно ведь!

«Хоть у китайцев нам занять Премудрого у них незнания иноземцев!..» — еще Чацкий сокрушался...

Но не так-то просто и механично вышло дело, как я тут пока нарисовал. Дело в том, что с Петра в диалоге Русь — Россия искусственно поначалу создалося третье образование: **дворянская цивилизация**. Она два века особым социумом поверх Космоса России и, впитав диалог Русь — Россия (в спорах также славянофилов-дворян и западников-дворян), существовала и развивалась — примерно как Англия, Франция и Пруссия: медведя сердце волком застучало в том же такте-шаге истории, что и современные страны Европы: у них абсолютизм и классицизм один век, XVII—XVIII, — и у нас; у них романтизм в первой трети XIX века — и у нас; у них символизм и декадентство на рубеже веков — и у нас; у них социализм и рабочее движение в начале XX века — и у нас, да и пуще! Обгоним!..

И вот тут-то историческая ошибка и просчет. Уж раз образовался у нас такой искусственный поначалу, а потом уже и привившийся и саморазвиваться начавший Социум-питомник, оранжерея-теплица цивилизации и культуры, — то беречь надо от ветров и вихрей эту «цветущую сложность» (термин К. Леонтьева), не торопиться ее выносить в грунт на «ветер, ветер и белый снег» и «простор речной волны», — но постепенно просачиваться, все расширяя и окультуривая Россию, что, в общем, и происходило естественным путем и темпом — в конце XIX и в начале XX веков.

А что произошло в революции: социум-семенник (каким была дворянская цивилизация два века) вылились в океан и на пустошь, рассеяли — в азарте равенства, во «вторичном смесительном упрощении» (Леонтьев же). Это как роялем печку топить: дерево ведь тоже, дрова!

Как профессорами рудник на Колыме копать — тоже ведь руки-ноги!..

Быстро — лишь разрушить можно. Что и сделали...

Теперь очухиваемся. Похмелье. Понять надо свою точку и момент — и самоопределиться в исторических координатах, а в зависимости от этого: что делать, какие цели ставить и какими шагами идти?..

Похоже, так: Руси — свиваться, выволакиваться из России, как и всем: сначала сосредоточиться, у сердца остаток сил этносов собрать, снова укорениться-внедриться, чтоб ожили соки и заструились органически. Перестать русским быть исторической Марфой, заботящейся о многом, но стать Марией, выбравшей единое на потребу. А прочее предоставить своей судьбе — иным образованиям на территории России, вовлеченным ранее в общую судьбу...

Но как же мир, технический прогресс, электроника — а ты лошадку рекомендуешь!..

Зуд прожектерский и меня не обошел, и я на днях написал (но пока никуда не послал):

#### КАК ВЫКАРАБКАТЬСЯ?

(Соображения Простодушного, или Простодушные соображения.)

Пустует земля. А и будут раздавать — некому взять, ибо люмпенизирован народ: привык в городах из окошечка получать корм. Как помочь повернуться лицом к земле, полюбить труд на ней — и так возродить крестьянство?

1. Превратить воинскую повинность — в сельскохозяйственную. В нынешнем виде призыв парней 18—20 лет, в самом соку, на 2—3 года отрывая их от учебы, труда, образования, семей и деторождения, — люмпенизирует мужика на корню. Его приучают быть служакай в командной системе, к нравственному цинизму, онанизму и гомосексуализму, к блуду — идет порча. В то же время и в военном деле — не профессионалы: губят технику и неумелы в военных действиях (как в Афганистане и Закавказье: только вредят и гибнут). А большинство используется в стройбатах как трудармия.

Но так как по традиции к призыву в армию относятся в нашем народе как к святыне, то пусть призывают, но приводят не в стройбаты, а на землю. Вот тебе 2—5 га, можешь жениться и семью тут сели. Пожив, многие полюбят осмысленный труд на природе на

себя и продолжают уж крестьянствовать. А то всдъ горожане, не нюхав природы, не знают, как это может быть хорошо. Надо просто привести в соприкосновение — а там и «сама пойдет!» — у многих... Пусть вместо пороху понюхают росу и сенокос.

2. Число кадровых военных сокращается ныне на 500 тыс., а то и на 1 млн. Вместо того, чтобы им простаивать в очередях на квартиру в городах, предложить стать садоводами и огородниками, а кто и фермером станет. И дни свои продлят на природе-воздухе, себя накормят, а, может, и других. Туда же — увольняемых из аппарата власти: пусть им раньше срока дадут пенсию и дачные участки. Народу будет дешевле от них откупиться, чем чтоб руководили-вредили.

3. Беженцы из национальных регионов: Закавказья, Прибалтики, Средней Азии и т.д. Многие туда попали после раскрестьянивания, в ссылку. Когда их вытесняют назад, русские города их принять не в силах. Тоже предложить им осесть на землю — тем более, что города ожидает голод, а на асфальте еда не растет, на земле ж с голоду не помрут. И будет — как отрицание отрицания — такой урок диалектики преподает история XX века. Были крестьянами — стали ссыльными рабочими-горожанами. Теперь высылка снова с чужбины на родину — и на землю...

4. А в качестве минитехники этим хозяйствам — снова разводить лошадей: от подачи бензина не зависит лошадка, мобильна, корм повсюду — в лесах заросших и пустошах, экологически чиста — и удобрение дает. А трактора, если и появятся малые, то сразу зависеть — от всего мира... от цепи разделения труда. Недаром держат лошадей и ослов в личных хозяйствах и в Польше, и в Болгарии: и дешево, и сердито.

5. Насчет национальных республик и СоУ-За. Когда эшелон сошел с рельс и попал в трясиину, легче вытаскивать по вагону, чем пытаться вытаскивать весь состав сразу.

6. Зарубежные фирмы хотят с нами сотрудничать, но нет им помещений для оффисов. А вон Академия общественных наук — новенькое здание возле меня — тысячи помещений! Что им там делать? Учиться, как резолюции писать и нас идеологией морочить? Отдать народу эти помещения, как и многие административные здания: на гостиницы, школы, больницы да квартиры — как селили после революции в усадьбы и особняки.

21.1.90

*Гачев Георгий Дмитриевич, писатель, доктор филологических наук, лауреат премии им. Паисия Хилендарского Болгарской академии наук.*

Да ведь электроника, как и электронный сердце, вживляется кому —

на исходе истории, старцу в помощь. А русский снова дитя и недоросль — и надо снова постепенно классы истории и цивилизации, экономики и психики хозяина проходить. Дважды два усвоить, а не обрушивая высшую математику, чтоб совсем сдурул, ошалевши, и перестал бы верить в свои способности...

## *Умудряюсь Соловьевым — историком*

5 февраля. Вчера, увлекшись думать про Русь-Россию, захотел посмотреть: а у историков как на этот счет? — и взял Соловьева. Конечно: «В русской истории мы замечаем то главное явление, что государство при расширении своих владений занимает обширные пустынные пространства и населяет их, государственная область расширяется преимущественно посредством КОЛОНИЗАЦИЙ; господствующее племя славянское выводит свои поселения все далее и далее в глубь востока. Всем племенам Европы завещано историюю высылать поселения в другие части света, распространять в них христианство и гражданственность; западным европейским племенам суждено совершать это дело морским, восточному племени — славянскому, сухим путем» (Избр. труды. М., 1983, с 28).

Тут важно направление — восток, и способ — сухой: не вступая в трансценденцию Смерти, на палубу риска, атомом-щепкой-индивидом корабля себя чуя, а все — однообразно, все одно и то же, монотонно расширяя то, что уже и есть. Без скачка через пропасть, бездну, иное. Без перерыва постепенности и континуума. И это — ментальность российская традиционная, без перерывов...

А что сухость — так влаги достаточно на родине, в метрополии, где Мать-сыра земля и баба-русалка,

водяная, дома. Так что даль и Россия — манит именно сухостью, воздухом...

Но главное — что колонизация шла не естественным путем: когда размножается население, ему негде уже хозяйствовать — и оно расплзается вширь, на пустошь, или у соседей землю повоевывает (как естественным путем шли расширения границ и войны в Европе Западной), но сверху: самостроительством Государства. И получалось обратное: свое — погружалось в запустение оттого, что сдергивали мужика-хозяина, мужа-отца с земли его — и во солдаты: завоевать новую землю, простор; и льготы давали туда лучше сдвигаться, переселяться (как казакам), а свое забрасывать. Так и шло расширение Руси во Россию: как Тришкин кафтан — латку кладя на новое, сдирая со старого.

И всё от извечной проблемы тут: население, народ — и территория, пространство. Нехватка людей, жизней, рождаемости (нет тут — роково! — Божья благословения, как во иудействе: «Плодитесь и размножайтесь!» — не в почете это и не освящено), но все равно императив: «Служи России!» (не Руси). Русь, которая источно есть имя наРОДа, ляжет костями ради создания СТРАНЫ = проСТРАНства (только в русском языке именно такой корень у «пространства», ведь родима тут сторона-сторонка: мое дело — сторона! — а не здесь, тут, вертикаль...) России.

И до сих пор та же история и ситуация: сдергивают людей из опустошенного Нечерноземья (да и Черноземья) — и бросают на Дальний Восток, колонизовать БАМ, Колыму, Якутию и т.д. И субъект этой колонизации — не самонарождающийся народ (= тела человека, этнос цветущий), но — крыша: кумпол Власти, Само-Державы, интерес Государства и Apparата людей, в нем сжививых...

То есть искусственно политический импульс имела колонизация. Не природный, натуральный. Но — значит: более метафизический, общеземельный, геополитический интерес тут работал. Не физический = природный («фюзис», по-гречески — «природа»), но именно сверхфизический, метафизический, более духовный, идейный, идеальный... Божий как бы, хотя по воле и в интересах Кесаря-царя-власти. И потому народ христианский повиновался — и жертвовал сему Вышнему интересу даже своим крестьянством. Как и при советской власти — подчинился сему же вектору — только в тотальном масштабе... Под корень выдравшись, сдвинулась Русь строить Россию — последним саможертвенным рывком — как уже Союз = со-УЗ: узилище, тюрьму для всех народов. И подчинясь и исполняя пословицу: «от сумы да от тюрьмы не отрекайся», то есть от странничества (что в крови и в строении русского человека — эта тяга впечатлена, встроена, как пружина) и оттого, что «строим мы, строим тюрьму» — в ней осесть... Снявшись с живой оседлости своего крестьянства и домашнего хозяйства с бабой-детушками, — получить оседлость в тюрьме и вечную прописку в вечной мерзлоте ГУЛага...

А чего ради? Чтобы заполнить хоть кем-чем-то пустошь Севера Евразии, посредником стать между Востоком и Западом, растянуться...

У других же стран-народов Европы, Западной, колонизация более натуральными потребностями вызывалась: когда безземельным в Англии или младшим сыновьям в рыцарстве (майората принцип), что без места и без дела, — наниматься и в крестовых походах или в плаваньях участвовать и переселяться... Так и Америку и другие земли в мировом Океане Британия освоила... А потом втянулась в себя — и ничего: живет! Густа традицией и культурой, при себе. Все накапливала, не разруша-

ла, не разметывала...

О, Русь бедная! Все-то ее трясут-перетряхивают. Не дадут век повековать недвижно на том месте и том строе, как уж сложилось, чтобы постепенно обволочь жизненностью землю под собой, полюбить, пустить корни, вертикаль углубить-усилить, чтоб уж и не сдвинуть... Даже «застой» в этом и «стагнация» — были органические состояния: постепенно лишайник обволакивал камень жесткой системы живой влагой «коррупции»-гнили, а она ведь — жизнь и живородна, в отличие от металла-стали пролетаризованной «жизни» и человеков-гвоздей... А тут — перестройка, снова перетрях... Хотя как раз в «застое» «неперспективные деревни» бульдозерами срывали — по понятию начальников сверху.

Все-то упражняется Государство своим рассудочком и прожектками — на бедной земле, бабе русской, и на сыне ее — народонаселении, и так слабом и малом... и уже анемичном и малозрелом...

И вот что же — в свете сих построений насчет Русь-России — как сейчас выходить из пропаданья?..

Сначала я простодушно склонялся к такой схеме: раз не прошли начальных классов истории и экономики — то их все равно надо будет, хоть и стужено, пройти, чтобы не вершки хватать новейшего и класть на неподготовленную и не способную понять субстанцию (как не поймут дроби до таблицы умножения), но пласт на пласт чтобы ложился, культурный слой создавая — и в стране, и в истории, и в психике... И потому — дать свои 5 десятин иль 20, лошадь, осесть с бабой-семьей, хутора и деревни чтоб естественно сложились, а там видно будет...

Тут сразу — возражения: абсурд! Утопия! Смотрите вокруг! Весь мир не на лошади и примитивно, а с техникой и крупными хозяйствами. То же и в городе — индустрия, а не ремесла-мастерские малые!..

На то мне подходящий аргументец тот же Соловьев припас: в XVI веке на Руси вводят крепостное право, припиливают крестьянина к земле (= усиливают вертикаль, содействуют ей сверху: приказом, пригнетом, придавливанием, а не натурально: из охоты земледельца пахать-гребать свою бабу-землю — из вертикали ее лона пахучего и плодородного — возжжения и вожделения).

«Долго иностранцы, а за ними и русские, изумлялись и глумились над этим явлением: как это случилось, что в то самое время, как в Западной Европе крепостное право исчезло, в России оно вводилось? Теперь наука показывает нам ясно, как это случилось: в Западной Европе, благодаря ее выгодному положению, усилилась промышленная и торговая деятельность, односторонность в экономической жизни, господство недвижимой собственности, земли исчезли (а у нас государственная собственность на землю, без платы ренты за нее этим же государством и без права продажи = движения — относительного: не землю передвинуть, а человека иного к ней передвинуть, что, по теории относительности, — то же самое. — Г.Г.), подле них явилась собственность движимая, деньги, увеличилось народонаселение, разбогател город и освободил село (от избытка человек, а у нас — нехватка вечная.—Г.Г.); а на востоке образовалось государство при самых невыгодных условиях, с громадною областью и малым народонаселением, нуждающееся в большом войске, заставляемое быть военным, хотя вовсе не воинственное, вовсе без завоевательных стремлений, имеющее в виду только постоянную защиту своей независимости (так что синдром «капиталистического окружения», что за границей — враг не дремлет! — исконен во Руси на ее пути в Россию.— Г.Г.) и свободы своего народонаселения,



государство бедное, земледельческое, и как только отношения в нем между частями народонаселения начали определяться по главным потребностям народной и государственной жизни (два субъекта-мужика на бабе-России: Народ и Государство.— Г.Г.), то оно и представило известное в подобных государствах явление: вооруженная часть народонаселения кормится непосредственно за счет невооруженной, владеет землей, на которой невооруженный человек является крепостным работником». (с. 56).

То же и при советской власти: бесправный «колхозник», что даже паспорта не имел и переселиться не мог, — кормил и кормит Государство, что одно имеет собственность на землю этого же крестьянина и повелевает, как и когда пахать-гребать бабу-землю. Так что даже в «семейной», интимной своей жизни-близости с землею-женою, наш «хлебороб» на виду и сожительствовае в блюде с нею — деля ее с начальством: как «право первой ночи» было у феодального сеньора, так и нынешний Райком или Агропром лезет между мною и бабой моей.

Но уже в уме моем нарастает раздражение и возражение моим же выкладкам: что же ты предлагаешь? Руси оттянуться из России (Союза ССР)? Она всю свою силу и прану положила на создание этого исторического тела, а теперь отсоединиться, отдать в воздух и ничего с этого не иметь — дивидендов хоть каких? Теперь пусть созданная Россия (Союз) помогает подвскреснуть Руси!

Но ведь воскресать тут надо не чему-то внешнему, а почве, субстанции, земле родной и семье-союзу своего мужика с нею. Так что в этом деле (а оно — интимное) чужая «помощь» — только вред да сглаз: чужеродный элемент снова внесет — и как раз и повредит восстановлению русской субстанции.

А материальная помощь и об-

мен — это да, возможно... Но пока-то все наоборот было: из Руси сожили-силы тянули, как и сейчас молодых парней, семенники родные, на усмирение окраин — все та же служба по «заставе богатырской», что обрыдла уж и не нужна...

Как раз по радио сегодня разговор со Стародубцевым — сильным и знаменитым председателем колхоза. Против ферм и аренд: все расстроят...

И подумал: а вроде ведь верно: робинзоном дико русскому быть. Привык — в общине, на деревне парнем быть: тут жизнь и мир, и сход и помощь, так что и грусть-тоска, и грязь веселее сносятся. Не индивидуалист по психике русский. И это — тоже природой объяснимо: в лесах да болотах в одиночку не выжить, не пройти, утопишь: руку подать и гатить надо... Сообща это... (А финны как?)

Индивидуализм — это сила оттачивания, и она — как раз от соседства плотного нарастает среди природы благоприятной, где справиться можешь сам с семьей. Так что индивидуальный хозяин — на Западе и юге Европы естественен. Или где работяга очень энергичный — и сам силен: переселенцы в США, хозяева хуторов на Севере Европы...

Но русские — жмутся («жмудь») и не имеют азарта к труду-работе и прибыли = ПРИ-бытию. Тут скорее КОСМОС ОТ-бытия, У-бытия: уход, рассеяние. (Кстати, Болгарство — Космос прихода: сюда пришли тюрки-болгары, осели, влились в тутошнюю чашу, где уже сжились славяне с фракийцами — и образуют сок болгарина в века... А Русь — космос ухода: с порога, на кануне...)

Вдруг Федоров Николай по-новому прояснился! Объединение людей вокруг кладбища предков, чужая себя их потомками, на дело воскресения, вникая в прах отцов, — да это же Дух Вертикали: призыв сосредото-

читься на родном, отчем месте — т.е. Русь, а не Россия — его пафос. Россия — Кесарева идея ВЕЛИЧИЯ любой ценой: и жизнью, и природой. И — строгиваться с места — и нести! Это со стороны, эстетически на Русь глядящие — чужекровцы, как Гоголь и Блок, — могли этому умиляться: «Летит, летит степная кобылица и мнет ковыль!..»

Но родные на Руси и более метафизически коренные, как Лермонтов («Родина», «Когда волнуется...»), чувствуют движение и странничество — как тяжкий рок и увод — изгнание («Тучки...»). И Пушкин: «Телега жизни», «Долго ль мне...», «Нужна хозяйка да щей горшок, да сам большой...».

Да, двойка метафизическое призвание русского человека понимается: горизонтально — Россию создать, стоять между Востоком и Западом (Чаадаев, Данилевский, Блок) — и вертикально: дух правой веры и жизни крепить (Хомяков), на месте стоя (быть Русью), народ-богоносец (Достоевский), отчасти Тютчев.

Всю тебя, земля родная,  
В рабском виде Царь Небесный  
Исходил, благословляя.

Он ходил, а не она, Русь, она же — на месте лежала. И, наконец, Федоров: воскрешение предков из праха. И Соловьев: теократия — на месте и ввысь, а не распространяться.

Хотя у всех — и с горизонталью сочетается: и Тютчев (быть России оплотом против Революции в Европе — политика). А и Федоров: полеты в Космос и расселение (Циолковский развил), и Соловьев — «панмонголизм»; евразийская идея и т.д.

Как будто так это мало — самой спастись (и откуда? Лишь веянье возможного благообразия дается), а уж мечтает с благою вестью идти в мир и всех спасать! Туда же и Мирная Революция, и Копенкин в «Чевенгуре», и «Гренада» Светлова и т.д.

Вот Толстой центростремителен:

осесть, дом-семья, Ясная Поляна, пахать поле и тачать сапоги. Кстати, тоже — при уже чудесах европейской техники и агрономии — не стыдился за первичное ратовать: за лошадку и свое ремесло, домашний промысел.

Достоевский — тот уже шальной: Наполеон или вошь? Рим и Мы, Великий инквизитор — на вселенское дело замахивается... А Толстой — внутрь себя, как бы в Русь вернуться, укорениться...

Ну да: Достоевский — надземность! А надземная духовность по вертикали: земля-небо — легко перекашивается здесь в социальную горизонталь: «призвание России», «народ-богоносец» — Христофор, значит: идет и несет (не сидит на месте); глядит-озирает чужое (Запад, Рим и атеизм, как там поляк и еврей, католик и лютеранин; Хомяков еще при этом, который тоже имперск, — стихотворение «Орел»: Россия — единитель славянства и оплот) — и судит, и самопохваляется...

Подходящ Достоевский-горожанин нынешним люмпенам, что землю не знают и на нее не сядут, а хотят спасти Россию во градах и на площадях, очищая от чуждого элемента...

Смешно: страна — пустошь ненаселенная — и изгонять работающих тут пришельцев: немцев, татар, евреев, армян, — что во всех странах слой вторичного производства: торговли, городских ремесел и умных умений — осуществляли.

Тянет ещё почитать Соловьева — историка; обольщения его сына, философа, — читал... Ни земли, ни космоса-природы тутошней не чувствовал он; и Бердяев тоже, пища «Русскую идею»: все — историософы: из абстрактных различий идей и вер исходили или из горизонтали геополитической (Евразия).

А Толстой — вертикаль снизу: Эрос земли и ее власть — пусть и «тьмы» (но «матьмы») чуял.

И недаром истории здесь пишут

«Историю ГОСУДАРСТВА Российского» — оно тут определенный субъект и деятель. А Россия — понятие неясное, еще тогда не сложилась, не вошла в берега...

Итак, вот социумы на этом пространстве: Русь — начало, Россия — цель. Агенты ее строительства: Го-

сударство и Дворянская цивилизация — как Земля на Юпитере (или, точнее: на аморфном Хаосе, что строится в Космос).

Союз ССР — это уже Сверх-Россия: надстройка барочная на ней, с излишествами архитектурными...



# ЧЕТЫРЕ ФИЛОСОФА

## *Осваиваюсь в Переделкине*

22 февраля. Ухнул машиночку на последнем перегоне. Боюсь: не испортил ли чего? В дверях дома творчества выпала из слабых моих пальцев. И стук ее какой-то жесткий стал. Но — Бог даст — поработаем. А пока — проветриться прогулкой — от треволнений переезда.

А впрочем: зачем гулять? Там — люди; человек спросит чего, влезет в мир твой. Вон М. П. в холле — здороваётся, призывает и говорит: «Блестящая идея мне пришла», — что-то пишет и хочет поделиться. Но я увиливаю: «Только приехал!» — говорю...

И все же поклонимся — местности, деревьям!

12 часов. Прошелся — вник в космос: деревья, качаясь, поклонились-приветили. Пересняли с меня часть недугов: на лапы милые своих ветвей мягко их положили — и ветру передали.

Снова оттепель: словно для того снегу навалило в прошлую неделю, чтобы ныне потоп пошел. Звук слякотный: капельный, не отличишь от воробьино-птичьих пощebetыванья.

Укрощает. Но эта серость не дает воспарения — не то что белизна снега, которая, как космодром во Святой Дух. А именно этого я желал, мечтал тут причаститься: вознестись в эмпирей идей, сухой, — в климат Бытия, а не Жизни. А сырь и слякоть — климат даже не Жизни, а Болезни: перемагает переходность Космос. Все ползет, ясных форм нет,

а расплзается субстанция: из-под кожи, снега — кишки-мяса слизистых тканей и оболочек земли, сырой матери-и.

Вместо очарования и полетов — пригнетель: в тихую мягкость сосредоточения направляет — от восхищений и полетов во вне...

Но колонны, ели, шум ветра и сырой воз-дух: им горячность мою остудить, городского завода еще, — даже лучше это, наверное, чем коли б «мороз и солнце — день чудесный!» — он вытянул бы на восторг, на Икарий полет — и погибель, разрыв сердца от свершил.

А так — немощь свою чую, свиваюсь, зависимость от подачи влаги — как водяной рубашки моему разгоряченному радиатору — воспризнаю и кротость упражняю.

Нет, подходящая комнатенка мне досталась на сей раз. Расположена хорошо: в торце, что на лес выходит, далее всего от люда и подъезда; вид — лишь на деревья сквозь две колонны, как у флигеля барской усадьбы. Горенка-светлица — маленькая правда. Но я и сам не большой.

И возвышено: второй этаж.

А сторона тут южная; вот и солнышко прорезалось и подало улыбку миру — и из меня ее извлекло.

Вон уже серебристые лучики птичьих голосков: точат горлышки о солнечные лучики.

Какое царство — иное, чем Город! Живые времена года — тут, на Природе: медитация внимательного сожития с каждым сезоном и с оттенком его — как совершенным в своем роде; и этот «свой род» каждого дня и мгновения — чтить научаешься. На то Пришвин был мастер, убежав из гнуса помещений социума — в чистое пространство и в его святость.

А и тонкие штрихи голубых теней от елей на снегу бугристом.

Не хочется и возвращаться мыслию ко вчера-дню во граде и груз

тогда-тамо-ших уразумений с себя скинуть. Но — надо.

Вчера — как крот, мотался по граду, последние дела доводя.

...Уже и расчихался — хорошо: тоже прочистка каналов и клапанов — в натуре моей, как и в натуре снаружи.

Да, зри и чуй себя микронатурой: что в ней — то и в тебе. Лабораторией Натуры. Духовной: где она в мысль и слово переходит.

Откинулся. Лег. Имею право — плашмя заземлиться.

Ну, надо мирно разложить вещи: заселить комнату — собою.

...А Пастернак мог бы тут долго жить — лет до 90: вон какой у него крепкий вид на снимке еще 1957 года. Но рак вогнали в него...

Хочется объясняться жестами. Вон в коридоре женщина толкается в комнату напротив с криком: «Можно спичечку?» Я выхожу — и палец к губам, вместо слов укора. Она: «Простите» — и замолкла. Я снова — к себе.

И так ужасно предстоит: столкнуться с человеком — и с ним говорить! А нет — так обидится. Особенно «хорошие знакомые»... А тут хочется целомудрия набраться — у природы: от ее органики и красоты — и правды. От ее настоящести.

Да, в доме писателей — тишина б и молчанье да царили. Так остро проституция словом и в мире Слова — тут, на природе, воспринимается.

А то вон бодренький, веселенький Л. в белых штанах — тебя просто-душно подстерегает на умное гуляние с говорением. Побегу-ка сам! Но надо сперва, как между рифами, — между людьми проплыть-проюлить, не ободрав бока грубым оталкиваньем, а шутя извиться и ускользнуть...

4 ч. Ну и влип! Прихожу на обед, а сосед мой за столом справа — «деревенщик» Л... Я, было, — про нейтрал: про его места, что он описывал, расспрашивать; но он скоро:

— Зря Вы этого Даниэля защищали!..<sup>1</sup>

— Не Даниэля, а Синявского. (Это он, конечно, нарочно так «спугал»: Даниэль — более жидовская фамилия.)

— И не искренни были. Как это можно защищать — пасквиль на Пушкина?

Пришлось рассказывать, объяснять; еще и друг его пришел лютый-молодой. Развозмущали дух мой — и не мог после обеда дремануть. Пересяду от них — решат: сдрейфил, сбежал. А тут подошел другой Л. — к себе зовет садиться; но тоже не надо. О, где бы меня не знали, чужие люди!.. Или вон к дамам, где Жуховицкий сидел: уезжает, дамский угодник-любитель Вечно Женского, как и я...

Но после этих страстей («И всюду страсти роковые, и от судеб защиты нет!») даже не хочется «Русскую идею» Бердяева читать (как намеревался), да и его самого — слишком политичен. Хочется в самую философскую даль от сей жизни дикосветной удрать. Даже не в Бога, но в абстракции чисто философские забраться. Или «Опыт эсхатологической метафизики» восчитать Бердяева; или Франка — но не «С нами Бог», а «Непостижимое»: что это такое? Беру — и читаю.

Так на пользу обратить попробую земно-странно-политический укол: чтоб наиподальше от политического и человеческого — улететь: в чистейший эмпирей Духа.

8 вечера. Ну — и все ко благу устроится. Во-первых, читал я с четырех часов «Непостижимое» Франка — упоение, как классическую симфонию!.. Именно: как Прокофьев в стиле Гайдна, так и Франк — в стиле Канта, но поизящнее, похудожественнее.

60 страниц прочел — как все ясно

<sup>1</sup> Это по телевизору в программе «Весы» недавно у нас с В. Гусевым был диалог по поводу «Прогулок с Пушкиным» Синявского.



и внятно сердцу и уму: свое родное тут высветляется, выговаривается. И так душу прояснил: в некую *Sérénité* — безмятежность ее вынес. И в этом состоянии пошел попозже на ужин, чтобы разойтись во времени с воинственными соседями. Л., верно, уже поужинал — и сидел у телевизора. А другой, молодой, еще ел — и так мило улыбнулся: «Вы простите, что мы на Вас так накинулись», — и пошел живой мягкий разговор — с почтением друг ко другу.

Тут другой Л. подошел и на ухо мне: «Переходи к нам за стол — они замучают тебя с Синявским». Я отмахнулся: «Посмотрим». И даже с ними мне легче, чем излияниям Л. себя, как лоханку подставлять.

Продолжу чтение: погружение в родной Град Духа.

23 февраля. Как выспался — прозрачно: существо мое наутро ясное, благое. Так в Москве, среди бетона, — не станет. И лег по-своему: в начале первого. А дома — в полвторого лишь: по ларисиному ритму корежишься.

Вечером был дождь и темень.

Н. Н. попросила проводить ее — довел; предложила: «Не зайдете?» — «Да нет», — зачем мне еще впечатления получать: чужой дом, его тщеславный интерьер — и проч.? Хранение Духа, покоя души — моя сейчас забота. А и утром за столом уже мне бодро-весело. Сосед еще один — молдавский литературовед Рыбак спрашивает о болгарях. Как делятся с македонцами: слышал, будто Живков готов был принять Македонию в состав Болгарии от Тито, но лишь бы писались «болгарами». И как Вапцарова делят: «Расстреляли же его в Софии!» — говорят болгары, хотя его за своего; а те: «Вот единственное, что могли сделать болгары: его расстрелять у себя», — отвечают македонцы.

— О, боги смеются, — говорю я ему, — глядя, как люди тут кудахчут: к какому курятнику петуха отнести? Дурно говорит это об интеллектуальных способностях «гомо сапиенса».

Тут как раз Л. пришел завтракать, пожелал: «Приятного аппетита»; я: «Пойдем потрудимся!» — сказал и пошел.





## ФРАНК

Однако надо приступать к писанию о философах, для чего и приехал сюда. Вчера погрузился целительно в чтение «Непостижимого» Франка — почти 100 страниц прочел легко: родные проблемы и язык. Но, подустав, взял «Сборник памяти Семена Людвиговича Франка» (1954) — и узнал, что он — еврей. А я-то думал: немец, лютеранин... Несмотря на это меня, жидоболгарина, резануло, антисемитскую во мне, «полужидке», жилку задело... А я уж и модель для него внутреннюю предварительно построил: как вот немцы — и Даль, и Франк — в Русском Духе трудятся; а Франк — как Кант новый...

Ну что ж: переключимся — создадим новую схему: иудей, уверовавший во Христа, Савл-Павел, Иосиф Аримафейский... В философии

Франк — аналог Пастернаку в поэзии: такая же просвещенная среда и семья; и теплота-жар семейного гнезда, и теплота сердечная. И если тот в Природе и Слове России, то этот — в Духе и Уме России сотворец. И от обоих сюда — прививка Жизни, как внутренней, из Человека, кто есть связь и мост между миром объектов и Богом. Но у Франка это — минуя Природу и Пространство-Время, тогда как Пастернак — вурдалак на Пространство Русское, захлебывается от восхищения-вожделения к сему Космосу белоснежному. И вампир на Время: «Какое, милые, у нас тысячелетье на дворе?» И «столетья поплывут из темноты...»

Конечно, Франк (как философ-библиофил Соболев Альберт Васильевич, снабдивший меня книгами, позавчера говорил) — губка: всевосприимчив и мягок, кругозор широк на вняtie притока идей и с боков, тогда как первотворец вперед-манякален в одно направление и долбаet туда свой философский миф. Потому у него так плавно и приятно излагается все, и благоуханна его книга «С нами Бог». У курицы, как опыты показали, узок кругозор-полукруг зрения: нет бокового видения; когда поставили перед нею небольшую стенку, открытую с боков, она все билась вперед и, не видя открытости справа и слева, не догадалась обойти. Так и вперед вперенный первотворец...

Однако уже нащупываю его, Франка, специфический нерв и предмет дум в философии: Бытие, его толща; и это — Бог как «Сый»<sup>1</sup>: Он с нами — и нас всепронизывает, но не видим предметно (как нельзя во иудаизме и исламе, арабо-семитском же, изображать Бога); но Он — как Жизнь («Бог Живой») и Дух — не всеОБЪЕМлет (как это странно-мыслящим людям во

<sup>1</sup> «Аз есмь Сый» (слав.) = «Я Сущий» — откровение Бога Моисею.

своих национальных космосах-странах пристало мыслить), но все-проПИтывает изнутри твое существо, человека, — так что там Он, внутрь нас царствие небесное: Небо — в Психее.

Русской же ментальности естественно хотеть ВИДЕТЬ Бога, ибо взгляд здесь притянут к божественности пространства снаружи и к красотам там: небо, снег, лес, даль, рябина, звезды. И вот — иконы в русских храмах — чудотворные, как и вся природа вокруг, — чудо Творения. Тут есть что видеть. Еврейству же в диаспоре, среди чужих, естественно взор отводить извне, от мало приветного им и чужого, — внутрь себя, где содержится-переносится, как в скинии, Бог завета в своем избранном народе — «Эммануэль» = «Бог с нами!» — так что, вникая в бесконечность толщи нутри своей, можно там Его открывать, питающего Жизнью.

То-то и глаз еврея — близорук, не дальнорук (как зрение русского и горца-грузина, что в прекрасных космосах обитают), но испорчен чтением Торы в хедере и в синагоге темной. Зато взамен силы внешнего ВОЗрения ввысь — мощь внутреннего «зрения», пронциания-обличения вещей невидимых, талант веры и мистики: по-н-имать то, что есть, реально, но не наглядно, а — сердечно, что «темно» для внешнего ока, но ослепительно ярко — для живущего и думающего над таинством бытия.

И в этом аспекте прививка еврейского жизнечувствия и миропонимания к Русскому Космо-Логосу — плодотворна для обретения им, распростертым слишком вширь и вдаль по прекрасной поверхности необъятной страны, — сосредоточения внутрь в сердце, в глубь и тишь, в толщу и вертикаль вниз: для большего укоренения — народа и человека, слишком легколетучего, съемного в путь-дорогу, вдаль, отсель и прочь. А философ-иудей Франк

сильнейше развивает главную философскую интуицию: «ВСЕ БЫТИЕ ЗДЕСЬ И ТЕПЕРЬ ЕСТЬ», так что и не надо бежать в даль куда-то ко внешним знакам-объектам, а сиди и привейся, где сидишь, — и тут тебе всё и бездонность дела и смысла. И это — смирение и кротость, небунтарство, тогда как русский вечный порыв — в даль, с порога и берега, чуя себя лишь накануне, а не в вечности и истине; это значит, что в психее вихрится мятель и гонит на мятеж...

И тут тоже сходство и различие. Еврейство тоже странничает по миру, но не по своей воле, а гонимое, выталькиваемое странами, народами, где вселяется. Русский человек — странник тоже, но как бы по внутреннему заводу, по неприкаянности-безместности, невертикальности, хотя мог бы: ничто вроде бы не мешало вбить ствол и пустить корень...

То же самое: усиление чувства и ценности Жизни, что еврейство во руссийство добавляет («быть живым и только, до конца», «Доктор ЖИВАГО» — именно!) — это как лекарство и витамин самосохранения русскому народу, склонному легко жертвовать жизнью — даже за путяки и кажмости и обольщения идеалов («все, как один, умрем — в борьбе за ЭТО!») и готовому жизней не жалеть в боях...

И опасное освящение этого влечения русских к Небытию (от Жизни к Смерти — своей и чужой) развито в философии Бердяева: что русский Дух и Идея — эсхатологичны и апокалиптичны в заводе своем и энтелехии. И это — красиво!

Это — и так, но и сяк. Бердяеву угодно эту сторону русского Логоса развивать-акцентировать. Но недаром ему в pendant (в дополнение-поправку) Господь тут же подослал Франка, что тоже на прекрасном русском языке разовеет пафос и красоту Жизни — как Богослужения, и скажет, что в жизни —

все есть причастие. «Ощущение пронизанности Богом всего нашего бытия, всего нашего существования, — вспоминал о Франке его брат Л. В. Зак, — никогда не покидало его. Раз как-то мы говорили с С(еменом) Л(юдвиговичем) о церковном таинстве евхаристии, и С. Л. сказал: «В сущности, все в жизни есть причастие». Часто повторял он эти слова» (Сборник, с. 21)...

Но это означает всепронизанность Бытия Богом — в том числе и мира феноменального, объектов, того кусочка, что мы «знаем». «Мир в его феноменологической сущности не был для него непроницаемым покровом, заброшенным на то «НЕПОСТИЖИМОЕ», которому он посвятил целую книгу, но, наоборот, казался ему достаточно прозрачным, чтобы, не отбрасывая его (как Тютчев в стихотворении «День и Ночь»: «День — сей блистательный покров», что заброшен «на мир таинственный дух»... — Г. Г.), прозревать в нем и через него истинную реальность».

Тютчев эту же проблему чуял (и недаром Франк им занимался, любил и писал), но Тютчев ужасался этой бездне — и влекся к ней, погибельной, не живительной, эсхатологически — к «Последнему катаклизму». Чуя эту бездну:

О, бурь заснувших не буди:  
Под ними хаос шевелится, —

он пел «про древний хаос, про родимый»...

Но Франк, иудей и платоник, как Филон Александрийский, синтезировавший эллинизм с иудаизмом, — эту бездну чуял радостной, питающей: не Хаосом, а Богом (хотя и не «Космосом», который есть внешний, упорядоченный мир объектов рационального, дневно-научного знания, «действительность»). И недаром его философские любви — это и Николай Кузанский (германец-платоник, развивавший сократову идею «Ученого незнания», которую

и разрабатывал Франк в «Непостижимом»), но и Спиноза, согласно которому Бог — это Субстанция (то есть толща и «подставка» и «основа»; то германская идея: «основа в Боге» — у Шеллинга в «Философских исследованиях о сущности человеческой свободы» она развита), откуда и пошло чуть ли не отождествление Бога с Природой, чем прониклись и Гёте, и Шеллинг, и Маркс, и подкрепился одухотворенный материализм — как «пантеизм». Франк предлагает — «панЭНтеизм» = «всеСУЩЕбогость», то есть: что всякая вещь и идея годятся как причастие к Божественной сущности, суть «облатка», плоть и кровь Бога. Откуда и благоговение ко всему бытию и всякому существу; восхищенный разум это внимает — и его в себе упражнять надо, а не судящий рас-СУД-ок, мирской, суд людской — в познании и науке, в политике и проч.

Так что если в Тютчеве, в русском, Хаос и «дионисийство», страсть и смерть — влекущи под легким покровом дня и мира феноменов и объектов, то для Франка, иудей-платоника в русском Логосе, даже толща и бездна, низ бытия — «аполлоновым» началом блага и света пропитаны, туда опущены. И нет зла-тьмы во Боге. Свет есть поддон нашей тьмы мира сего (что «во зле лежит») и ужасов истории рода человеческого. Такова, полагаю, будет идея его книги «Свет во тьме»<sup>1</sup>, что еще не читал, но лежит у меня на очереди.

Да, это важнейшие и тонкие моменты — прибавки к русскому Логосу, к мироощущению и пониманию, что привносят труженики в Русском Духе — иудей по этносу. Еще тогда и Шестов, и Гершензон... Что Жизнь — пусть и непонятна нашим аппаратом рациональным, но оттого не хуже наших идей-понятий, а умопомрачительнее, всеосмысленнее. И ум

<sup>1</sup> Посложнее будет — трагичнее. — 10.3.90.

теряется и не видит — от Всесвета, как он не может глядеть на солнце.

Русский же Логос из факта непонятности Жизни:

Я повясть тебя хочу,  
смысла я в тебе ищу.

(Пушкин)

— измучась, усталый скоро, делает вывод:

Скорее жизнь свою в заботах истощи,  
Разлей отравленный напиток!

(Лермонтов).

Или:

Жизнь моя, иль ты приснилась мне?

И:

В этой жизни умирать не ново,  
Но и жить, конечно, не новей

(Есенин).

— то есть почему-то обожествляя некое «НОВОЕ», влекущее, как Даль и Идеал, — прочь от Жизни. Идеал ценнее Жизни самой, отчего и позволили себе умирать и убивать ради Идеи — Революции и «чистоты» коммунизма («Чевенгур» Платонова и сталинский ГУЛаг). То есть допущено с легкостью: «Убей!» А подспудным оправданием сему как бы служило новозаветное «мир во зле лежит» и «плоть и кровь не наследуют царствия небесного», и согласие на распятие и боль, на страдание и смерть — ради воскресения и вознесения грядущего. То есть влечение к концу, святость конца — «эсхатологизм»: скорее приблизить последние времена, когда все мучение жизни и истории окончится и всё разрешится, все мысли (что мучило героев Достоевского: «мысль разрешить» — ценою даже жизни, старушки или своей, — готовно на это идет русский дух...).

В этом смысле еврейство просвещенное снова у нас первый Декалог («десять заповедей» Моисеевых) возрождает в значимости и ценности — после «декалога» заповедей блаженства Иисусовых. Ведь и Им сказано, что не в отмену закона, а во исполнение Он пришел и его Завет; так что Ветхий завет — именно субстанция и Бог-Отец Нового, а не то, чтобы Новый отменил Ветхий — на-

подобие Эдипа, что убивает отца своего.

И это очень важная в русском Логосе работа: восмыслить в его духовно-божественной ценности — Ветхий завет и его заповеди, что не отменены же, а входят в Библию, в Священное писание и христианство. Потому что у нас очень склонны поторопиться объявить себя все превзошедшими и всех обогнавшими: как мы склонны были льстить себе, что в нашем «социализме» разрешили все проблемы, над чем билась «предыстория человечества», и высокомерно посматривали на «гниющий» Запад и капитализм, — подобно тому ведь самодустили мы еще в начатке нашего христианства — в проповеди митрополита Илариона (XI век) «О законе и благодати»: что нам закон не писан и не нужен, раз мы уверовали во Христа и живем уже по благодати!..

Грешны этим и славянофилы XIX века: что наше православие и соборность делают нам не нужными ни закон, ни юридическое правосознание, ни гражданское общество, а возлюбим товарища — обнимемся — и спасемся (что и осуществлено в самоубийственном коммунизме «Чевенгура»).

Анализ же Франком бездны-толщи НЕПОСТИЖИМОГО явил Любовь и Благодать и в Законе самом, как окутанность островков заповедей закона — океаном Жизни БogoБытия.

А в России это важнейшее для воспитания нации уразумение: начать чтить закон:

Свободною душою закон боготворить!

— Именно! Как точно Пушкин понял в «Деревне» свою и нашу задачу: не самопохваляться-фанфаронить перед Западом, что мы-де превзошли мерки Закона и норм гражданского общества, демократии и парламента, — но пройти эту пригиготительную школу, чтобы внять Благодать, стать ее достойными.



А то и в фольклоре русском — на суде задается вопрос: «Как тебя судить: по закону али по сердцу (чувству, благодати)?» И подсудный предпочитает: «Суди по благодати».

Однако и это недаром: значит, какой-то нерв и тембр устройства все-Бытия наиболее русскими чувствуется, и недаром они так привержены каким-то странным, на сторонний взгляд других народов, убеждениям... Как вот и те, что я выше назвал: слабость чувства Жизни, влечение к «последним временам», к последним вопросам...

И тут тоже разница: в то время как НАЧАЛЬСТВО у нас — Логос Кесарева уровня, Государства, склонен к НАЧАЛАМ = «принципам», «не поступаться принципами», — душа человека тут, народа, влечется к КОНЦАМ — целям, смыслам, к «последним вопросам»: тут простор открытый для устремлений; и не ставят точку ни писатели-художники в конце своих произведений (не завершены русские классические шедевры: «Евгений Онегин», «Мертвые души», «Братья Карамазовы»), а и русский мыслитель Бахтин обосновывал НЕЗАВЕРШЕННОСТЬ мира, бытия и понятия — как ценность.

Кстати, принцип длящегося Творения — и у Франка, вослед за Спинозой и арабом Аверроэсом (кажется) гласит: что поддержание мира Богом, его содержание равносильно в каждый миг возобновляющемуся акту Творения. «Семен Людвигович неоднократно высказывал мысль, что Создатель подобен художнику, творение которого не получается совершенным сразу, а требует все время новых и новых поправок. Творение оказывает как бы сопротивление Творцу» (Сб., с. 23).

Но эти «поправки к Творению» сопряжены с вопросом о зле, страдании и боли в Божьем мире: «С.Л. всю жизнь страдал невозможностью найти объяснение присутствию зла в мире и оправдать страдания, которые оно вызывает. Ортодоксальное объ-

яснение первородным грехом не удовлетворяло его, а с другой стороны, он, как Достоевский, не мог согласиться с теми, кто пытается обосновать присутствие зла и страданий в мире необходимостью их для некоей высшей гармонии мироздания. Часто он приводил слова Достоевского о слезах невинного ребенка, которыми он не соглашался оплачивать эту так называемую гармонию».

О, это великая проблема — ТЕОДИЦЕИ: оправдания Бога за наличие зла в мире. Если Он его допустил — Он не всеблаг. Если хотел не допустить, но не мог, — то не всемогущ, бессилен. Если Его во зле нет — то не вездесущ, и часть бытия — не Его творение, и не Господь Он надо всем...

Такие тут загвоздки для рассуждающего разума и чувства человека.

Один из вариантов решения — идея о продолжающемся Творении и поправках к нему. «Но мне казалось, что сам Семен Людвигович, высказывая эту мысль, не был вполне в ней уверен, не был уверен в предельной ее убедительности, и — как знать? — может быть, эти ночные страдания, пережитые как божественная литургия, дали ему тот не подлежащий словесному анализу ответ, который С.Л. искал всю жизнь» (с. 23).

Речь идет о том, как внимательно он шел к концу, умирая последние восемь месяцев жизни — в болях и страданиях. Но прежде чем вникнем в его опыт, поставим проблему.

Наш век и опыт отличен от предыдущих исторических — массовым мученичеством человек: пытки, казни, лагеря, изуверство, изошренность вымогательства признаний из бедной плоти, муча ее, так научно пытая, что даже высочайший дух и смельчак и герой в миру — тут сламыдался и визжал, как поросенок, и выдавал и подписывал, чего добивались. То есть дух и разум не выдерживали — и материя и плоть в адском оскале торжествовали над духом и свою всереальность утверждали, так

что не «хомо» ты «сапиенс», а мешок с дерьмом, требуха.

И научает ли чему этот исторический опыт Ум человечества, научителен ли он и для философии?

Такового опыта не знали наши четьре профессора (кроме отчасти А. Ф. Лосева), за промышление которых я взялся. Они еще — чада гуманитарного XIX века, и для них боль и зло — в антиномиях Ивана Карамова; они — проблемы ума (о слезинке младенца и проч.), а даже не опыт «Мертвого дома», который имел сам Достоевский. Так что рассуждали они о ТРАГЕДИИ СУЩЕСТВОВАНИЯ — в этом смысле — понаслышке, а не опытно: для них на стороне прошел этот ад и вихрь, а сами уютно в кабинетах о нем размышляли.

Для нас же — Шаламов и Солженицын: физиология пыток, мучничества и истязаний и издевательства; реальный ад — наш опыт. Правда, Шаламов где-то сказал, что ничему не учит этот опыт в смысле обогащения Духа, а понижает человека и сламывает.

И все же — кто в лагере выдерживал и ЭТО? Только крепко верующие люди: держа перед оком души распятого Христа, это можно было вынести. Лишь пристегнув себя к этой иконе-образу: пытки свои поняв — как честь сораспятия с Самим Сыном Божиим. А прочие установки и «принципы» разума и философии — тут не помогали, рушились. И вот Франк, хотя всю жизнь старался облизывать философией религиозный опыт и переводить его в ее слова-термины, — все ж чуял неудовлетворенность и отрешенность себя от чего-то главного. И в конце жизни сподобился фундаментального религиозного опыта, что передать уже в философствовании не мог, но как-то высказал ближним у одра его: «Однажды утром, за несколько дней до кончины С.Л., я застал его чем-то взволнованным и радостно удивленным. Вот что я услышал из его уст: «Послушай, — сказал он мне, — я сегодня ночью

пережил нечто очень необыкновенное, нечто очень удивительное. Я лежал и мучился и вдруг почувствовал, что мои мучения и страдания Христа — одно и то же страдание. В моих страданиях я приобщился к какой-то Литургии и в ней соучаствовал, и в наивысшей ее точке я приобщился не только ко страданиям Христа, а, как ни дерзновенно сказать, к самой сущности Христа. Земные формы вина и хлеба — ничто в сравнении с тем, что я имел; и я впал в блаженство. Как странно, что я пережил ведь это вне всего того, о чем я всю жизнь размышлял. Как это вдруг пришло ко мне?» (с. 22).

В этом детском удивлении сего «совопросника мира сего», ученейшего философа, неумно было бы видеть отметание философии верою и торжество святой простоты над ученостью. Нет, можно видеть в этом как раз венец того УЧЕНОГО НЕЗНАНИЯ, принцип которого Франк, вослед за Сократом и Николаем Кузанским, развивал всю жизнь: громоздя знание на знание и изучение на новое понимание, он именно расширял свое представление об океане Неведомого Бытия: его величие и бездна — во не всей, но очень большой мере открывается именно тому, кто упорно дознается его постичь, кто исчерпывает все доступные нам методы познания, а не просто невежде и профану наивному. И даже и как раз наивность повышена в цене у такого «совопросника мира сего»: недаром именно, как дитя, сей старец на одре смерти ликовал, дивоваться был способен. И напротив: простак от земли и станка, чуть заполучит малую толику познаний из школы и науки, так надут с нею носится и самоуверен, что совершенно лишается наивности и простодушия, а все хитрит и лукавит (как это мы и видим по самоуверенным идеологам классической советчины, которых одна идейка «коммунизма» и «единственно правильное мировоззрение» освободили от всех вопросов и исканий

Духа, но и лишили также простодушия и наивности и здравого смысла простого народа...).

Ученый Франк клевал умом все в одну точку — Бога, его мир выразить на языке разума, — и доклевался до прорыва в искомое и любимое и НАДозреваемое...

Подобного же мнения и наблюдавший его брат младший: «Я думаю, что этот мистический опыт, данный Семену Людвиговичу, был высшей точкой всех его прежних исканий и увенчанием их... Его духовный путь был и покаянием (он говорил: «Я медь звенящая или кимвал звучащий, я не знал любви»), смиренным отказом от своей воли и приятием воли Божией (всегда говорил: «да впрочем, да будет воля Твоя, а не моя») и любовью к Богу («я познал блаженство от любви; самое высокое — это любовь грешника к святыне»). То мистическое состояние созерцательного знания, о котором я говорил выше, характеризовало духовный путь С.Л., и он говорил нам: «...живу живым источником. Все выраженное уже не то». (Там же, с. 22—23.)

Снова Тютчев:

«Лишь жить в себе самом умей»,  
«Мысль изреченная есть ложь».

Но и отличия: у русского поэта — максимализм большевистский категорического выражения и отвержение прочего и компромисса. У Франк — и покаяние в нелюбви и в глупости: не так жил и не то понимал, — и все же мягкость и понимание, что и то недаром было-шло — и сюда привело. Так что не «ложь» косвенная мысль...

Кстати, и русский философ Бердяев фразу строит пророчески: как афоризм-заклятие, простыми предложениями-заявлениями движась. Его стиль: «только», «лишь» — категорически-ассерторически свою мысль волеизъявляет...

Далее: Тютчев, обращая к жизни внутри себя, там не зрит «ЖИВОЙ ИСТОЧНИК» Бога Живаго, как

Франк, но — некий Космос Бытия-Небытия: «звезды», «ночь», «лучи» — некое неорганическое пространство Вселенной или Бездны: прозрачность, а не живую толщу (как это: живую плотность — чувствует ум иудея).

И наконец: «Другому — как понять тебя?»

«Я» и «Ты» — гигантская проблема мирового и особенно еврейского Логоса. «Я и Ты» — трактат Мартина Бубера: отвержение «ОН-ного» мироотношения и к человеку — как к объекту.

В русском Духе Тютчев, ставя проблему взаимопонимания между людьми, его агентами видит: «Ты» и «Он» («другой»), но не «Я» и «Ты» (как в замкнутом микрокосмосе еврейской общины, ее «минус-космосного» бытия среди лишь своей плоти и крови семьи-народа: тут все — «я» и «ты», а для «он» — нет дали, расстояния, отчуждения, чтоб вынести в ПРЕДставление-предмет-объект). В Русском Логосе не «Я» и «Ты», а «Я» и «Мы» — сюжет — и разрешение: как утопление — в роевой жизни (Толстой), в коллективизме (советчина), в соборности и общине (славянофилы)... Иудейский же Логос утопляет «я» — в «ты»: в теплоте любовно-сердечно-семейной любви, жертвы и взаимопомощи — на этих путях устремляется мыслить и Бубер, и Франк. «Ты» понять как более «Я», чем я сам. И тогда это «Ты» = Бог: как большое «Я» и Личность личностей — и меня в том числе.

«Мы» же — не Личность: не может зреться-мыслиться как Лицо, но как Масса, толща, собор, Объем, Сила, но не Ум (недаром говорится мудро: «сила есть = ума не надо»).

Итак, полезный тоже добавок Франком вводится в Русский Логос: проблему «Я» и «Мы» («личность и общество», общественное и единое личное — на языке советских ценностей, где явно пренебрегается личным, как единичным и малым; ведь у нас же БОЛЬШОЕ — ценность, Вели-

чие! Большинство, Большевики!) повернуть иначе: «Мы» — к «Я», а «Я» — к «Ты». Тогда поворот от «Мы» и «Наше» к «Я» поведет не к узости эгоизма и к воинствующему индивидуализму (как того опасаются вскормленные в традиции прежней русской мысли с ее приматом «мы» над «я» как последней буквой в алфавите), но к последней любви и перетеканию меня — в тебя (а не в море безличное «мы») и к умножению Любви и Бога в мире, а не к атомарности и фактичности и вещизму (это элементы «ОНного», объектно-отчужденного модуса существования).

Кстати, и у Пастернака в «Докторе Живаго» это перетекание «Я» в «Ты» явлено, и тогда мы все — в Божьей плазме обитаем, уподоблены Магдалине и Иисусу, и все, что с нами, — как божественная литургия совершается, торжественно и священно... И именно такое переживание-уразумение вынес и Франк из своего предсмертного видения-опыта.

И в этом смысл того «плюрализма мнений», что у нас ныне стараются выработать, чему учимся. Речь тут не просто о терпимости к чуждому мнению — как к досадливо «онному», другому, и просто удерживать себя в рамках приличия, чтобы не дать тому идиоту в рожу и морду, — но о возлюблении иного как друга и как «ты», кто брат и ближний. То есть чтобы возлюбить различие и противоположность себе — как «свое другое» (термин Гегеля) и свое дополнение. Раз мы все, человеки, лишь по частям познавать-понимать можем (как апостол Павел сказал), то другая часть, видимая тобою, — есть мне дар Божий и подсказ и подаяние ума, благодать и милость!..

24 февраля. Днесь с робостию приступаю. Вчера уж больно далеко проскакал — на образе своем о Франке: легко то было. Сегодня же — врубаться в рассказ трудовой и трудный о собственно философии его.

Конечно, удачно надоумило меня приняться за чтение «Непостижимо-

го», что узловая философская его книга, а не за «С нами Бог» (что читал лет 6—7 назад, благоуханную эту книгу, и большое питание душе от нее заимел) и «Свет во тьме» — переходные от философии к богословию его трактаты. Все ж философия — труднее и честнее ремесло. Огромно сопротивление материала накопленной философской традиции тут, и самоконтролирующая методика рассуждения строга, тогда как в религиозном исповедании всё более расплывчато в умилении, облачно-призрачно: просветлило настроение и душу, пока читалось, — и улетучилось. И форма-структура тут необязательна: взгляд и нечто... Философское же построение — как классическая симфония, разыгранная устоявшимся составом оркестра. Попробуй-ка тут сочини оригинальное!..

Как жить и обращаться с тем, что мы не знаем? — вот проблема. Мы не знаем Земли, Вселенной, устройства своего тела, однако движемся, поднимаем руку, говорим слова, хотя не знаем, как доходит приказ от мысли в пальцы, откуда взялись слова. Одно дело — в городе я перехожу улицу, сначала глядя влево, а потом вправо (хотя в Англии и Индии — наоборот): тут мы сами по своим понятиям-знаниям построили пространство и время, условились-договорились, как и что тут понимать и делать. Тут работает линейная логика рассудка: «да — да, нет — нет, а прочее — от лукавого», закон исключенного третьего, с его помощью представляем предметы и ориентируемся в окружающей действительности (что сами надеялись-наработали). Но ведь и она, будто нами вся соделанная, вдруг выкидывает с нами непонятные фортели, — как наше общество, история: вдруг нам ГУЛаг вместо коммунизма, куда шли... — Непонятность! Непостижимость! «Неисповедимы пути Господни!» — говорим. Так что же это такое и как все же исповедать Неисповедимое? Какое мы об этом глубочайшем и неизвест-

ном можем иметь... — и что? «Представление»? — отпадает: оно — лишь о предметах-изделиях руки или об объектах разума, что можем поставить перед собой. А как же с тем, чего нам не видеть как своих ушей? «Понятие»? — это тоже о том, что можем по-н/ять, познать — как в жены...

Кстати: вот и вспомогательный нам образ для уразумения проблемы. Допустим: ночью я встретил случайную женщину, случился «познал» эту женщину, совершив половой акт. Поорудовал с этим неизвестным вроде умело и по правилам. Но **знаю** ли я то, что я «познал»: кто она, каково устройство этого божественного существа: тела, души, жизни прошедшей, духа и мыслей ее за жизнь?.. Но ведь орудовал же с этим непостижимым, бытийствовал им и в нем...

Франк сему дает более целомудренный образ: островки понятной нам действительности в океане неведомого. Но даже все устройство острова намыто океаном, так что и наши знаемости: А и В — все пропитаны и обволокнуты иксостией, как всеобщей субстанцией, как атмосферой.

«Рассуждая отвлеченно, мы все, конечно, знаем, что мир не исчерпывается тем, что нам в нем уже известно и знакомо, что познано нами, а, напротив, бесконечно шире и содержательнее всего нам уже известного. Но на практике нашего познавательного отношения к миру и — более того — нашей общей установки к бытию, мы все склонны жить в «привычном», т. е. уже известном, — жить так, как если бы мир им и кончался. То, что мы переживаем как «окружающий нас мир» — то, в связи с чем протекает наша жизнь и познание чего определено нашими жизненными интересами, — фактически переживается, как совпадающее с МИРОМ **ВООБЩЕ**. Наша господствующая установка такова, что мир нам известен и что известное, знакомое, привычное нам есть

весь мир... Очевидно, практика жизни, какая-то потребность экономии духовных сил и чувство прочности и обеспеченности вынуждает нас закрывать глаза на окружающую нас со всех сторон темную бездну неизвестного, требует от нас этого самоограничения и потому — **ОГРАНИЧЕННОСТИ**. Но «наша комната» или «наш дом» — «мирок», в котором мы живем, есть только часть бесконечного неизвестного нам мира. Сколько споров было бы устранено, если бы каждый мог увидеть и реально восчувствовать, что «мирок» (он же «островок». — Г. Г.) его ближнего в такой же мере реален, как и его собственный! Сколько социальных и политических трагедий исчезли бы сами собой, если бы каждая партия могла выйти конкретно-психологически за пределы своего собственного, частного мирка (вспомним, что слово «партия» происходит от слова *part* — «часть»! — Г. Г.), восчувствовать его ограниченность и относительность, и равноправие наряду с ним тех «мирков», в которых живут другие «партии»! И это не есть только «обывательская» ограниченность простых, немудрящих и немыслящих людей; политические деятели живут в «мирке» своих представлений, определенных партийными взглядами и интересами, вожди народов в «мирке» **СВОЕЙ** нации, специалисты-ученые («увечные» — небесмысленно ошиблась тут машиночка. — Г. Г.) в «мирке», ограниченном методами и интересами данного научного («надувного» — тут уж будто специально подкинула машиночка: про надувательство науки намек. — Г. Г.) исследования».

«Пусть — в известных пределах — ограниченность и замкнутость сознания есть условие его «трезвости» и практической годности. Но это имеет силу именно только в известных, тоже весьма ограниченных пределах. Наряду с этим раскрытость сознания — его способность безгра-



нично раскрываться и расширяться, и тем самым основная установка безграничного простора (еще и русского Космоса тут во помощь интуиция: «что пророчит сей БЕСКОНЕЧНЫЙ ПРОСТОР?» — Гоголем сформулированный наш вечный вопрос. — Г. Г.) вокруг познанного, привычного, уже знакомого мирака есть ТАКЖЕ условие нормально-го — даже практического — функционирования нашего сознания и познания. В самом деле, замкнутость сознания в своем пределе есть не что иное, как основной признак — помещательства (т. е. ума-лишенности. — Г. Г.). Она образует самое существо МАНИИ. Какую бы манию мы ни взяли — манию величия (у вождя или великого народа. — Г. Г.) или манию преследования (последняя нынче сильна очень стала в обстановке национальных обид, счетов и возмездий: «юдофобия», «русофобия» — от «фобос» = «страх», а «у страха глаза велики», и неизвестно, кто кого: нас ли боятся, мы ли боимся? — но тонус страха повышается в социуме, а тем самым — и безумия. — Г. Г.) и т. п., — она всегда предполагает, что человек ощущает себя центром мира, воспринимает мир превратно именно потому, что берет его не во всей его широте, т. е. не учитывает тех его сторон и областей, которые не имеют отношения к его собственной личности, не входят в состав его кругозора, определенного его интересами, — коротко говоря, не воспринимает мира ЗАПРЕДЕЛЬНОГО его собственному «мирку» (Непостижимое, с. 24 — 26).

Таким образом и совершенно практическое значение имеет правильная установка ума и души человека в расселине между известным и таинственным: и для поведения, и для счастья, а не только для любопытства, хотя оно тоже — один из прекрасных модусов поведения человека в жизни сей и источник счастья. Им жив был «свободный философ» (как именовал себя

С. Л. Франк, робея называться «богословом»), и на кресте на его могиле — любимые им слова из книги «Премудрости...»: «Премудрость возлюбих и поисках от юности моя. Познав же, яко не инако одержу, аще не Господь даст, приидох ко Господу».

И в Предисловии к «Непостижимому»: «Автор не имел бы права считать себя философом и изменил бы своему собственному тезису, если бы он придавал своему труду значение большее, чем некоего лишь посылно намекающего, «лепечущего» указания на истину подлинной, неизъяснимой и неизреченной Реальности» (с. 8).

Но это «лепечущее» указание нам в высшей степени нужно, и только высшее напряжение человеческого разума — на уровне Сократа, Будды, Христа, Николая Кузанского, Декарта, Канта и др. достигает Сократова уразумения, что «я знаю только то, что я ничего не знаю», (однако и профан, и научный гордец не знают за собой и этого) и что наши и самые умные «слова, слова, слова» — суть «лепет» перед Словом...

Ни здравый смысл (который есть хитрый ум трезвого юления среди жестких вещей и понятий на островке нашей действительности), ни наука (что снабжает нас условными и относительными «знаниями» и терминами, о которых МЫ договариваемся: что под ними понимать сегодня, а что — вчера, и которая ратует за «однозначность» и «непротиворечивость» — то есть за добровольную ограниченность) — не дадут нам, не разверзнут нам двери души и ума — в океан Неведомого. На то — философия, ее труд.

«Философия есть ориентирование как бы в беспредельно разлитой АТМОСФЕРЕ бытия, как в общем фоне, на котором вырисовывается предметное бытие (которое изучает наука. — Г. Г.) и особенностями которого определена сама его пред-

метность. Ее можно было бы сравнить с «ПЛЕНЭРИЗМОМ» в живописи — с искусством воспринимать и изображать самый «воздух», а не отдельные предметы без учета того вида, который они имеют, погруженные в воздух» (с. 110).

Как же это делается, какою методу? Как постичь Непостижимое (что есть уже противоречие и вроде бы абсурд в самой постановке задачи)? И может ли с ним справиться философия?

И вот Франк демонстрирует технику высшего философского пилотажа, чтоб все же справиться с этим затруднением и добыть нам некие постижения Непостижимого. И оказывается: оно не где-то за пределами нам, а мы сами и есть, и все, чем ближайше живы и дышим, любим и мыслим: наше тело, «ты», «я», «душа», «Бог» — все это знаки сего нам интимного и ближайшего и родного — и в то же время беспредельно таинственного. А ум приближается к постижению сего — через «ученое незнание» (термин Николая Кузанского, германского неоплатоника XV века), через «умудренное неведение» (термин Франка), техникой «трансцендирования» = переступания. Сначала ум строит стройную систему правил, работает в ней, но потом обнаруживает, что она не в силах объяснить как раз ту основу, на которой воздвигнута. Чтобы ее постичь, ум прорывает свои прежние правила и запреты и выстраивает новые — для постижения сей основы. Однако и тут упирается в стену, и снова надо стать преступником своего собственного закона, чтобы подняться по лестнице познания до следующего этажа-неба... Тогда ум возмущается: что же это: он влип в дурную бесконечность самокритики? Как тут остановиться, на что опереться?.. И т.д.

Философский Разум тут развертывает бездну остроумия, и такие игры и партии и гамбиты тут разыгрываются и произведения систем творят-

ся, не менее яркие, чем художественные сочинения и классические симфонии, — и уж в этом их (этих построений) ценность и красота и именно нам научение и практичность: научаемся поднять глаза со своего пупа-принципа-острова-мирка, видим бесконечность возможных миров — и тогда лучше можем проориентировать и свой и познать самого себя.

И вот высший итог философской работы: «МЫ не можем говорить о высшей правде, высказать ее саму в наших понятиях — но только потому, что ОНА САМА — молча — говорит О СЕБЕ, себя высказывает и открывает; и это ее собственное самооткровение мы не имеем ни права, ни возможности выразить сполна НАШЕЙ мыслью; мы должны умолкнуть перед величием самой правды.

Это есть последний итог философского самосознания» (с. 117).

3 часа. Пробежался — и сформулировалось так: перефразируя поэта: «Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать» (Пушкин), — постигший смысл и назначение философии — скажет:

*Я мыслить хочу, чтобы жить (полно, во все стороны) и страдать (их, страданий, смысл постигая, а не вопя животнo; мысль также прочищает чувствительность души, снимает с нее покровы правил и шоры рассудков)...*

А насчет смысла произведений искусства и философии: они держат нас — пусть на время чтения и восприятия — в Высшей реальности, ею дыша, — и потом мы уже в буднях все ж памятуем сей опыт: *было* небо, мы — бытийствовали однажды!

25 февраля. Какая-то подавленность, вялость сегодня в природе: серь, сыр, вода. Неба не видно: белесая пелена. И в крови не горит огонь желанья — ни к чему. И к мысли. А ведь как Франк где-то в «Непостижимом» цитирует: Wunsch — der Vater des Gedankes =

«желание — отец мысли» (Русский Логос сказал бы — «МАТЬ мысли», ибо у нас: Родина-мать, а германцу «Фатерланд», т.е. ОТЦова земля)...

Однако, чуть разбереди зону Слова, сразу ток пойдет — и сюжет вспыхнет. У меня же на национальную логику всегда СТОИТ. Вот и сейчас: окидывая мысленным взглядом уж три четверти прочитанного «Непостижимого», усматриваю, как мысль Франка все роется в глубь, в низ, в лоно (и сравнение с ним есть), то есть в женское, семейно-материнское, в толщу реальности там многослойную. Но по мере погружения туда, толща легчает, светлеет — имматериализуется, и мы выходим умом на Дух и Свет — на Бога, Отца, мужское...

Рытье вглубь мне поначалу виделось как совпадающее с вектором германского Космо-Психо-Логоса. И верно: в германской философской традиции и языке вскормлен Франк. Во всяком случае, «Глубь» — не из русского Духа первоценностей: тут — Даль-ширь, Высь — наискось (а не по вертикали сразу: так с разгону по космодрому плиты России улетают, «само-леты» — поэты в небо. Вот ведь и сам летаю, взлетаю во эмпирии духа...).

Однако в германском образе мира место материнского — Глубь, но место мужского — Высь. А тут в метафорах и ценностно-образных ориентировках Франка все время устойчиво — глубина, вертикаль вниз (и не по месту, а внутрь, в себя ввинчивание: в человека). В германстве тоже важное «место» и ценностное понятие — *Innere* = «внутреннее» (и «воспоминание» — *Eg-inner-ung* = «овнутривание»), но там и для Глуби есть также и внешний локус и топос: земля своя. В иудейском же мироощущении, которое строится при минус-Космосе (он вынесен за скобки, его нет для народа в диаспоре), Глубь совпадает с «Нутрь» — человека: душа в теле, психика, которая и есть в

системе Франка «непосредственное самобытие» Непостижимого.

Но дальнейший провал: из глубин-толщи-души (Вечно Женского, лона) опять же в низ и глубь и вовнутрь — в пустоту, в Дух, Свет, Небо, Космос, и нахождение таким образом Всеединства меж *внешним* миром действительности, предметов, и *внутренним* — сердца и души, что есть уже — Божество, Святыня, и, кстати, совпадает и с евангельским: «царствие небесное внутрь нас есть», то есть: Небо не вверху, а внизу, — все это подтверждает мою интуицию про еврейский образ мира как *Психо-Логос минус Космос*, причем «минус-Космос» — не просто как отсутствие, а как активная отрицательная величина: Космос вдавлен вовнутрь, в Психею и Логос. Его отсутствие вовне, как материально-природной инстанции-субстанции, придает усиленную нагрузку и энергетику оставшимся для иудейства составным сей целостности: Психее (душевной жизни) и Логосу, Духу. И на место категории Бытия (что космично-объемно) здесь — Жизнь: и Бог Живой, и «быть живым и только, до конца» — народу, плоти и крови, семени. Ибо на теле человека лежит та нагрузка и миссия, что в национальных целостностях со своими космосами-природами распределена между народом и страной. Русскому человеку не так страшно умереть: «Была бы только Родина!», а она — есть, никуда не денется Природина-Русь, и подает силы и возродит: национальная субстанция прочно обеспечена-подстрахована: не только в народе она (в этносе-антропосе), но и в природе-земле-Космосе национальном.

У Франка во всем томине совершенно не чувствуется органической Природы: животных, растений, пейзажей; очень редко, и то условные образы: дерево и корни; ну и неорганической природы образы: острова в океане, море, лучи. И вообще наружная организация Бытия в Космос

не чуется — то, что так сильно у эллинов и в платонизме, где Разум Восхищенный вперен наружу и зрит звезды и идеи, пифагорейское небо ночное, — и там вычисляет гармонию и ритм и музыку сфер.

Тонкость-трепетность Психеи и изощренность Логоса (комбинаторика в диалектике) — вот ареал и материал-пространство и музыка-методика совершающегося развития мысли в «Непостижимом» Франка. И эта интенсивность — жертвою Космоса, который — экстенсивность (бесконечность, раздольность, расточительность) уже по идее своей.

И в этом оттенке — опять же вклад Франка в Слово России. Оно как раз разбаловано бесконечным простором и экстенсивностью Космоса и потому презрительно к экономии = «жадности» буржуазно-западной, от скудости ихней земли и мизера душевного (а тут — нараспашку), — и к рассудку, логике, которые тоже суть вид экономии в мышлении: чтобы кратчайшим путем добывать результаты, понятия. Также и диалектика и форма нам кажутся суходрочкой мышления и тюрьмой содержанию.

Из русских писателей близки Франку Достоевский и Тютчев — горожане, отгородившиеся от Космоса наружного и повернувшиеся к Хаосу, что в Психее шевелится. А там — «живая жизнь» — этот термин Достоевского очень в духе Бога Живого, по душе и созвучен мироощущению (не мироВОЗЗРЕНИЮ: оно — уже во вне, а не во мне) еврейства.

Скажут: у Тютчева — вдохновенные картины природы! Да, но прожить в ней, в русской (не то, что в Альпах и Ницце), он и дня не мог — в своей усадьбе в Овстуге, и бежал скорее в город, в гостиную и салон — остроумничать: в Мюнхен, а оттуда уж, из прекрасного далека (как и Гоголь хорошо любил Русь из Рима), восписывать «Весенние во-

ды» и «Эти бедные селенья»...

Да, замечаю, что поворачивает моя «Русская Дума» ныне несколько — чтоб внять в себя и вклад русскоязычных. И это не моя прихоть, а органика развития нашей культуры в Двадцатом веке. Как в Четвертой Думе было представительство и грузин, и евреев, а у нас — так Совет национальностей, — так и в русскую литературу, искусство и философию, и религиозную, привой-подвой иноэтнических субстанций происходил — и дары от них, усилий их духов и умов... Хотя ныне строгие русичи на этот счет припоминают стих из «Энеиды» Вергилия: *Timeo Danaos et dona ferentes* = «Боюсь данайцев — и дары приносящих...»

12.00. Недостает сегодня — не «пороху», а воз-Духу мне. Задыхаясь в помещении, выбежал на пространство: побегал, помахал руками, как бы загребывая себе в грудь Святаго Духу с Неба, — и вот уже второе дыхание на утренний транс-присест набрал. На бегу и надумывал кое-что.

Отвернутость Достоевского от Космоса Природы в Город: тягостен ему русский «бесконечный простор» — аж от Питера до острога Мертвого дома; воздыхал он и о душе русского человека нараспашку: «широк человек, широк слишком — сузить бы!» От экстенсивности пространственного обитания — во интенсивности психейного вектор, что и в разработке еврейством именно психики — и «живой жизни»: не просто Жизнь тут, а Жизнь в квадрате — за счет Бытия и Природы еще...

Так что и у Достоевского: при внешнем отталкивании от типа местечкового еврея — в мире его романов тоже Психо-Логос минус Космос развит, то есть внутреннее сближение идет интенсивного христианства — с ветхозаветностью.

И обратно: крещеное (не внешне, а всерьез) иудейство во России — это встречное движение: перелив ветхозаветности в новозаветность. Неда-

ром в короткой, но многозначительной заметке А. В. Карташева «Идеологический и церковный путь Франка» Семен Франк уподоблен Симеону-Богоприимцу: «Помню... в 1927 году он проводил... день своего ангела, Симеона Богоприимца (3 февраля стар. стиля)... Я забежал в церковь. Служил о. Сергей Булгаков в левом приделе. Пели уже Отче наш. В пустой церкви на фоне большой иконы Богоматери, прикрывающей часть левого клироса, стояла большая фигура Франка. Во время причастного стиха голова Франка приблизилась к темному лику иконы, по безвкусной моде XVIII века прикрытой массивной серебряной ризой; долго-долго он его рассматривал... за две-три минуты до того, как голос иерея позовет его к таинственной чаше. Мне стало неловко быть „наблюдателем“ в такую минуту. Я ушел и надолго остался под впечатлением виденного или, точнее, внешне никому не видимого, но вечно совершающегося, трагического преодоления ветхого завета новым. (Трагического, ибо это — катастрофа, разрыв, прыжок через бездну, трансцендированье тоже! — Г.Г.). Тогда, при кесаре Тиверии, Симеон Богоприимец „радостно принял“ из рук Девы того, Кто составлял непреходящую „славу Израильского народа“ и „свет откровения для языков“. А через 40 лет нужен был громовой удар и ослепление, чтобы строптивного Савла обратиться в Павла. Теперь новый Симеон идет светлым путем старого Богоприимца, без видимых потрясений „принимая“ от иконного лика родной ему по плоти Девы Ея Сына, как Бога».

И еще горевал я, бегая и думая, что не получается у меня стройно-последовательного изложения читателю системы идей Франка как предмета-объекта... Ну что ж, оправдываюсь, это в духе стиля мышления и самого. С. Л.: я же *живу* сейчас с ним, собеседую в общении, он мне

сейчас не «он» (объект), а «ты-еси!» — и в таком разе и жанре рождаются, пусть и не стройно-логичные, но сердечно-понимающие размышления, и образ мыслителя и человека как-то ненадуманно, само собой — а слагается...

Жаль только, что разная у нас ситуация с читателем: мои-то размышления сегодняшние о Франке вырастают на дрожжах вчера и ранее прочитанных его текстов, которые я уже держу в уме, а читателю они еще не даны, не ведомы. И хочется просто дать, под конец хотя бы, компендиум избранных ярких мест, цитат, что меня на себе задержали, восхитили.

Пояснить надо «трансцендирование» — метод движения мысли и добывания новых смыслов — через переступание своих же предыдущих правил и ограничений. Например, вот первое верное суждение: «каждый человек — это ИЛИ мужчина, ИЛИ женщина» («да или нет, третьего не дано»). После вдумывания и анализа и углубления, кроме того, что обнаруживаются переходные случаи (гермафродитизм и проч.), нарушающие факты, мысль приходит к более высокому обобщению: «Человек вообще — это И мужчина, И женщина». И это тоже верно. Уже — противоречие двух логических схем; «или то, или другое», «и то, и другое». И вот нашему уму приходится провалиться на новый этаж-бездну проблем и принять там оба — в некое более глубокое понимание. «Мы возвышаемся до универсального „ДА“, до полного, всеобъемлющего ПРИЯТИЯ БЫТИЯ, которое ОБЪЕМЛЕТ И ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ, И САМО ОТРИЦАЕМОЕ, В КАЧЕСТВЕ, так сказать, ПРАВОМЕРНОЙ И НЕУСТРАНИМОЙ РЕАЛЬНОСТИ» (с. 107). Так что — и Нет, и «зло», и «сатана» вняты в Божество и служат Целому. (Это от себя добавим.)

Тут важно, что серией провалов вглубь, на новые уровни понимания



и обобщения, приходят в итоге не к полной расшатанности ума и понятия, но — к тверди и «Да!».

Вот из сегодняшней злободневности пример. Сегодня ожидается громадный митинг по стране — и совершенно неясно, кому что выгодно и не провокация ли те или иные лозунги, выдвигаемые от той или иной группы?.. «Шла я позавчера по Пушкинской площади, — говорила за столом А. Л., — и там наклеены воззвания разные, в частности от Демократического Союза, где призыв — чуть ли не к вооруженному восстанию. И я никак не могу быть уверена, что это именно они, а не от их имени какая-нибудь другая группа такое вывесила, чтобы этих подвести под монастырь: чтобы на них науськать власть — и уничтожить. То же самое и недавнее выступление русских шовинистов на собрании «Апреля» в ЦДЛ. «Память» говорит, что это сам «Апрель», где много евреев, себе такой антисемитский шабаш подстроил, чтоб общественное мнение мира и США подогреть себе на защиту. Ведь США отменили выгодный статус «политического беженца» для евреев-эмигрантов из СССР, а эти угрозы погромов должны вернуть евреям-эмигрантам «режим наибольшего благоприятствования»... Так что верно: это может быть выгодно евреям... Но, с другой стороны, — и абсурд...

Тогда я сказала «памятнику», выдвинувшему эту гипотезу: — Кому больше всего выгоден шум вокруг напечатания отрывка из «Прогулок с Пушкиным» Синявского-Терца в «Октябре»? Конечно — самому Синявскому: великая снова реклама. Значит, это он инспирировал полугодовую кампанию против «Прогулок с Пушкиным» в «Литературной России» и проч.?)»

Так что невозможно нам понять смысл единичного факта по элементарной логике: «да ИЛИ нет», а вынужденность прибегнуть к более задумчивому «И да, И нет», и

оба этих варианта держать в уме как равно правомерные, — демонстрирует, как нам постоянно приходится проделывать «ТРАНСЦЕНДИРОВАНИЕ» и мыслить единством противоположностей.

«В этом и заключается принципиальное различие между познанием предельного, абсолютного, непостижимого, и всяческим познанием частных содержаний бытия: в последнем случае колебание между двумя противоречащими друг другу суждениями есть лишь выражение нашего бессилия — ведь „на самом деле“, в природе вещей ЕСТЬ, ИМЕЕТ СИЛУ ЛИБО ОДНО, ЛИБО ДРУГОЕ, и мы не имеем ПРАВА отказать от требования преодоления или устранения противоречия. Напротив, здесь, в области умудренного, ведающего неведения, наша резиньция (отказ от суждения. — Г. Г.) совершенно СОЗНАТЕЛЬНА и опирается на усмотрение ее внутренней убедительности и правомерности. И дело идет здесь поэтому и совсем не о беспомощном, бессильном КОЛЕБАНИИ или ШАТАНИИ, а об — основанном на твердом решении и самоочевидно ясном узрении — СВОБОДНОМ ВИТАНИИ в середине или в единстве двух познаний — о витании, которому как раз и открывается последняя истина. Более того: эта трансрациональная позиция — будучи, в отношении объединяемых ею противоречащих отвлеченных познаний, „ВИТАНИЕМ“ МЕЖДУ или НАД ними, — сама по себе есть совершенно УСТОЙЧИВОЕ, твердо опирающееся на ПОЧВУ реальности СТОЯНИЕ. О нем Николай Кузанский говорит: „Великое дело — быть в состоянии твердо укрепиться в единении противоположностей“ (с. 117).

26 февраля. Дочитал вчера вечером «Непостижимое». Какое благое и восхищенное от сей фрески остается состояние души! Будто подышал в Небе, витал возле неисповедимых путей и промыслов Господних и по

индукции напиться вышней мудростью и Славой.

А кругом народ писательский трепетал-шушукался о митинге в Москве и по Союзу, которым уж неделю запугивали власти, и слухи о кровавостях грядущих заранее распространялись. Вон и Светлана, когда позвонил ей, сказала: звонил ей один из «Памяти» ходок на ее семинар по Федорову и русскому космизму — и уговаривал на этот день уезжать с детьми из города — куда глаза глядят!..

А прошло все — мирно, благородно...

И вот снова проблема, что обсуждают в философии (и Франк): одно дело — вещь, предмет, событие, понятие, а другое — их *смысл*. Первое мы можем описать и причины найти-подобрать, и так вроде «понять» и «объяснить» себе — локально, в ближайшем контексте. Но смысл их — нечто совсем иное и в других связях ищется. Это — Сомысл со всем Бытием, в его прошлых, настоящих и будущих судьбах; и неким «нам» сейчас «хорошее» и «выгодное» может в итоге или скоро обернуться ужасом (как победа Октябрьской революции ее же авторам, к примеру). Но по прошествии еще времен — и это страдание осмыслится как Богоугодная жертва, а люди и тираны сих времен — как герои национального эпоса, «преданий старины глубокой», предстанут-осмыслятся, как великомученики и учителя нам — на своей жертве и горьком опыте.

Так что СМЫСЛ не равен понятию; он плывет-витает в поле меж многих понятий, всяких «да» и «нет», «то» или «другое», — и есть некая «точка», но уже в поле Всеединства, Вечного Бытия, угадка неисповедимых путей Господних. Это и обозначали философы — как «идею» вещи (Платон), «энтелехию» («целевая причина» — Аристотель), даже «атом» (Демокрит), «гомеометрия» (Анаксагор), «монада» (Лейб-

ниц), «трансцендентальное» (Кант), «конкретно-всеобщее понятие» (Гегель) и т.д. И философ ищет (и строит) это ТАБЛО СМЫСЛОВ, статичное-вечное (как Бытие) или динамичное (как Жизнь, История...); и множество этих произведений философского ума, конструкций Единого — не опровергает друг друга намертво (как похотывает обыватель: смотрите, какой разницей у вас получается, а претендуете уловить Истину, Абсолют!), но, опровергая и противореча друг другу, — нас всех, человечество и культуру, делают богаче пониманием смыслов Бытия. Так ведь симфония Малера не опровергает симфонию Бетховена, а «Война и мир» не отменяет «Илиаду».

И вот «Непостижимое» — великолепной архитектуры сооружение философского Разума, во всеоружии всех развитых прежде в философии систем и идей, и принципов и методов: от индийских Упанишад и эллинских первофилософов Гераклита и Сократа, через отцов церкви христианской и новейшей европейской синтесы (Николай Кузанский, Декарт, Кант, Гегель) к новейшим подходам (интуитивизм Бергсона, феноменология Гуссерля, Ницше и экзистенциализм, Фрейд и психоанализ); но уже главное: накопленная традиция русского религиозного философствования (от Владимира Соловьева и далее)...

Однако не просто во уяснение уму пишется такой трактат, но более как акт духовной жизни — и автора, и читателя, что и я вот эти дни с ним переживал, а еще ранее несколько лет — за чтением «С нами Бог» его же. То есть как вхождение во храм это, на литургию и питание всего твоего существа — благом: сердца — любовью и состраданием, очей — красотой, ума — истиною... Как пронизательно писал известный историк русской религиозной мысли протоиерей Георгий Флоровский в статье «Религиозная метафизика С. Л. Франка»: «Философию С. Л.

Франка можно рассматривать как своеобразный вариант „экзистенциализма”. Ибо движущим фактором его философского искания была не столько любознательность, сколько „жажда бытия” (подтверждает, о чем я выше: „Я мыслить хочу, чтобы жить и страдать”. — Г. Г.). Его подлинной темой была не столько проблема знания, сколько апория жизни (ее недоказуемость, неисповедимость, нелогичность, как знаменитые „апории” Зенона: „летающая стрела покоится” и „Ахиллес не догонит черепаху”, чем он подлинно логически доказывал отсутствие движения, хотя оно реально, как факт — есть, неоспоримо! — Г. Г.). И задача философии для него была не в том, чтобы построить всеобъемлющую схему мира, а в том, чтобы пробиться и приникнуть к самим истокам бытия, приобщиться его животворным силам и, хотя бы в предчувствии, преобразить бытие. Философия поэтому является неким делом, хотя и внутренним, и имеет своей задачей обновление и преобразование человека» (Сб., с. 146).

Основная тема и проблема Франка — философия и религия. И вот как его устремленность толкует Флоровский: «С. Л. Франк, в особенности в свои последние годы, сознательно стремился быть религиозным философом. Ибо в его понимании только религиозная или верующая философия могла быть философией подлинной. Ведь философия, по существу и природе своей, есть некое исповедание или признание (как хорошо, если бы этот аспект мы имели в уме, подходя к „страшилищам” трактатов Плотина, Спинозы, Канта, Гегеля — с их жестко-абстрактной, как бы предельно античеловеческой и внежизненной терминологией, — и слушали бы музыку робкой исповеди человеческой души, под этим панцирем сокрытую! Как бы нам все легче и понятнее в них стало — так же, как не скрывают сих своих человеческих забот

Платон и Декарт, Киркегор и Ницше... — Г. Г.), свидетельство об испытанном (как некий „мемуар” о своей духовной жизни и ее приключениях-авантюрах. — Г. Г.), о том, что открывается в опыте, и уже вторично и всегда предварительно есть его истолкование. Но опыт, не достигающий Божества или его не вмещающий, есть опыт поверхностный и существенно неполный и потому недостаточный и не может служить надежной основой для философских построений. Опыт должен быть расширен и углублен. И в своей последней глубине опыт оказывается ничем иным, как опытом веры, опытом непосредственной очевидности, опытом личной встречи с Божеством. Строго говоря, с этой точки зрения нет различия между опытом религиозным и опытом философским. Последний „предмет знания” (аллюзия на первый крупный трактат Франка — „Предмет знания. Об основах и пределах отвлеченного знания” СПб, 1915. Там развитие темы русской философии — славянофилов, „Критики отвлеченных начал” Вл. Соловьева. — Г. Г.) и, стало быть, предельная реальность, есть „Непостижимое”, а в опыте личной веры опознается Оно как Божество». Франк «не примиряет и не согласует „знание” и „веру”, не обосновывает веру разумом и не укрепляет знание верой. Само это разделение произвольно и мнимо. Ибо самый „разум” в понимании Франка коренится в вере или в „мистическом умозрении” и только от него питается. Первично — именно это „умозрение”, некое видение (помните, то, что видел „рыцарь бедный” в стихотворении Пушкина:

Он имел одно виденье,  
Непостижное (!) уму,  
И глубоко впечатленье  
В сердце врезалось ему...

Но постойте! Припоминая дальше, ЧТО же он видел, — зрим облик

Девы, то есть Вечно Женственного, что затем во облике Софии = Премудрости Господней взвидит Вл. Соловьев в „Трех свиданиях” и что станет темой напряженных исканий и исповеданий влюбленного Ума в дальнейшей русской философии: Сергей Булгаков и др. А у истоков — „Рыцарь бедный” Пушкина. И недаром это стихотворение любимо Достоевским, и Аглая в „Идиоте” в его парадигме зрит князя Мышкина... Вот прочерчивается пунктиром — как „общей лирики лента”, маяковское выражение, — так и общей думы тема в русской мысли...— Г. Г.), и оно, при всей несказанности и „металогичности” (термин Франка: Безусловное, Непостижимое, глубинная реальность и Всеединство „рассуждаются” не обычной, но сверхлогикой. — Г. Г.), все же существенно „логично”, т.е. осмысленно, и есть не что иное, как узрение и обретение Смысла (вон того „табло всемыслов”, о чем я выше. — Г. Г.). И по той же причине философия подлинная оказывается „живым знанием”, ибо рождается она из встречи с живым Богом. И в этом смысле она оказывается неким реальным событием (неустанно акцентирует Франк это: что акт мысли не сторонен бытию, как с другой планеты, но входит в него и есть некое событие в бытии, так что проблема Тождества Бытия и Мышления, которая так мучила немецких классиков, особенно Шеллинга и Гегеля, — тут тоже „трансцендируется”, прорывается — и снимается. — Г. Г.), творческим этапом в становлении или самоосуществлении познающего. Самопознание принадлежит к составу бытия. Личность философа вовлекается в процесс философствования и в этом процессе строится. (Вспоминаются родственные мысли у Пастернака — да! в переводе Тициана Табидзе: „Не я пишу стихи, стихи пишут меня!” — так примерно: то есть мышление и творчество есть обоюдостроение: я высекаю предмет

= творение создает меня — параллельно и попутно и реактивно, отдачей выстрела вдохновения в мир. — Г. Г.). По твердому убеждению С. Л. Франка, только в осознанном опыте веры, т.е. в религиозной встрече с Живым и Личным Богом, личность человеческая вполне обретает сама себя и становится сама собой» (с. 146).

Легко сказать и подытожить такое! Но какой траверс вершин философских проблем и трансцензус пропастей и бездн противоречий и опровержений — пришлось проделывать уму философа в его книге «Непостижимое», чтобы выйти на эту встречу личности с Личностью! Тут сначала — «предметный мир», нас окружающий, поверхностный объектов труда и науки — сей остров. Затем выход на берег океана Непостижимого, в сей ИКС, что залегает под всяким нашим малым сведением: А или Б... Но это еще — толща материально-предметная, а луч-то ума туда направляется — из меня, мало-го «я». Что же это за «субъект знания и опыта»? Это есть мое существование — непосредственное самобытие» Непостижимого — и равно мощно всему предметному миру и бытию. Это — душа, душевная жизнь, потенциал и свобода и творчество отсюда. Но вникая-погружаясь дальше, выхожу в дальнейшую глубину: из души — в дух, в жизнь духовную, и на кромке встречи моя **самость** превращается в **личность** — именно потому, что и Безусловная Реальность, Божество оборачивается ко мне — как Личность, и обнаруживается следующий слой бытия: «Бог-со-мною». И тут уж оказывается — вместо Декартова cogito ergo sum = «я мыслю — следовательно, я существую», Баадеро: cogitOR ergo sum = «Я мыслИМ — следовательно, существую». Все переворачивается: не «я»-субъект познания мира вперен в него, рою его дознанием упорным, но как бы в ответ и благодар на это

усилие — на меня изливается Откровение: Само Божество распахивает Себя и дарует Себя мне и строит меня и со-держит.

12.30. Вот и мне только что было даровано малое откровение-уражение Смысла. Попробую вопишу его.

Помыслив-полетав с утра в первом транс-присесте и почуяв, что уж повывдыхаюсь я и пора выйти наружу и хлебнуть Святого воздуха, понакачать его себе в грудь движением, я вышел в 12 походить-побегать по аллеям и дорогам переделкинским. А я не просто чинно хожу, а всю размахиваю руками. Это я чтоб свой шейный остеохондроз размассировать, а то правая рука сохнет от скрюченности в многописании некогдашнем ручкою (теперь-то на машиночку перешел, что мне подсказочки-опечаточки время от времени дарует). Но на днях дошел до меня и горный смысл сего будто только «физкультурного» размахиванья: я ж руки — в крылья обращаю, машу ими, как ветряная мельница, — но и как птицы, и даже ангелы: крылатость свою потенциальную упражняю, актуализирую — и причастник воздушного пространства между небом и землей (царство духов) становлюсь, но и — неба: туда подсказываю и рвусь-норовлю: идрав свой земной расплескиваю, жестоковыйный, а легкий, небесный, благой — понакачиваю, как помпою, насосом легких и лопастями рук-крыл.

Это, разумеется, странно выглядит «радяньским письменникам», что чинно прогуливаются, руки в карманы или смиренно держа — не по швам, но почти... Вспоминается лермонтовское насчет Печорина замечание: когда ходил, он не размахивал руками — верный признак скрытности натуры... Ну а я действительно — простодушен, наивен, и душа моя — нараспашку... Однако люди доброжелательны ко мне — к сему преступлению негласного эти-

кета: все ж воображение о некоем ином поведении и видении возможном им подаю. Так что вроде местного юродивого я, idiot de village — деревенского идиота.

И вот, когда я уже направился назад (зашел перед этим на аллею дачи Пастернака, его аурой дохнуть-попроникнуться чуть), по дороге навстречу идет дама в шубе и меховой шапке. Я здороваюсь со всеми (на всякий случай: не различаю особенно лиц — и от близорукости, и от задумчивости, так что могу ненароком и обидеть кого знакомого), и ей сказал: «Добрый день!» Она улыбнулась и как-то приветливо и радостно даже ответила. Я пошел дальше и подумал: вот ее лицо — красивое и правильное, пока шла в себе и молчаливо. А когда улыбнулась и раскрыла рот и сказала слово мне навстречу, — обнаружила гниловатые зубы, и вообще щель какая-то разрежала, разверзла замкнутую, совершенно-овальную поверхность лица, — стала она некрасивее телом и формой. Но каким светом обдала-дохнула: сноп ласково-душевного излучения обрушился на меня благодатно. Из душевно-духовной реальности безусловной — сияние и луч.

И вдруг спаялось во мне это с тем, что я вчера прочитал в «Непостижимом»: анализ зла в мире, греха и страдания. Это та проблема ТЕОДИЦЕИ: ответственность Бога за наличие зла в сотворенном Им мире, — что извека мучает верующих, а атеистам подает вроде бы легчайший аргумент к опровержению бытия Божия: раз Он впустил зло в мир — значит, не всеблаг, а коли благ, но не может с ним справиться, — то не всемогущ, и, значит, не Бог он вовсе, а «божик», идол...

Проблема эта, с другой стороны, обходится-облегчается иными теологами, когда они говорят, что это нам кажется «зло», а на самом деле не узнанное нами благо, что скажется потом... И Августин: зло — не имеет сущности, оно — тень добра.



Нет, конечно, есть в нем своя — бессущностная сущность нетости, размышляет далее Франк. И раз БОЖЕСТВО = Всеединство, то и зло мира и в человеке должно иметь свой корень в Нем, и это — как трещина в Бытии, никуда от этого момента «безобразия» не деться...

«Через гармоническое, божественное всеединство бытия проходят глубокие трещины, зияют бездны небытия — бездны зла. Всеединство, каким оно представляется эмпирически, есть некоторое НАДТРЕСНУТОЕ единство» (с. 301). Но так это — лишь на нашем уровне реальности и видимости. А в Боге этих уровней множество. И когда проникнешь на глубинно-высший этаж встречи с Безусловным, испытание «злом» и претерпение страдания — есть ввод в некое новое Откровение и взаимо-Любовь с Бытием.

Но так ведь и на лице молодой дамы случилось. Разверзлась трещина — уродство рта и гнилость зуб (= уровень мира сего, что «во зле лежит»). Но тут же излилось Слово Духа и привета, и лучистое сияние из солнца глаз — как «обличение вещей невидимых», но совершенно реальных: коснулась тебя субстанция Святаго Духа — в его зон ты на сей миг вступил, взлетел. И именно — жертвою совершенства (шар — и вдруг прорезь в нем!) совершилось Откровение, Слово, Свят Дух излился-снизошел...

И потому-то так абсолютно существенно важно, что Сын Божий, Бог-Логос, так безобразно распят и выглядит не совершенным Дорифором и Дискоболом, «культуристом» античности, но даже таким, каким ужаснулся, его увидя, Достоевский и его герой князь Мышкин в картине «Снятие с креста» какого-то немца, кажется, Гольбейна? — проверить! — что такое натуралистическое изображение страданий плоти опасно потерей веры...

А уж в наш век — непредставимых преждему гуманитарному веку

и человечеству великомучений тела и души человеков, что издерганы в пытках и исхлестаны в надругательствах, вплоть до самоотвращения и самопрезрения, — для нас то, что наш Бог — не красавец, а страдалец, нас еще пущий, нам есть именно спасение и дверь в Свет и Духовную Реальность. (Да и в индуизме Бхагавадгиты глубочайшее умозрение мира, всего процесса Бытия — как жертвы Брахмо, Первобожества.)

И так как всем нам — страдать неизбежно, не удержусь, приведу мудрые и целительные всем рассуждения на этот счет Франка: «Страдание, возникая из зла, разделяет со злом его бесосновность и неосмысленность, и в этом смысле само есть зло, которое никогда не может быть так „объяснено“, чтобы этим быть оправдано (= укоренено в Правде, что пуще Истины есть первоценность во Всебытии. — Г.Г.). Но содержа в самом себе стремление преодолеть себя, страдание есть вместе с тем ДВИЖЕНИЕ ВОЗВРАТА К РЕАЛЬНОСТИ (а мир зла — „действительность“, но не Реальность, по данной концепции. — Г.Г.) и в этом смысле уже само есть подлинная реальность или благо, а не зло. Момент безнадежной, бессмысленной мучительности — мучительности, доводящей до отчаяния, — лежит не в самом страдании, как таковом, а в том волнении, отвращении, противоборстве, с которым мы его испытываем, — т.е. в стремлении избавиться от него как бы внешним механическим способом, просто УНИЧТОЖИТЬ его — предать его чистому, абсолютно разделяющему и уничтожающему „НЕ“ или „НЕТ“. (Перед этим развита мысль, что принцип „нет“, который, как и все, содержится в Божестве, отделившись от связи с почвой своей в Боге и самозамкнувшись, образует эту «субстанцию», «материю» зла. — Г.Г.) Чистое же существо страдания открывается

нам в той форме его преодоления, которая заключается в духовном ПРИЯТИИ и ПРЕТЕРПЕВАНИИ страдания — в нашей способности ВЫСТРАДАТЬ и ПЕРЕСТРАДАТЬ страдание. Тогда страдание испытывается и открывает себя не как бессмысленное зло, не как нечто безусловно недолжное, даже не как извне наложенная на нас кара, а, напротив, как ИСЦЕЛЕНИЕ от зла и бедствий (перед этим: „единственно возможное постижение зла есть его преодоление и погашение через сознание вины” — нашей общей ответственности за допущение зла в мир. — Г. Г.), как желанный Богу и в этом смысле уже сущностно божественный возвратный путь на родину, к совершенству реальности. Одна из самых очевидных закономерностей духовной жизни состоит в том, что вне страдания нет совершенства, нет полного, завершенного, незыблемо-прочного утвержденного блаженства. „Блаженны плачущие, ибо они утешатся”; „тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь”; и „многими скорбями надлежит нам войти в царствие Божие”. Или, как то же выражает Майстер Экхарт: „быстрейший конь, который доведет тебя до совершенства, есть страдание”. Страдание есть как бы раскаленный зонд, очищающий и расширяющий наши духовные дыхательные пути и тем впервые открывающий нам свободный доступ к блаженной глубине подлинной реальности. Нет надобности особо повторять здесь, что страдание открывает это свое глубочайшее существо только будучи внутренне пережито в МОЕМ опыте, т.е. как МОЁ страдание, и только в этом своем аспекте, как МОЕ страдание, находит этот свой смысл и оправдание. Но это МОЕ страдание в силу всеединства бытия есть страдание за общий грех, — за грех, КАК ТАКОВОЙ. В этом заключается истинный смысл — смысл, открывающийся уже в общем и вечном откровении (в отличие

от специального откровения той или иной религии и положительного текста ее Слова. — Г. Г.), — не только христианской идеи искупления, но и общей идеи жертвы, как мы ее встречаем едва ли не во всех религиях».

И не надо «мыслить и абсолютное совершенство — и тем самым блаженство — самого Бога на пошлый, рационалистически искаженный лад безграничного самоуслаждения и благополучия и монотонно неподвижного покоя» (с. 317).

...Уф! Ну и поносился я сегодня в высях! Глядь — 2.20. Два сильных сеанса по два часа полётал. Вышел снова под небо помахать руками — и слышу в душе звучит — что это, такое ликующее торжественное? А — Свадебный марш из «Сна в летнюю ночь» Мендельсона. Ну да: и я сегодня — жених! Допущен в чертог богов на пир духа!.. — и вдруг слезы рванулись из меня — от умиления и восторга: что могу понимать мысль, пропитан музыкой! Слава Тебе, Господи, — за благодары Твои!..

27 февраля. Немошь. Опадание. Уныние. Вчера под ночь больно рьяно размахался руками — и рывком сдернул очки с носа: они трахнулись о лед — и треснуло именно то стекло единственного зрячего глаза, что с диоптриями и «хамелеон». Хорошо хоть треснуло, а не разбилось навывлет, так что еще могу сквозь трещины вот глядеть-печатать.

Не зарывайся, голубчик, в восхищении-то слишком. Осторожность и малые поправки и сохранение того, что еще есть, — так держать и в отношении себя, и общества. Не соблазняйся, человеке, радикально его выправить-усовершенствовать: то прелесть бесовская утопия, и вместо земного рая социум угрождает в ад, как и случилось в XX веке...

Это я уже вработался в тему книги Франка «Свет во тьме. Опыт христианской этики и социальной философии» (Париж, 1949), писавшейся в потрясении второй мировой войны.

Прекраснодушный гуманистический завет культуры XIX века, в котором возросло его поколение, рухнул; в осколках — ценности. Агрессивное зверство — не просто «радикальное зло в человеческой природе» (как о том научно толковал Кант) — в лице сталинизма и гитлеризма вырвало из ренессансного гуманизма = самообожения человека и его порыва построить совершенное общество, рай на земле — и **ОКОНЧАТЕЛЬНО** разрешить все вопросы, опираясь на свои ясные понятия и убеждения убогого рассудочка сваю.

Как же быть христианину в ситуации этого краха и владевшего людьми цинизма и слабосилия добра? А — не отчаиваться: ведь так не раз бывало в истории, и казалось: последние времена пришли, и не видно просвета и разрешения. Так было и в конце Рима — ан, глядь — христианство возникло! И наше дело — не забота об общем деле («рес публика»), а о конкретном **ЭТОМ** человеке, ближнем: ему подать, помочь — отсюда начинает работать Бог в человеке: изнутри, из малого, из семьи, а потом это распространяется и на нравственную атмосферу множества людей — и сказываться может в итоге и на более благом устройении общества. В последнем тоже должен принимать участие христианин и церковь, но — не торопясь и не уповая на этот внешний путь: исправить среду, условия — и тогда люди станут лучше. На этом как раз попались марксисты и национал-социалисты: по своим моделям извне переделывать человека — силою. Магистральный путь участия христианства в обществе — внутренний: через духовную жизнь каждого человека, ее просветляя...

Бог не торопится. Воспитание человека как Сына Божия по дару и по цели — через трагедию Жизни и искушения Истории — и сейчас в полной энергии совершающийся процесс. Смысл Бытия (в том числе

и Истории) предвысказан «в таинственном прологе Евангелия от Иоанна», где стих «И свет во тьме светит, и тьма не объяла его» (так это в славянских переводах греческого «каталабен») равно допускает иное толкование: «и тьма не восприняла его» — и так это вошло в западное христианство: католическое и протестантское. Первый вариант делает акцент на непобедимости Света в его борьбе с тьмой; второй — на непроницаемости тьмы для света: да, он светит, но без влияния, не в силах рассеять тьму: «И мир остается царством тьмы, хотя в его глубине светит Вечный, Немеркнущий (по логике со-впадения противоположностей в океан Единого Всесмысла) должны удерживаться сознанием христианина и регулировать его поведение в мире.

«При невнимательном отношении к тексту может показаться, что дело здесь идет о **РАДИКАЛЬНОМ** различии между радостным утверждением **ТОРЖЕСТВА СВЕТА** над тьмою и прямо противоположным ему **СКОРБНЫМ** сознанием **БЕССИЛИЯ СВЕТА** перед упорством тьмы — как бы о противоположности между безусловно „оптимистическим” и безусловно „пессимистическим” воззрением». «Если вообще говоря, евангелист несомненно по существу верует во всемогущество божественного света в ином, надмирном плане бытия... — то в плане земного бытия возвещаемый им... радостный, утешительный факт состоит лишь в том, что свет успешно **ОБОРОНЯЕТСЯ** от натиска тьмы, что ему обеспечена его **НЕОДОЛИМОСТЬ** для враждебных сил тьмы... Судьба „света” в мире — трагическая, полная опасности» (с. 21).

Но без трагедии человек бы спал на печи у Христа за пазухой, а не сотрудничал бы Богу в одолении тьмы и материи и вещества и вращении блага в себе, а через то — в мире. Из трагедии-то — творчество:

из диссонанса — тяга к гармонии, из расселины страдания — «Верую!» (Эту тему Бердяев разовьет в «Смысле творчества».) Тут опять о пользе философии: не в том она, что философия подсказывает конкретные решения. Напротив: она норовит забраться в самую высь и эмпирей, недосыгаемый для прямых локальных выводов, — работает с мифами и моделями, которыми улавливаются СМЫСЛЫ (вот и Бердяев — не о Творчестве: его процессе, видах описание даст, но о Смысле сего явления речь поведет). Так и Франк: начинает с задумчивости над ситуацией XX века, а ответ находится в евангельском стихе. Пути же разрешения наших загвоздок сами собой найдутся каждым человеком в каждом его конкретном случае.

Так и мы — в ситуации перестройки и хаоса при этом неизбежного: как личности, чья духовная жизнь, чей смысл жизни укоренен и обеспечен Богопитанием (на нашей глубине — непосредственная протока к Отцу), не должны рассчитывать ни на какое тотальное разрешение проблем, но должны научиться терпеливо жить среди проблем и все новых возникающих трудностей, по мере сил укорачивая их щупальца в доступном тебе ближайшем окружении — среди ближних. Наше дело — терапия. А уж хирургия — действие неисповедимых путей Господних и Его Промысла и попущения — силам Кесарева универсума...

Вот, например: зашел в общую уборную в нашем корпусе, а там наложено в унитаз, воняет и не смыто. Первым движением отшатываюсь, бегу в соседнюю клетушку и внутренне бранюсь на «гада, что насрал, а не слил: тем самым других людей, меня вот, за людей не считя, не уважая». Но потом подумал: а ведь это от расеянности может быть: задумаешься — и забудешься, и побежишь мысль записывать; с тобой ведь бывает подобное забвение — ну пусть не на унитазах, а

вообще... И так умягчился сердцем насчет сего предтечи на толчке. И само собой повело далее и на малый филантропический жест: слить-то все равно кому-то надо! Войдет следующий человек — и, увидя меня выходящего из туалета, подумает, войдя; что это я наклал, что «меа culpa»...<sup>1</sup> Так что лучше-ка я, не дожидаясь осуждения и распространения зла, — прикорочу его на сем участочке: приму вину ближнего — на себя, за него и сделаю... И так пошел и слил и приуготовил чистыми путями для последующего человека.

Вот и механика малых христианских дел. И мне на душе после малой неприятности (зажав нос от вони) — светлее и легко. А и во Космосе, в вещественности мира сего — некий ряд, благообразование в итоге: смыт, чист толчок! Сиречь, «унитаз», по-иностранным-научному.

Однако, 12 уж. Пойдем подышим — но смиренно, не рьяно-люто, как вчера.

*1 час.* Ну вот и намахал малую мыслицу — сяду запишу. Снова подошел к даче Пастернака, зашел во двор. Постоял, не движась: вверх на деревья, на простор поля перед домом глазел. И подумал: про возвышенные предметы поэт писал. А ты — про кучу в толчке!..

Но тут же и оправдывающая мысль: вспомнил знаменитый «провокационный» коан (изречение-загадка) в дзен-буддизме: «Будда — это кусок дерьма». Объясни-ка, растолкуй: как это может быть?..

— А так, что и мир-то — Божий, и все — в Нем, в Бытии, ничто не вне Всеединства. И это наши узенькие-глупенькие различения-отметочки: что красиво, а что — безобразно. Кишки или цветок.

Более того: вокруг сего куса дерьма, что я увидел в унитазах, ка-

<sup>1</sup> Mea culpa (лат.) — «моя вина!» — формула сакрального покаяния, бия себя в грудь.

кие вполне божеские во мне проблемы и мысли стали прокручиваться — и к нравственному поступку привели! В поле Всесмысла эта куча была мною помещена и толчок протолкован — и дало сие повод к упражнению в высоком. И пример **ВНИМАНИЯ** христианского — к каждому шагу и мизерному обстоятельству: во исправление и воспитание себя. Так что и от кучи — к Богу вышел, и, значит, обратно: и в куске дерьма — Будда.

Итак, малые дела... А какое ближайшее благое дело в христианском духе всегда в моей власти делать? Не судить и прощать. И вот дивная запись в записной книжке Франка, помеченная 19 ноября 1942 года (в самый кошмар войны, значит): «В ужасающей бойне, хаосе и бесчеловечности, царящих ныне в мире, победит в конечном счете тот, кто первым начнет прощать. Это и значит: победит Бог».

Итак, в сем мире мы — послы Всесмысла. С нами Бог всегда, так что наша забота: о благе в сей миг. Как довлеет дневи злоба его — так и благо. Не наша забота — итог и что будет: то — в неисповедимых путях Всесмысла; но совершенно отчетливо всегда тебе подсказан жест (или не-жест, воздержание от деяния) сего мига. «Так как «весь мир лежит во зле», и зло имманентно присуще миру и человеческой природе, то борьба против него **ИМЕЕТ СМЫСЛ СОВЕРШЕННО НЕЗАВИСИМЫЙ ОТ ВЕРЫ В ПОБЕДУ НАД НИМ** — более того, имеет смысл при уверенности, что окончательная победа добра — в пределах мирового бытия — невозможна» (с. 47). Как и в мудрости Бхагавадгиты предписывается человеку благое действие **НЕЗАВИСИМО ОТ ПЛОДОВ ДЕЛ**.

«Как однажды выразился в трагические дни войны со свойственной ему нравственной силой Уинстон Черчилль: «Дано человеку знать только, в чем его долг; но не дано

человеку знать, что ему ко благу» (с. 94). Тут тоже понимание, что в контексте Всесмысла наше суждение не работает: отказываюсь судить порядок вещей и других. Но себя — могу: тут — предел точности попадания, нам доступной. «Мои пути — не ваши пути, — говорит Бог у пророка Исайи, — Мои мысли — не ваши мысли; но как небо отличается от земли, так Мои пути и мысли отличаются от ваших». То, что мы на нашем языке именуем **СМЫСЛ** чего-то (вещи, жизни, мысли даже вот этой, что я сейчас думаю), — и есть приближение к Мысли Бога: к итоговой «клетке» данного предмета, явления, идеи, существования человека этого — на шкале Всесмыслов (в Книге Животной). И туда вперен взгляд и ум философов. Потому-то, держа прицел-мушку ума своего так высоко, философ и понимает то, чего не понимает простой человек, когда он берется **СУДИТЬ**, и ученый, когда он уверен, что нечто **ЗНАЕТ**. «Всякая вещь и всякое существо в мире есть нечто большее и иное, чем все, что мы о нем знаем и за что его принимаем, — более того, есть нечто большее и иное, чем все, что мы когда-либо сможем о нем узнать» (Непостижимое, с. 38).

Но наряду с таким «высокомерным» Богом, что величаво говорит: «Мои пути и мысли — не ваши пути и мысли», с Богом Всемогущим, «Страдающий Бог — Бог, разделяющий страдания творения, из любви к нему соучаствующий в его трагическом борении, ценою собственных мучений подающий человеку спасющую и укрепляющую руку, — есть необходимое восполнение всемогущего Бога» (Свет во тьме, с. 97). И это — Христос, пришедший с Благою вестью (как и переводится слово «Ев-ангел-ие») о том, что мы — дети Отца и истинные причастники Царствия небесного.

«По выражению немецкого мистика Ангелуса Силезиуса: «бездна



души влечется к бездне Бога». И «человеческое сердце — или, иначе говоря, двойственное, одновременно духовное и эмпирическое, душевно-телесное существо человека — есть только единственное опытно нам известное место соприкосновения этих двух миров — единственное опытно нам доступное отверстие, через которое благодатные силы иного, высшего мира могут вливаться в мир эмпирический и действовать в нем» (с. 88).

Однако «что просто и очевидно для сердца, остается невыразимым для отвлеченной мысли» (с. 104).

Так мы снова вернулись к проблеме Непостижимого — основной теме философии Франка.

18 ч. Однако я слишком увлекаюсь толкованием отдельных ходов мысли Франка и никак не могу представить целостную концепцию его христианской этики и социальной философии, как она развита в трактате «Свет во тьме». Сейчас дисциплинирую себя и дам ее очерк — чужими<sup>1</sup> словами:

«Если и в «Непостижимом» Франк говорит об иррациональной «надтреснутости» Всеединства в земном плане, то в «Свете во тьме» он говорит уже о «противоестественном состоянии мирового бытия», «метафизически невозможном», «Всемогущий, божественный свет оказывается в эмпирическом бытии мира все же не всемогущим, поскольку ему противится злая человеческая воля. Метафизически невозможное — ограниченность силы в мире божественного начала света — оказывается эмпирически-реальным».

Трудно было бы лучше сформулировать всю загадочность власти тьмы и всю имманентную трагичность мирового бытия...

Единственно возможный здесь выход и единственно-оправданная

теодицея заключается в указании на сияющий образ Христа, сошедшего в мир, чтобы принять на себя грехи мира и спасти мир от зла. «Мир во зле лежит... Но мужайтесь, ибо Я победил мир»...

Что же можно сделать в этом расколе человеку, христианину? Франк проводит тут четкое различие между совершенствованием мира и его спасением. «Спасение мира возможно (пересказывает Левицкий) лишь через «обожение» мира и человека — через преодоление самой формы мирового бытия. Спасение мира возможно лишь актом божественной благодати»...

Но это отнюдь не снимает задачи совершенствования мира — создания в нем таких условий, при которых зло было бы сведено к минимуму... Здесь предоставляется широкое поле для самостоятельности человеческой воли. Цель спасения — озарение тьмы светом, цель совершенствования — возможно большее ограждение света от окружающей его тьмы.

В наше время эти две задачи нередко смешиваются. Возможное совершенствование мира подменяется стремлением к метафизически невозможному силами человеческими «спасению». Так возникает «ересь утопизма», составляющая проклятие нашей эпохи. Природа самого заблуждения, говорит Франк, заключается в замысле «спасти мир» мерами закона, т.е. установлением некоего идеального, принудительно осуществляемого порядка (замысел построения коммунизма как, по словам Маркса, «разрешения загадки всемирной истории». — Г.Г.). Но спасти мир принудительно невозможно, так как лишь просветленная свобода может явиться «проводником» сил благодати. Поэтому все утописты переносят на закон (ср. упоение законотворчеством в «Чевенгуре» Платонова и на нынешних сессиях Верховных Советов. — Г.Г.), в лучшем случае, на моральное при-

<sup>1</sup> Левицкий С. А. Очерки по истории русской философской и общественной мысли. т. II. Двадцатый век. Посев, 1981, с. 110—111.

нуждение (= воззвания к «сознательности». — Г.Г.), ту функцию спасения, которую по существу дела способна осуществить только свободная сила Божией благодати. И, так как задача сущностного спасения наталкивается на сопротивление человеческой природы, то в тщетной попытке осуществления этой задачи приходится прибегать к жестоким и деспотическим мерам. Попытка построить новый, идеальный мир наталкивается на препятствие в лице реально существующего мира, отсюда вытекает стремление уничтожить старый мир. В результате задача положительного построения нового мира на практике подменяется задачей разрушения, что приводит к господству в мире «адских сил». В наше время национал-социализм и большевизм особенно явили собой примеры этой стихии разрушения. В этом и заключается злая диалектика «ереси утопизма».

Но если «спасение мира» неосуществимо силами человеческими и приводит лишь к новому приумножению сил зла, то задача его совершенствования вполне по силам человеческим. Высшая этическая идея такого «совершенствования» — это идеальный образ мира, вложенный в него Творцом.

...Положительная, священная основа мирового бытия... присутствует и действует в нем конкретно в форме некоей гармонии, согласованности отдельных частей, коротко говоря, в форме порядка или строя — того, что античная мысль разумела под непереводаемым словом «космос»: тот комплекс нормирующих начал, который человеческая мысль воспринимает как «естественное право» или как закон мировой жизни, установленный самим Богом. Отсюда вытекает, продолжает Франк, обязанность блюсти эти начала, пока не кончится самое время.

Задача «совершенствования» есть, таким образом, задача «блюдения» богоустановленных начал и совпа-

дает поэтому с задачей «сохранения мира»... По его мысли, то, что кажется нам «прогрессом», на самом деле есть не что иное, как «восстановление» неких утерянных давно положительных начал. «Всякое совершенствование мира есть... борьба против каких-то разрушений и бедствий, вносимых в жизнь грехом...» Всякая объективно оправданная реформа (как и нынешняя «перестройка». — Г.Г.) есть некое восстановление, возрождение, некий возврат к нормальному, исконному, естественному порядку жизни — к «образу мира», понимаемому как совокупность вечных устоев бытия.

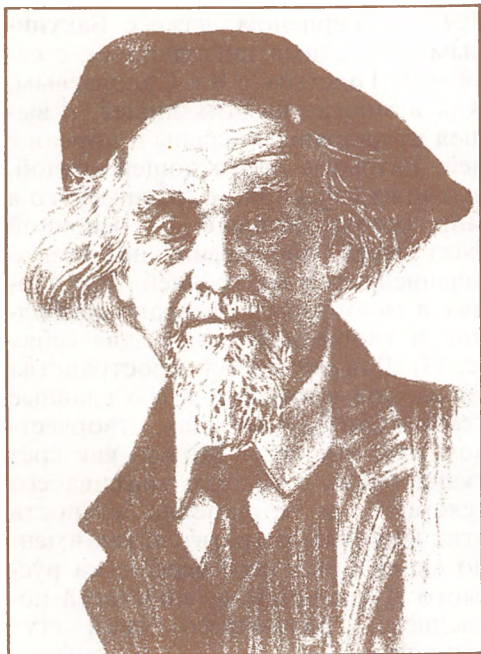
...Франк особенно обращает внимание на то, что в задаче сохранения мира нужна огромная напряженная энергия, чтобы поддерживать мир в стационарном состоянии. Мы стоим перед таинственной силой греха в мире. Враг, с которым нам приходится бороться, не есть случайный, внешний враг. Это есть внутренний враг, таящийся в глубине нашего сердца (но автоматика отчуждения склонна усматривать такого — во внешних телах особых людей: «врагов народа» или «врагов нации». — Г.Г.). Именно поэтому задача простого сохранения жизни приобретает первостепенное значение (чтобы остался материал хотя бы человеческий Богу для работы... — Г.Г.). Окончательная победа здесь невозможна — дай Бог оградить мир от разрушительных сил» (Левицкий, с. 114).

А так как нравственная работа начинается с «я», то чем меньше социум (семья, село, маленькое государство) — тем больше «удельный вес» любовных отношений там и обоженнее космос. И нам ныне, при хаосе и смуте в огромном государстве, даже совет некий: как выкарабкаться? — у Франка во «Свете во тьме» вычитать можем: «Отсюда уясняется, между прочим, одна в высшей степени существенная черта необходимого общего социально-

политического устройства. Это устройство наиболее нормально и плодотворно там, где оно складывается из гармонической координации многих небольших союзов и общественных объединений. Ибо именно в малых союзах общественный порядок может в наибольшей мере носить характер личных отношений между конкретными людьми и потому определяется внутренними нравственными силами, тогда как всевластие более обширных объединений и в особенности государства неизбежно опирается на бездушное принуждение, на безличное — и потому всегда, в конце концов, не учитывающее конкретно-нравственной природы отдельного случая —

действие общего закона, или на холодный, равнодушный к конкретным нуждам жизни бюрократизм. Семья, соседская организация, профессиональные ячейки и союзы всякого рода, свободные благотворительные организации, местное самоуправление — все это есть каналы, через которые животворящий дух личных отношений между людьми и тем самым личная нравственная жизнь (т. е. принцип Личности! — Г. Г.) проникает в сферу принудительных общих порядков и в максимальной мере способствует действию в нем благодатных сил внутренней богочеловеческой правды» (Свет во тьме, с. 389).





## Бердяев

28 февраля. Так бы еще хотелось понежиться душой и умом в теплом, любовно-семейном, домашнем, ласковом мире Франка, где так интимно чувствуется, что «с нами Бог» (= «Эммануэль») и что он ближе ко мне (по слову Августина, принятому Франком), нежели я сам к себе; что моя личность с Богом в интимном сожительстве; а раз так — то я уже в обеспеченности и комфорте пребываю даже среди трагедии мирского существования... — но «ваше время истекло» (сиречь, пространство, отпущенное мне, т. е. что я себе могу позволить отпустить на Франка в этой книге), и снова подстегиваю себя кнутом-рефреном из Пушкина: «Вперед, вперед, моя история! Лицо нас новое зовет...» Или чувствую себя Хлестаковым, что, взяв очерд-

ную взяточку от чиновников городка («в дороге», мол, «поиздержался»), отправляет их за дверь: «Не смею больше задерживать»... Но не стыжусь этого образа, ибо и трудолюбивая пчела с цветочка взяточку берет — и я так напитываюсь волшебным нектаром высокой мысли, «что и требовалось доказать» — мне, когда, вырываясь из мелко-травчатой злобы сего дня, рванулся в небеса Духа и Логоса — за питанием увядающего внизу ума моего.

С Бердяевым мне легче — потому, что читаны мною основные его труды, а «Смысл творчества» — аж более 30 лет назад, в конце 50-х, в первую «оттепель» и наш первый философский ренессанс, связанный для меня с Гегелем и Ильенковым. Из его круга тогда Борис Шрагин (тогда эстетик, не политик) порекомендовал мне эту книгу. И когда я весной 1960 года писал свой трактат «О необходимости искусства» (что был набран уже в «Искусстве» в 1962 году, но Хрущев пошел в Манеж и обрушился на художников и книгу мою рассыпали; вышла уже в 1980 году, в «Детской литературе», но укоротили мое заглавие: «Творчество в жизни и искусство» на вялое и беспроблемное савейское перечисление: «Творчество. Жизнь. Искусство»), бердяевской мыслью, несомненно, был пропитан и восхищен. Франка же лишь «С нами Бог» читал я раньше, а по-настоящему познавал лишь сейчас, в прошедшую неделю сожительства с ним.

Бердяев сам облегчил задачу изучающим его, написав под конец жизни «Самопознание (опыт философской автобиографии)» (Париж, 1983г.) — как своего рода Исповедь (Августин, Руссо, Толстой...). Хотя сравнение неточно: те писали (кроме Руссо) — о духовном переломе, перевороте, «революции», что с ними свершилась, «земную жизнь пройдя до половины» (по словам Данте); этот же итожит свой путь и труд накануне пришествия на Суд — сло-

вно сам свой листок-анкету в Книгу Живота заполняет. При этом не отступает от гордо-свободного принципа, коим руководился всю жизнь: быть себе автором — поведением, суждения, мысли:

Ты сам свой высший суд!..

— даже здесь замысла перехватить инициативу—у Бога самого: не Ты меня судишь, но я себя, свободной волею, поставляю в объект—так же, как и прежние предметы, развитые моим философским умом в трактаты. И получилась действительно замечательная книга, и по ней нам сподручно его образ, его общий абрис обрисовать, с чего я и начинаю обычно вхождение в мир идей мыслителя.

Сел перечитывать вчера «Самопознание» и—«да это ж Печорин!»—такой у меня стал складываться образ: гордый аристократ, баловень судьбы во всем внешнем, и «я очень хорошо ездил верхом и хорошо стрелял в цель». И точно: «У каждого человека кроме позитива есть и свой негатив. Моим негативом был Ставрогин. Меня часто в молодости называли Ставрогиным, и соблазн был в том, что это мне нравилось (например, «аристократ в революции обаятелен», слишком яркий цвет лица, слишком черные волосы, лицо, походящее на маску)». «Я всегда себя чувствовал очень связанным с героями романов Достоевского и Л. Толстого, с Иваном Карамазовым, Версиловым, Ставрогиным, князем Андреем и дальше с тем типом, который Достоевский назвал «скитальцем земли русской», — Чацким, Евгением Онегиным, Печориным и др. В этом, быть может, была моя самая глубокая связь с Россией, с русской судьбой. Также чувствовал я себя связанным с реальными людьми русской земли: с Чаадаевым, с некоторыми славянофилами (о Хомякове и Леонтьеве у него книги — оба аристократы вольные, а последний — и эстет, брезглив к плебсу, как и Бердяев. —

Г. Г.), с Герценом, даже с Бакуниным и русскими нигилистами, с самим Л. Толстым, с Вл. Соловьевым. Как и многие из этих людей, я вышел из дворянской среды и порвал с ней. Разрыв с окружающей средой, выход из мира аристократического в мир революционный — основной факт моей биографии, не только внешней, но и внутренней. Это входит в мою борьбу за право свободной и творческой мысли для себя» (с. 43). Дав ему поболее пространства слова, мы уткнулись в его главные темы и слова: «свобода», «творчество», «я», «мысль». Можно как срез ткани брать с некоего массива его текста — и непременно кучность этих идей нам встретится, как именно «идей фикс» сего персонажа русского Духа, одной из ипостасей последнего, развившего свой тут вариант.

Но еще на образе задержимся. Бердяев сам пригоршнями швыряет любителям психоаналитической клубнички материалы на себя «компрометирующие». (При жизни-то был на этот счет максимально целомудрен, скрытен и брезглив и презирал копание фрейдистской черни в жизнях, характерах, натурах и «комплексах» гениев творческих, выискивая у них приближающее их к ним низкое и пошлое, как будто бы определяющее суть и содержание их творческих парений и открытий человечеству.) И делает это — не без высокомерной иронии: да, я чуток к запахам, не желал свою мать, брезглив к плоти, люблю сумерки, не вкусно мне мясо, очень редко бывал счастлив, не люблю людей, но привязан к коту и собаке, противна «жизнь» и не имею охоты ловить мгновение, мне трудно вдвоем, а легче с большею; с кадетского училища отвратительно общество мальчиков и их разговоры, а предпочитаю женщин как друзей; не люблю «род», семью и «почву»; лес ближе сада... — и т. п.

Мол, нате вам! — ну и что? Стали



вам понятны мои борения в Духе и построенные мною замки в философии и отвоевания новых просторов Разуму Человечества? Смешно! Дело в том, что мне самому мое «я» — чуждо, я не совпадаю с ним (и эта интуиция, самочувствие — у глубочайших мыслителей: и у Августина, и у Паскаля, у Декарта, и у Франка: что *не я, но мною* мыслит и пишет некий Сверхсубъект, что ближе мне, чем я сам...), а дано мое поле-тело как поприще на подержание, в аренду — мысли, Творчеству свободного Духа. А вы меня связываете: хотите укоренить и детерминировать в этих признаках и так будто — «понять», уловить!.. Натe — но не выйдет! Вся моя жизнь и труд — ускользание от предопределений, и это я развивал. И потому под конец жизни смело «иду на Вы» — с открытым забралом рыцаря свободного Духа. «Нужно отличать «я» с его эгоистичностью от «личности». «Я» есть первичная данность, и оно может сделаться ненавистным, как говорил Паскаль. «Личностью» же есть качественное достижение. В моем «я» есть многое не от меня» (с. 44).

Однако, как «космософ», я не могу не воспользоваться теми подсказками, что дает Бердяев о себе прямо на любимом моем языке четырех натурфилософских стихий. «Гиперчувствительность соединялась во мне с коренной суховатостью моей природы. (Таков и наш Шукшин: сух и пожар, как борзая, а вся ткань — словом из одних нервов и сухожилий, а не из вялого мяса. И ноздрями поводит, «чуткий демон», как и Бердяев: «Я исключительно чувствителен к миру запахов. Поэтому у меня страсть к духам». — Г.Г.). Моя чувствительность сухая. Многие замечали эту мою душевную сухость. Во мне мало влаги. Пейзаж моей души иногда представляется мне безводной пустыней с голыми скалами. Я всегда очень любил сады, любил зелень. Но во мне самом нет сада. Высшие подъемы моей жизни

связаны с сухим огнем. Стихия огня мне наиболее близка. Более чужды стихии воды и земли» (с. 39).

То есть перед нами сосуд — антипод матери-сырой земле, что есть состав России, ее субстанция. И потому таковой ей наиболее подходящей Муж: его состав — воз-Дух и огонь = те стихии как раз, что женскому началу России и необходимы в восполнение. Потому имеет право таковой сосуд гордо самостоять и чутя свою правоту и быть несклоняем и непреклонен: ибо именно в таковой своей вертикальности, как предельный «столп и (даже самоутверждение Истины)», — он есть наилучший и накрепчайший фалл-монолит, что потребен сей распылчатой каше и грязи (что есть плоть-почва сыроземли), ее лону. Он — аскет, всю жизнь испытывал к сему склонность; и на такового как раз сильнее вожделение женского начала: привлечь его в разные склонения — «мы», «партии», «коллективы»; но он их бежал и оставался гордый меджнун Мысли, неистовый бхакт духовного Эроса, в пустыне наилучше предающийся своим экстазам — творческим.

Но здесь есть важный акцент-оттенок. По моим выкладкам из космофизики России: Мати-сырой земле парен, как сын и супруг, — народ-СВЕТЕР (свет + ветер). А тут сам Бердяев означает в себе именно чистый огонь. И в массиве его текстов не помню умилений-блеяний к Све-е-е-ту, как вот и у Франка, у Соловьева, Булгакова С. и многих — сих разнеженных, немужественных припаданий к слиянию, отказов от своей вертикальности одинокой, стремясь раствориться в субстанции — пусть и НАД-станции: не земли-почвы, но Неба-Бога-Славы-сияния. Бердяев — мужественный атом, самостоящий в мире и чертящий свою траекторию.

Теперь я нашел наконец слово («ужели слово найдено?»), что мне просветило (опять — ах! — «свет!»)

Я-то тоже скорее светопоклонник, чем огнепоклонник, как мой герой (сейчас), что мне понять помогает загадку бердяевского стиля. Его текст и слог сразу поражает короткими простыми предложениями. Это как пули отлитые и выстрелы, даже не короткие очереди. Там, где другой словослагатель склонен был бы слить в одно сложное, соподчиненное предложение несколько простых связанных друг с другом и почкующихся тезисов, он, скорее, даже простое разрубит на части. «Тоска может быть религиозной. Религиозная тоска по бессмертию и вечности, по бесконечной жизни, не похожей на эту конечную жизнь» (с. 59). Тут точкой — даже в противоречие с грамматикой — обрублено приложение, которому нормально бы или через запятую, или тире быть присоединенным к предыдущему сказу. Но так Бердяеву ненавистно всякое слияние, со-Уз, со-подчинение, так блюдет-бдит над одиночеством и самостью и отдельностью своих граней и формы как замка свободы («по характеру я феодал, сидящий в своем замке с поднятым мостом и отстреливающийся»), что ненавистен ему даже СИН-таксис, который есть СО-у-порядочивание, спаривание и, значит, сравнение самостей, иначе бы свободных. И потому в своем мышлении (а оно всегда — связывание разного) Бердяев так слагает слова и мысли, где бы они наивозможно самостно, выпукло выпирали. Его Мысль — на пределе СО-мысла.

А Франк-то, напротив: в своей тяге к синтезу и органике Жизни (а ее начало — влажное, Вечно-женское), какие сложносоподчиненные — и со многими еще и вводными — в одну фразу-период закладывает-запузыривает всякие разности и всячинку мыслительную, умную! О, от стиля — и к проблематике мне выход наметился! Не имеет Бердяев, как помнится мне, желания витать мыслию вокруг Всеединства и на все

лады его описывать-строить-обосновывать: это как раз — утопление различностей. А именно Личность ему дорога — персона, и именно человека, не растопляя ее в Личность Божества (как у Франка); и его философия — персонализм, а не Всеединство. И каждая мысль у него — персоналия: предел простоты. И в этом тоже — мысль и идея. Ведь атрибут Бога — простое; сложное же — качество вторичного, производного. Выражаясь сложными предложениями, человек стилистически исповедует свою вторичность, тварность, что он раб и сын, — и вот и юлит и вьется и старается — у ног Отца и Владыки... Если же я выражаю мысль простыми тезисами — да я ж в этом равнобожен: прям и горд, не согбен. И Иисус учил апостолов: «да будет слово ваше: да-да, нет-нет, а прочее — от лукавого». И Сам говорил простыми предложениями заповедей и притч — говорил «как власть имеющий».

И слог Бердяева — это слог власть априорно имеющего, не спросясь и не доказываясь (свое правомочие обосновывая, как Кант). Нет — как Ницше: афоризмами, как Сверхчеловек, преодолевший «человеческое, слишком человеческое». Как и ницшеанец Сатин в «На дне» Горького. Тот тоже в ницшеанский свой период любил афоризмами выражаться. А афоризм — это волевая мысль-заклинание, энергией заряженная избыточной — той, что бы растеклась на все сложное предложение-период, как это у Франка.

И действительно, «всеединщики»: Вл. Соловьев (с его гладкописью полированно-паркетно-салонной), Сергей Булгаков, Флоренский (златоуст медоточивый), Франк — будь им воля и возможность, в одно бы предложение вселенское вложили все свои книги-мысли о Всесмысле, все время ласться об всеобщий синтез и убегая трагедии: раскола и дискретности существования. Бердяев же именно эту дискретность бытия, его

состоящесть из атомов и пустоты (как Демокрит) знаменует точками, как зияние пустоты, ее глаzenie на нас между тире текстов = текстуры, тканей, материи — неизбежно материнского-рожденного предЛОЖЕНИЯ. Оно — как лоно-тело, тезиса положение — вниз, на плоскость-площадь общения социума, на горизонталь; как распластыванье-унижение гордой вертикали огня-пламени, — так это мне мнится-видится-понимается. «И манит страсть к разрывам» (Пастернак) — это вектор Бердяева; установка его — вырваться изо всяческого облегания, и чуть почует его своими чуткими ноздрями — хотя бы дух-запах, потугу на такое, — сразу вырваться и бежать!

Ну да: те, «всеединщики», пишут ПЕРИОДАМИ. А что есть сие? «Пери-одос», по-гречески, «об-ход», «путь вокруг», дорожка окольная, обхождение приятное, дамское — с Вечно Женственным так именно, галантно толковать пристало, а не косноязычно-рубленными толчками-тычками бердяевских ударов-уколов, выпадов шпагою аристократической. И, кстати, тут и сословный оттенок в стиле есть. Это аристократам присуще выражаться кратко-лаконично-энергично: «Максимы» герцога Ларошфуко, *pensées détachées* («отрывочные мысли») Монтеня, Паскаля — в век абсолютизма. А вот роман — жанр буржуазный, третьесословный, человеческий, слишком человеческий и плембейский, — какую «периодику» в стилистике развил! Такие виения-обволакиванья мысли-идеи! Все косвенно, отводя взор застенчивый, стеснительный, пока в Канте совсем не зажалась в себя и не расписались в неспособность, в отсутствии эротической энергии взять вещь в себе, по-н-ять ее (в жены), познать сию женщину — материю. И затиснули мысль в рабскую проблему «гносеологии» — сию философскую импотенцию...

Ну и, конечно, стихийный самоанализ Бердяева нам тут в помощь: каждое предложение так и стоит — как голая скала в безводной пустыне. Вода — это женское: связь, социальность (река, течение К), влечение — то есть склонение и несвобода, обвязь. И связывание простых предложений — это бы их слияние, обобществление их единоличности = я-самости. Этот же — как Анчар, или как где-то в рефлексиях Печорина: я — суховей, ветер из пустыни, сжигающий чужую жизнь...

Но вернемся к бердяевскому исповеданию себя ОГНЕМ — не СВЕТОМ. В России — это новость, редкость. И тут на ум мне приходят ОГНЕЗЕМЛЯ Германства и ОГНЕВОДА Французского образа мира (так они почувствованы у меня в Космософии разных национальных целостностей). Да ведь Бердяев сообщил, что с детства на немецком и французском языках говорил, как на русском, и бабушка его — французженка, графиня Шуазель. Да и из Киева он — с Юга России, откуда и Гоголь. И у того огонь не как свет, а огонь как жар — акцентирован более. Не петербуржец Бердяев и не москвич, как дотоле русские мыслители. Киевлянин потом и Михаил Булгаков, что тоже более жарок, нежели светов, — и сатанинско-огненную буффонаду и Вальпургиеву ночь развернул в «Мастере и Маргарите»... Важные акцентики...

И Бердяев, конечно: аристократ и рыцарь в мышлении, как француз, но и огненный дух (*Geist*) свободы, как и Кант — в «Критике практического разума». И наиболее он из русских мыслителей Канта понял и любил и школу его прошел. (Все-то более норовили — к Платону, Шеллингу, Гегелю, и даже большие наши философы не улавливали свободный нерв Канта...)

Ну раз уж стихийный анализ ведем: СВЕТ, по идее самой себя, — не может быть «один», «атом», «индивиду», но — коллектив, «мир» (= «бе-

лый свет», в русском умозрении), народ. Вот народ русский — это действительно СВЕТЕР, ему это подходит. Личность же одиночная — это образ вертикали («светер» же — образ объемный, пространства, дали-шири), и ей более подобает символ дерева или огня (свеча, язык пламени). Недаром Бог — Логос — это Свет (Он же — Небо). Человек же в евангелиях со светом не сравнивается, разве что «светильник» — одиночный источник...

2 ч. Так что сосуд Бердяева — ОГНЕ-ВОЗ-ДУХ. Да его патроны: ОНеГиН и СтаврОГиН = огни, вслушайтесь в звучность. «Меня называли в молодости «вольный сын эфира». Это верно лишь в том смысле, что я не сын земли, не рожден от массовой стихии, я произошел от свободы» (с. 61). Кстати, уважающий синтаксис тут бы сказал: «НО произошел...»: ни к чему повторять «я», раз есть в начале фразы и относительно сюда же; но Бердяев будто забыл о том «я», и каждый кусок текста снабжен своим «я».

Но «огне-воздух» — пространство «духов», между Землей и Небом, опасная обитель Князя духов (по Порфирию-неоплатонику): пространство борьбы ангелов и аггелов, демоническое. И это чувствуется и у предтеч Бердяева (людей «хищного типа», по Аполлону Григорьеву), и в нем самом...

1 марта. Возвысился от рабства — к свободе. А что на утро — рабство твое? Массажная сестра еще на неделю отодвигает меня, а там и уезжать скоро — и не подмогу руке. А сунул ей позавчера десятку в конверте («к 8 Марта подарок» — сказал) — подмазать. Мало, может? Или не умею добиваться? Вот где слуга = господин... Зависимость, рабство мое — от человека сего? Но он вторичен: первична — плоть моя немощная. Но и это потом, а раньше — мое желание чего-то себе «лучшего» — и рабство у него. А это уже — свободовольное расположе-

ние моего духа: я выбрал хотение того, что от меня не зависит. Но могу и дать отбой сему желанию. И это будет уже — акт освобождения от власти бытия надо мной. И совершу его — через бунт. Но не против условий: против сестры массажной (на нее сердиться — это дальнейшее укоренение в рабстве, куда я сам себя вверг). А против ближайшего ко мне условия, что в моей власти: хотение и раздражение от неисполнения желания. Желание = страдание. О, это уж — и буддизм: «духха» = желание-страдание, вторая «благородная истина» — о страдании и его причине. «Возможно, что тут найдут во мне что-то буддийское» (с. 74). А это о себе рассуждение я попробовал выдержать в бердяевской шкале понятий и ценностей.

И, пожалуй, подобрался к корню проблемы: теперь, с этой точки — загасить себя (что предлагает буддизм — к нирване, что — «нибхана» = угасание), или воспламенить, что выбирает огне-воздух Бердяева: ввысь, вперед — сотворяя пространство свободы и обитель личности там? Но это — радикально иная установка ума.

Не ласковое обсасывание бытия (как его, Божья мира и природы, любители, в том числе и «всединцы», которые, как ласковое теля, — двух маток сосут: и бытие, и дух: и Соловьев, и Флоренский, и С. Булгаков), но отказ от «бытия» и опора на «свободу»: «Дух есть свобода и свобода есть дух» (с. 70). То есть, выбирая Дух, отметаю Бытие. И если в мире нет места для свободы — я его творю. Потому что «я» — искра свободы, и за жизнь я ее разжигаю в костер — Личность. Ее ж территория — не бытие, а свобода. Ее пища и воздух.

И это вполне согласуется с тем, что потребно России, как матери-сырой земле: в кротости и унылой поникшестьи ее серенькой природы и реденького населения — огненный

муж! Что не даст себя засосать в топь и свалить на обломовский диван и в халат, чему тут предлагают миллионы «законных» оснований — от бытия именно: и нет условий, и «среда заела», и все равно «плетью обуха» («олуха» — хорошо ошиблась машиночка) не перешибешь, и «один в поле не воин», и проч.

Нет, именно ОДИН-то в поле и воин — если он Чацкий (так размышлял еще Гончаров в статье «Милльон терзаний»), родной Бердяеву персонаж. А всякое «мы» (перед которым даже Франк распинался в умиленном бляяньи: «мя-я-я» и «ме-е-е»), коллектив, масса — это ипостаси бытия, удушашего личность, свободу и творчество. Всякий РОД — в том числе и «наРОД» и «приРОДа» — отвратительны адепту Свободы и суверенности Личности. «Все родовое противоположно свободе... Род всегда представлялся мне врагом и поработителем личности. «Род» есть порядок необходимости, а не свободы. Поэтому борьба за свободу есть борьба против власти родового над человеком. Для моей философской мысли было еще очень существенно противоположение рождения и творчества. (В моей системе это «гония» контра «ургия». — Г. Г.) Свобода, личность, творчество лежат в основании моего мироощущения и мирозерцания» (с. 64).

...А кстати, могу продемонстрировать сейчас, как я по-«бердяевски» выпутался из ситуации с массажной сестрой, с чего начал сегодняшнюю думу. Во-первых, я принялся ее *обдумывать*: т.е. переложил из Бытия — в Дух (и мой), на его территории стал с сим общаться. Я это — Отговорил, отмыслил, и в ходе думания сам породил себе предметы и сюжеты для мысли и времяпровождения при этом — такого сладкого и увлекательного, что забыл и о хворях своих, и вольно летаю в пространстве свободного мышле-

ния, которое этим же мышлением себе и сотворил для жизни в духе, как обитель. Не спросясь у Бытия, а — «сам с усам!» Поверив себе — в персональность и осуществляя ее правомочие. Так и я на своем опыте сего утра являю бердяевскую триаду: Свобода, Личность, Творчество. Все три «необходимы ему» — хотел сказать, но «необходимость» — антипонятие в его мире. Все они взаимодействуют друг друга. Неслиянны и нераздельны. И даже сопоставить со Святой Троицей является во мне соблазн: Свобода = Бог-Дух (Святой). Личность = Бог-«Сын», Логос. Творчество = Бог-Творец («Отец»). В кавычки ставлю «Отец» и «Сын», так как они из «Рода» и неадекватны бердяевской системе понятий.

Но все же пока эти заклинания о Свободе звучат необоснованными. И это так и должно быть: ибо Свобода — первичное понятие, идея, ценность, которая сама будет обосновывать все прочее построение и расположение идей и вещей и мира — в данной ипостаси Всесмысла, что развивает Бердяев. Ну а если вы, как рабы, не можете остановиться на Свободе как первоначале и постулате и живом корне, — так нате вам из богословия объяснение: Сам Бог-Творец возжелал иметь себе в Человеке, коего создал, — не раба послушного и вещь-инструмент, но — сотрудника, сотворца, друга — и для того «вдунул» в него свободу воли — и попустил даже бунт против себя и грехопадение. Потому что Свобода и Богу дороже правильного бытия и Космоса и Закона, который Бог-Творец Сам прекрасно мог учредить — и Бытие вышло бы Совершенством, и Истиной, и Благом. Но — статикой — и скукой и самому Господу. А чтобы весело было, мир свергнут во Время, Историю, динамику и игру. И человек в этом партнер Богу-Творцу, кем он может быть лишь при «условии» Свободы, как первокачества и первоисущности его. «Идея свободы для



меня первичнее идеи совершенства» (с. 61).

Но и эти рассуждения — вторичны, и обоснования... А первична — СТРАСТЬ к свободе: акт Любви (отчего сразу и антиномия, которую отмечает в своей жизни Бердяев: «Свобода могла сталкиваться с любовью» — с жалостью в нем, с состраданием). Итак: «Я люблю» = «я хочу!» — первее Бытия, а и Бога.

Философия Бердяева — от человека, а не от Бога: не претендует разобратить строение Бога и Божьего мира, но как он, мир, все — долженствует предстать в оптике Личности человека (а не Личного Бога даже: это уже вторично).

И это «оправдано» — даже из Бытия и Всеединства — может быть. Поскольку «ВСЕ ВО ВСЕМ», то и ВСЕ ИЗ ВСЕГО — и из каждого может быть взвидено и выведено (как из монады), положив сие как первоидею. Только она самовоспламениться должна — как звезда, особой энергией. На то и рождаются в мире разные личности, существа духовные, что излучают от себя на все вокруг особый ракурс и особую перекombинацию старых элементов, знакомцев философии и религии, освеженно взвиденных и перепонятых, дают — и тем всех нас обогащают новым пониманием Всесмысла существования. Так что сколько людей, да и вообще существ — столько и философий. Я вот написал «Евангелие от Растения»<sup>1</sup> (как «От Иоанна») — и это тоже возможно: оттуда око на мир и его устройство как и что видит-разумеет?..

В контексте развитых только что проблем и сюжетов понятнее зазвучит нижеследующее исповедание Бердяева в главке «Свобода» из его «Самопознания». (Не начал я сразу с цитаты, потому что в ней даны итоги и формулы уж готовые, что от-

<sup>1</sup> См. в кн. «Человек и Природа», 1989, № 5 — мой «Смысл Растения»: словом моим «Евангелие» убоялись обозначить...

лил, как пули, Бердяев за всю жизнь и устал уж разъяснять. А нам надо разрыхлить вопросы — и тогда понятнее лягут его ответы.)

«Меня называют философом свободы. Какой-то черносотенный иерарх сказал про меня, что я «пленник свободы». И я, действительно, превыше всего возлюбил свободу. Я изошел от свободы (как «исходят» от Духа — новорождаясь, в крещении. — Г. Г.), она моя родительница. Свобода для меня первичное бытие. (Кстати, задумался о знаках препинания в синтаксисе Бердяева: нет почти двоеточия и редко тире. Ну да: эти знаки знаменуют связь и зависимость и вытекание одного из другого, т. е. несвободу атомов речи. И недаром Бердяев признается, что слаб в анализе и дискурсии. Они суть почкования из матки — деток, порождение новых понятий из родительского. А дискурсия при этом — как пуповинная нить рассуждения. — Г. Г.) Свообразие моего философского типа прежде всего в том, что я ПОЛОЖИЛ В ОСНОВАНИЕ ФИЛОСОФИИ НЕ БЫТИЕ, А СВОБОДУ. В такой радикальной форме этого, кажется, не делал ни один философ. В свободе скрыта тайна мира. Бог захотел свободы, и от этого произошла трагедия мира. (Всеединцы норовят хитроумными построениями о расколе и зле прикрыть «преодолеть» трагедию мира и человеческого существования, за что их журит церковная ортодоксия, например, в книге Флоровского «Пути русского богословия». Но и «светский» мыслитель Бердяев-экзистенциалист настаивает на ненужности преодоления трагедии. Трагедия — ценность человека. Дух и личность — тут как ~~рабы~~ рабы — тьфу ты, пропасть! второй раз машиночка подсовывает «рабы», где я имел в виду «рыба в воде». — Г. Г.) Свобода в начале и свобода в конце. (То есть и как исход, сущность и энергия и самопричина, — и как цель, что должно

развить в человеке: через свободу строится Личность. — Г. Г.) В сущности, я всю жизнь пишу философию свободы, стараясь ее усовершенствовать и дополнить. У меня есть основное убеждение, что Бог присутствует лишь в свободе и действует лишь через свободу» (с. 60).

Но как, зачем, отчего первофилософ Свободы явился в России, где еще пещерные насчет свободы люди, пригостишки в яслях гражданского общества, — обитали?

— А именно поэтому! — готов объяснить. Тут — свежесть первоудивления сему принципу. В других странах, где она уже века самоопределялась и уж обставилась правами, законами и гарантиями, — она стала привычна, потеряла свой блеск и сияние. В России же — вспышка удивления Свободе. А удивление, по Аристотелю, — начало познания. И сразу на всех этажах-уровнях бытия ее молния прорезалась: и в устройстве общества, и в человеке (свобода воли, а отсюда и зло, и грех...), и в мире ценностей и весмыслов («Легенда о Великом инквизиторе»: как людям тяжело бремя свободы, и Христос «виновен», его возложив...), и в метафизике, что и развил философски Бердяев.

И для того понадобилась «цветущая сложность» (термин К. Леонтьева), аристократизм в человеке-сосуде Свободы; на вершине двухвекового развития дворянской цивилизации в России вспышка молнии сей идеи прорезала Русскую Думу — самочинно и бунтарски. Мятежно. И в этом аристократ и причастник к высшему правящему, государившему слою Бердяев — как Стенька Разин в философии.

Да и социологически это объяснимо: вспышка созвездия идей: Свобода, Личность, Творчество — да это ж именно то, чего чаяла извека Русь и человек в ней; вот и после реформы 1861 года повеяло, и устремились к простору в этом направлении,

вершиной чего явились революции 1917 года. Так что «Свобода в начале и свобода в конце» сего полувека, когда она самовзорвалась и самосожглась — раскольниковичьи... Или то — не она? Ведь Бердяев не устает доказывать и объяснять, что свобода — тонкое, аристократическое состояние и ценность. «В противоположность распространенному мнению, я всегда думал, что свобода аристократична, а не демократична. Огромная масса людей совсем не любит свободы и не ищет ее. Революционные массы не любят свободы» (с. 60). Ну да: свобода сопряжена с личностью, а масса — давит, удушает личность, как материя угнетает дух. Свобода — это трагедия и ответственность («Свет» есть в «ответственности», — подсказала мне ошибочкой машиночка. — Г. Г.). А масса рвется к счастью и отчудить, возложить бы на кого или что (плохой правитель или «среда», «засуха», непросвещенность...) — вину и грех... Потому свободный человек не избегает опасности и идет навстречу страданию (как Христос). Это редкость и роскошь в человеке — такой выбор.

Из тройцы известной: «свобода, равенство и братство» масса легко приемлет «равенство» — и это энтропия, вектор к поравнению: залить и угасить цветущее и сложное — через зависть. «Братство» — лучшее «равенства» понятие. Если «равенство» — из неорганической природы, закон вещества, механики, то «братство» — из организма Жизни, приРОДы. Но тут — тоже давят личность. Ее же опора и принцип и сущность и питание — свобода. Но по мере восхождения возрастает смысл и дух — и убывает сила. Этот закон еще германский философ Николай Гартман вывел: «что УРОВЕНЬ бытия обратно пропорционален его СИЛЕ — что высшее, будучи производной надстройкой над низшим, всегда слабее последнего. Силы духовного порядка слабее сил

животных, силы органического мира слабее сил мира неорганического» (Франк, Свет... с. 39). Эта же закономерность выражена по-простому в поговорке: «сила есть — ума не надо». А так как «в единении — сила», то, ненавидя массу и силу, Бердяев отвращен был и от идеи «единства» и «Всеединства» (что на разные лады развивали русские различинческие и плебейские мыслители, такие думники», как Вл. Соловьев, П. Флоренский, С. Булгаков, С. Франк) и жестко и неколебимо стоял за персонализм-плюрализм. Но не как бытийственно-природноцветущее разнообразие — сие расслабленное эстетство, гедонизм и пантеизм ему были чужды (в частности, и Гёте, перед кем всеединцы лебезили), но как самоначальность многих духов и путей и самозаконов, которые исполняются каждым даже в аскезе мужественной. Уж выбирай: самодостоинство или наслаждение. В последнем ты — раб своих желаний и чувственности. В первом же — самодержец, но и над собой! Принцип *sagre diem!* (лат.) = «лови мгновение сего дня!» — не для такого. «Я никогда не мог ловить счастливых мгновений жизни и не мог их испытать. Я не мог примириться, что мгновение быстро сменяется другим мгновением. С необычайной остротой и силой я пережил страшную болезнь времени».

Вот еще пара категорий: Время и Вечность. «Я, очевидно, принадлежу к религиозному типу, который определяется жаждой вечности. «Я люблю тебя, о вечность», — говорит Заратустра. — И я всю жизнь это говорил себе» (Самопознание, с. 41).

...1.15. Прошелся — и кое-что начал в ум. (Кстати, этот пульс сердца, дрожь мгновений, что я обозначаю датами и часами, — из оперы именно Времени, и чуждо это, как и Дневник, Бердяеву.)

Итак, если Бытие не берется в предмет мысли, то и *причины* — не

мое дело. А вот *цели*, концы — это да: их уже я могу себе свободно положить и развить, и строить себя туда, и устремлять путь и жизнь, тогда как вопросы: «откуда я, из чего?..» — оставить это должен человек Свободы за бортом мысли, как не моего ума дело. Потому Бердяев строит «Опыт ЭСХАТОЛОГИЧЕСКОЙ метафизики» — исходя из конца света и вещей, из середи, тогда как все прежние философы копали основания и дознавались до причин и происхождений (особенно германский Логос туда устремлен: в низ и глубину; фундамент и основания здания разума строит Кант).

И не истина — как данность есть то, что я ищущу, но Истина — как мое строительство, чему близко Христово: «Аз есмь истина, путь и жизнь», так что и истина — экзистенциальна, творческа.

Ну да: позади — РОД (родители, природа — отвратно это, дурно пахнет Бердяеву), впереди — Дух, воздух чистый, ну или окрашенный моими любимыми духами, или дымом сигар/ет/: мною зацветенный...

Да и истина — не дана, а расстилается, как ковер, что я тку в вольном умозрении — сочинения, в коем в сей миг существования моего пребываю. Вот и я сейчас в истинном пространстве пребываю: из «я» в свободе творю соображения. Такое состояние: среди троицы (Свобода, Личность, Творчество), внутри ее и ею облучаемое, — Истина (не вообще, а та, что присуща миропониманию в сей оптике). Истина = Естина (Флоренский так толковал). Но что подлинно ЕСТЬ со мною сей миг? То, что я свободно сотворю из себя и материи мира и духа, вырываясь из их плена; ЭКСТАЗ — любимое состояние, куда стремится вольный творец: выйти из себя, из ограниченный и у-словий облегающего бытия и среды. Тяга к превосхождению — и самопревосхождению. «Работа над собой» — мы говорим. Чем же

плохо? Оптимальна таковая установка для человека.

...Снова о синтаксисе: нет у Бердяева построений типа: «если... — то», «хотя... — то», то есть условных и уступительных соподчинений, — которыми извека работала философская дискурсия-рассуждательство. Понятно: это же логосы несвободы, всезависимости, вытекания одного из другого, а не свободного самополагания тезисов-предложений. Ну да: предложение бердяевское именно само себя вот великодушно дарует, кладет — из ниоткуда, будто с неба свалясь, веско и атомарно ударяясь, но не раскатываясь...

Ну хватит на сегодня писать. Давать читать-начитывать... Кстати, эти реплики себе выдают, что именно экзистенциально у меня течет мышление, как вплетенное в жизнь мою, которая не отмысливается при этом: познающий включен в процесс мышления, что и делаю я в «жизнемысли» и «привлеченном мышлении».

2 марта. Ну, припадем к делу любимому, страстному — умозрения. Хоть силенка и невелика на сегодня, но начни, а там — Господь подаст!.. А зачем «Господь»? Раболепное сие наименование Бога... Бердяев его — и вполне в соответствии с комплексом своих идей — не любит... Вообще прорезывается мне организм бердяевских воззрений, где все соответствует друг другу. Его ствол — Древо Свободы. И оно ветвится, питаясь всеми проблемами Духа: культуры, философии мировой, как воздушно-водно-лучевой средой, — и перетолковывает их по-своему, свои листья наращивает, добываясь совместимости тканей-идей.

Вчера отложил «Самопознание» и перечитывал «Смысл творчества». И тут просто чувственно ощутило, как принцип Свободы обосновывает Личность, та — Творчество, а последнее — новый взгляд на все: на Богочеловечество и т. д. И в то же

время выдавливает из себя по капле раба = принятые миром (и отчасти и им самим с детства) воззрения. Например: постулат «научности» философии, что будто как «само собой разумеющееся» нечто укрепилось в культуре. Перед духом науки лебезили и Спиноза, и Кант, и Гегель, не говоря уж о неокантианцах и прочих гуссерлях в нашем веке. Философия мечтала стать наукой, точным знанием. Зачем? — вопрошает Бердяев. Наука — да, Научность — нет. Наука имеет свой узкий, частный ареал в приспособлении человека к миру сему, ее узенький рассудочек несмелый — итог падшести человека: придавленный грехом, он ловит синицу в руки и как бы прожить: не до жиру Духа, быть бы живу!..

Но у философии — высшие задачи: прозреть горнее и выправить взгляд человека на сверхмирное. Потому она — не ремесло методическое (а так, помню, Декарт размышлял, строя «Рассуждение о методе»: чтобы любой посредственный человек, вооружась его методом, шаг за шагом мог бы постигать мир), но искусство, художество. «Философия — как творческий акт» — с этого тезиса начинается трактат-воззвание о «Смысле творчества». Наука — экономное приспособление к необходимости; она ветхозаветно-законническа («законы» приРОДы ищет, в рабстве у РОДа), связана /с/ грехом. И ядовитый дух «научности», как зараза и миазм, лезет во все поры ума и Духа в культуре, пригнетая полет воображения и выпрямление человека к свободе. «А докажь!» = «А уважь!» — меня, мир сей и его самозапреты. Давит тяжесть и масса вещества — и их действительно способнее постигать наукой: недаром в естественных материях она разобралась. Но верх мира, Дух — не ее ареал. Тут — дыхание вольное, огонь в вертикаль стремится навстречу Небу. И философия — роскошь, а не экономия.

И тут национальный Логос прозревается. Недаром в Германии, где известный «педантизм» (от лат. *pes, pedis* = стопа-ступня), то есть тяжесть зовет, — там и ум философов вперен в «фундамент», «основания», «причины» и «происхождение» в прошлом, в начале все ищет, — и философия там наибольший соблазн «научности» испытала. Хотя и там же, словно реактивно, выстрадан экзистенциальный бунт философии: Киркегор, Шопенгауэр, Ницше...

Но в России не вертикаль вниз, а «вертикаль» в даль — в странничество зовет, на поиск, в незавершенность бытия, открытость; и тут естественнее чувствовать философию как поиск, а истину — по Христу: как «путь и жизнь». И вижу, как и в Бердяеве подтверждается моя формула русского Логоса: «НЕ ТО, А... (ЧТО?)». Если западная логика: «это есть то», дает ответ, мир тут завершен, космос — совершенство, и мысль, развиваясь, возвратна, в оглядке на свои основания, закруглись в форму ищет, — то Бердяев обитает как бы в мире только что начавшемся, словно в первый день Творенья: кругом просторы и целина для новых дел и пониманий. Совсем не назад глядит (как те страны-народы, что чувят позади и под собой и вокруг увесистое ставшее бытие, «дазайн» — *Dasein* — германства, и вынуждены это все понимать стараться — Естину Бытия), а от зада лишь отталкивается — в «НЕ!» — в «критике отвлеченных начал» (Соловьев) западного ума и научности (Бердяев). И не мучается объясняться, оправдываться, что смеет мыслить, — в рабском судилище гносеологии (как препоясаны западные философы с Канта до Когена и Гуссерля), а мыслит, думает — и баста! Так и живет в Духе и пролагает пути-дороги в Даль и Ширь.

Отношение Бердяева к запретам гносеологии подобно поведению

русского народа в партизанской войне против Наполеона: «И благо тому народу, — пишет Толстой (привожу по памяти. — Г.Г.<sup>1</sup>), — который, не спрашиваясь, как в подобном случае по правилам поступали другие, берет первую попавшуюся дубину и гвоздит ею, пока последний...» (далее не помню слов, но смысл: пока последний чужеземец-захватчик не исчезнет с земли...). И Бердяев — такой партизан-бунтовщик, ушкуйник в приличном университете философии (то-то всегда чурался кафедр и профессорства и казенного дома философских «проффи»). Так что, хоть и обличал он большевиков и советский коммунизм, но делал это с такой максималистской страстью, что верно учуяли эмигранты в его душевной структуре — революционера-«большевика», гневливого, даже «террориста» в Духе — с такой отчаянностью он пер прямо на научно-гносеологический профессорский рожон...

Но, в отличие от революционной массы (что единой силой своей сумела лишь разрушить хорошее, а построила — ад и ублюдок), личность творит из себя — из ничего, а так много умного и прекрасного! Именно в положительном сотворении — философский подвиг Бердяева, а не в критиканстве. Из возлюбленной первоинтуиции Свободы он построил и онтологию «бытия», и метафизику («эсхатологическую»), и философию истории, и теологию и т.д. Так что философия его — профетическая: пророчествует о том, чего не знали-не ведали, таких подходов и пониманий. И естественно, что и стиль его — не извиняющийся во всяких условных «если» и уступительных «пусть», «предположим»,

<sup>1</sup> Не выправляю цитат: иначе выветрится дух и интонация живого, непосредственно здесь и теперь совершающегося мышления. А случающиеся «ошибки» памяти — не ошибки, а своего рода трансформации, переживания мысли, истолкования. — 13.3.90.



«хоть», но заклинательный, прямо афористически полагающий мысль, как капсулу, ампулу и корпускулу, спору — в оболочке твердой, что как бутылку в океан бросают, — на долгое плавание, выживание, и когда-то дойти до понимающего ума...

Ареал мысли Бердяева — вот это многоточие в «Не то, а...». Тут место для новизны, икс для заполнения — жизнью и творчеством, ибо естественнейше задается внутренним вопросом таковой непредвзятый и не рабский ум: если Бытие совершенно-закончено, есть Космос (как и Платон: табло идей совершенно, и лишь крутится — повторяется Космос), то зачем же я и моя жизнь, душа и ум?..

Вот это: проблема **НОВОГО** — также в исходной интуиции Бердяева. И надо сказать, что она — ренессансна. Это тогда зачался в Европе интерес и вкус к новенькому: «новелла» (откуда и роман — «новел», по-английски), «новости». Новое интереснее старого, тогда как в фольклоре — «старинны», «былины», в религии — «старчество», «отцы-мудрецы», «старейшины», «Ветхий завет»: старшее — умнее молодого-модно-го. Так и в Средневековье было. Но теперь и в России — эпоха «первоначального накопления», после Реформы 1861 года, и, естественно, ренессансные пошли процессы в самочувствии и в культуре. Недаром так и именуют «Русский религиозно-философский Ренессанс» рубежа веков. Но он шире — и в психологии общественной, и в самочувствии людей, личности в человеках — раскрепощение, «выдавливание в себе по каплям раба» — крепостного... Да и Ленин писал — о выпрямлении чувства личности в революции...

И естественен пристальный интерес и передумывание именно **НОВОГО** Завета: уже Достоевским и Толстым (последний вообще свой перевод Евангелий сделал). В ту же дугу и дуду — и концепция Богочеловечества Вл. Соловьева — основная

интуиция русской религиозной философии, что равномошна двум предыдущим тут сверхидеям: Ветхому Завету Бога-Творца, Новому Завету Бога-Сына, Иисуса Христа. Теперь естественно вызрела идея Третьего Завета. Она уже давно вызревала в Европе — и логично было стать Завету Святаго Духа. Об этом и Иоаким Флорский еще в Италии XIII века, и реформаторские «ереси», что именно в канун и в эпоху Возрождения развились и совпали с гуманизмом: с возвышением человека и его самочувствия в бытии. Но гуманизм каким-то роковым образом свернул с предложенной ему яснейшей и прекрасной идеи **Бого-ЧЕЛОВЕКА** (ведь в Христе был невозможнейше верховным образом осмыслен принцип и роль человека: как Духа и Сына и Друга Бога и Сотворца Ему), а человек вместо того припал к земле («гумус») — вгрызся в «прах я и в прах возвращуся», предался тяжести своей и земляную свою, а не воздушную субстанцию принялся развивать-пестовать — в том числе и в педантично-методичном рассудке науки...

И вот в России теперь начали накапливаться потенции для Третьего религиозного сказа о Боге, мире и человеке, где должны встретиться принципы Святаго Духа — и Человека как Сына.

Все к этому сходилось на рубеже веков. И вдруг культ новооткрытого русского великого святого — Серафима Саровского, кто именно проповедовал **СТЯЖАНИЕ СВЯТАГО ДУХА** и радостное христианство (как и Франциск Ассизский: Серафим тоже жил в природе и, как тот «проповедовал птицам» и цветочкам, так этот — в лесу и медведям...): встречаемого человека он именовал «Радость моя», — а не покаянно-стыдно-греховное христианство, когда человек не смеет глаз поднять горé, а смотрит лишь вниз, в землю. Кстати, Бердяев ополчается и на этот традиционный

образ человека и позу смирения в живописи и иконографии: что человеку будто положено только вниз, в землю глядеть, замыкаться на вине и грехе, только их видеть — свою тьму; небезвредно это: тьма перед очами ума (как и материя и гумус в естественной и гуманитарной науке) — тьма и зло в человеке подпитывают мощно, в угоду как раз «князю мира сего», что «во зле лежит» — старый.

Еще более мощный вклад в новое религиозное откровение вносит Николай Федоров: человек призван к сотворчеству с Богом — в преображении и себя, и мира, вплоть до дела воскрешения отцов — то, что уж только Богу-Творцу полагалось по силам. И претворить приРОДный порядок существования. Так понятый человек (и его дело и призвание) уже — не раб Божий, а Сын Человеческий и Божий; выпрямлен и составлен вертикально вверх и вглубь: прах отцов под собой и в себе чует...

Недаром Вл. Соловьев оценил учение Федорова — как первое слово после Христа. И его Богочеловечество — в фарватере федоровской интуиции: привил эту идею к древу наличной религиозно-философской традиции. Также и Бердяев еще дальше тут пошел. «В это время был открыт Н. Федоров, которого раньше совсем не знали. Это я считаю очень ценным. Н. Федоров во многом мне очень близок» («Самопознание», с. 187. Выписываю и для Светланы — Семеновой, жены моей, Федорова духовной дщери, пассионарии и пророчицы и издательницы...).

Да сам Космос России сводил на своем теле эти сверхидеи: Свет, Дух, Творчество. Их как бы взыскивало Пространство: тут белый свет и белый снег (и «мир» = «белый свет», и человек тут — «свет ты мой, батюшка»); стихия надземная тут — Воздух и Светер. Ну и «Бесконечный простор» — это как бы то многого-

чие («как точки, как значки, торчат неприметные твои города» — Гоголь), пунктир путей-дорог, ширь-даль, незавершенность — есть где пройти и развиваться-разгуляться богатырю вольного Творчества...

Только вот насчет сверхидей: Человек, Свобода, Личность — я вдруг застопорился, засомневался: зовут ли их Космос России, взыскует ли?..

Да, с точки зрения Пространства — тут естественнее быть не «я», но «МЫ», не «личность», а «НАРОД». И не самодержавие — поддержание свободной личности гражданина, но самодержавие Государь/ства-Кесаря, а не частного человека...

Но так это — именно БЫЛО во России: таковое ей — уже была и старина. А она уже вступила — в Историю, и в нынешнем шаге Времени именно их черед настал — сих идей. Человек — как Свободная Творческая Личность. Как Самость, а не Род и Раб. Потому что эта пара: Народ и Государство — что могли, то уже сказали-соделали над Россией — супругой своей обшей: обняли (дошла она до границ-пределов, форму свою обрела), кое-как ее любили-воздвигали-пахали... Но слабо, экстенсивно, поверхностно — ибо всею плоскостною массою и не давая воли вертикали единоличности.

И философия Бердяева — это тоже отмена крепостного права на самосознание человека. Ведь его держали потупя очи вниз, вперенным в свою вину и грех, будто и не приходил Христос, что жертвою Своею искупил грех первочеловека, так что после Христа человек уже Бого-Человек, напоен Христовой субстанцией, сыновней Богу, и как Друг и Сотворник Богу — Отцу-Творцу отныне. Так нет же: церковь (как Запада, так и Востока) будто и не вняла Новому завету, а все держит человека-христианина уже — в сознании первородного греха, на уровне Ветхого

завета и закона, вперенным в сотворенный уже мир и себя, и все усилия за жизнь — будто на то, чтобы снова и снова прочувствовать свою причастность ко греху, пережить искупление — и больше ничего. То есть взгляд вперед — вспять, в короткое замыкание на прошлое и причины, и события исторического откровения, что записаны в Священном Писании...

Но возникает ядовитый контрвопрос: отчего же это в Евангелии ничего не сказано впрямую о Творчестве — как призвании человека, как уже Сына Божия? Разве трудно было Христу среди прочих заповедей и это разъяснить? Чего стоило?..

И тут ум мыслителя великолепно «изворачивается» и находит простой и очевидный ответ, оборота это «опровержение» — себе же в «подтверждение». Ведь если бы Бог так прямо и приказал человеку: твори свободно! — это было бы как раз противопоказано самому принципу и идее Свободы и Творчества: они по понятию своему — автохтонны, самовозникающи. Тут как в песне: «Догадайся, мол, сама...» Человек, искупленный Сыном Бога от греха, тьмы и тяжести земли и праха, может поднять свое лицо, залитое потом, горё и взвидеть небо и свет и дух и бесконечные просторы для нового творения в бытии — по образу и подобию Творца мира и его акта Творения. Туда теперь ему естественно глядеть и делать, а не снова и снова вспять и назад, будто все уже сделано и он не нужен и существование его призрачно-повторно (как и учит всеединец Платон в переселении души-метемпсихозе и вечном возвращении...).

Да: именно в новом религиозном самосознании жизнь человека — нужна именно своєю новостью Богу и становится содержательна и тверда: в ходе творчества из свободы — вырастает моя личность, строится она — как духовная энергия и со-реальность Богу и миру.

Бог не окончен. «В отличие от всякой мистики единого (Индия, Плотин, Экхарт) я исповедую моноплюрализм, т. е. метафизически и мистически принимаю не только Единое, но и субстанциальную множественность, раскрытие в Едином Боге непреходящей космической множественности, множества вечных индивидуальностей. Космическая множественность есть обогащающее откровение Бога, развитие Бога» (Смысл... 1989, с. 260).

Но ведь и для Откровения Бога нужен сосуд, способный внять, воспринять Открывающегося, — и таковой призван из себя создать выпрямляющийся человек. Бог нуждается в человеке: «В Боге есть страстное томление и тоска по человеку. В Боге есть трагический недостаток, который восполняется великой прибылью — рождением человека в Нем. Мистики учили о тайне рождения Бога в человеке. Но есть иная тайна, тайна рождения человека в Боге. Есть зов человека, чтобы Бог в нем родился. Но есть и зов Бога, чтобы человек в Нем родился. Это и есть тайна христианства, тайна Христа... Бог и человек — больше, чем один Бог... Лишь миф о тоске Божьей по человеку и по любви человека приближает нас к последней тайне» (с. 356). Человек призван «к исключительной активности, к созданию той прибыли для царства Божьего, имя которой богочеловечество». И это — его ПОДВИГ и риск и дерзновение, на что он может подвигнуться лишь свободной волей. «А платоническое учение о том, что все человечество и весь космос предвечно завершены на небе, в идеях Божьих, превращает мировой процесс в комедию и лишает человека реальной активности и реальной свободы. Человек есть прибыльное откровение в Боге». И потому приемлемее трагедия жизни, чем мнимое будто-бытие в предварительной за человека все-решенности. Отсюда — экзистенциализм: вдумчивое переживание своего

существования, его каждого шага и пути — как духовного опыта, полного смысла, достойного именно Священного Писания. «Нужна добродетель небезопасного положения, способность бесстрашно стать над бездной. Третье творческое откровение в Духе не будет иметь священного писания, не будет голосом свыше: оно совершится в человеке и человечестве, это откровение антропологическое, раскрытие христологии человека. Антропологического откровения Бог ждет от человека, и человек не может его ждать от Бога... Его должен совершить сам человек, живущий в Духе, совершить свободным творческим актом... В нем все трансцендентное становится имманентным. Человек совершенно свободен в откровении своего творчества. В этой страшной свободе — все богоподобное достоинство человека и жуткая его ответственность. Добродетель небезопасного положения, добродетель дерзновения — основные добродетели творческой эпохи... Тот, кто трусливо отказывается от страшного бремени последней свободы, тот не может быть обращен к Христу Грядущему, тот не уготовляет Его второго пришествия. (Стилистика «Песни о Буревестнике» Горького: «Им, гагарам, недоступно наслажденье битвой жизни...»). — Г. Г.) Лишь жертвенная решимость стать в положение опасное и рискованное, плыть от старых и твердых берегов к неведомому и не открытому еще материку, от которого не протягиваются руки помощи, лишь страшная свобода делает человека достойным увидеть Абсолютного Человека...» (с. 338).

Тут мне вспомнился исходный образ Франка, каким он давал нам представление о Непостижимом: острова в океане. И очевидна разность их умозрений: Франк, уютно устроившись на острове, в доме-семье и где «с нами Бог», подручный и обеспечивающий смысл его существования — везде (в том числе и в мире

сем), гедонистически протягивает щуп мысли в океан и его холод, в простор и красоту бесконечности. Он подходит к берегу, смотрит, понимает, что знаемый им мир А и Б, понятий и объектов, есть песчинка в Великом Бытии... Но — с места не сходит — на риск пути. А — приводит мир к себе. Ведь и так можно: раз Всеединое — везде, то каждая точка может себя считать его центром и преисполненной...

Бытие — статично у Франка выходит.

И только повторенья  
Грядущее сулит.

(Баратынский)

А Бердяев явно отвечает: мои дни нужны Богу, с них Он ждет от меня подвига одоления бездны незнаемого — и творчества себя как личности и нового в мире.

Торжествующий итог философского труда Бердяева: найдено оправдание человека, АНТРОПОДИЦЕЯ впервые осуществлена (тогда как доселе два тысячелетия религиозные философы заняты были ТЕОДИЦЕЕЙ — «оправданием Бога»). Ответ — Творчество: затем и нужен человек Богу и миру — и себе. И этот ответ вынесен в подзаголовок этого труда: «Смысл Творчества. Опыт оправдания человека»... Соловьев, помним, писал «Оправдание Добра»...

3 марта. 10 утра — принимаю позитиву: у окна слева, сидя на кровати, распялив ноги — торец массивного стола обняв. Слишком утренне расслабился: за завтраком пересел за стол к пожилым дамам, что весело стрекочут новости, как милые сороки. Кант говорил: «Философ не должен обедать один» — и верно: и так ум за разом от сосредоточения заходит, так что хоть чуть рассеять о жизнь, ее повпустить — «экзистенцию», заботы и карнавал... Но вот и — слишком: разметалось нутро в мелкие дрызги-дребезги. Надо снова собрать себя. Как? А вот как: фу! — и нету! — отдунуть-

отплюнуть, как при крещении — от сатаны... Это милое мирское множество, изыди от меня сейчас! Оно будто облегчает — от напряжения-аскезы мысли, но с ним вляпываешься в раздражения-биения, что вразнос твое внутреннее существо растаскивают, так что облегчение — отягчением выходит.

Да и вчера: завершив утром трудно-усильную все ж работу над «Смыслом творчества» Бердяева — его перепонять-представить, — решил, что теперь из него надо будет что полегче взять: например, «Русскую идею» — некую рекреацию мне и читателю на ней учинить — день отдыха. И что же? Стал читать и — устал — гораздо более, нежели от чтения книги «О рабстве и свободе человека» (что перед этим еще на свежую голову читал), где, по его же самооценке, в «Самопознании», лучше и зрелее дано его миропостижение из свободы, нежели в книге ранней под прямым названием «Философия свободы». Его «Русская идея» — такая верхоглядно-ознакомительная пробежка по головам-темам русских мыслителей и писателей (не такова ли выходит и сия моя «Русская Дума»?..), от чего только дразнишься и утомляешься. А главное — беспроблемно: сам при этом не мыслит-перводумает, а излагает добытые уже прежде уразумения, и не чувствуется сопротивления материала и усилия мысли по его преодолению. А именно этим он и его мысль сильны — и увлекательны: борение героическое созерцать его духа с толщей предыдущего философского материала — в первостройке им мироздания — из Свободы (а не из Бытия и Идеи). Роеет, врубается — философский шахтер-работяга Духа... (Фу! вмешался в слух модный Вознесенский, засоривший ухо «Прорабами духа»...

Да, как отдыхаешь душой — при усилении духа! Когда ум твой сосредоточенно обрабатывает одну идею, предмет, деталь (как токарь на стан-

ке), то восстанавливается и в тебе монолит, единое: космос из частей тебя снова слагается — при том, что космизуешь нечто вне себя: ряд в идеи или форму в материю вносишь. А когда открываешь себя потоку впечатлений, содержаний, материалов, — бомбардируют они тебя, бедного, ткань твоего существа, мембрану, и весь ты раздерган, не в себе, помешан: мешают твоей тишине, «я» взмешивают-взмучивают: муть и муку в тебе взвешивают: во взвесь взбалтывают. От болтовни — что будто бы легче углубления мысли...

Но, описав это свое состояние, я уже по бердяевским темам прошелся. Дух — не душа. Душа — в сопряжении с телом, ввержена в бытие и мир объектов, что вот и впустил я в себя через праздные разговоры: трассирующе запуляли в меня имена людей, события, предметы, случаи, слова, схемы ценностей, оценки... При этом я отдался, принадлежал миру.

Но когда я, измучась, отверг, отплюнулся от сего раздеривающего множества (что делаю сейчас вот) и вслушиваюсь внутрь себя, приходя именно в себя, одинокого единого, — и я успокаиваюсь и что-то понимать начинаю: проясняется болтушка мира мне, и его взвесь — оседает, прозрачнееет.

Что ж: устремился в древнее дело: «познай самого себя» — и чрез то соберется и познается и мир, и выстроится из твоего универсума — наружный и внутренний космос. То есть «я», как потенциал само строящейся Личности, есмь универсум (по Бердяеву), и когда прихожу в себя = прихожу в Свободу, освобождаюсь от рабства мира сего — разнообразного (в том числе и от рабства у политики, любопытства своего, от хворей плоти и проч.) и задышу свободно и свободною, — тем самым изымаю себя из кутерьмы внешнего хаоса и внутренней мути раздраже-



ний; и так постепенно мир внешний обретает образ (красоту, космосом становится), а во внутреннем гармонизируется душа, и мир в ней устанавливается. Как в молитве сказано: «И на земле мир (= космос), и во человецех (в том числе и во мне) благоволение». И тогда

Смиряется души моей тревога...  
И в небесах я вижу Бога

(Лермонтов)

Происходит встреча моей личности с Богом как Личностью — сразу в двух местах: в Небесах внешних, в высях, в Космосе (что есть наружный символ Бога) и внутри: в «царствии небесном, что внутрь нас есть» — на глубине души моей: там мир, покой, гармония, радость — и благоволение...

Тут мне моя формула Бога приходит на ум, что я за многие годы духовно-душевного опыта себе прояснил и выработал: «*Бог есть Интеграл моих благоволений*» — этих моих состояний, что во мне пунктирны: то появятся, то исчезают, покидают — и я опадаю, как «Проблеск» Тютчева и «Рыцарь на час» Некрасова. Но все ж — БЫЛО ЭТО, и я памятью то состояние, когда

Как бы эфирною струёю  
По жилам небо протекло!

(Тютчев)

И вот соборность всех этих моих воскресений из падшести: когда я во любви и радости и благой воле ко всем и вся пребываю — аз, жестоковыйный иначе и смерд обычно, в буднях, — это и составляет мой «образ» — чувство Бога — интимный, уникальный, ибо это МОИ состояния, в конкретных ситуациях моего существования и его переплетках вдруг — вспыхивающие, меня посещающие миги озарения и подьема и восхищения к Вышнему (они же — миги прихода в себя истинного, миги возврата в простую суть и душу мою...).

И уж если на то пошло, и мою формулу «доказательства бытия

Божьего» приведу: «Я ХОЧУ ТЕБЕ БЫТЬ!» То есть: Бог — не данность и факт Бытия, его объект, вещь и понятие; так Его не найдешь. Он не таков — и постыдно бы Ему быть таковым. Так что формула: «Бог есть» — проскакивает мимо его существа, и прав атеист и «нечестивец», что рече: «Несть Бог!» Не по модусу Бытия Он проходит, а по модусу Воли, Любви, Сердца. А Воля — из Свободы акт и акция из «я», устремленного стать Личностью, ко Благу нацелившей себя. И вот когда я таков становлюсь — тогда для меня есть Бог. Потому и в псалме Давида «рече безумец В СЕРДЦЕ СВОЕМ: «Несть Бог!» — и это не то же самое, что я выше представил как объектно-умное заявление рассудка и понятия. Тут он согрешил в сердце — и оно больно. Для злой воли — действительно нет Бога.

Даже по-латински могу эту свою формулу заявить:

Volo Te esse!

= «Я хочу Тебе — быть!» или «Чтобы Ты был!» и именно с восклицательным знаком: как волево провозглашение-закливание души, испускание-излучение энергии сердца Тебе навстречу: и эта энергия — сотворяющая Тебя в сей миг, воживляющая. И это не магия (тоже мне, как и Бердяеву, противно-грязная, тонко-материальная, как и теософия и антропософия), а волевое и творческое движение свободного духа из личности моей.

Вот я уже и в терминах Бердяева заговорил. И это потому, что узнаю родственный мне духовных исканий опыт.

Снова внимем в то, что со мною сим утром происходило. Я отвернулся от суетливых разговоров — повернулся в глубь себя — и там встретил дух родственный ближнего — Бердяева (его мысль как родную прочел-понял) — и встретил Бога. Обоюдный акт внимания-пони-

мания-любви-познания совершился: и себя, и мира идей; и при этом я духом жил: жизнь как интенсивное существование сопровождал.

Началось и завелось все по формуле Русского Логоса: «Не то, а...»

1-й акт: «НЕ ТО» = отвращение души «от ликующих (или трепещущих), праздно болтающих»...

2-й акт: «А» = противопоставление, мятеж, борьба: сосредоточение в некоей точке, атоме, в Аз — и из него («я», корня Личности) основаначатие, самодержжание, — и импульс энергетический, что побуждает. Акт Воли — к позитиву, что уже

3-й акт: «...» — многоточие — бесконечный простор, и по нему вектор-стрелка  $I \rightarrow \infty$ , устремление в однонаправленную (ко Благо-позитиву) бесконечность, открытость возможному Откровению, выход на встречу к Нему, на риск, и отплытие, «а там — будь что будет!» и «была не была!». Отчаянность — от прежнего отвращение = ЧАЯНИЕ «будущего века» и упование, акт Веры, взыскание грядущего града и блага и истины... И струнулся — на «ПУТЬ И ЖИЗНЬ», что и станет моим прибавлением к Бытию, актом моей жизни — как творчества в себе, в мире и во Боге.

Еще могу быть рад, что моя интуиция, когда вырабатывала эту «формулу» (что тоже условно, конечно) Русского Логоса, то останавливалась на многоточии, а если доходила до некоторого утверждения, то подавала его так:

НЕ ТО, А... — (ЧТО?..)

то есть под вопросом и в скобках: как необязательность и зыбкость некоего итога-завершения-ответа. Ибо сам путь и есть истина и жизнь: искание смысла = уже его некое нахождение. Где-то и у Бердяева в «Самопознании»: сообщает он, что это было ему некое коренное озарение-убеждение: что само **искаание** смысла во всем — есть ЕГО, смысла, ему откровение, отклик и дар. Как и Откровение доступно то-

му, кто открыл себя Ему навстречу.

Это и есть — ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМ; его ядро — в энергии каждого мига существования как вектора жизни — пути, волею свободною устремленных ко?.. — к чему-то верховно хорошему (что символизуется, как Высшее Благо, Бог и т. д.), как средоточию, сходу лучей и из предполагаемого Бытия, и из мира идей; в моей пульсации их узел живой и максимально истинное за-явление, познание. На меня — как на ноумен, на состояние сего мига энергетического существования оно все кладется, ловится-притягивается, как на ЖИВЦА — именно! Тени идей и формы бытия — как тени душ в Аиде: на живую кровь (на живую жизнь!) они притягиваются, сходятся — и говорят-пророчествуют о себе; они ж тоже — в тоске непонятости и жаждут общения и встречи — понимающих, личностных (в сем арсенале-уровне-языке-интонации), а не утилитарно-объектных, что в рассудке и науке: к ним (бытию и идеям) как ко враждебным подходят — осуществляют приспособление с опаской, в борьбе за существование и «классовой»...

То есть — притягивание, а не отчуждение-объективация, как дотоле виделся акт познания: я загашаю свое сердце и любовь и волю и желания и всю эмоциональность — и, как холодный радиомеханик, изучаю строение наружных вещей, логике понятий и идей — ловлю-охочусь: на вещь, как на дичь, на прокорм и убийство, для существования меня как материи и тела — не как личности и духа.

И тут мне еще одно красивое уразумение Бердяева на ум приходит, что форма тела — от Духа. Материал — от природы, но абрис, образ, который сия материя и телесность принимает, — не от них. Подобно тому и лицо и глаза: их материя — от вещества, но выражение лица и глаз — от Личности, от Духа в человеке. «Форма человеческого

тела есть уже победа духа над природным хаосом». «Для материализма форма тела непонятна и необъяснима. Дух сообщает форму душе и телу и приводит их к единству» (О рабстве и свободе человека, Париж, 1972, с. 29).

Потому и воскрешение предполагается во плоти — форму и образ человекoв-личностей восстановив, и тогда мы узнаем друг друга, любимых.

И тут далее выражаются мысли, совершенно актуальные для нашего века ГУЛага и пыток телу. Вопрос: затрагивает ли это Дух и личность или безразличны они к сему, в атаксии-бесстрастии-бесчувствии (как у аскетов, умерщвляющих плоть) должны быть и как нам себя вести? Или умерщвление плоти-тела и формы его есть одновременно умерщвление-умаление и личности?

«Персонализм должен признать и достоинство человеческого тела, недопустимость дурного с ним обращения, права тела на истинно человеческое существование. Поэтому и проблема хлеба делается духовной проблемой.

(О, как актуально это у нас ныне — при исчезновении питания и дефиците фитонцидов и проч!.. И это уже полемика с любимой Бердяевым «Легендой о Великом Инквизиторе» Достоевского, где искушение Христа в пустыне духом: из камней — хлебы создам и накормлю!.. тьфу! — не путаю ли уж чего?.. Но и этот миф и вариант — тут сгодится, проясняет мысль, дает ей символ... Так вот: народу предлагается выбор: или хлебы, или свобода?.. И народ в искушении материализма выбирает хлеб и жертвует свободой... Но, как показал опыт XX века, в стране материализма, удушившей дух и свободу в устремлении к хлебу, — в итоге исчез и хлеб. Так что именно ОПЫТно подтверждена сопряженность Хлеба со Свободой, Духовность и Личность Хлеба! Нашего, Насущного. — Г.Г.)

Права человеческого тела потому уже связаны с достоинством личности, что самые возмущающие посягательства на личность прежде всего бывают посягательствами на тело. Морят голодом, бьют и убивают прежде всего человеческое тело, и через тело распространяется это и на всего человека. Духа самого по себе нельзя ни бить, ни убивать» (с. 29).

И тут не внешняя привязь. В суть Личности входит — чувствительность: любовь, страдание, сострадание. Зная любовь, личность знает и боль. И в этом ее отличие от всякой идеи и понятия и прочих краеугольных основ систем Бытия и Всеединства платоновского: из материи или из идей — все они безлюбовны и бесчувственны-бессердечны. Экзистенциалистская же персоналистская философия свободы, ее живая суть — ЛЮБОВЬ = БОЛЬ.

Идея не страдает. Как остроумно сформулирует Лосев, поясняя понятие ИДЕИ Платона: «вода замерзает и кипит, идея же воды не замерзает и не кипит» — то есть, не страдает.

«Личность есть экзистенциальный центр, и в ней есть чувствилище к страданиям и радостям. Личности нет, если нет способности к страданию. Школьная ортодоксальная теология отрицает страдание Бога, ей представляется это унижением величия Бога, в Боге нет движения... Но такое понимание Бога получено не столько от библейского откровения, сколько от философии Аристотеля. Если Бог есть Личность, а не Абсолютное, если Он не только *essentia* (сущность. — Г.Г.), но *existentia* (существование. — Г.Г.), если в нем раскрывается личное отношение к другому, ко многому, то Ему присуще страдание, то в Нем есть трагическое начало. Иначе Бог не есть личность, а отвлеченная идея или сущность, «бытие» (кавычки мои: имеется в виду понятие «бытие». — Г.Г.) элеатов. Сын Божий страдает не только как человек, но и

как Бог... Бог разделяет страдания людей. Бог тоскует по своему другому, по ответной любви» (с. 44).

Так что, когда я начинаю утро философствования с переживания от сестры-массажистки и описываю и вникаю, ЧТО мне говорит сей опыт, его СМЫСЛ, — я более совершаю акт экзистенциалистской философии, нежели объявивший себя «экзистенциалистом» Хайдеггер, что начинает накручивать на КАТЕГОРИЮ (не на живой жизненно-духовный опыт переживания сего мига существования) «существование» — весь тяжеловесный аппарат объективированных систем философии и их понятий от Канта до неокантианцев и Гуссерля. В этом Бердяев уличал Ясперса и Хайдеггера. «Тема экзистенциальной философии совсем не нова. Всегда существовали философы, которые вкладывали в свою философию себя, т. е. познающего как существующего. (Вот мой метод «жизнемысли», или «привлеченного мышления». — Г.Г.) Бл. Августин, Паскаль, отчасти... Шопенгауэр...» «Получив от Кирхегардта (Киркегора или Кьеркегора. — Г.Г.) экзистенциальность, Хайдеггер захотел выразить проблемы экзистенциальных философов в категориях академической рациональной философии. Он налагает рациональные категории на экзистенциальный опыт (причем не свой личный, а некий чужой или вообще. — Г.Г.), к которому они не применимы, и создает невыносимую терминологию (все эти «бытие-в мире» и проч. — Г.Г.). Терминология оказывается оригинальнее мысли. Я называю экзистенциальным философом того, у кого мысль означает тождество личной судьбы и мировой судьбы... Преодоление объективации... Я всегда думал, что философское познание есть функция жизни, есть символика духовного опыта и духовного пути. На философии отпечатываются все противоречия жизни, и не нужно их пытаться сглаживать. Философия

есть борьба» (Самопознание, с. 17).

Великолепно! Но отчего же Вы, Николай Александрович, утаивали опыты Вашей жизни и были так брезгливы и замкнуты в сем, и лишь под конец свой в «Самопознании», чуя несоответствие провозглашаемого всегда с осуществленным в трактатах, приоткрылись и попризнались? И все равно — в роли некоего МЭТРА и мудреца всепознавшего (не ищущего, а итожащего) выступили?.. Закупорен и во фраке...

И еще — удачливость подозрительна: в жизни, в культуре, в печати. Как-то очень легко распространяемыми получились твои мысли, а их форма (простых предложений и без метафор) и малый объем трактатов — так удобно переводимы на все языки! Потому-то и пришлось поутру механическому веку, что стиль твоего мышления — механичен: тезис к тезису лепишь, как деталь к детали в машине четко пригоняется — в прямолинейной последовательности. Нет чтоб унести в образ-метафору или закрутить фразу-период — как жизнь и судьбу?! И это уже будет именно вполне экзистенциально и уникально-персонально — и... непереводаемо: трагедию непризнания испытает так мыслящий и пишущий. (Это я, конечно, личную обиду-досаду изливаю-выправляю сим... Не прячу, не стыжусь — вполне в духе честного экзистенциализма...)

4 марта. «Тише, тише, не шумите!» — так, хором из оперы «Риголетто», укроща расходившиеся во мне привхождения от контактов-разговоров за завтраком с людьми. Тут Коржавин рассказывал о заграничной жизни: как прилетел из Штатов в Париж и с Некрасовым Викой к Галичу пошли потреться, а им сообщили, что тот умер. «Как же умер, когда я к нему иду?» — опешил Коржавин...

— А про Вас в «Известиях»! — Лиходеев с соседнего стола. Действительно, А. Турков — ласково о

«Национальных образах мира», книге моей, противопоставя мои «искры обоюдопознания» воспламеняющим искрам национальных страстей...

Это все осколки объективного, внешнего мира, что глушат внимание внутри, восстанавливающее свободу, дух и единство меня как личности. Тут вспомнилось когда-то (уж 21 год назад — в записи весны 1969 года у меня в «жизнемыслях», помню это) впечатленное от чтения Фихте: **быть свободным** — это не то. **СТАНОВИТЬСЯ свободным** — вот что красиво и в чем наше дело (так примерно)!

И это с бердяевской установкой сходится: свобода — не статика, а динамика. Свобода есть — освобождение, усилие; и им она, как и «царствие небесное силою берется».

И я сейчас вот — прорываюсь к Свободе и к жизни в Духе, и на этом пути встречаюсь с истиной, уразумеваю нечто от нее, как вот уже за эти полстраницы мышления-писания, творческого состояния. Ибо и творчество — не как вынос себя вовне, в предмет-изделие, товар, проИЗведение-объект, но как дыхание, пребывание, состояние, «бытие», разговор-общение с Истиной как Личностью, на уровне беседы наших экзистенциальных центров, не отчужденно — вот чем, по Бердяеву, божественно — нет, Богочеловечески значимо творчество. Как раз не «про-ИЗ-водить» из себя, отчуждать-объективировать, но В-водить (в себя) и С-водить(ся) с духом и личностью собеседника, как я вот сейчас — с Бердяевым. И как сказано: «Когда двое собрались во имя Мое, там и Я с ними», а мы с Бердяевым собрались действительно во имя Истины, путь и жизнь свою туда направляя, — и потому меж нас сейчас вот образуется Церковь живая, моментальная, с Христом в центре. Как духовная общность, а не как социальный истеблишмент.

Это я продолжал вчера читать и

проникаться книгой «О рабстве и свободе человека» Бердяева: тонкую его работу расчистки нашего сознания от идолов и поработочающих символов и «объективаций» себе в душу запускать — и сердце свое гладил, артерии от холестерина рабских уз, сужений тем прочищая — лучше всяких лекарств.

Да, как сказано кем-то, что такие, как у Пастернака, стихи полезны для легких, от туберкулеза-чахотки чистоснежной свежестью их продувая, так и чтение Бердяева от запруд кровообращение освобождает: вольнее струится дух по всем порам-капиллярам, изгоняя венозность повинности, из вен вину греха первородного, угнетающего, и стеснение страха. С духовной личностью твоею ничего не может произойти страшного в наружном мире; только самопредательство ей опасно: когда перестаем верить себе и гласу свободы и любви, когда выходим из этого сердечно-экзистенциального уровня в плоскость мира сего и его вещей и становимся там ролью и функцией, шатуном-кривошипом в механизме машины мира. Тогда-то и страхи в нас пробираются, как сверяния не с голосом Бога и совести в нас, а с установлением «князя мира сего» и логикой расСУДка (не любви).

...«Растворил я окно — стало душно невмочь» — и солнце по снегу среди елей, тени, а с крыши уж капель... Что это? Привыкли называть это — «ПриРОДа». Но Бердяев раскупоривает этот знак и обращает внимание на то, что тут каждое существо — к моему существу излучение и голос подает, а не некий абстракт из них в целом. И верно: я же недаром почувствовал надобность перечислить — тьфу! — переИМЕНовать (число — отчуждение!) их поодиночке, перебрать, коснуться: и лучика солнышка, и блеска на снегу, и ели, и капели. Они из «экзистенциальных центров» своих существ(ований) лично-доверительно как бы на встречу с человеком и прочи-



ми братскими существо-ваниями выходят. И я лично воспринимаю их обращение и сказ-слог ко мне. Их формы красоту (а форма — духо-образование в существе из вещества), сиротства их воззвание, глас пустыни вопиющей — белоснежной. Или, как сейчас, напротив, ликующей — и радостию своей переполняющей, со мною делясь, ощедряя...

Живая жизнь существ в свободе и духе — непосредственная, выходя в мир объектов, известкуется, и так образуется кора-скорлупа-панцирь мира сего: мы все в нем уже не нагие душами и сердцами простодушные, а под одеждою понятий, опасений, страхов и законов общаемся искаженно. Это и есть грехопадение и падшесть человека, а с ним и всех существ. А философ освобождения Бердяев, как врач Айболит, чуя боль и стон подпанцирных личностей, обходит и снимает шоры, бельма и скорлупы, пробуждая волю к духу и свободе в нас, а главное: понятие, что это — так естественно и присуще и — можно! Ибо снаружи освободить человека нельзя: таковой, извне, чужою волею приведенный к свободе, — все равно раб. Тут только внутреннее пробуждение, воскресение работает.

А главный в нас панцирь — это заторможенность-забитость преизобильно опредмеченной цивилизацией и законами государства и науки и «природы»: всем этим мы «богаты, едва из колыбели». И вся школа и воспитание и вращание в производство и карьера в обществе — только наращивают этот «культурный слой», многослойный панцирь безлюбивной жизни и бессердечного функционирования — совершенно вне себя и уходя Духа. И зачем? Счастливы ли так становится человек? Нет — в страхах потерь сих известкований: сросся с решетками тюрьги своей, да еще и выстраивает ее сам.

А причина — тяга низа, масса, падшесть. Свобода чужется как бремя. Да, она стала неимоверно труд-

на, подвиг — в мире, где первым обрезанием мы даем согласие (как вотум доверия и голосование... — сегодня мне предстоит; в двух смыслах: и в УРНУ — слово-то какое, смертное! — и в жену, в лоно благое окунуться, пережженному уже Антею...) отдать свою волю и голос и клятву верности — наруже и идолам «объективаций»: Государству, Народу, Истине, Логике, Закону и проч. Они все — и хороши, и нужны могут быть, но не как существа-сущности, а как функции, *обслуживающие* человек, личности и нашу жизнь духовную и любовь. Но они — вурдалаки: имеют тенденцию стать как бы существами — будто живыми, «организмами», что будто более и истинно и вечнее существуют, нежели каждый из нас: человек, листиков, лучиков, звезд...

Общество — не организм, а операция в обслугу личностей. «Правильная ступенность — в примате личности над обществом, в примате общества над государством. И за этим стоит примат духа над миром. Органическое же понимание общества (а такую идеализацию разрабатывали и наши славянофилы. — Г.Г.) есть всегда примат космоса над духом, натурализация духа, сакрализация необходимости и порабощенности» (с. 91). Лишь как метафора и символ, уподобление социума организму работает, но в ложном направлении: прочь от свободы и духа и личности.

Вчера вдруг мне просветилось: как философия Бердяева соотносима с моей «Космософией России», чему, каковому подходу: из некоей сверхцелостности — его философия свободы абсолютно противится. Но я это предложу — как аналогию и притчу, а не причинное объяснение. Как некое соответствие «экзистенциальных центров» (по терминологии Бердяева же) России, как судьбы и Духа живаго, Родины, — и мыслящей личности, родившейся в ее

лоне и пропитанной все же ее космо-  
сом.

Неясно мне было вот что. Личность и Свобода — это Запада проблемы и идеи, уже много веков разработанные. Также и Творчество, Труд... Россия же в этих всех отношениях — целина и дремучесть и первичность, азы и ясли: необработанность, хаос... Но он не даром — «РОДИМЫЙ», по сочувственному слову Тютчева, что близкий сердцу звук и для Бердяева.

Итак: Запад уже — покрыт, сказался: его цивилизация совершенна в своем роде; отлажены и согласованы роли и функции и понятия — и принцип отчуждения и объективации, опредмечивания там свое и добро, и зло реализовал. Этот путь уже осуществлен — и закрыт. Зачем же России повторять его и покрываться опять тем же? Ведь Бог тут дает новый шанс человечеству — и надо срочно отыскать свой путь и смысл особый.

И вот бунт против известкования на западный лад, против этого панциря-скорлупы, что удушит живую душу и свой поиск и вероятно Богу надежду на откровение сотворчества новое, — это с первых шагов пробуждения русской мысли. И у славянофилов, и в предпочтении Тютчевым хаоса и ночи — златотканому покрову космоса и дня. Это и в бунте Ивана Карамазова против «гармонии мировой» («Всеединство» философов!), если слезинка младенца в нем предусмотрена: не надо ничего, раз так! И Бога-то я приемлю, а вот *мира* Божьего не принимаю — и свой билетик в его рай возвращаю... Это же — ядро философии персонализма и свободы бердяевской. Бог да: Он — свой брат, личность тоже и страдающая. «Бог — не администратор мирового порядка». Он не Промысел и не Вседержитель-Пантократор мира сего. «Бог есть смысл человеческого существования... Целое, мировой порядок ничего оправдать не может, наоборот,

оно находится под судом и требует оправдания... Бог действует не в мировом порядке, якобы оправдывающем страдания личности, а в борьбе личности, в борьбе свободы против этого миропорядка. («Человека создает его *сопротивление* окружающей среде» — примерно так говорил Горький, современник Бердяева, против рабского тезиса, что человека создает среда, что «среда заела»... — Г. Г.). Бог сотворил конкретные существа, личности, творческие экзистенциальные центры, а не мировой порядок, означающий падшесть этих существ, выброшенность их во внешнюю объективированную сферу» (с. 75).

Это очень важное перепонимание акта Творения. Во «главу угла» тут ставятся не результаты (там, природа, стихии, вода, суша, рыбы, люди), но живо-творческие духи, источники со-творения всех этих вещей и стихий и предметов и существ... И это как раз последовательно в духе бердяевской Троицы: Свобода, Личность, Творчество...

«Бог находится в ребенке, проливающим слезинку, а не в миропорядке, которым оправдывают эту слезинку. Весь миропорядок с царством универсально-общего, безличного придет к концу и сгорит, все же конкретные существа, человеческая личность прежде всего, но также и животные, растения и все имеющее индивидуальное существование в природе наследуют вечность. И сгорят дотла все царства мира сего, все царства «общего», истязующие индивидуально-личное» (с. 75).

Но это же — и сверхидея Русской Революции: она переживалась-чаялась как мировой очищающий пожар, в котором сгорит весь мир падшесть и отчуждения, как «предыстория человечества» — и начнется Божья жизнь в человеках. В философии Бердяева, как и в наивных «биокосмистах»-федоровцах, над которыми он добродушно потешается (слушая их выступления на

собраниях религиозно-философских после Революции), — Душа Русской Революции — в ее потенции и идеале, в чистом виде. Потому-то он никогда не отказывался, не отрекался от нее — как порыва (а не осуществления), и среди эмигрантов он слыл «большевиком».

Россия, что, покрытая полусоответствовавшим себе покровом-панцирем двувековой Петрово-дворянской цивилизации, переросла ее, вспучилась и готова, как змея, сменить кожу — предметность, объективный мир на себе, одежду на своем теле («бесконечный простор»!), — и в разрывы эти огоньки мыслителей и писателей душу и дух и ум ее улавливают и сказывают — на свой лад и кто как поймет и во что горазд. Это — как Пятидесятница тогда: сошествие Святого Духа на апостолов — и на головах их, черепах лысых, — огоньки-свечечки вдохновения, и пошло «говорение языками». Так и в русском религиозно-философском Ренессансе и серебряном веке литературы, да и в советской литературе 20—30-х годов... Андрей Платонов и проч.

И тут — ПРЕДЕЛЬНОЕ — сказано: минувя вопрос о посредстве, — сразу цели и идеалы и свершения. Так и в «Чевенгуре» Платонова — все порешили из любви к товарищу прямо душами, экзистенциальными центрами понимать друг друга, обниматься и срастаться — мимо домов, пищи и прочей фактуры «объективаций»...

Рок России пока вечный (хотя «пока» к «вечному» не подходяще...) — непонятность, как быть со средним звеном, посредством, то есть с огородом-городом, цивилизацией, культурой, миром сим, с предметностью, обществом-государством, правами-законами и т. п. Недоразвитость у нас третьего сословия и презрение к «мещанству» (= «горожанству» = БУРЖуазии-бюргерству) — это БЕСКОНЕЧНЫЙ ПРОСТОР высокомерен к

МЕСТУ, а все снимает своих чело-вечков с места — в даль и ширь, в странничество и бега. Вон и Бердяев в своей душе этот вектор наблюдает: «мой курс не К (чему-то), но ОТ» (Самопознание, с. 35). Вспомним и Гоголя: «черт побори все!». «Бросить все и уйти!» — внутренняя мечта души русского человека-странника.

Однако небрежение *посредством* привело к тому, что такой страшный объективный мир установился в итоге этих чаяний Абсолюта, что и дух, и свобода, и творчество, и личность — под корень вырублены. Морок настал и бред. Власть тьмы. И Русский Китеж исчез из видимости. На время...

И хотя могут «винить» Бердяева именно в небрежении посредством и в анархизме и что не снисходит до умеренной политики и малых дел, участия и удержания мира от еще пущего зла (как Франк в своей социальной этике — см. «Свет во тьме»), но его труды — это та записка в бутылке, что душа-чаяние России накануне и в Русской Революции смогла сказать-выразить — и пустить в океан... Да уловится и расслышится...

Потому чувствовал за собой пророческое право и долг такие безумные идеи высказывать: перестройка бытия на началах совсем иных (нежели пока случилось — в примерной цивилизации Запада), а именно: не Бытие, Природа и Государство и человек-раб (и Божий в том числе), но — Свобода, Дух, Личность, Творчество...

Но и понял, что для того — риск и трагедию и боль и страдание принять надо (это тоже в русской душе непреложное убеждение: «от сумы и от тюрьмы не отказывайся»...). И страдания века Двадцатого коррелятивны с этими сверхидеями. Если без них, эти страдания — тупы и бессмысленны. Но коли с высей (и близей душе и сердцу) этих сверхидей взглянуть, то — их питают и осмы-



женой я это действо переживаю как СВЯЩЕННОдействие: весь дух и душа и ум туда, в каждую там пору и фибру перелиты, и в итоге это вроде бы телесное совокупление превращается в Тожество Бытия и Мышления, в воссоздание из нас двоих, полов-половинок, — Андрогина, целостного человека; мистерия Всебытия нами совершается, одухотворение материи (плоти) и материализация Духа, их братство и взаимопонимаемость и исповедимость осуществляется и упражняется. Событие как Со-весть и Со-мысл...

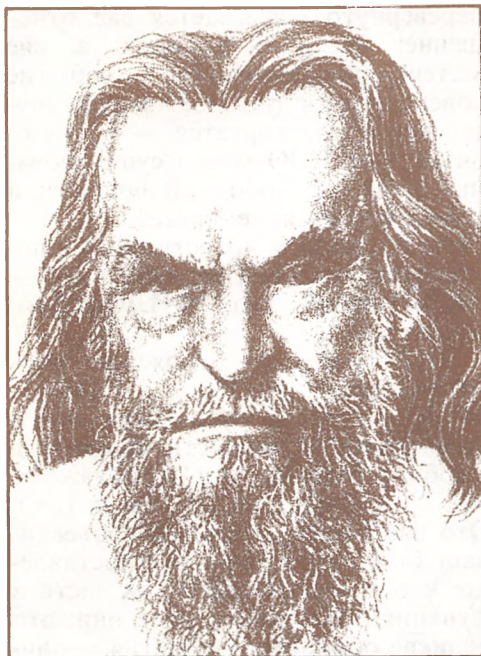
Так и мое возлежание под руками массажной сестры (а именно тут меня озарило сими уразумениями, что я вот сейчас последовательно-дискурсивно развил-записал) можно рассматривать как некую притчупараболу и табло-модель экзистенциального проживания-промышления. Тут со мной совершается вроде некое внешнее действие во Космосе, и, с точки зрения последнего, дано некое тощее мужское тело, которое 15 минут полная мускулистая феминна всячески щиплет и давит. Но в оптике «я» моего и духа и мысли —

перевернуто оказывается сие отношение: не я в космосе, а сие материально-физическое событие совершается в духе моем и туда впускается и претворяется — и становится ЧАСТЬЮ моего существования, меня как свободной личности, и одухотворяется ее сюжетами, и в свете ее проблем нравственных и познавательных (ума занятия тоже — ЛЮБОзнания его, ФИЛО-софии) проступает.

Это и повторяет Бердяев на множество ладов: что Космос, Общество, Культура — суть части моего универсума — Личности, ее жизни в Свободе, Творчестве и Духе (даже не «в» — а Свободой, Духом и т. д.). Это лишь в падшем мире «объективаций» и отчуждения так поставлено, что я, моя жизнь — их часть и функция... На самом деле они, эти великие обобщения, понятия, — лишены чувствительности, любви-боли, экзистенциального центра не имеют. Его имеют лишь «составляющие» их существа — люди. А на самом деле эти «целостности» суть наполнения-части внутренней жизни Личности...







## Бердяев Сергей Булгаков

6 марта. Однако тону я уж и в Бердяеве: совсем «обердяевился» — даже массаж по нему толковать научился. Кстати, легко и дешево, конечно, иронизировать, как Герцен, над гегельянцами в России 30—40-х гг. XIX в.: что таковой любомудр не просто говорил на рынке с бабой, а общался с субстанцией в непосредственном проявлении (так примерно), или вот точно: «Человек, который шел гулять в Сокольники, шел для того, чтобы отдаться пантеистическому чувству своего единства с космосом», — однако именно такое живое философствование, ощущение их взаимной всепронизанности: ситуаций жизни и категорий мышления, способность их УЗНАВАТЬ друг друга в самых мелочах, — вдохновительно: тогда ВСЕСМЫСЛ при-

ближен и домашен, а жизнь приподнята, течет торжественно, каждый миг ее — как священнодействие и литургия совершается. Так и мною привлечение систем и тем философии для просвечивания микрослучаев моего обывания = БЫВАНИЯ обывательского (вплоть до обувания) как раз суть опыты духовной жизни и экзистенциальной философии разъяснения (и этих опытов, и ее самой этими опытами).

Но некое удушье я уж и в Бердяеве стал испытывать: героизм отсоединенности от мира и природы — котурны сии, напряжение пророческого полагания всего из себя, из личности и свободы.. Хочется снова взвидеть свет небес — наружных (а не лишь царствия небесного внутри нас), расслабиться и прильнуть к лону — благого Бытия, самого по себе и без меня. А то тоже натуга какая: и благо-то вокруг лишь я сам должен-призван полагать, а без меня его и нет!.. И никаких «гарантий», той «обеспеченности», что так уютно было испытывать в мире Франка, например: раз «яко с нами Бог» — то все в порядке!..

Да, чувствую себя как чеховская Душечка, что так безраздельно отдается (на недельку) очередному супругу и проникается им и его заботами — до отождествления: «Ах, мы с Семочкой так глубоко в Непостижимое забрались и там Свет во Тьму отпускаем: его свет в мою маму!..» А спустя время: «Мы с Коленькой опыты эсхатологической метафизики проделываем!» Ну а теперь Душечка во мне, в нашем философическом марафоне сего месяца, в неудержимо донжуанском духовном Эросе любомудрия, свои взоры-миловзоры уже кокетливо закидывает на следующего мужика-столпника в Духе, и скоро доложено будет: «А мы с Серенькой Софийность обосновываем!»

Их как раз интересно рядом рассматривать: Бердяева и Булгакова. Они — братья-антиподы. Внешний

путь их сходен: они и однолетки почти (Бердяев — 1874, Булгаков — 1871 года рождения), оба в ранней молодости увлеклись марксизмом, потом «от марксизма — к идеализму» (симптоматичного названия сборник статей Булгакова, 1903 год), высылка из Страны Советов на «корабле философов» в 1922 году — и дальнейшая разработка в эмиграции религиозной философии, а Булгаковым — и богословия: он принял сан священника и стал «отец Сергей Булгаков».

Но субстанция и заквас у них разные: Бердяев — это дворянство, Булгаков — духовенство: в семье провинциального священника в городке Ливны Орловской губернии рос. Родителей любил простодушно (в отличие от некоторого, любящего тоже, но иронизирования — у Бердяева), и свой главный труд «Свет Невечерний» (1917 год): «Памяти отшедших: отца моего, г. Ливен протоиерея, о. Николая Васильевича Булгакова и матери моей (аж слезы текут и у меня, сейчас перепечатавая...) Александры Козминичны, урожд. Азбукиной (совсем слезами заливаюсь и слепну, аж прерваться приходится) с чувством духовной верности посвящается». И как симметрично вышло: отец — протоиерей, и сам сын, после стольких жизненно-духовных блужданий, — кончил жизнь протоиереем.

Если Бердяев, анализируя свое духовно-религиозное развитие, отмечал, что не имел в детстве первичных впечатлений теплой веры, красоты богослужения, пронизанности быта церковностью, — то у С. Булгакова в фундаменте его существования залегает непосредственная вера как субстанция.

Бердяев — как баптист: пришел к вере в сознательном возрасте; Булгаков — православный, крещен в детски-доверчивом состоянии и тогда уже продуховлен — помимо воли своей, благодатно и авансом. Не потому ли и в дальнейшем духовном

развитии некую априорную осененность бытия и мира и себя спасенность ощущал Булгаков — на это опираясь, а не на свою волю вольную как на Абсолют (как Бердяев)?..

Но когда пошел по традиции семьи в духовную семинарию, ум отвращен был догматической рационализацией тончайшего таинства веры. Топорность казенного катехизиса, где дух будто на логику переводится, — возмутила ясный ум. Раз уж рассудок применять, то светские науки честнее тут, — «и неудивительно, что Булгаков еще в возрасте 13-ти лет потерял веру в Бога, стал материалистом, атеистом и вскоре сблизился с левыми кругами. Окончив гимназию, он поступил в Московский университет, который окончил в 1896 году, избрав себе специальностью политическую экономию. РАНО ЖЕНИВШИСЬ (я подчеркиваю: в отличие от Бердяева, долго одинокого демона... — Г. Г.), уехал затем в Германию, где... став марксистом и примкнув к социал-демократической партии, Булгаков проявил характерную для него самостоятельность мысли... Получив затем кафедру политической экономии в Киевском политехническом Институте, Булгаков обосновался на время в Киеве. (И Бердяев — из Киева, и Флоренский — с Кавказа, и Лосев — с Дона. Религиозно-философский импульс и подкорм русской мысли оттуда, с Юга, идет... — Г. Г.). За эти годы (1901—1906), под влиянием углубленного чтения Владимира Соловьева и Библии, в нем происходит духовный перелом. Из Савла он становится Павлом, Булгаков выходит из рядов социал-демократической партии и становится вскоре членом конституционно-монархической партии... В 1903 году он выпустил замечательную книгу «От марксизма к идеализму»... Книга эта... стала поворотным пунктом в истории русской мысли. Вместе со своим другом Бердяевым Булгаков издавал затем ре-

лигиозно-философский журнал «Вопросы жизни» и принял участие в знаменитом сборнике «Вехи», где поместил статью «Героизм и подвижничество» («героизм» — бердяевск, интеллигентск, но и ставрогинск; «подвижничество» — смиренно, духовного усилия поприще, — Г. Г.). В то же время Булгаков не прекращает общественной деятельности, и был избран в 1906 году депутатом во II Государственную Думу.

К 1910 году относится его знакомство с отцом Павлом Флоренским, оказавшим на него, по его собственным словам, «гипнотическое влияние». Под влиянием Флоренского Булгаков переходит к софиологическим темам, которым он остался верен всю жизнь. В 1913 году он опубликовал книгу «Философия хозяйства», в которой выдвигал тезис, что и экономика должна иметь духовные основы», — писал С. А. Левицкий в «Очерках по истории русской философской и общественной мысли» (с. 147).

Остановим это ознакомительство. Вернемся к духовному образу. Если Бердяев — аристократ, верховник, то Булгаков из среднего сословия (народное духовенство в России именно такой социальный уровень занимало), что в любом социуме есть самое ответственное и опора, и верх и низ равно чувствующее, Дух и Материю. Таков и есть Булгаков. Он — коренник в тройке, ломовик орловский. Недаром из той местности родом, откуда и Тургенев, и Толстой, и Бунин: из средней России, лесостепной, где наиболее укоренился-заземлился русский человек и органическую культуру испускал-порождал. Тургеневские образы используют, Булгаков одновременно — и Хорь, и Калиныч. Он основателен, нетороплив и вдумчив, хозяйственен, как Хорь; но он и мечтателен, чувствителен к горней красоте и податлив на обаяние Вечно Женственного, разлитого вокруг, в

Природе, — как поэтический Калиныч...

Если же из персонажей Достоевского ему аналог подыскивать и коли Бердяев — Ставрогин, то Булгаков будет — Шатов (по верной интуиции Ирины Роднянской в ее статье о Булгакове в «Литературной газете» от 27 сентября 1989 года). Да, он не самостоятелен в первоидеях, увлекающийся в доверчивости: от первичного беззлобия своего и в ближних не подозревает зла и демонизма. Однако здоровая нравственная субстанция и здравый ум побуждают его продумать до основания воспринятую поначалу на веру идею — и тут уж он развертывает таланты своей природы и духа. Он — не из молодых да ранних, но из зрелых да основательных. Надежен. Верен. «Честный Яго» — он так может сказать, как Отелло: ибо сам честен и доверчив. И — зла почти не видит в мире и в людях (тогда как Бердяев к нему прикован и почти любит: ибо зло — раскол и трагедия, а в ней — Свобода и Личность; как в мутной воде, рыбку смысла жизни — легче ловит, в героизме...).

Ну а если из персонажей Толстого, он — не блестящий Вронский, но Левин или Пьер Безухов (тогда как Бердяева аналог — Андрей Болконский: «сухой огонь»...).

Сам Булгаков — не знаю: переводил ли себя на язык стихий, но мне он так видится — как «земле-вода» или «земле-воздух», нечто среднее меж них. Огня в нем мало-вато и потому тянется к нему — в высь, но не в ипостаси «жара» (как Бердяев), но «света». «Свет» — главный герой его дум («Свет Невечерний»), а также «Свето-Вода» — Женское начало в высях — София, «Жена, облеченная в солнце». Ее он бхакт и адепт в Духе, и в Разуме ее сказ усиливался нам рассказать: эпопею Софии писал он вторую половину жизни в двух трилогиях. За парижские годы им были опубликованы две трилогии: малая трилогия,

состоящая из книг: «Купина неопалимая», «Друг Жениха» и «Лестница Иаковлева», и большая трилогия «О Богочеловечестве»: «Агнец Божий», «Утешитель» и «Невеста Агнца».

В картине Нестерова «Философы» рядом идут, беседуя-думая, Флоренский и Булгаков, и можно стать его и текстуру прощупать. Он ширококостен, кряжист, и тело-груди белые, как у мужика русского: субстанция — водоземельная, сыроземная. Если Бердяев — демон, «вольный сын эфира», порхающий вольно, отвечая лишь за себя; если Флоренский — папенькин сын у Бога в Эдеме, ласковое теля, размягчен-изнежен, звездочет, маг и златоуст медоточивый, тот Сын из притчи о Блудном, что всегда при Отце (а Бердяев — Сын Блудный, к Отцу вернувшийся, но не раскаянный, а героически упорствующий...), то Булгаков... — нет, не получается ему в этих схемах места. Главное — он труженик земли и духа, муж зрелый, середняк — ответственный, а не пользующийся даровым (как Флоренский). Трудяга. На таких мир стоит и жизнь продолжается и дух исходит.

7 марта. Скучновато поначалу, прозаично было уму моему от Бердяева переходить к Булгакову: словно после героических жар-птицыных полетов-усиления творческого духа личности построить совершенно новый образ мира — из свободы, возвращаться на землю, к разбитому корыту, в избушку нашей жизни смиренной, чем и предстал мне любимый прежде, родной платонизм и Всеединство... И читаю его, Булгакова, капитальные и педантичные труды, с огромным количеством выписок-цитат, — и нудно как-то, и скучно, и грустно... Словно из философической сказки вернулся в будни, уж обрыдлевшие и никакого нового уразумения не сулящие.

И особенно мешала эта его — прости Господи, злополучная «Софийность», которую — как некую

энигму и коан — разгадать коли, то ключ будет найден. Сам он ее повсюду насовал в свои думы и текст — понятно: влюбленный он сосуд, в нем Разум Восхищенный сияет, в то время как в мире вокруг «кипит наш разум возмущенный» — и мир взбаламучивает, и мать людская на поверхность к власти приступает — не сливки общества, как прежде, в долгом отстое аристократии («аристос» по-гречески — «достойный», «справедливый»). Ум простодушный, смиренный, не гордый, увлекающийся, он эту идею-слово у Вл. Соловьева энтузиастически воспринял, а развитие ее магом Флоренским облучило и его... И эта идея-слово стала его идеалом, знаменем, сгустком всего наилучшего — ну как «Мировая Революция» и «Коммунизм» для наивных русских и советских. Это некие предельные «объективации» (по Бердяеву), отчуждения = выносы из себя некоего своего реального содержания жизни в некий Эмпирей. И как смешно и нелепо (сейчас нам это очевидно) — пытаться объяснить многосложную жизнь русских крестьян и прочих сословий, а также историческую ситуацию первой трети XX века, начиная с анализа понятия «Коммунизм», т.е. с некоей «крыши», — так и слово-энигма «Софийность» лишь уведет нас в дебри схоластические (коли с него начнем); а коли придем к нему, восчувяв, чем жив был человек и мыслитель Сергей Николаевич Булгаков: что у него болит, что любит, чего хочет, коли пойдем, — тогда и то само собою и просто прояснится.

И отложил я «Философию хозяйства» и отодвинул «Свет Невечерний» (который читал-штудировал внимательно совсем недавно — весной 1985-го в Голицыне месяц, так что на свежей памяти сей труд у меня) — и раскрыл сборничек «Тихие думы» (ища экзистенциальный нерв, где душа раскроется) из статей 1911—1915 годов, изданный в

Москве в 1918 нищем году, на желтой бумаге, так что Издательство Г. А. Лемана и С. И. Сахарова даже вклеило извинение: «Книгоиздательство извиняется перед автором и читателями, что выпускает настоящее издание в таком малопривлекательном виде. Но цены на бумагу и типографские работы дошли до пределов, явно угрожая русскому просвещению, и единственная возможность сделать книгу более доступной по цене широкому кругу читателей — это понижение требований к ее внешности». И подумал я: как хорошо, когда у издательства есть фамилия и личность, что имеет стыд-совесть и с кого можно, коли что не так, спросить. А у нас — поди, спроси-ка с Советской России самой! (кому тут отвечать?) или с Гослитиздата — с самого Государства! — отскочишь, «отзынь на три лаптя!» А тут: с Г. А. Лемана и С. И. Сахарова, — с человек, как и я, — чего ж не посметь спросить, а и в суд подать?! А посудись — с Государством или «Искусством», или с «Наукой», или с «Музыкой» вообще! — с абстракциями такими, с безличностями! А за их вывесками как удобно хитреньким червячкам, личностям подленьким начальничков свои делишки обдeldывать, ни за что не отвечая! Так что вот она, бердяевская «объективация, = наша жизнь среди безличных псевдосущностей; и как человечнее всякий «персонализм» и, значит, бремя и труд и подвиг ответственности за личный выбор и грех!.. Вот и иллюстрация к будто трудному тезису Бердяева: что такие вроде огромные целостности, как Родина, Общество, История, Государство, Музыка — не имеют экзистенциального центра, не живые, а мнимые «сущности», суть наши олицетворения и «трансцендентальные иллюзии» разума (термин Канта), смещения идей с реальностями, средневековый «реализм»: когда представляли, что где-то в загашнике у Бога стоит совершенный

Стол — как праидея и образец всех возможных бытовых столов... Хотя в этом тоже есть свой гигантский смысл... Но ведь мы не выбираем и не оцениваем, а вариации наших человеческих представлений пересматриваем, парад их пред очи ума проводим: пытаюсь все их понять — из корня их живого, где каждое воззрение свой убедительный смысл имеет...

Итак, «Тихие думы»... Тут же вспомнилось, как Бердяев обозначал «интенцию» и интонацию своих писаний: «крикнуть» ему требуется. И простые и отлитые, как пули, его предложения — как выстрелы и заклятия. Афоризм вяжет волю воспринимającego: недаром термин «МАКСИМА» есть для этого в романском регионе, то есть предельно-напряженное слово-мысль, их максимум, доступный человеку. И Бердяев все время пишет изречениями, «максимами». Так что и в этом плане сродни максимализму Революции, с ее пулеметами «Максимами» и с вечно возвращающимся Максимом — в русское искусство... Максим Горький — тоже хитрец или слухач талантливый: интуиция его хорошо, выдумывая себе псевдоним, сочетала противоположности в некое единство (прямо по Николаю Кузанскому!): «Максим» — значит, максимальный, оптимальный, оптимист, счастливек и победитель, вождь и владыка мира; а «Горький» — конечно, жалкий, несчастенький, бедняга, бедолага, народ-страдалец, «брат мой, страдающий брат»... А еще и трилогия о Максиме — знаменитое кино, образцовое произведение социалистического реализма. Правда, под конец славной эпохи — Максима изгнали (сына Шостаковича, дирижера), и это тоже симптоматично...

И зачитался я его статьей «Русская трагедия», что начинается как будто рецензия на постановку спектакля «Бесы» по роману Достоевского во МХТе (еще не «Академи-



ческом» — тоже важное понятие для савейского Логоса: прислонение соцреализма — к классицизму, минуя новизну; ее более теперь не надо: все новизны совершены раз и навсегда и за всех Великой Революцией, и всякие «авангарды» уже не нужны, поскольку у нас теперь один авангард — партия! И мы отныне за старину-былину-традицию — как вид вечности: чтоб «история прекратила течение свое», скакнув разок в себя, однажды-единожды, — из «предыстории»).

И уже характерно: не «Легенда о Великом Инквизиторе» (из «Братьев Карамазовых»), что на множество ладов переосмыслялась — и Розановым, и Бердяевым, опять же с «крыши»: решая сразу предельное уравнение между Христом и Кесарем и на котурны до их уровня себя приподымая, самовеличаясь, — но «Бесы», где самими людьми грешными разыграна как бы модель-парадигма возможной русской революции, бунта-мятежа-переворота-пожара, Апокалипсиса и эсхатологии; «конец света» по-русски, — то есть, к нам приближено, и более того: самоучастно и самопокаянно! Ибо вполне узнавать и себя мог Булгаков в этих увлеченных молодых людях, собирающихся на тайные сборища и кружки и мечтающих и клянушихся, — и как они становятся марионетками духов нечистых. «Бесы» — недаром во Франции переводятся — как *Les Possédés* — «одержимые», то есть сами — не бесы, а одержимые бесами: в кого бес вошел. Так и во многих милых молодых людей, радеющих о благе народа, социалистов и народников, в марксистов, — вошли бесы и сделали их стадом свиней, что мы особенно в последующем развитии бесовщины очевидно зреть смогли: даже чистые и любящие поначалу, по субстанции своей, люди-коммунисты, как только отдали свою волю идолу, отчудили ее Партии, — всё! — превратились в свиней, что

им и доказал Антихрист в застенках, пытая, и на показательных процессах: герой революции оказывался мешком с дерьмом — и именно потому, что отрекся от личности и воли, от совести и голоса своего — ради Партии и ее единства и силы. Так что Персонализм — не категория и теория, а самая практика и прагматика оказывается: от Личности, ее чуя в себе, а с нею и совесть, — и прямая польза человеку — даже в житейском смысле: кто не наговаривал на себя и на других и удерживался от подписывания клеветы на себя и доносов — того и (бывало) не убивали...

И даже понятней это — с точки зрения пытателей и палачей: таковой, устоявший, — более безвреден даже им: не клокочет всунутым в него дерьмом, которое выплюнуть ему — лишь обличив палачей; и оттого последнего, как свидетеля, — полезнее уничтожить...

И в статье своей Булгаков исследует процесс обольщения: кто обольстителю, чьими устами входит в человека «прелесть» — утопия, гуманистически-богоборческая мечтательность, — и что за материал человеческий в обольщаемых (кем и он сам одно время был). И сам он — как Шатов, если бы тот не убит был в ту ночь, когда с ним произошел христианский в душе переворот и прозрение (у одра жены его, рожающей от общего их обольстителя Ставрогина: сцена, аналогичная Каренину и Вронскому у ложа рожающей Анны), — но выжил и пошел бы «от марксизма — к идеализму».

И великолепен анализ Ставрогина. И хотя он — пародия на Бердяева (мог Булгаков и не угадывать того, что о себе самопризнает его параллельный путешественник в религиозной философии в «Самопознании» под конец пути), но, как некое возможное опровержение персонализма и творчества в самосвободе из небытия, этот анализ нам может послужить.

Самое парадоксальное, что Ставрогина невозможно актеру сыграть: он маска — именно ПАРСУНА («персона», от латинского *persona*, что значит: «маска»), то есть под этим полость, нет ничего, нет состава-субстанции. Нет личности, но ее имитация, воровство облика личности многозначительной, на что и попадаютя простодушные, как на магнит. Он — как выведенное яйцо и бесплоден.

«Загадочной и почти непреодолимой трудностью для инсценировки „Бесов” является это отсутствие живого Ставрогина, его личинность (не ЛИЧ-ность. — Г.Г.). Ставрогин есть герой этой трагедии, в нем ее узел, с ним связаны все ее нити, к нему устремлены все чаяния, надежды и верования, и в то же время ЕГО НЕТ, страшно, зловеще, адски нет, нет вовсе не постольку, поскольку он не удался автору или исполнителю, но именно, поскольку удался. Достоевский знал, чего хотел, точнее, знал это его мистический и художественный гений. Ставрогина нет, ибо им владеет дух небытия, и он сам знает о себе, что его нет, отсюда вся его мука, вся странность его поведения, эти неожиданности и эксцентричности (ср. бердяевский героизм идти всегда против течения и эпатировать «последователей») и наивную проффессуру западных казначеев от философии... — Г.Г.), которыми он хочет как будто самого себя разубедить в своем небытии. От него останется лишь психологический скелет (как и во мне сейчас скелет философии свободы. — Г.Г.) — железная воля, темперамент, бесстрашие и даже авантюристическое искание опасности, как острого впечатления (вспомним апологию риска и дерзновения навстречу опасности у Бердяева. — Г.Г.), но дух его «связан» цепями и узами, и в нем живет «легион» (с. 6). А это уже масса и чернь, чего всю жизнь сторонился Бердяев: «Если в партию сгрудились

малые» — то смерть личности, а наверху — одна Личина Вождя взмывает в небо на цеппелинах.

Творчество, по Бердяеву, — тоже из Небытия, из Ничто в Боге (и по мистикам германским: Экхарту, Бёме и Шеллингу). Его источник — «субстанция» — Свобода. Она — самоопорна, самосодержательна. Дальше — Ничто: не спрашивай, ЧТО там в основе, какова причина?..

И вот тут-то и узел и ущерб в бердяевской философии, что изначально, из детства веровавшее сознание Булгакова принять не может. Для Булгакова источно Благо Бытия, наличная Благодать Божьего мира и ею осененность человека, а ПОТОМ уж его свобода, как встречное движение Сына к Отцу — назад, на возврат, а не вперед, на продолжение труда Творца-Отца (как это у Бердяева).

Кстати, у Николая Федорова, кто, как пророк-матка первоидей, влиял и питал и Бердяева, и Булгакова, — оба эти вектора есть: человек, как Сын Человеческий, идет вперед, пресотворяя мир, как и Отец творил. Но главный вектор его труда — воскрешение предков, отцов, родителей, то есть назад, к Богу и Адаму...

И потому — никуда не денешься — я тоже был обворожен-обольщен прелестью бердяевских начертаний возможного нового образа мира, творимого из Свободы и Личности... Но когда отдам себе отчет, то вижу, что в этом проекте нет содержания: ЧТО делать? Ну да: философ может сказать: Бог сам дал свободу человеку найти ответ и это ЧТО... И все же... Некая полость и пустота, и будто в мороке побывал — остается после бердяевской философии: есть манипуляции, начертания и предназначения, имитация полной жизненной философии. Но когда вспомнишь-вдумаешься: все содержание и все «ЧТО» — из блестящей критики накопленного прежде историей философского материала, на этом паразитируя-вые-

дая. Но и действительно: когда к тому подведешь новые основания и точку зрения, в новой оптике — все страшно интересно заново передумывается...

Но Булгаков — не того материала человек: ему не языком пламени устремляться от земли прочь, но припасть к земле-матери сырой, лобызгать и плакать, сыну окаянному и блудному, — и так восчиститься и воскреснуть... Недаром юродивая Хромоножка так приковала из персонажей «Бесов» его дух, и он цитирует рассказ о ее религиозном опыте:

«—А по-моему, говорю, Бог и природа есть все одно»... А тем временем и шепни мне, из церкви выходя, одна наша старица, на покаянии у нас жила за пророчество: «Богородица что есть, как мнишь?» «Великая мать, — отвечаю, — упование рода человеческого». «Так, — говорит, — Богородица — великая мать-сыра земля, и великая в том для человека заключается радость. И всякая тоска земная, и всякая слеза земная радость наша есть: а как напоишь слезами своими под собою землю на пол-аршина в глубину, то тотчас же о всем и возрадуешься. И никакой, никакой, — говорит, — горести твоей не будет, таково, — говорит, — есть пророчество».

Часть этих слов взята и в книгу «Философия хозяйства», в Предисловие, наряду и вот с сим: «В напутствие к этой книге, как выражение ее пафоса и устремления, да будет позволено вспомнить вещие слова Ф. М. Достоевского: „Любите все создание Божие, и целое, и каждую песчинку. Каждый листик, каждый луч Божий любите! Любите животных, любите растения, любите всякую вещь. Будешь любить всякую вещь, и тайну Божию постигнешь в вещах” („Братья Карамазовы”, из поучений старца Зосимы)».

И странный еще поворот мысли (запишу — и на лыжи пойду: зиму догонять, что будто платит долги и

навалила снегу, под солнце, так что даже шутю: „Люблю зиму в начале мая!”): «Медиумичность, женственная рецептивность, паралич мужского начала Логоса отличают Ставрогина, как и большинство действующих лиц в „Бесах” (с. 7). А ведь таким сверхмужчиной, обольстителем всех и жен и дев там, и мужей он выглядит. А на самом деле — и он полость, нетость, и все одержимые — вагины.

Теперь-то пафос Булгакова проявляется: он-то себя как раз самым настоящим и первичным мужиком чувствует. Ну да: именно мужское начало может так неистово, как предмет, любить и мать-сыру землю, припадая со слезьми, как семья источая, — и небесную Софию, Вечно Женственное. И конечно: философия Булгакова — это мирозерцание русского мужика-земледельца, поднятое до самых интеллектуальных высей... И в этом ключе — и далее ее распутывать станем...

8 марта. Ой, как хорошо! Снова усесться у окна слева, а за окном две колонны белые — аристократической цивилизации столпы, а далее — ели, с неба — снег — членораздельно, медленными пушинками-словами, вдумчиво падает. Нисходит. В кенозисе: малое Боговоплощение — звезды в снежинку звездчатую.

Но какие жизни темени пролегли между вчерашним и сегодняшним восседанием моим! Вчера был ритуальный вечер у Юрия Селиверстова: 15-летие с кончины Бахтина Михаила Михайловича, и собрались к семи вечера близкопричастные: Кожин Вадим с Леной Ермиловой, Турбин Владимир Николаевич и из его семинара — Ляля Мелихова, Сергей Александров, Галя из Саранска — ныне директор музея Достоевского, я со Светланой. Пришел еще Никита Ильич Толстой, Борис Тарасов и редакторша книги нашей в АПН — Егорова Маргарита с сыном Игорем. А еще молодые ребята с киноаппаратурой — снимать что-



завета и текст (да — не менее Писания Священного): не заповедь, но кроткое приглашение, наведение — к благообразованию душ наших и жизней — в лад с гармонией окружающей.

Если Вл. Соловьев писал «Оправдание Добра», Бердяев — «Оправдание Человека» («антроподицею») — в «Смысле творчества»), то Булгаков — «Оправдание Мира» — как Божьего, Богом пропитанного и осмысленного. Не только внутри, во глубине Личности, но в восхищенном воззрении в мир — также полностью возможна встреча с Богом (что отвергалось в философии Бердяева). И если последний не мог отметить в себе того, что называется «озарением», «конверсией» (как у Декарта, Шеллинга: даже даты ими зафиксированы, когда им открылся свет в философии, наподобие религиозного откровения, видения), то чувствительно-доверчивая душа Булгакова, в ком Разум Восхищенный жив и им движет, — знает за собой эти несколько миготв встречи со святыней, когда сноп света ворвался в душу и радикальное преобразование понятий свершилось. В «Свете Невечернем» размышление о приходе философии к религии прерывается, а точнее: обосновывается рассказом о личном духовном опыте:

**«ЗОВЫ И ВСТРЕЧИ.** (Из истории одного обращения)». «Мне шел 24-й год, но уже почти десять лет в душе моей подорвана была вера, и, после бурных кризисов и сомнений, в ней воцарилась религиозная пустота. Душа стала забывать религиозную тревогу (хорошее выражение! — Г. Г.), погасла самая возможность сомнений, и от светлого детства оставались лишь поэтические грезы, дымка воспоминаний (все же фундамент этот — был! — простодушной веры и церковной жизни. Было к чему вернуться Блудному сыну. — Г. Г.), всегда готовая растаять. О, как страшен этот сон души, ведь от

него можно не пробудиться за целую жизнь! Одновременно с умственным ростом и научным развитием, душа неудержимо и незаметно погружалась в липкую тину (образ болотистой топи, сыроземный тоже, тогда как у Бердяева образы враждебного и мнимого мира „объективации” — жестки, сухи, огнеземны: „оковы” там, „узы”, „панцирь” и „известь” — контра „со-весть”. — Г. Г.) самодовольства, самоуважения, пошлости. В ней воцарялись какие-то серые сумерки (как раз любимое время суток Бердяева, а и Достоевского: самое метафизическое, когда, по магометанству, кстати, происходит пересменка ангелов-хранителей на вахте меня: дневной уходит, а ночной еще не заступил, так что душа покинута сама на себя, и острее ощущается и покинутость, и трагедия; но в то же время — бремя и крест Христов, долг личности: призванность и обреченность быть личностью и свободой. Это — героическое время: время испытания-искушения — и оправдания человека — Свободой; вынесет ли ее крест? Булгаков — не выносит: он из тех, кто норовит — припасть и прислониться. — Г. Г.), по мере того как потухал свет детства. (Кстати, и Достоевский не может детство добром помянуть, неблагоприятно оно, он так же самостроился спереди, как и Бердяев. — Г. Г.). И тогда неожиданно пришло ТО... (Как у Блудного сына среди „ярыжек кабацких” = эстетов-мистов мерещковских — пробуждение. — Г. Г.) Зазвучали в душе таинственные зовы, и ринулась она к ним навстречу...

Вечерело. Ехали южною степью, овечьими благоуханием медовых трав и сена (пейзаж „Степи” Чехова, кого Булгаков любил и о ком писал. Тоже кроткий автор, не мятежный, чутко-внимательный к реальности; и третьесословный тоже... — Г. Г.), озолоченные багрянцем благодного заката. Вдали синели уже ближние кавказские горы. (Степь, горы — от-



крытый Космос, как разгон-трамплин от города и люда — в Небо. — *Г. Г.*) Впервые видел я их. И вперя жадные взоры в открывшиеся горы, впивая в себя свет и воздух (вот что есть искомое сыроземному телу мужика русского, из той же плоти, что и его мать-сыра земля. — *Г. Г.*), внимал я откровению природы. (Значит: то, что при мне, что я знаю, что есть мой опыт, феномены, — это ЗЕМЛЯ и ВОДА. А то, что извне меня, из трансцендентного, что дано как язык откровения, ноумены, — это СВЕТ и ВОЗ-ДУХ. — *Г. Г.*) Душа давно привыкла с тупою, молчаливою болью в природе видеть лишь мертвую пустыню под покрывалом красоты, как под обманчивой маской (наука, гносеология так, ученость неокантианская диктовала. Да и персонализм бердяевский: „природа” — трансцендентальная иллюзия, смещение идеи с реальностью. — *Г. Г.*); помимо собственного сознания она не мирилась с природой без Бога. И вдруг в тот час заволновалась, зародовалась, задрожала душа: А ЕСЛИ ЕСТЬ... если не пустыня, не ложь, не маска, не смерть, но Он, благой и любящий Отец. (Заметим, что Бердяев брезглив к образу Бога как Отца, как и всему, что РОД напоминает, — и Бога приемлет с атрибутом Творца. — *Г. Г.*) Его риза, Его любовь... Сердце колотилось под звуки стучавшего поезда, и мы неслись к этому догравшему золоту и к этим сизым горам. И я снова старался поймать мелькнувшую мысль, задержать сверкнувшую радость... А если... если мои детские, святые чувства, когда я жил с Ним, ходил пред лицом Его, любил и трепетал от своего бессилия к Нему приблизиться, если мои отроческие горения и слезы (какой совсем иной детский и отроческий опыт, нежели у жестко-иронического к сентиментальности, открытой, простодушной, — хотя в себе знал жалостливость застенчивую, — Бердяева! — *Г. Г.*), сладость

молитвы, чистота моя детская, мною осмеянная, оплеванная, загаженная, если все это правда, а то, мертвящее и пустое, — слепота и ложь? (Интонация душевных пробуждений, переживавшихся героями Толстого: Олениным, тоже на Кавказе, Пьером, Андреем, Ростовым, Нехлюдовым и др. И в этом тоже симптоматичное поделение: Бердяеву близок Достоевский, Булгакову — стилем мироощущения, близостью к природе — Толстой. — *Г. Г.*) Но разве это возможно? Разве не знаю я еще с семинарии, что Бога нет (вот где атеистов-то плодят — и Сатаналина в том числе! Тут первый интеллектуальный искус: начинается перевод наивной веры, языка притч, — на рациональный. И коли понятия радио тут топорны и догматичны, не диалектичны, по крайней мере, но формально-логичны, — а откуда же иному пониманию взяться в первичной школе? — то первая ученость изгоняет веру. — *Г. Г.*), разве вообще об этом может быть разговор? Могу ли я в этих мыслях признаться даже себе самому, не стыдясь своего малодушия, не испытывая панического страха перед „научностью” и ее синедрионом? О, я был, как в тисках, в плену „научности”, этого вороньего пугала, поставленного для интеллигентской черни, полуобразованной толпы, для дураков! Как ненавижу я тебя, исчадие полуобразования, духовная чума наших дней, заражающая юношей и детей! И сам я был тогда зараженный, и вокруг себя распространял ту же заразу... Закат догорел. Стемнело. И ТО погасло в душе моей вместе с последним его лучом, так и не родившись, — от мертвости, от лени, от запуганности. Бог тихо постучал в мое сердце, и оно расслышало этот стук, дрогнуло, но не раскрылось... И Бог отошел. Я скоро забыл („твой голос нежный, Твои небесные черты” — хочется продолжить... И совершенно та же тут структура ВСТРЕЧИ с Высшим —

в душе, чуткой к прекрасному, но погруженной в томление скуки мира сего. — Г. Г.). И после этого стал опять мелок, гадок и пошл, как редко бывал в жизни. („В глуши, во мраке заточенья Тянулись тихо дни мои Без божества, без вдохновенья, Без слез, без жизни, без любви”, — Г. Г.), то есть — Пушкин! И он тут как тут: кто за тебя все моделировать будет — Пушкин? — Да, все — он! — Г. Г.).

Но вскоре опять ТО заговорило, но уже громко, победно, властно. И снова вы, о горы Кавказа! („Душе настало пробужденье: И вот опять явилась ты”. — Пушкин.) Я зрел ваши льды, сверкающие от моря до моря, ваши снега, алеющие под утренней зарей, в небо вонзались эти пики, и душа моя истаявала от восторга. („И сердце бьется в упоенье, И для него воскресли вновь И божество, и вдохновенье, И жизнь, и слезы и любовь”, — все Он, Пушкин!) И то, что на миг лишь блеснуло, чтобы тотчас же погаснуть в тот степной вечер, теперь звучало и пело, сплетаясь в торжественном, дивном хорале. Передо мной горел первый день мироздания. (О! Это — встреча, это — воспамятование! Душа перенеслась к корню своему, в домирность, к Богу за пазуху, где в Премудрости Его зачины всех душ, пригоршни их, как звезд. Вот куда забрался — в лоно к Софии самой! То-то не захочет и далее всю жизнь сходить с этого плацдарма, узретого в озарении, — и так и станет не просто Софию в мире, но и в составе Бога, в Троице — расковыривать ей местечко среди самих Ипостасей, выговорить-вымыслить любяще-преданным ей богословствованием! — Г. Г.) Все было ясно, все стало примиренным, исполненным звенящей радости. Сердце было готово разорваться от блаженства. (Брезгливо Бердяеву это состояние и в человеке, и даже в Боге самом — как чувственный гедонизм, приятность, вариант рабства как расслабленно-

сти и дезертирство от трагедии мира и креста свободы. — Г. Г.) Нет жизни и смерти, есть одно вечное, неподвижное ДНЕСЬ. НЫНЕ ОТПУЩАЕШИ, звучало в душе и в природе» (Свет Невечерний, с. 7 — 8).

Когда я стал контрапунктом к рассказу Булгакова проводить пушкинское «Я помню чудное мгновенье», — подивился, как догматические «софиянцы», все танцую преданно от длинно-прозаических «Трех свиданий» их мэтра Соловьева с сим Вечно Женственным, что они именуют «Софией», — не дослышалось до этого же СО-Бытия в боговдохновенном пушкинском стихотворении, исполненном такого страстного Эроса, рядом с которым анемичен и блекл стих и слог Соловьева?.. Вот где прообраз и икона чудотворная для страсти человека к Вечно Женственному, по-русски!

9 марта. И снова — борьба: с вторжением жизни, и мощным. Вчера ездил, по просьбе Светланы, ее подругу N встречать в аэропорт — из Мексики. Полтора месяца там провела с мужем, в его семье.

...И когда рассказывала о их жизни там, в бедной семье, с мужем без работы (устроился преподавать русский язык раз в неделю, и платят 20 р. в месяц — на наши...), я понял, что она там стеснялась есть. Утром и вечером еще ели в его семье, а когда уходили в город по делам, не могли даже булку купить: «Хоть и стоит-то 25 копеек, но их еще надо иметь!» И мыться — проблема. Тут-то привыкла: вода, газ — несчетны, а там и питьевая — оплатна. Так что стеснялась в доме его семьи лишней раз помыться. А на работу в этом супергороде Мехико (чуть не 20 млн. населения, а то и больше) тратят два с половиной часа — в один конец. А дышать нечем — от газов машин. И болела она там три недели — и это оказалась страшная нагрузка на семью. А ее мужу работа пока никак не светит постоянная, а разная случайная. 10 ящиков книг русских —

им некуда в доме поставить. В семье люди милые, но не понимают его литературных интересов, и он чувствует вину... Н его сажала с утра писать — пример с меня ему напоминая. Но у него-то и сесть негде, а лишь в мастерской брата на грязном чердаке...

«Вы не понимаете, — говорила N, — какими тут благами пользуетесь — даже если не печатают тебя! Но ты — дома, свободное время имеешь, еда дешева, вода. А коли напечатают — за гонорар жить долго можно. А еще изба, природа! А там — всякая мелочь на счете, и напрягаться-зарабатывать надо, с утра целый день...»

И вот мне по-новому предстал сюжет: ХЛЕБ и СВОБОДА. Именно: свобода — бремя. Вот они в свободе — и потому сами должны обо всем позаботиться, развивать себя в соответствии с многосложными переплетениями и законами (и юридическими) окружающего социума и производства. И гетевское итоговое в «Фаусте»:

Лишь тот достоин жизни как свободы<sup>1</sup>,  
Кто каждый день за них идет на бой!

— и за каплю воды и булку, в том числе. А не просто тут этический героизм личности, что в «персонализме» Бердяева-аристократа теоретически положен...

Так что когда в «Легенде о Великом Инквизиторе» человек склонен пожертвовать свободой за хлеб, — он еще и беззаботность обретает, психику птички Божией, о существовании которой мир позаботится, а я себе — петь могу, на иждивении у Бытия. Хоть бытие мое и лагерем может быть, но ведь и раб о себе не заботится, не может: обо всем бремя заботы принял на себя Хозяин: Государство, Партия и Правительство и «лично товарищ Сталин»: «Спасибо за наше счастливое детство!...»

<sup>1</sup> В оригинале у Гете помнится: «Свободы как жизни», (Freiheit wie das Leben). В переводе Холодковского: «жизни и свободь». Ну а моя память, цитируя, ошиблась по бердяевски. — 21.3.90.

И тем не менее рабство — и беззаботность. А Свобода = забота. Недаром и Хайдеггер суть бытия-в-мире означил как именно «заботу».

Ну и я могу быть неразвитым граждански-юридически (каков я и есмь: законов не знаю) и вообще не юрким-вертким, а чудачком монолитным и простодушным, знать лишь свое интересное дело, полунлице, но и беззаботно живя. Так что мы — полурабы, но зато заботу о нашем прокорме, жилье и воде Хозяин на себя берет: социальные-коммунальные услуги — за Государством. И так — в несвободе, но в обеспеченности некоей — обитаем. И имеем свободу — внутреннюю: чем хочу-люблю — тем занимаю свой ум и душу. А не печясь о наружном так уж... Все равно сие от меня не зависит и не изменишь. Так что на внутреннюю, существенную жизнь ума и души, и духа, и интеллекта, а также на споры, разговоры и — на Любовь — могу направить свои силы и время живота. Быть беспечным ДИЛЕТАНТОМ = ЛЮБИТЕЛЕМ: все же от корня «любовь», Божеское это понятие, тогда как «профессионал» в любом деле — понятие рабское, из мира отчужденного, где ты — винтик в машине, хорошим винтиком быть должен. И об этом ТАМ радение: быть хорошим «профи» — и в культуре гуманитарной, в том числе. Это различие и мы ныне чувствуем, но его и Бердяев отмечал, участвуя на Западе в разных встречах интеллектуалов: «и должен сказать, что наши русские споры были выше и глубже. И вот в чем главная разница. В Западной Европе, и особенно во Франции, все проблемы рассматриваются не по существу, а в их культурных отражениях, в их преломлении в историческом человеческом мире. (То есть, не ЧТО, а О ЧЕМ — они мыслят-говорят: гносеологически, а не онтологически, по существу и впрямую. — Г.Г.) Когда ставилась, например, проблема одиночества... то говори-

ли об одиночестве у Петрарки, Руссо или Ницше, а не о самом одиночестве. Говорившие стояли не перед последней тайной жизни, а перед культурой. В этом сказывалась утомленность великой культурой прошлого, неверие в возможность разрешить проблемы по существу. (У нас же верят в возможность разрешить — от неразвитости и наивности, от неведения и непредставления всех многих и тонких проблем: так и коммунизм как рай на земле именно ВЕРИЛИ легко и сразу осуществить: «разрушим — и построим!» — Г.Г.) У нас в России, в период наших старых споров, дело шло о последних, предельных жизненных проблемах, о первичном, а не об отраженном, не о вторичном. Так было не только в религиозно-философских обществах, но и в спорах в частных домах, напоминавших споры западников и славянофилов 40-х годов. Белинский говорил после спора, продолжавшегося целую ночь: нельзя расходиться, мы еще не решили вопроса о Боге» (Самосознание, с. 183).

Но тут снова вопросы: эти милые русские баре-господа не оттого ли так бессонно мучились *последними* вопросами (о цели, о смысле, о Боге), что не знали — *первых*: как хлеб делается и копейка зарабатывается? То же самое и я, раб и невежда в эконом-гражданско-юридических вопросах, просто уверен, что прав никаких не имею во внешнем мире и ничего добыть-доказать не могу, — отчаявшись, всю жизнь предаюсь только жизни в себя, по существу, и мысли интересной — в бумагу, в стол и в жену...

Итак, КОНЦЫ и НАЧАЛА! Запад ищет Начала (еще от греков: «архай», а от римлян: «принципы» = «первые»). Русская же мысль — особенно рубежа XIX — XX веков — с гордостью отмечает свою ЭСХАТОЛОГИЧЕСКУЮ устремленность: к последним временам и срокам и целям и проблемам, к кон-

цу света и человека, а там — к... чему? К Новому Иерусалиму? Апокалиптической катастрофе всего и вся? К Страшному Суду? Или к Воскресению всех и «апокатастасису» — прощению всех, так что и Сатана прощен будет и спасется?..

И все же связь мне предстала теперь этих сублимированных различий и оттенков — с понизовыми, хозяйственно-экономическими. Для Бердяева все же хлеб на дереве растет, а кофий с булками к завтраку по щучьему велению, по моему хотению доставляется, как, впрочем, и для ГУЛАГовского зэка — его баллада: не зависит от его ума и труда, по благодати начальства-господства; как и для меня — уже в некаящую эпоху: низенький прожиточный минимум, а все ж вот «дом творчества» и корм, а пишу — что хочу, но и не напечатают. Одно от другого не зависит: жизнь, экономика, дух — все само по себе как-то враздробь идет; а и лучше так: беззаботно.

Там же, перед лицом многосложно-разветвленного предметного мира и производства, среди тонких законов, — и человек-мембрана на все это повернут, откликнут: многосложен в ответ, — но и занят всем этим, всей этой мелочью и швалью; все нутро этим и дух заняты: «хочешь жить — умей вертеться!»

Мы ж — более простодушны и цельны, и как Марии (а не Марфы, что радеет о многом) — о Едином... «на потребу» (все же и в Евангелии упомянута). «Потребу» же мы игнорируем как-то: экономику-пользу.

Вот и Булгаков: вышел вроде напрямую на «марфину» проблему: на хозяйство и написал «Философию хозяйства» — и что же? И тут поторопился в эмпирей вечных проблем Духа взлететь и к Софийности прилепился... Но это еще чуть позже рассмотрим. А пока — еще о «началах» и «концах». Западный человек, частичный индивид, зато частный собственник и хозяин самого себя и

дела своего и самосделанный человек, в свободе и самоответственности (под крестом ее), может самоначинать дело свое и об этом думает, и туда устремлена мысль: из чего и как все устроено и с чего начать и как что сделать? И когда эти вопросы у нас появились (Чернышевский и Ленин), они явно дыханием западной мысли овеваны.

Ну а русский мужик, коль работать невмочь...

Эй, ухнем! Бабахнем! Пальнем-ка пулей в Святую Русь ... в толстозадую!

Порешить все — нарраз! и одним махом!..

Но и в тонком атеизме — как рассуждает Кириллов в «Бесах»? Сравниться с Богом в творчестве: создать мир и живые существа, т.е. быть НАЧАЛОМ, он, человек, не может. Но что может? Кончатъ все! — прежде всего себя: когда страх смерти преступлю и сам кончу себя = стану как Бог! Ну и естественно, и мир кончатъ, и Землю-планету (как ныне атом и «экология», и всемирный взрыв и порча, и Апокалипсис и звезда Полюнь-Чернобыль... — это в нашей власти...).

Так что столь упоенно самовосхвалявшийся русскими религиозными философами «эсхатологизм» русской души и мысли, хотя они это как Богочеловечество трактуют, — это же вполне «человекобожество» и сатанинство, из чего и революция, и искус всех и вся «кончатъ», — как это в «гражданку» к стенке и «в расход» и в ЧеКа; и в сталинском самостреблении...

Да, «концы» — в нашей власти. Только «наша» ли это власть, человечья, а не Князя ли мира сего? Конечно (опять «конец» — корень даже в этом вводном слове, сопутствующем всякому на Руси утверждению, как «разумеется». Так что и Разум тут «суб спiecie» КОНЦА: всякое разумение и понимание из проекции итога строится...), сам «конец» мы-

слится — как начало НОВОГО мира и НОВОЙ жизни: воскрешение (Федоров). Но и то отметим: о начале Нового, «жизни будущего века», думают, а нет, чтобы начало того, сего, как и что есть и началось, — понять (как это делает мысль Запада, аристотелевская, научная). У нас же — «проекты», «утопии», «близость конца» — вот-вот (эсхатология — от «эсхатос» = «крайний», «конец»)... И из влечения к тому, что начнется (воскрешение, новая жизнь), — незамечание маленькой предварительной ступени, а именно: смерти — ближнего и своей, через которую надо преступить, и что так ласково, в беспамятстве любви к товарищу, делают в «Чевенгуре»: убивают ошибочных буржуев...

Так что именно: «прости им, Господи, ибо не ведают, что творят», — и братишечки, и чекисты... И то-то парадокс налицо: великие преступления совершены на советчине руками человек и народов, а — не липнет кровь и вина: будто невинны, просто «бес попутал» и «взятки гладки». То ли толстокожесть: что «как с гуся вода» (и это тоже вероятно: ведь именно святой чует себя грешнее всех людей: от прозрачности плоти своей даже малое пятнышко — ужас ему), то ли действительно внешнее это все было налипание и души не затронуло — в том числе и русского народа?..

Так что после всего эсхатологического обольщения нашего века, от заносов торопливости к КОНЦУ, чтоб «раз и навсегда» решить загадку мировой истории, — нам поворот «колеса дхармы» («дхармачакравартана» буддизма) нужно в Душе, во Психее России произвести: от тяги к концам — к началам и к тому, что *есть*: к «истине», «правде».

Что и делается: узнание, сообщение, покаяние в том, что у нас было, и что мы есьмы ныне, — уразумети. И тогда — снова-здорово: школа хозяйства, ясли экономики,



собственности, ответственности — и СВОБОДЫ! Ибо бремя она! То-то убоялись и убежали — скорее к тому, Христову: «ибо иго Мое благо и бремя — легко». А иго свободы — не благо (может, и благо...), а бремя — не легко. Так что ясен-понятен естественный выбор: к чему он нас поклонит.

И когда в России, уже многосложно устроившейся на рубеже веков XIX и XX, возник-развиваться начал экономизм и интерес к марксизму, это был естественный вектор Логоса теперь: к тому, как что делается, чтоб самим начать и уметь начинать что-то делать: к «причинам» и «истинам» поворот. Ту самую срединность, опосредствование между началами и концами начать заполнять. Искомую «третьесловность». А приЧИНа — недаром от «ЧИНить»: как трудовая, значит, категория, источна в разуме.

То-то и восторгнулся я, принявшись за «Философию хозяйства» Булгакова. Ну, думаю, «низкими истинами», наконец, русский ум займется... Но нет, поторопился он оттолкнуться от поганого и вульгарного «экономического материализма» (а в нем это есть, конечно, но ведь и более того: много реально нужного и очень своевременного для только начавшей свое буржуазно-капиталистическое развитие пореформенной России), по формуле русского Логоса: «Не то, а... (что?)» — и пошла писать губерния его ума — про Софийность — всю оставшуюся жизнь.

Конечно, замечательна-проницательна его критика марксизма: в частности, в статье «Крал Мракс (о, моя машиночка: какие недоумевающие опечаточки-подсказы уму моему производишь!) — то бишь «Карл Маркс как религиозный тип», в нем апостола религии ЧЕЛОВЕКОБОЖИЯ он видит и потому такая в том ненависть к истинному Богу и личности человека. По пересказу

Н. О. Лосского<sup>1</sup>, «говоря о личном характере Маркса, Булгаков характеризует его как властолюбца и человека, в душе которого было больше ненависти, чем любви... Он называет Маркса «демократическим диктатором», отмечая его «бесцеремонное отношение к человеческой индивидуальности». «Для взоров Маркса люди складываются в социологические группы, а группы эти чинно и закономерно образуют правильные геометрические фигуры («Арифметика!», «Бернары!») — помним эти экзистенциальные вопли личности у Достоевского против бесчеловечной науки. — Г.Г.) так, как будто кроме этого мерного движения социологических элементов в истории ничего не происходит», и это упразднение проблемы и заботы о личности, чрезмерная абстрактность есть основная черта марксизма». Н. О. Лосский продолжает: «Отношение Маркса к религии, особенно христианству, было язвительно враждебным. Такое отношение к религии Булгаков объясняет тем, что «христианство пробуждает личность, заставляет человека ощущать в себе бессмертный дух, индивидуализирует человека, указывая для него путь и цель внутреннего роста; социализм его обезличивает, поскольку он обращается не к душе индивидуальности, но к ее социальной коже, сводя наличное содержание личности всецело к социальным рефлексам».

Он проводит аналогию между социализмом Маркса и еврейской хилиастической утопией (хилиазм — золотой век, тысячелетнее царство святых на земле). Путаница из эсхатологического и хилиастического планов, говорит Булгаков, придает

<sup>1</sup> Лосский Н. О. История русской философии. М., 1954, с. 201 и сл. На титульном листе гриф: «Рассылается по особому списку» — как бы «совершенно секретное» в те годы издание, для «авгуров»: чтобы были «в курсе дела», что о «нас» думает «идеологический противник».

апокалиптике «специфический характер, благодаря которому она сыграла такую роль в истории иудейского народа, притупляя в нем чувство действительности, исторического реализма, ослепляя утопиями, развивая в нем религиозный авантюризм (что вполне проявился в Октябрьской революции, в ускоренной коллективизации, пятилетках и проч. — Г.Г.), стремление к ВЫМОГАТЕЛЬСТВУ ЧУДА». Вера в прогресс имеет хилиастический характер и «для многих играет роль имманентной религии»... Что представляет собой социализм Маркса?

Булгаков говорит, что «социализм — это рационалистическое, переведенное с языка космологии и теологии на язык политической экономики переложение иудейского хилиазма, и все его *dramatis personae* («действующие лица». — лат. — Г.Г.) поэтому получили экономическое истолкование. Избранный народ, носитель мессианской идеи, или, как позднее в христианском сектанстве, народ «святых», заменился «пролетариатом» с особой пролетарской душой и особой революционной миссией... Роль сатаны и Велиара, естественно, досталась на долю класса капиталистов, возведенных в ранг представителей метафизического зла... Мессианским мукам и последним скорбям здесь соответствует неизбежное и, согласно «теории обнищания», все прогрессирующее обеднение народных масс, сопровождаемое ростом классовых антагонизмов... Роль *deus ex machina* («бог с машины» в античной трагедии, чье появление под конец разрешало все конфликты. — Г.Г.), облегчающего переход к хилиазму, в социализме, опять-таки соответственно духу времени и его излюбленной наукообразной мифологии, играют «законы» развития общества или роста производительных сил...» (Два града, т. II, с. 118).

10 марта. Вчера вникал в богословские построения Булгакова и

понял, что свободно-творческий (и в то же время смиренно-благоговейный) подход протоиерея Отца Сергия к догматам православия и идея о возможности *развития* в понимании Бога человеком сродни русским простонародным искателям правды Божией (как, например, Сютаяв: «все в табе» и «все сейчас»), только выполнено на самом сублимированном языке религиозной философии и богословия. Русский хозяйственный мужик в нем — как если бы перед тем, как приняться хозяйствовать, захотел испросить соизволения у Бога на это дело: чтоб благословил на это занятие. И тогда уж с чистой душой бы возделывал землю. Ведь главный нерв религиозной философии Булгакова — это оправдание мира как Божьей экономии = «домостроительства»: что и в нем София (Премудрость) обитает.

Греческое «ойкос» = дом, двор, хозяйство. «Номос» = закон. И вполне естественно, что в России рубежа XIX — XX веков, когда и крестьяне, и купцы, и художники основывали собственные дела, хозяйства, не просто юридической законности тут требовала душа, но — божественной, участия в Законе Божием. Так что и хуторяне Стольпина, и единоличные хозяйства НЭПа, которые все не просто «земледельцы», но «КРЕСТЬяне» = «ХРИСТИане», как бы делегировали своего посла-представителя, своих интересов понимаателя и защитника, — в небеса благословляя. И тот, хотя и смиренно, но упорно и упрямо, широким лбом своим и кряжистой костью, Микула Селянинович, пахарь во Боге, проводил борозды — извилинами мозга своего.

Уже изначала интеллектуального развития его привлек «экономизм» — тем, что и хозяйство можно вести не как придется, а умно, по науке, природность дедовскую слить с умственностью новейшей. Однако отвратила его ПОЛИТэкономия — Кесаревым поворотом хо-

зайствования: во злобу мира сего, куда ойкономию загонял марксизм — в классовую ненависть и борьбу, на горизонталь площадей городов. Природно-крестьянское мироощущение Сергея Николаевича, любящее, побуждало его дом и двор, и хозяйство (сей шар-объем) распространить на Космос, взаимно гармонизовать и оправдать их друг другом, и дело хозяйствования рассматривать по вертикали: Земля-Небо, то есть между любовью к Матери-Земле и к Отцу-Небу-Богу. То есть кесареву ПОЛИТэкономии опровергнуть, а развить, напротив, ТЕОэкономии: чтоб она там, где «Богу — Богово», располагалась. И так это инстинктивно в народном сознании, крестьянском: благоговение к Матушке-Земле, сыновнее к ней чувство. И потому нравится ему «материализм»: он верно слышит в нем корень «МАТЕРЬ» — в философском понятии «материи». И смысл его дальнейшей религиозно-философской работы — оправдание Матери-и: Женское начало во Боге самое отыскать — ей место, равноипостасное. А для того — полно оснований. Хотя бы и то, что все почти качества во Божестве — женского рода: и «Природа» («усия»), и «Личность» («ипостась»), и «Любовь», и «Истина», и «Премудрость»-София — и не честь...

Как Богородица — заступница земли и рода людского и каждого бедного человечка перед Небом и Отцом и Сыном, Судией Страшным: как «ПОКРОВ» прикрывает от гнева и огня, — так и София мыслится как Душа Мира, что стоит между Богом-Творцом и миром тварным — как «прокладка» меж тем и другим: и проводник, и переводчик смыслов-замыслов. Ибо Божественная София в Боге (как его «дщерь» и «супруга»), имеет аналог в Тварной Софии в мире сем, а затем и в Падшей Софии (когда мир после грехопадения во зло попал лежать). Но и

тут она — залог возрождения во благе и воссоединения с Богом.

Потому мир есть Космос, красота, пронизан духовностью и смыслами. А человек — это хозяин, соратник Богу в изукрашении земли, каким был Первый Адам в Эдеме; и ныне таким стремиться быть должен.

Еще в свой «марксистский» период в книге «Капитализм и земледелие» (1900) Булгаков выступил против механического перенесения закона концентрации производства в промышленности — на земледелие и утверждал, что там — тенденция к децентрализации (что и «от противного» — ужасно доказал горький опыт централизованного советского сельского хозяйства, а от «положительного» — фермерство американское и западноевропейское).

Но тут не просто экономика, но и БОГО-ойкос: Божий Дом — таковым мир, снизу от земли, через посредничество человека, обоживать-одухотворять. Тут — и СОБОРНОСТЬ, как она понималась в русской умной мысли, еще с Хомякова. Снизу самостно растет личность — в свободовольном влечении к Небу, и там, наверху, как деревья кронами, соплетаются умами-идеями в единую горную Церковь. Так что лишь полностью и без помех до пределов собственных возможностей и сил развивший свою личность и дом и хозяйство — именно таковой является полноценно, как сотрудник-сотворец, в Божий дом и хор: как не зарывший свой талант, но развивший. А не то, как варварски поняли «общинную» склонность русского человека торопливые социалисты: на корню перерезать ствол человека, его интимную связь-брак любовный с матерью-землей объявить «эгоизмом», отодрать от материнского лона, а в итоге и ее изнасиловать, обращаясь не благоговейно, как с матерью, но как со шлюхой на панели, беззащитной (ибо ее защищала, прикрывала соб-

ственность мужа — «мелкого», смиренного сына ее).

Как пронизательно заметила И. Роднянская, «Булгаков как политический экономист» оказывается «предшественником Чаянова, и как натурфилософ — предшественником Вернадского: «эпоха хозяйства есть... эпоха в истории земли, а чрез нее и в истории космоса» — эта мысль, с убедительностью высказанная в «Философии хозяйства», совпадает с основами учения Вернадского о ноосфере».

«НОО-сфера» — от греч. «нус» = разум: аналог уровню ИДЕЙ, миру-«сфере» духов, душ, умов, смыслов-первообразов, ангелов, что в платонизме и христианской «небесной иерархии». Сюда вывел биологию, биохимию и геологию ученый Вернадский, со своей теорией о «живом веществе», но сюда же, к платонизму, как к «наименьшему общему кратному» и «знаменателью», вывели и Русскую Думу мыслители XX века — с учениями о Всеединстве и Софийности Космоса, мира, человека, земли и истории. Что попросту значит: не пропащи они, не прокляты и «во зле лежат», но вызволяемы — свободным творческим усилием человека ко благу и личности. А залог тому — табло все смыслов всех идей-ноуменов в Боге (Божественная София) и его отражение и аналог — тварная София = табло смыслов всех явлений мира: всех существ, вещей, событий истории, жизней. И человек призван их соединять: совершенствовать мир и хозяйствование в нем — в христианском направлении.

А доселе христианство, особенно православие, виновато слабым участием в мирской деятельности, покинуло мир и экономику, гражданскую жизнь и культуру — на самих себя. «По мнению Булгакова, — пишет Н. О. Лосский, — успех социализма в наше время «прежде всего есть кара за грехи исторического христианства и грозный призыв к

исправлению». «Христиане сделали очень мало для того, чтобы реформировать экономическую жизнь в духе социальной справедливости», — считает Н. О. Лосский (с. 201).

А какими примерами божеского обращения с землею и природой были монастырские хозяйства-«экономии», и старообрядческие, да и из новых сект: духоборы, молокане — великолепные хозяева!.. И ныне, когда справили всенародно Тысячелетие христианства на Руси и воспрянула церковь, повернуться лицом и к экономической благой деятельности в мире: «крестьян, научите...», как земледельцев и мастеров благостно, — тоже не недостаточная цель! Напротив: чтобы не только для пуза и брэнной плоти понимали бы люди свой труд, но и ко украшению и гармонизации Природы и Вселенной — активно бы приняты церквам на всех местах за организацию крестьянствования — вместо чиновников райкомов и исполкомов и контор совхозных... А идеологией тут и мирским людям вместо марксизма хорошо послужит преодолевшая политэкономия теоэкономика отца Сергия Булгакова.

Ведь что есть ПОЛИТЭкономия? Это поворот экономики к политике: сначала объявив экономику за «базис» политики, но потом политика пожрала экономику, и Ленин провозгласил «примат политики над экономикой в эпоху диктатуры пролетариата»; и как в этике нравственно то, что полезно для «нас», для партии, то и экономически закономерно то, что выгодно для власти пролетарского государства. Ну да: «полис», по-гречески — город-государство, так что политэкономический подход к сельскому хозяйству — это горожанский к нему подход, по мерке фабрики-завода. А она — не работает на земле. На вертикали Земля-Небо оптимальная вертикаль — это человек-личность. А «собственность» = «самость», есть самообладание, само-

развитию в личность опора. Задача человеку за жизнь: свой кусок вещества плоти и мира — к Богу привести, наладив; хаос в космос-красоту обратив-подняв.

Булгаков видит, что мир в XX веке стал хозяйством. Раньше оно как бы само по себе шло, природно-дедовски рожая: как и человека, так и хлеб-пищу; а ум и дух занимались собою, духовною стороною в человеке. Теперь же срочно надо духу продумать хозяйственную деятельность — труд, творчество: иначе ненароком отберет эту область себе Князь мира сего, что почти и случилось — и, в частности, от чистоплотейства церкви и богословия в этом отношении. Потому Булгаков ратует за «христианский религиозный материализм» (выражение Вл. Соловьева), против аскетизма и ухода от мира сего. И даром разве «БОГатство» — так наименован материальный достаток человека? Значит — богоугоден он... В некотором смысле богословие Булгакова аналогично реформатским течениям на Западе, в которых так много и стяжание выступали как богоугодные добродетели (Кальвин, а в XX веке это хорошо растолковал и Макс Вебер). У нас же, в силу стяженности исторических стадий в развитии России, Булгаков — это Лютер-Кальвин и Макс Вебер одновременно: то есть и ЧТО, и О ЧЕМ...

Если по Бердяеву Бог не может без человека (как личности в творчестве и свободе), то по Булгакову Бог не может без мира, как хозяйства своего, общего у него с человеком, в Богочеловечестве. И тут уж не аристократическое Творчество, а смиренный Труд мужика-мужа Матери-сырой земли религиозно восценивается мыслителем. Соответственно, РОД у него первое индивидуума, а идеи Платоновы (из чего состоит София), общие, — первое экзистенций существ. «Что существует раньше: человеческое естество или индивидуальный человек, всеце-

лый первозданный Адам или адамиты? Нам кажется, что только признанием единого человечества, праотца (в метафизическом смысле) Адама, дается возможность понять характерное соединение индивидуального и общечеловеческого в личности. То, что делает индивида человеком, совсем не есть его индивидуальное начало, образующее лишь особый динамический центр, способ проявления общечеловечности, но именно эта последняя, со всеми заложенными в ней беспредельными возможностями» (Философия хозяйства, с. 130).

И если бердяевская Личность чувствует себя оптимально в ситуации риска, опасности, борьбы с миром сим, и отвратительно ей всякое «слияние» и брезгливо «растворение», то булгаковский человек мечтает: «утопать в сверхиндивидуальном». «В гармонии индивидуальностей, в их свободной любви и деятельном единстве заключается особый источник блаженства...» (с. 133).

Как все прилегает в системах философов — одно к одному! Граница «я», обособление человека — удерживается лишь в качестве основы: для преодоления во любви. И хозяйствование — это не творчество нового, но актуализация потенциально содержащейся в мире Умности («Софийности»). Бытие первичнее Свободы. «То, что выступает в сознании как постулат должноствования, заложено в метафизической области как бытие. Мир и в нем человечество, сдвинутые со своих основ, снова стремятся к ним возвратиться» (с. 134). Ну да: кругооборот — модель живущего в природе, на земле. А для горожанина — линейность «прогресса»: все вперед — такова модель Времени...

«Человеческое творчество не содержит поэтому в себе ничего МЕТАФИЗИЧЕСКИ НОВОГО, оно лишь воспроизводит и воссоздает из имеющихся, созданных уже элемен-



тов, и по вновь находимым, воссоздаваемым, но также наперед данным образцам. Творчество в собственном смысле, создание метафизически нового, человеку, как тварному существу, не дано и принадлежит только Творцу» (с. 140). А в мировоззрении Бердяева, что на следующий год выскажется мощно в «Смысле творчества» (1914), творчество человека именно метафизически новое призвано сотворять, и так человек Богу — сын и сотрудник. Бог нуждается в человеке.

Однако Булгаков, который всю жизнь внимал и учился и развивался, в том числе и питаюсь от работ других рыцарей Духа, — в дальнейших своих работах раздвинул место и для личности, и для свободы, и для творчества; даже в богословии и догматике он развитие допустил — и сам же активно-творчески и осуществил.

А пока у него — не ТВОРчество, а ВТОРчество (на стадии «Философии хозяйства», 1913 год).

*11 марта.* Понимание, прощение и оправдание, а в итоге — восхищение всем, что ни на есть в бытии и в мире, как Божьем, — вот пафос думы отца Сергея Булгакова. Что значит — хороший человек (Л. И. Шестов о нем: «Булгаков, когда был марксистом, был таким же хорошим человеком, как и теперь»), ориентированный — на Любовь, а не на борьбу и критику! Потому его труд — это добыча и развертывание положительного содержания — через перелопачивание огромного прежнего философского и религиозно-богословского материала. Он любит чужую мысль, большими пластами ее цитирует, так что капитальные труды его одновременно и как хрестоматии по данному вопросу, так что их и для образования полезно читать. Да, любит Дух, а не себя в Духе (самонаслаждение своим состоянием творящего — у Бердяева; да и у меня...)

...Смотрю снова на его лицо: какой лоб широкий, таранный! Как у Серафима Саровского — ширококостный русски-богатырский тип. Как Илья Муромец. А на картине Нестерова рядом с ним Флоренский — о, змий, не простодушный, никак! Если тот — сом лобастый, то этот — угорь: тонкий, длинный, извивающийся.

Почувствовать прекрасную душу Булгакова можно по излившейся из него собственной молитве: «Ты всегда меня видишь! Хорошо знаю я это, скрываюсь ли от Тебя со стыдом и страхом, или внемлю Тебе с восторгом и трепетом. Чаще же — увы! — только мыслью помню о Тебе, но холодна бывает душа моя. И тогда бываю я свой, а не Твой, замыкается небо, один остаюсь в своем ничтожестве, на жертву ненастного и бессильного я. Но Ты зовешь, и радостно вижу, что только я отходил от Тебя, и Ты всегда меня видишь.

Ты всегда меня видишь: в жутком бессилии порывов к Тебе, как в робкой и холодной молитве моей, в расплавленной муке дробящегося сознания и в жгучем стыде греха моего. Ты зришь потаенные помыслы, что от себя я со страхом скрываю. Ты во мне знаешь и холодного себялюбца и унылого труса. Ты ведаешь и лукавого похотливца и корыстного завистника. О, страшно думать, что Тебе все мое ведомо, ибо Ты всегда меня видишь!

Ты всегда меня видишь! И Ты знаешь, как хочу я любить Тебя, хоть и бессильна любовь моя. Хочу любить только Тебя, ничего я помимо Тебя не хочу. Но не умею хотеть, извиваюсь в безвольном усилии. А Ты ждешь молчаливо и строго, печально и терпеливо. Но Ты не отнимаешь надежды моей, ибо веришь мне больше, чем я сам себе верю. Ты всегда меня видишь!» (Свет... с. 46).

Какая прозрачность, просквоженность! Как у древних святых было такое понятие: «хождение пред

Богом»,—так и тут: во всем! Но если такой Он всепроницающий—как же злу угнездиться в мире? И потому чувство доброго отца Сергия — ну никак не может зла принять как субстанциального наличия, но размягчает его, превращает в тень. Все положительное — божественно. «Негативно» (условно) — непрозрачное: «тварный эгоизм» находит свое выражение в «пространственной взаимонепроницаемости». Но и это необходимо: грехопадение и потемнение и «падшая София» — как фазис в динамическом Творении, что — как в земледельческом круговороте: отступление — для возврата с прибытком.

«Мир ЕСТЬ СТАНОВЯЩИЙСЯ Бог. Бог ЕСТЬ только в мире и для мира... Творя мир, Бог тем самым и Себя ввергает в творение, Он сам Себя как бы делает творением. Бог истощается в ничто, превращая его в материал для Своего образа и подобия. Он дает ему полную свободу актуализации в тварях, сам становясь потенциальным. Не ведая зависти, Он хочет жить в тварях и СТАНОВИТЬСЯ в них. Он чтит природу твари, которая ничто (имеется в виду то метафизическое НИЧТО, что как бы ДО Бога как Бытия и Творца; в мистике германской развито это умозрение.—Г.Г.), больше собственной мощи, ибо хочет Себя в творении, в нем—в другом, желая иметь друга, независимого по отношению к Себе, хотя и всецело Ему обязанного бытием. Бог умеет ждать...» (с. 193).

«...И можно сказать, что Бог не завершен», а следовательно, не может быть завершено и наше, церковное знание о Нем, и догматы допускают — развитие, чем и занялся упорно отец Сергий, развив далее учение о всепроницающей Софии как Премудрости, светлого мира всесмыслов и всеидей (как у Платона), что просвечивает всё: и тварь, и мир в состоянии грехопадения,— как Богородица даже во ад сходит,

разделяя судьбу с человеком, тварью и осиливая «зло».

«В Женственности тайна мира». София «находится МЕЖДУ Богом и миром. Ангелом твари и Началом путей Божиих является св. София. Она есть **любовь Любви**». Ее диапазон: от того «Начала», в котором Бог сотворил мир (т.е. Его Премудрость, идеальный умопостигаемый мир первообразов, как у Платона)—до Материи; а посредница — Богоматерь. В промежутке же она также и Душа мира, Психея — словом, все варианты Женского начала — «Вечная Женственность». И она возведена Булгаковым в ранг как бы еще одной, четвертой ипостаси — вдвинута в Троицу. И вот ее богословские толкования, уточнения и соответствия: «Как приемлющая свою сущность от Отца, она есть создание и дочь Божия; как познающая Божественный Логос и Им познаваемая, она есть невеста Сына (Песнь песней) и жена Агнца (Новый Завет, Апокалипсис); как приемлющая излигия даров св. Духа, она есть Церковь и вместе с этим становится Матерью Сына... и она же есть идеальная душа твари, Красота. И все это вместе: Дочь и Невеста, Жена и Матерь, триединство Блага, Истины, Красоты, Св. Троица в мире есть божественная София» (с. 214).

Так что надо узнавать духовную просвеченность всякой твари, и животного, и события в истории. «Человек есть **ВСЕЖИВОТНОЕ** и в себе содержит как бы всю программу творения. В нем можно найти и орлиность, и львиность... В связи с этим понятна не только любовь человека к живой твари, столь непосредственная особенно у детей, но и вся символика зверей, в которой их образами выражаются человеческие черты... Египетская религия своим обоготворением животных, а еще более — сознательным соединением человека и животного в образах богов, с наибольшей остротой ощути-

ла эту всеживотность человека или, что то же, человечность животного мира» (с. 286).

Даже смерть оказывается благом — «для отравленного бытия» (чей субстрат — ничто, как в Ставригине, пустоте под личиной. — Г. Г.). Таковое существо возвратится в землю ожидать всеобщего воскресения и жизни будущего века, когда может быть наполнено истинным бытием, так что таковому смерть — блаженство, а не бедствие.

Исторические неудачи (как мы могли бы поверхностно расценить наш опыт в XX веке) тоже имеют свой благой смысл, «потому что они (как толкует Лосский) исцеляют людей от тенденции поклонения человечеству, нации или миру и нездоровой веры в гуманитарный прогресс, движущей силой которого является «не любовь, не жалость, но горделивая мечта о земном рае».

*12 марта.* Что-то абстрактное у меня житье пошло. Сей чемпионский интеллектуальный марафон, что я предпринял, начал меня изнурять. Чем? Не только отсосом мозга преизбыточным, но и недокормом души. Увел себя от домашних, от очага живой жизни, что — как бочаг, в коем ручьи зарождаются, и струится ток экспромптных жизненных ситуаций, сюжетов, проблем. И когда уж он идет сквозь поле отвлеченного мышления о проблемах Духа (той же философии), тогда последние наворачиваются на сей ток и получают от него жизненное содержание и нерв и нрав, а первые — себе осмысление и высокое оправдание. Так что мысль течет — как электромагнитная волна, с перпендикулярными друг другу векторами,— и объемом, стереоскопично бытие охватывая и голографично просвечивая. «Жизнемысль», что я так практикую и именую,— и есть таковая «электромагнитная волна», что слагается из электротока Жизни, пронизывающего магнитное поле

Духа. Или наоборот можно взвидеть: ток Ума — чрез поле Души. Нус-Логос чрез Психею, Мировую Душу...

Но tu l'a voulu, Georges Dandin! «Ты этого хотел, Жорж Данден!» Ну да: давно ты удушался избытком жизни, барахтался умом, ее сюжеты расхлебывая, и совсем ползучий натуралист и эмпирик в мышлении стал: только то, что раздражение и впечатление жизни сего мига и дня тебе подаст, — только то и поспевал расхлебывать — понимать-восписывать. И ныне удалился на чистое промышление — и возлетел в долгожданный и приснопамятный Эмпирей Духа, в котором тебе славно носилось в прежние годы и где давно уж надолго не бывал. И вот усыхать, чую, начала там моя и мысль — без подачи-то жизненочки. Да, именно так: отстранил я себя от живого Женского, от жены-дочерей, от земной Афродиты-Софии-Любови — и вот и горняя София: Премудрость-Истина стала тебе помене подавать, истощаться в тебе. Чудно и дивно! Ведь именно ей, небесной, чтоб ее даров сподобиться, принес я в жертву (временную) свою жизнь земную — и что же? Безжизненной, не сочной, безвкусной, не талантливой, сухой и узенькой моя мысль философейная становится начинать. Пересыхает ручеек...

И потому напоследок больше переписываю хорошие мысли своего персонажа, нежели сам соображаю.

«Вот это интересно! Девка толста — кунка тесна!» Тоже парадокс и неисповедимость путей! Как и еще одно словцо-байка из той же блатной «оперы», что приведу себя погреть (как под картер лесовоза зимой в Коми костер разводят: масло растопить. Там я был-работал месяц отпуска своего в 65-м году и словесих наслыхался): «Беда за бедой: купил бычка — и тот с ...дой!» Та ж самая структура: ждешь одного, по логике рационально-прямолинейной, а получаешь иное, обрат-

ное... Диалектика и перипетия: «кви про кво» = «одно вместо другого», театральный преоборот и фокус-покус Бытия, что длинный нос показывает, надувая глупого человека (глупого — как раз в самоуверенной рассудительности своей). Да, «человек, предполагает, а Бог располагает».

И тут некий толчок-наущение мысли слышу. Ведь нашего ума категории многие — с ПРЕД: «пред-мет», «пред-ставление», «предикат» — все предваряющее и предвосхищающее, опережая со-бытие и со-мысл, планируя. И это — Логос Труда, творчества: человек хочет, должен наперед прикинуть, что делать и что из его идей-усилий получится может. Человек смертный — «и жить торопится, и чувствовать спешит» (эпиграф из П. Вяземского к «Евгению Онегину»). А Бог — не торопится, может ждать и РАСсудать. Как «Мне отмщение и Аз воздам» — так и Ему Суд (и Страшный) и РАСсуд наших предположений и пропозиций — итоговый, конечный.

И вдруг просветилось мне поновому в этом контексте дело и структура мышления нашего. В нем участвуют: Пред(мет, -ставление) и Рас(судок), Раз(ум). «Пред» — дело наше, человецье создание, снизу выкидыви вверх. «Раз» — стяжание нами Божьего ума, по мере нашей способности внять, сверху приспуск, его в нас проекция (и наш на его счет проект). И идет мышление как встреча, диалог человеческого и «божеского» (в кавычках, ибо это наш, человеческий образ божеского): мы подставляем ПРЕД, его клюет РАЗ.

И кантово построение просветляется так. АПРИОРИЗМ = ПРЕД: до всякого опыта и дела и события мы от себя выдвигаем и предлагаем присущие нам «априорные» формы чувственности (Пространство, Время) и схемы ПРЕДставлений и ПРЕДметов. И потом работаем на этой же территории — с помощью ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНЫХ спо-

собностей: категорий РАС-судка, идей РАЗ-ума... Последние — уже и наши, и не наши: человеческие стяжания Божьих (трансцендентных) способностей...

... Растворил я окно... Мягенько снежок слегка сыплет. Сучья — как вздетые горе руки, тонкие, как нервы, безликой отороченные, опущенные... Заявления, мольбы простертые — и переплетенные, как живой хаос жизни. А вижу их в рамке двух белых колонн, кругло-стройных, аристократических, державных, облик Космоса, его устой и «начала» собой являющих. Таковой диалог — в каждой «клеточке» бытия, в пейзаже усмотряем. И художник «сюжет» и «композицию» картины так выбирает, строит, чтобы там сей вечный внутренний диалог меж Хаосом и Космосом шел, дышал. Так и в музыке — диссонанс и консонанс взаимонеобходимы. «Зло» и «Добро»...

И вроде бы статическую картину в раме окна я вижу: недвижны колонны, и не колышутся оголенные остовы дерев, — но какая в сем динамика, напряжение противостояния, пружинность Природы и Труда, Жизни и Истории — сокрыта — да нет: открыта зрящему, имеющему очи видеть!

Но отчего я имею эти «очи»? Да из Культуры: напитанный излучениями из Республики Духа, спектр ее проблем и идей, развитый за историю, освоив и как свой внутренний сюжет и арсенал уже нося. «Пока в голове нет идей, глаза не видят фактов» (давний философский принцип) — и пейзажей...

Ну ладно: займись считыванием уж написанного — для перепечатки готовь. И так передохни, накопи праны для восхождения на последнюю тебе ныне вершину — пик Лосева.

4.40. Вот — открылся — и надоумлен.

Когда гонял по пушистому свежевыпавшему снегу, вспомнил разго-

вор, бывший у меня две недели назад, когда только сюда приехал, и была слякоть. Утром, делая зарядку вниз по дороге, снова встретил женщину, которой год назад я помогал чистить снег у какой-то дачи. Она несколько оплывшая, трудно движется, но все работает у кого-то. И лучится какой-то добротой, просто осиявает благодатию. Я обрадовался, ее увидя, и она вроде тоже:

— Вот не прошло и года,— я говорю,— как снова видимся. А как вы думаете, будет ли еще снег?

— Будет. Только вот уж почки набухать у кустарников начали — от тепла неожиданного, долгого; а потом их — морозом. Погибнуть могут.

— Да, они ж доверчивые... Природа верит — порядку, Богу...

И вот вспомнил ее и разговор наш, и это важное уразумение: что живое — доверчиво. Жизни это естественно — верить! Простодушие. Душа-то — простая. Как и Бог: простота — Его качество, а не сложность...

Вера — функция Жизни. «Для сердца нужно верить». Не может без этого, захиреет. А у Дьявола недаром эпитет — «обманщик». И некий «бог-обманщик» у Декарта в предположении. В Природе нет лжи. Как и зла. Это — от человека и социума, среди мира объектов, «действительности». Там, где сложность, — там и хитрость.

А вторым уразумением снабдил меня сосед по столу — Виктор Славкин, драматург. Ему письмо большое на английском прислала журналистка, его сопровождавшая в Брюсселе, и он просил перевести. Очень интеллигентная девушка, страдающая от экономического подхода к культуре и духу на Западе, — теперь с ужасом видит, что и Восток, на который надеялась западная интеллигенция: что не меркантильный принцип жизни разрабатывает, — пошелся на экономический путь — еще и в хвосте Запада. Как

оскорбительны ей виделись поляки, кто на рынке Западного Берлина торговали жалкими своими вещицами и за жалкие цены — лишь бы хоть немного западных марок добыть.

И дошла до меня действительно трагедия интеллигенции Запада, которая уповала, что социализм-коммунизм явит новый путь и вариант устройства общества, где материальное не будет так давить духовное. А оказалось, что в еще больший мизер и экономизм убогий впали... И нет, значит, выхода и шанса?..

А ведь такие, как отец мой и его брат — дядя Георгий, неприхотливые материально, Духом высоким и культурой питались. И разрешение социальных проблем мыслилось — как утоление плоти настолько, чтоб не мешала предаваться Духу, Мысли, Музыке, Культуре. Но формула Маркса об удовлетворении «бесконечно растущих материальных и культурных потребностей» — это уж прямо в пасть Молоху Дух отдать. Этот курс приняли — и лишились и того мизера, что имели, материального...

Но все равно пропорционально Духом более живем, чем Запад. Всерьез его проблемы и темы принимаем и переживаем-спорим.

Лариса, кстати, готовит в своем училище художественном доклад о выработке мировоззрения. Она, конечно, маминым Федоровым всепропитана благостно и подключила подруг в эту веру. Меня спросила, не подскажу ли, что почитать? Я — «Легенду о Великом Инквизиторе» и «Апологию Сократа» (Платона) подсказал. Потому что прочее: и Евангелие, и другое хорошее — ей мама подсказала, да и сама уже знает... И сейчас по телефону я ей вот про это огорчение западной левой интеллигенции крахом социалистического эксперимента у нас рассказал. Всё же надежды возлагались — на свет и дух, а не просто на



накорм «хлебами». А вот и мы поплелись подражать западному жизнеобстройству — да и в самом хвосте, перенимать...

— Нет, все равно у нас так не сложится,— весело она, юная.— И Дух все равно पहले будет.

И — права. Конечно: даже и перенимая экономическое и демократическое, материальное и политическое, души наши Духа и Правды взыскают, голодные. И это — от неплотности, разряженности Космоса России; а от кавардака рушащихся твердей и вещественностей и порядков — еще больше зазор, где обитать вопросам и проблемам, и идеям, и мыслям... И мечтам, и проектам, и устремлениям...

А ведь федоровский путь, после краха социализма-коммунизма, остается как раз единственным вариантом благородной социально-религиозной жизни и деятельности. Тут минимум бытово-материального, а максимум нравственно-духовного и интеллектуально-творческого: в изучении природы и человека, и духа, и культуры — и в одолении смерти и в воскрешении. Предельно возможный человеку синтез.

... Еще вспомнил утром помысленное, но не записанное. Значит: пожертвовать я решил Жизнью для Мысли — и вот сама мысль усыхать стала. Да это же — САЛЬЕРИЗМ! Это Сальери пожертвовал всеми радостями жизни ради достижения совершенства в искусстве — и что же? Гений дан — «гуляке праздному», Моцарту, кто играет на полу с мальчишкой...

... Тут как раз меня к телефону зовут:

— Па! Ты сдавал в Гослитиздат «Американский образ мира»? — это Ларисенок мой звонит: папке секретарские функции исполняет.— Так вот: звонил редактор, Михаил Иванович, и просил к завтрашнему дню

на 12 строк аннотацию принести. Никто другой этого сделать не сможет.

— Ну так я тут сочиню и продиктую.

— Вот его телефон...

— Ну, спасибо тебе!.. Уа-уа-уа!.. — наш условно-любовный перед сном домашний лепет...

Так что ж? С ходу и сочиню.

«Георгий Гачев. Американский образ мира, или Америка глазами человека, который ее НЕ видел. Интеллектуальный детектив и роман-хэппенинг. 45 л.

Автор, писатель и ученый-культуролог, уже 30 лет занят описанием национальных образов мира. Это его способ путешествовать: изучая и сравнивая природу, быт, образ жизни, языки, культуру, национальные характеры, понятия и системы ценностей разных народов. Так и в США он «съездил» — в годы самого крутого «застоя»: 1975—1976. За границу не выпускали, а видеть свет — страсть как хотелось. Вот и предпринял он интеллектуальную авантюру — как бы на спор и «на слабо!»: вы вон там, журналисты и политики, ездите и видите внешними очами, впечатления получаете, а я, не выезжая из Москвы да из деревеньки своей Новоселки, через чтение, мышление и воображение попробую угадать-понять Америку в сравнении с Россией, Индией, Германией, Францией, Англией, Евразией вообще, чьи «космосы» уже до того мною были описаны! Кто поймет глубже? Книга написана в жанре дневника; размышления об Америке перемежаются сценами жизни, семейной, деревенской,— вроде случайно и непреднамеренно («хэппенинг!»), а в итоге выходит увлекательный роман Мысли с Жизнью».

Зачитал ему, но оказалось слишком длинно и лично. Придется тушить огонь текста...



## Лосев

14 марта. Лежу сам — как миф и символ: налитой бытием и смыслами — после мастерского массажа. Воистину, будто сток всесил Бытия по полнобелым рукам искусной Надежды в меня совершился, благодатные энергии подавая. И хотя еще более прекрасное мне дело предстояло в Духе: приступить к осмыслению Лосева, — я не мог оскорбить Жизнь невниманием и возлег, предаваясь медитации над пульсацией ее сил в моем существе, которое сейчас больше, чем обычно, — полубоже-ско. Вроде и то же тело во мне, но я — «пространством и временем полный» (как Одиссей «богоравный»): избыточной энергетикой налит, перелит (= преобразен-переделан также: второй смысл «перелития» тут тоже работает) — и к все-сламу причащен, причтен. Оттого от

тел полубогов — сияние, излучение: звезды из глаз, и «в чешуе, как жар горя», — космичны, то есть, существования таковые. Вот и я намек на подобное в себе ощутил, вкушая массаж, продлевая им меня преисполнение — в думы.

А думы эти натекли — из чтения вчерашнего «Диалектики мифа» Лосева, бурно-пламенного его сочинения в год (1929—1930) Великого перелома — станового хребта жизни России, когда удар сокрушительный по ее Земле (коллективизация крестьянства) и по Духу (процесс Промпартии и разгром интеллигенции, оставшейся «старой») был нанесен, а светлейший Лосев, как «мракобес-идеалист», был осужден на десять лет лагерей, а жена его, астроном, — на пять.

Но потрясающий эффект от вчерашнего чтения: вдруг раскупорилась внутренняя жизнь этого академического «олимпийца», каким он уж нам предстал в свои поздние годы, отчего и я робел приступить к нему, как бы полированно-гладкому в своей совершенной эрудиции и мудрости, — и страстно-жизненный пафос его излился и пронзил и возжег меня. Послушайте, как он втолковывает ученым, что их науки, и якобы «точные», основаны тоже на мифологии, только неосознаваемой, — в отличие от честно уважавшей миф античной философии и религии:

«Не менее того мифологична и НАУКА, не только «первобытная» (которым званием плоскомысленные современные этнографы, типа Фрезера и Леви-Брюля, даруют снисходительно архаические мифы как «наивные» воззрения... — Г. Г.), но и всякая. Механика Ньютона построена на гипотезе (а «гипотеза» — принимаемая на веру, недоказуемая предпосылка, есть из оперы мифа интеллектуальный выбор. — Г. Г.) однородного и бесконечного пространства. Мир не имеет границ, т. е. не имеет формы. Для меня это значит, что он — бесформен. Мир —

абсолютно-однородное пространство. Для меня это значит, что он — абсолютно плоскостен, невыразителен, нерельефен (в отличие от пространства общей теории относительности и искривленных геометрий, которые тоже дают свой миф о мире, но он уже выглядит упругим, рельефным, и эти «законы» и числа — как «умные изваяния», по выражению Плотина. Вообще телесно-скульптурная интуиция, как и у эллинов, преобладает в мироощущении Лосева. Недаром, любуясь диалектикой Гегеля, он именовал ее «мыслительной скульптурой». — Г. Г.) Неимоверной скукой веет от такого мира. Прибавьте к этому абсолютную темноту и нечеловеческий холод междупланетных пространств. Что это, как не черная дыра, даже не могила и даже не баня с пауками, потому что и то и другое все-таки интереснее и теплее и все-таки говорит о чем-то человеческом. Ясно, что это не вывод науки, а мифология, которую наука взяла как верование и догмат... А я, по грехам своим, никак не могу взять в толк: как это земля может двигаться? Учебники читал, когда-то сам хотел быть астрономом, даже женился на астрономке. (Восторг! Возлюбленной им Валентина Михайловна, первая помощница в трудах, — и так небрежно, фамильярно!.. Но значит, знает он захватывающий азарт и Эрос «красного словца», которого ради «не пожалеешь и родного отца» — и всю прежнюю культуру и науку, перед которой и благоговеет богомольно, как «перед святыней красоты» — слова Пушкина тут привожу, и СМЕЕТ восстать и все передумать из себя, как новой и уникальной Личности, носителя Духа. — Г. Г.) Но вот до сих пор никак не могу себя убедить, что земля движется и что неба никакого нет. Какие-то там маятники да отклонения чего-то куда-то, какие-то параллаксы... Неубедительно. Просто жидковато как-то. Тут вопрос о це-

лой земле идет, а вы какие-то маятники качаете (как «права», что тоже всякие там научные «фрайера» «качают»-доказывают. — Г. Г.). А главное, все это как-то неуютно, все это какое-то неродное, злое, жестокое. То я был на земле, под родным небом, слушал о вселенной, «яже не подвигнется»... А то вдруг ничего нет, ни земли, ни неба, ни «яже не подвигнется». Куда-то выгнали в шею, в какую-то пустоту, да еще и матерщину вслед пустили. «Вот-де твоя родина, — наплевать и размазать!» (Да ведь так втолковывали крестьянину-единоличнику наученные марксизмом комиссары-«двадцатипятидесятники», пролетарии и братишечки, «рабочая косточка», уверенные, что они, вооруженные «единолично правильным мировоззрением», окончательно все по истине понимают, — и вот снисходительно растолковывают мужику-земледельцу, что ты есть «мелкобуржуазная стихия» и отсталая темень и «пережиток проклятого прошлого», его «родимое пятно», а все твои понятия — дурь и невежество и ошибка, и ступай-ка в колхоз, молись на трактор, чем тебя передовой пролетариат снабжает, а не хошь — так в Сибирь иль к стенке! Так что страсть, с которой Лосев на априорные верования современной науки обрушивается, — еще и народным стенанием пропитана, которое он, происхождением из Новочеркасска, где атаман вольного казачества престол держал, не мог не аккумулировать сердцем. — Г. Г.) Читая учебник астрономии (как и диалектического и исторического материализма, а затем «Краткий курс истории ВКП(б)» — Г. Г.), чувствую, что кто-то палкой выгоняет меня из собственного дома и еще готов плюнуть в физиономию. А за что?»<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Лосев А. Ф. Диалектика мифа. Москва. 1930. Издание автора (О, зависть! Все ж можно еще было — хоть и в 500 экз.! Использовал все ж Лосев «передышку» НЭПа и восемь

И вот весь пафос жизни долгой и мысли Лосева: что Бытие и Культура и весь Космос, Жизнь и Красота и Ум — это МОЙ ДОМ, собственный, мое хозяйство, куда я посажен Богом, а вы, лютые самоуверенные невежды и казнители, — временщики и морок, что лишь в обмороке глубоко до времени может еще терпеть Родина; но преидете, а могучее Бытие и Дух — возьмут свое и воссияют. Где ныне сотни тысяч тонн сочинений генсеков и брошюр по диа-ист-мату? В макулатуре. Жаль только, что полтайги на них спилено. А вот эти в 500 экземплярах 60 лет назад изданные труды мыслителя — национальное достояние и всемирно-историческая ценность. Вот и суди теперь: ЧТО обладает подлинным Бытием и качеством «реальности»? Тот ли смерч и Апокалипсис, вполне материальный, что разрушил цивилизацию России, изувечил ее природу и загубил десятки, а то и сотни миллионов жизней, — или пространство идеалей: мыслей и слов, где век целый творил этот мудрец? Что обладает истинным существованием, а что — миражным, и как тут насчет правоты материализма иль идеализма? Град мира сего и Град Духа — сей Китеж...

О, какое счастье, что сохранил, упас Господь этот сосуд — Алексия Лосева — в некоем подспуде и подвале нашей жутко тра-та-та-кающей истории, в доме на Арбате (хоть и бомба попала туда в войну в ночь с 11 на 12 августа 1941 года, но в Кратове тогда, за городом оказались супруги Лосевы); когда косяками ложились трупами молодые да ранние, этот подслеповатый (в лагере на лесоповале потерял зрение) постепенно выростал в полубога! Представим, что его б не было — тогда не протянулась бы до нас жи-

в книгах своих могучих катапультировал в куда-то — и сам затем на десятилетия исчез, точнее: «исчезнут был» — такую форму употребим.)

вая традиция могучей русской интеллектуальной культуры, которой он — «последний из могикан», и нечем было бы окормляться той нашей первостатейной культурологией, что после войны, на базисе лосевских исследований в античной филологии и эстетике, а также трудов по всем отраслям культуры: и по музыке, и по математике, — так пышно развилась (как и питаюсь Бахтиным, другим из «последних могикан»...). Лосев, десятки его книг и сотни исследований, — и есть, собственно, храм этой культурологии, а прочее — пристройки и отпрыски.

Это же так важно — живой мудрец, старец и пример! Значит — можно! Значит — не сказка это прежних времен, что бывает боговдохновенный мыслитель, что шествует по облакам, не затрагиваемый суетой и злобой мира сего, питаюсь небом и светом, идеями, как реальнейшей жизненной едой. И вот «Аридовы веки» прожил — 95 лет, век целый провел — и совсем иной, нежели тот, что разгуливался на поверхности, на площадях истории. Он именно ПРОВЕЛ корабль Духа и живой Мысли — собою, как Николай Мирликийский, держа храм на руках. Собор республики Духа, три тысячелетия строившийся (по меньшей мере).

Однако и не прав я в сей риторикопанегирике, что ему-то понизовое совершенно не нужно: прекрасно видел он и понимал совершающееся (другие участвовали и страдали и гибли, но не имели ЧЕМ это все происходящее понимать — иначе, как в заученных в школе плоскостях нашей исторической будто «науки»), о чем вот продолжение прерванной мысли из «Диалектики мифа» свидетельствует: «Итак, механика Ньютона основана на мифологии нигилизма. Этому вполне соответствует специфически ново-европейское учение О БЕСКОНЕЧНОМ ПРОГРЕССЕ ОБЩЕСТВА И КУЛЬТУРЫ. Исповедовали часто в Европе

так, что одна эпоха имеет смысл не сама по себе, но лишь как подготовка и удобрение для другой эпохи, что эта другая эпоха (а также и жизнь другого человека, добавим. — Г. Г.) не имеет смысла сама по себе, но она также — навоз и почва для третьей эпохи и т. д. (Пять сменяющих друг друга общественно-экономических формаций в прогрессизме и оптимизме исторического «материализма», который, конечно, тоже — мифология, только из своих, новых мифов, — таковую схему предлагают. — Г. Г.) В результате получается, что никакая эпоха не имеет никакого самостоятельного смысла и что смысл данной эпохи, а равно и всех возможных эпох, отодвигается все дальше и дальше, в бесконечные времена. Ясно, что подобный вздор нужно назвать МИФОЛОГИЕЙ СОЦИАЛЬНОГО НИГИЛИЗМА, какими бы «научными» аргументами ее ни обставлять. Сюда же нужно отнести также учение О ВСЕОБЩЕМ СОЦИАЛЬНОМ УРАВНЕНИИ, что также несет на себе все признаки мифологическо-социального нигилизма. Вполне мифологична теория БЕСКОНЕЧНОЙ ДЕЛИМОСТИ МАТЕРИИ...» (с.21).

Какой кругозор! Все поле ВСЕСМЫСЛОВ держит перед собой его ум и делает такие царственные переносы и уравнивания: явлений из общества и из физики, представлений «простонародья» и «аристократов духа»...

15 марта. Вдвигаю в себя Элладу, прилегши (послемассажно), как кассету в диктофон (вчера журналистка всовывала, из «Московской правды» приехав интервью у меня брать). Усилим духа вернуться и ввернуться в Лосева — после рассеяний вчера-дня. Еще ведь и Съезд — сей «Театрон политикон, сиречь Гражданское позорище» (как трактат о политике был переведен с греческого на славянский-болгарский в начале XIX века)! А что? Конечно, суета и злоба дня, но ведь и «минуты роко-

вые» истории, и гладиаторские бои живьем, и карнавал страстей, спектакль, ставимый Главным режиссером-постановщиком — Господом Богом над нами... А ты уж, коли не участвуешь, — созерцай, как олимпийцы, сострадай и хохочи... Зрелище и охлократии, и потуги разумишка нашего человечье-смертного разобраться и выпутаться из тенет и нетей, из переплетов Бытия... А клубок тем временем от каждого шевеления еще пуще запутывается... Восторг! Просто осязаешь неисповедимые пути Господни, Непостижимое — живьем!

Так и мечусь последние дни между мышлением над Русской Думой (а и тут сразу несколько дел: начитывать и писать о Лосеве, считывать уже написанное — для перепечатки), лыжами (ибо вдруг снова зимний блеск и «Мороз и солнце — день чудесный!» — лъзя ли пренебрегать последним белосиянием Зимы, когда она снова свою царственность явила, будто чтобы ожечь сердце тоской по себе до следующего сезона?) — и киноглазом телевизора. Ну и что? Больно хорошо живешь и много хочешь (= мало получишь, — как приговорка продолжает, что Светлана, из своих лет отроковичьих вынесенное, мне иногда сказывает). Хотя само желание такового прекрасного, а значит, к нему прилепление-устремленность, дарованность понимать такое, — уже есть «получение», питание сим. Интенсивная экзистенция мною происходит. Так что — терпи, выноси, не отлынивай — от сего ИЗОБИЛИЯ БЫТИЯ, что на тебя наваливается и что издавна уж — ведь твой идеал существования: дышать его роскошью и «жить во все стороны»... А впрочем, этот, ренессансный, идеал — оставлен уж мною — в молодости и зрелости. То — «марфино». А переходя к старчеству, отсекай лишнее, многое, — и выходи на «мариино» — Единое...

Однако, «изобилие бытия» (да



плюс с сознанием сего изобилия, с мыслью при этом) — это же и есть МИФ, как его понимает Лосев и как я себя вчера почувствовал «налитым бытием»: что «сам как миф» — лежу, хожу, самочувствуюсь, бытийствую.

Миф — не сказочка и не аллегория (как недопонятие), но событие грандиозное, сверхсуществами совершаемое (богами, полубогами, героями — и человеком, вот мною, когда себя избыточно живущим и мыслящим ощущаю), — т. е. реальнейшее и живое, телесно-материальное свершение. То есть жизнь и вещь в предельно высшей мере своей. И оттого — в предельно высшем смысле своем, совпадая с ИДЕЕЙ себя. Тождество Бытия и Мышления тут. Их со-впадение, в отличие от дряблой науки, все более удаляющейся от живой реальности и мучающейся с разросшимися призраками своих категорий, запретов и правил, что все далее отгоняют от прямого ЖИТИЯ (жизни, равной бытию), как призван обитать человек. Ведь в «житии» — как жанре существования и литературы — каждый шаг — символ, переполнен смыслом.

Лосев, могучий телосложением и интеллектом (хороших кровей жеребец донской!), конечно, прорывался именно к таковой сверхжизни — ее собою осуществлять в жизнепрохождении своем. Как раз и в воздухе ценностном эпохи, когда он вступал в культуру (начало XX века), «человек есть то, что должно превозмочь», — девиз Ницше. А чтение его «Рождения трагедии из духа музыки» оказало сверхвлияние на ум и жизненную установку юного Лосева. Музыка была его стихией с детства (отец — страстный музыкант и дирижер оркестра, и сам Лосев — скрипач, на выпуске «Чакону» Баха играл), и вагнерианцем был до конца дней. (Помню, как к Ильенкову на вагнерово действо приходил, крупный, седой, в шапочке, и, ра-

скрыв клавир или либретто с немецким текстом, слушал из тетралогии «Кольцо Нибелунга» или «Тристана»...)

Сверхжизнь — это «дионисийское» начало: самовольная раскованность Всебытия, оргиазм домысленный — в том смысле, что каждое телодвижение = мысль, идея; тогда — совпадение телесно-материальной формы с идеей и смыслом. Но разошлись они в разводе и импотенции дальнейшей цивилизации. И, собственно, все исследования потом Лосева об ИДЕЯХ у Платона это являют: не анемичность только понятийную в них зрит-мыслит, но как живо-скульптурную форму и «структуру», «порождающую модель» — коли пользоваться поневоле наукообразным языком. Но тут именно РОДЫ важны (то, от чего как раз воротил нос чистоплюй насчет тела Бердяев).

Итак, от музыки к античности подходить — это совсем иной колленкор и другой аспект ее внимать, нежели тот подход от пластических искусств (архитектуры, скульптуры, отчасти живописи), что был уже традиционен в новоевропейской культуре, начиная с Ренессанса, а потом живо обновлен Винкельманом и Гердером в Германии, и в этой традиции античность понимали и Гёте, и Гегель, и Гельдерлин, да и Маркс — как телесно-пространственных форм гармонию и меру, как космос. И вдруг Ницше разверз тот Хаос, что шевелится под Космосом (и наш Тютчев это сильнее ощущал и передал) в этой идеализированной и лакированно-полированной, порцелановой античности. Это лишь наверху — Аполлоново начало гармонии, пластики, света и разума. А внизу — Дионис свои мистерии и оргии справляет, жизнь полная крови и спермы и неистового самозабвения. Не человек и не бог и не герой, как форма, а словно сами по себе энергии и жизненные силы бродят в своих уже ритмах, прони-

чая существа и вещи, их формы разрывая, чтоб мчались эти энергии — в вихре танца, соития, в круговороте жизни-смерти-воскресения... И это улавливает уже не пластика классики — она тут теряется, ее формы ползут, становятся «эллинистическими», «барочными», но музыка (недаром, кстати, именно в музыке век барокко мощнейше сказался: Бах, Гендель, ранее — Монтеверди, Вивальди...).

Итак, взгляд на эллинскую античность из духа музыки, изнутри и души, — он, естественно возженный в германстве (Ницше и Вагнер: его «музыкальная драма» уповала продолжать собой традиции трагедии античной, где и текст, и хор, и хорей, и пантомима — как философия наглядная), максимально развит оказался именно русским мыслителем — Лосевым. И в 1927 году вышла его книга «Музыка как предмет логики» в издательстве автора, а в 1961-м уж в государственном издательстве «Искусство» (принят уж в наследство советский!) его книга «Античная музыкальная эстетика».

Но тут еще есть акцент. Интерес и увлечение Элладой на рубеже веков и русскую интеллигенцию захватили. Тут прежде всего Вячеслав Иванов — великолепный знаток и дышавший античностью в пластике стихов своих и в эссеях. Тут и переводы Еврипида Иннокентия Анненского, и Фаддея Зелинского университетская школа. Но тут все — пластика, поэзия, трагедия, ну — Платон, которого переводили и зачитывались уже (его диалогами про Эрос — «Пир» и «Федр»), но понимали более как художника, а не философа, гения диалектики. А она как раз есть музыка в мышлении, в дискурсии (= «пробеге», франц. — мыслию пространств Духа, интеллектуальные ритмы и фигуры выплетая). А этого-то как раз не слышали телесно-пространственно-зрительно ориентированные любители античности. И вот Лосев первый мощно-

ритмическим сердцем расслышал и умом понял дионисийство диалектики Платона — то, что даже Ницше не уловил, обвинивший Сократа в рассудочности: что он будто отец суходрочки научно-гносеологической, беспредметной, интеллектуальности отчужденной от живой жизни Бытия. Конечно, на поверхностный подход и слух бросается в глаза «аполлоново», светло-надземное качество разума, мышления, философии. Недаром и сама мысль извека все заклинала: Свет, Свет! Ум = Солнце, ИДЕЯ — от корня «вид», видимость, значит. И сам Платон, а затем в неоплатонизме Плотин — метафоры Света вьют (да и в эллинском по духу Евангелии от Иоанна: Бог = Свет во тьме и т. д.). Но это все — как бы один план и фон и материал, канва-подсобье, на котором начинает самостроиться мышление — как чистая жизнь и ток Духа, в своих ритмах и формах и структурах, которые ближе формам музыкальным, нежели пластическим. И все спутывание и нас (даже в толкованиях и самого Лосева) — оттого, что приходится пользоваться для наглядности пластическими формами и образами, метафорами, — для пояснения музыкального дела мышления и его тактов = понятий и мотивов = суждений. Так это и в многотомной «Истории античной эстетики»<sup>1</sup> Лосева, где тончайшие и великолепнейшие анализы, но музыка мышления объясняется через пластику, что доступнее нашему рассудку, демократичнее.

Хотя я не прав. Сейчас, после этого крайнего утверждения-заноса, могу уточнить — глубже дело Лосева. Он осуществляет синтез мышле-

<sup>1</sup> Термин «эстетика» тут — ширма, а по сути-то — «История античной философии». Но в советских условиях «философия» могла быть лишь «марксистско-ленинской» идеологией, так что более вольное философствование развивалось в формах эстетики, поэтики (Бахтин), теории литературы, лингвистики, культурологии...

ния, пластики и музыки. Потому-то его тексты — это не просто академически-научные компендиумы для нашего образования в античной культуре, но сами суть творческие, мыслительно-художественно-литературные сочинения, где он в тигле своего духа сплавляет эти пласты и элементы Всеединого, так что они глядятся одно в другое и соизнаются — каждое, как символ каждого из прочих и обо всем сказ.

Но такая мощь вещи — именно в МИФЕ была, есть. Вещь веща: ведьма она, ведунья — ведаёт тайну как истину. А ты уж, мыслитель и совопросник мира сего, — повопрошай у нее, у вещи, как у ведуньи и пифии, — может что и повыведаешь...

Но на пути к такому Всебытию и Всемышлению много препятствий должен был одолеть наш Геракл Духа. И главные тут два: наука современная и философия, очень развитые, специализированные, соблазны и искушения уму потонуть в ее самовосхитительных играх и пасьянсах категориями, как картами, — и наша грубая и жуткая советская действительность с ее «дионисийством» кровопусканий революционных, военных, лагерных, где страх и трепет гноили сердце даже в мирное время — в ожидании, что вот ночью позвонят — и поволокут в подземелья Лубянки, где с тобой орфические мистерии и разъятия производят начнут. Так что Лосев — как меж Сциллой науки, ее выморочным «аполлоновым» началом разума, перетекшего в рассудочность, — и Харибдой советчины, с ее адским «дионисийством».

Теперь мне прорисовываются и акценты периодов творческой деятельности Лосева. В первом, что свою вершину имел в лосевском «Восьмикнижии», в тех восьми книгах издания автора, что вышли с 1927 по 1930 год, — он в полемике с современной наукой и философией — «дионисиец»: окунает ее, чистолюскую, в ее мифологический

поддон (как это уже по приведенным цитатам из «Диалектики мифа» очевидно), — и такие там неистовые оргии справляет (взять хотя бы его толкование-описание ЛУННОГО СВЕТА, что я, за неимением места, вынужден не приводить), так сам прямо мифологизирует, что ну просто хулиган и блатарь (что тоже важнейший персонаж дионисийской послереволюционной нашей действительности). Распоясавшийся беспризорник из честной научно-филологической семьи...

Но тут-то его и заметили — призрели: только не профессора ученые, а — чекисты; и глаз на него положил не кто иной, как сам Лазарь Моисеевич Каганович, что в докладе ЦК ВКП(б) на XVI съезде мракобесно-идеалистические писания некоего недобитка Лосева жестко помянул (да и Максимушка наш Горький тут с непонятия поддал, хотя потом в лице своей первой жены Пешковой покаялся: она помогла вызволить Лосевых из их лагерей — в 1934 году), и попал наш «беспризорник» — в те еще «дома призрения»!.. И там уж хлебнул «дионисийства» вдоволь, когда пайка и баланда в мифическом ореоле мечты — как нектар и амброзия — предстали. И уж вернувшись снова к интеллектуальной жизни, за небо и свет стал цепляться, подале от дионисийского кошмара и ада, с ихними оргиазмами бесовскими. Так что вторая половина творчества Лосева «аполлоново» начало развивает: культура, филология, эрудиция, тонкости интеллектуальных уточнений и т.д. И в этом облике и виде он уж нашему поколению предстал: гладкий, благой, в профессорской шапочке, полубог учености, так что дух захватывает от приближения к нему...

То-то и я не знал, как приступить к Лосеву, как его раскрыть-раскупорить — эту его отполированность и уже округлость совершенства ощущая. И не в том было мне сейчас дело, чтобы сесть его перечитывать

(уж тысячи страниц его текстов, а может, и десяток тысяч за жизнь перечитаны), но чтоб живой нерв его ощутить. И это — слава Богу! — подала как раз не читанная прежде «Диалектика мифа», и зачувствовал я его пафос.

Кстати, и мне он роден: я ведь тоже в музыке и греческой античности взращен. Рос в музыкальной семье и учился-играл на фортепьяно и даже композиторствовал: а отец мой, музыковед и эстет, болгарин из-под Родоп, оказавшись на полюсе холода, из колымского лагеря писал мне, отроку: «В древние времена, две с половиной тысячи лет тому назад, жил замечательный маленький народ — греки, учитель всего человечества. Идеалом воспитания юношества у древних греков считалось гармоническое сочетание физического и духовного начала в человеке. Человек должен быть крепок, здоров, красив и богат духом... Так вот, милый сыночек. Твое развитие идет несколько односторонне. Умственно ты шагнул весьма далеко, а физически ты отстал — являешься второгодником и вообще мальчиком неуспевающим, нездоровым, некрепким. Твое тело, которое отстало, должно догнать твою душу. А для этого тебе нужно ежедневно теперь зимой кататься на коньках и лыжах». (Письмо от 4. XII. 1938 из прииска «Разведчик».) А когда я еще подросток и объявил, что выбираю не музыку, а литературу, он мне прислал список мировой литературы, которую я должен сам изучать, и начал так: «Необходимо начинать с литературы Древней Греции. Нужно напомнить тебе, что вся европейская культура, начиная с Ренессанса, развивалась под знаменем (лексика-то революционная! Приехал он сюда, политэмигрант из Болгарии, строить социалистическую культуру! — Г.Г.) античной культуры...» (Письмо от 2. XII. 1944 из Нексикана.)

Но какое переплетение судеб! Перепечатаваю-то я сейчас эти

письма отца из своего о нем очерка «Воспамятование об отцах», который напечатан в журнале «Дружба народов», 1989, № 7, и в этом же номере через несколько страниц далее идет переписка из двух лагерей — супругов Лосевых!..

Но более того. Когда я единственный раз отважился прийти к Лосеву<sup>1</sup> в начале 70-х и ужинал у них и разговорился, Алексей Федорович ласково сказал: «А я ведь отца Вашего помню: он учился у меня в консерватории — в конце 20-х». Ну да: ведь с 1926 по 1929 год мой отец учился на музыкально-научно-исследовательском отделении консерватории и делал доклады «Вагнеризм» (как музыкальное и идеологическое явление) и «Музыка в Древней Греции»... Лосев там преподавал философию и эстетику.

И мой отец вначале вдохновлялся ницшеанско-вагнерианским мифом. Об этом свидетельствует его письмо «Прекрасной Незнакомке» (Антверпен, 24 мая 1925 г.), во время его двухлетней эмиграции из Болгарии в Западную Европу. На представлении «Кольца Нибелунга» Димитр оказывается рядом с молодой бельгийкой. Художественные восторги их соединяют, и вот он уже строчит ночью на французском языке пылкое письмо: «...Вся жизнь молодого чужестранца (как он себя ритуально именует: *jeune étranger*, а ее — *Belle inconnue*. — Г.Г.) прошла под тончайшими впечатлениями от искусства и природы — чувств, мучительных до боли, сладостных до опьянения. Когда бы вы жили жизнью природы в самой природе, этом гигантском храме Пана и Орфея... — о, тогда бы Вы поняли душу молодого чужестранца!.. Слыха-

<sup>1</sup> Под предлогом подарить ему мою книгу «Содержательность художественных форм. Эпос. Лирика. Театр». М., «Просвещение», 1968, что выполнена в основном на материале античной литературы, и надпись сочинял им с А. А. Тахо-Годи: «Эллинству во Российстве...» — 21.3.90.

ли ль Вы о смерти древнего Пана и о конце его царства гармонии? Мертв уж великий, тот, кто своей флейтой вносил в мир восхитительные звуки и сеял повсюду гармонию и любовь. Сегодняшняя жизнь с ее дисгармонией шумов, расчетливостью, кино и дансингом расстроила гармоническое царство древнего Пана, и он рухнул, бросив всему этому проклятому миру свой сардонический смех, полный ярости и гнева. Умер великий Пан и его царство идиллии. Нет больше гармонического слияния человека с природой, нет больше пасторальной музыки, нет больше любви. С этого момента человек, это утилитарное двуное капитализма, оглушенный шумом, отравленный дымом и алкоголем, научился чувствовать пространство (аналог отращению Лосева от Ньютонова мифа о бескачественно-однородном пространстве. — Г.Г.), любить торжественную тишину леса, видеть солнце. Он даже не понимает, насколько он стал банальным, бездуховным. И молодой чужестранец, окруженный всею этой мерзостью современной жизни, трагически оплакивает смерть славного Пана. Но он не покорится. Он будет бороться. Соединив свою душу с душой всего протестующего мира, он глубоко верит, что божественное царство Пана будет восстановлено. И тогда счастье прольет свои блага на человечество, измененное веками, тогда гармония, любовь будут управлять миром в Вечности, тогда Человек станет Богом.

Как интересно! Человек из совсем иной среды и судьбы, а пафос его — сродни лосевскому. Такое же отращение к буржуазной серости и восторг к античности, и кипит в нем Разум Восхищенный и устремленность к Богочеловечеству (только с другого конца, в аберрации сознания: «Человекобожества»). Розны символы-знаки, но по внутреннему чувству и содержанию — сродство. И Революцию он видит как поэзию:

она воскресит классику, гармонию, естество и искусство, высокий дух Великого Пана. Себя же он осознает не только угнетенным бедняком, пролетарием, человеком низов, но и человеком царственных высей: он — естественный человек с Балкан, откуда не только Пан, но и Орфей (отец играл на флейте с детства, уходя в горы и долины, а потом и на Колыме она продлила ему жизнь в лагерной культбригаде... но не спасла...), и он несет в себе живое предание античности, фракиец из Родоп, сошедший в низкие земли Нидерландов и в их же туманные, северные, бессолнечные души. Среди загнывающего Запада он ощущает себя сыном древнего и молодого, полного живых сил, неиспорченного народа, целостностью натуры и творческого духа, призванного влить живую кровь в закатную цивилизацию Европы.

Так что — непроста Великая Революция. Сколько в ней потоков, какая полифония — и схождения, и консонансы!.. И сын казачества Лосев, мыслитель из религиозно-философского Ренессанса, и болгарский политэмигрант, кто писал в 1926, накануне приезда в СССР: «Завтра поезд понесет меня к Идеалу!..» — платоновым Эросом к прекрасному восхищены из будничной земности в выси Духа...

16.3.90. Однако во вкус я вхожу: полежать после массажа, а не как обычно: с ходу жизненного движения — плюхаться за стол и отдуваться мыслесловием, отгоняя житейские помехи, и так, бывает, до мышления спокойного, горнего и не доберусь. А вот прилег, глаза закрыл, надвинул капюшон куртки, жизненные духи из смятения метаний успокаиваться начали, гармонизуется нутро, из хаоса приходит в космос некий, сосредотачивается внимание — и из глубины существа сама собой подымается та именно проблема, что органична будет тебе сегодня на промышленение; но она не



вдруг, а продолжает ток предыдущей твоей жизни с мыслью и взрывшую очередную тему выдвигает. А ты, сосредоточась вниманием, как охотник на мысль, затаясь в кустах, себя вдруг зришь, как на экран души-ума, снова чистый, выплывает лебедь-тема и увлекает за собою и в эросное восхищение приводит твой дух, и он в погоню за сим видением пускается... (Так и Декарт, мой персонаж зимы 1972—73 года, предпочитал мыслить — вообще с утра не вставая с постели: без помех жизни тогда в умозрение уносился...)

Так и сейчас: ЭЛЛИНСТВО ВО РОССИЙСТВЕ — как первосюжет на обдумывание всплыло. Известно и давно зналось, что из грек на пути в варяги христианство в Русь пришло — в варианте православия, что в Византии сложилось; а та — наследница Эллады, однако, в сдвиге на Малую Азию, нынешнюю Турцию, так что «о-восточ-нено» сразу и как бы потенциально исламизировано в чем-то. Так что византизм — ориентальный наиболее вариант христианства. А впрочем, нет: еще далее — Иверия-Грузия, и монофизитство армянское...

Во всяком случае, восточное христианство закладывалось на почве эллинской культурной традиции, что и в Александрии, и в Сирии, и Каппадокии, откуда великие отцы-учители православия: Василий Великий, Григорий — Богослов и Назианзин и Нисский, и Иоанн Златоуст, а тут же — Исаак и Ефрем Сирины... Все они впитали в себя эллинскую цивилизацию, Платона, неоплатонизм — и все это вошло питающе в корпус веры, обряда, слова, литургии и предания восточной церкви. А и потом постоянно подача духовитания отсюда на Север к нам, на Русь: и Феофан, и Максим Грек — живописец и мыслитель, и болгарин Григорий Цамблак; да и Никон для «очищения» церковных книг снова к грекам приник...

И так это все струилось к нам:

через обряд, церковные книги и иконопись — но поднято было впервые в светский интеллект в XIX веке славянофилами, а точнее, Хомяковым: им был отчетливо осознан «корпус» православия — как философии и подхода ко всему, отличному от западноевропейской, германской традиции. И он стал описывать эти отличия мировоззренческие, зарываясь в толщу предания и писаний, что, естественно, привело его к Византии — и дальше, коли бы проник в «культурный слой» почвы, должен был бы добраться до Эллады. Но — остановился, инстинктивно тут почуя «перебор»: ибо рубежом-то встало — именно само христианство, первый век нашей эры, а вглубь ведь — язычество! И тем опаснее, чем прекраснее и утонченнейше развито! И само прекрасное эллинство — вроде и так ближайше к христианству по времени историческому, а к православию — и по месту, пространству; а, может, в нем — самый яд и вред, искус и соблазн?.. Ведь и Люцифер был ближайший к Богу и чуть ли не равномогущен Богу-Слову: этот — «Свет», а тот — «СВЕТО-носный»... (Так и в политике: ближайший, да не совсем такой, как я,— пуще и хуже ясного и открытого антипода-врага: меньшевик-«соглашатель» для большевиков опаснее буржуа и кадета... — та же структура опыта и сознания...)

И вот русская религиозно-философская мысль с Владимира Соловьева тут все время бьется «на пороге как бы двойного бытия» (Тютчев) — и миропонимания. С одной стороны, влечет естественно в эллинскую философию, как в прародинную православному богословию. И оправдание есть: Платон давно признан как предугадавший, что Бог есть Слово. Да и князь Владимир равноапостольный — отчего предпочел именно восточное православие из предлагавшихся ему на выбор обрядов иудейского и исламского? Да за красоту и благолепие: послы

ему сообщили, что войдешь в православный храм и забудешь: на земле ты иль на небе? Такая красота!..

А красота = космос, гармония — первокатегории эллинского мировоззрения и миротворчества.

И далее тут естественно выплывают идеи и принципы: Божий мир — прекрасен, Мир = Храм, идеи Целого и Всеединства... Ну и — элиминация зла и греха: они — так себе, тень добра. А мир — как эманация Света: понижение-кенозис его в материю (как и низхождение Бога-Слова в человека и воплощение-рождение от Бого-материи). Так что нет пропасти между Духом и Материей, и материя — как бы толстый Дух, а Дух — тончайшая материя, эфир. И вот уж пантеизм, эманация, теософия, «астральные тела», метемпсихоз — фу, душный и грязный дух, не свободный, выходит, отягощенный плотию... И гениальный неоплатонизм — во всем этом «повинен», и Дионисий Ареопагит — с «Небесной иерархией», что тоже как эманация и каскад уровней, постепенных переходов от Духа к Материи...

В противоположность этому мощная главная идея и интуиция христианства — раскол, разрыв «миров» и «уровней», их неисповедимость и непреходимость «человеческими умами» и усилиями. Онтологичен-первороден грех и зло, так что трагедия существования незаполняема постепенностями, нет переходов, но скачок и чудо: и их Вера, Надежда и Любовь осуществляют, а не София-Премудрость и ученость — платоников в том числе. И тут уж не Красота и Космос, Единство и Целое — категории верховные, привилегированные для философии, но — Любовь и Жертва. А под ними — Страх, Грех, Страсть-страдание. И тут уж не о МИРЕ дума, а о БЛИЖНЕМ — человеку сем малом, этом: его любить (как Христа в нем и им), а не Красоту Космоса и Природы, и искусства-творчества, и Софию — красоту интеллектуальную,

что возлюбили Платон, неоплатоники, Шеллинг, Гёте, а у нас — всеединщики и софийяны. То-то они все, любители ДАЛЬНЕГО и ГОРНЕГО, — ближних-то не любили, семью не заводили, детей не рожали (в большинстве — такой это тип антропоса. Вон и Лосев — как выяснил я вчера — бесплотен был брак его с двумя прекрасными последовательными супругами: Валентиной Михайловной Соколовой и Азой Алибековной Тахо-Годи, что как весталки вокруг его очага Мысли — священнодействовали, питая и оберегая... Но не как баядерки...). А любил — идеи, красоту неба (астрономы), шелест леса и т.п. — сии, может быть, «трансцендентальные иллюзии» чувственности и разума (по Канту) — творения своего воображения, нереальности — лишённые «экзистенциально-сердечного центра» (по Бердяеву). Как раз вот такие философы, как Кант и Бердяев, — ближе к этой христианской интуиции мира в разрыве и трагедии и в «радикальном зле в человеческой природе» (Кант), и они выходят более ортодоксально христиански, нежели сии сластены на мир, и в нем гурманы-гедонисты, как неоплатоники и идеалисты-монисты, как пантеисты и софийяны-всеединцы...

Я очертил полярности и развел их. Во втором образе мира — религии и вере и церкви присуща почва, и там они привилегированны и знают, что делать и как воссоединять человека с ... — чем? Не с «миром», а с «Богом»: тут его образ нужен и пути, средства, техника с Ним соединения («ре-лигио» — re-ligio (лат.) = «вос-связь»).

Первый же образ Бытия (интуиция устройства мира) — роден для работы ума, философии, что вырабатывает свою технику соединения с Целым: логика, силлогизмы, рассуждения, диалектика, онтология-гносеология, феноменология и системы разные — выбирай на вкус души и ума и что по сердцу!..

И для философии — тоже два главных пути: стремиться к синтезу и попытаться его соделать (Платон, Гегель, Соловьев...) или смиренно признать, что человек — не Бог и смертен и ограничен, но уж в рамках этой своей исповедуемой честно-совестно ограниченности развивать свой талант и максимум. Таковы — Сократ, Декарт, Кант, у нас — Бердяев. То есть дуалисты. Также и «опытники»-эмпирики и даже материалисты — словом, научники, ученые (отчасти и Аристотель): не нашего ума дело — Целое и Всеединное, а вот возлюбим часть и прилипимся и изучим. Наука — тоже смиренница. Точнее — «науки», многие; а Наука-то в целом — тоже религиозно о себе мнить соблазняется.

По второму типу-пути пошел Запад — и его труд и экономика: я, человек, мал, единоличник, но на своем участке разовью свой оптимум. А вот на Руси, с максимализмом ее человека с душой нараспашку и с тягой к «мы», «общему» и «всему»: коли не все — то и ничего не надо! Пропадать — так с музыкой = красотой, значит, и песнею лебединою! То-то и сочиняли эти лебединые песни наши мыслители религиозно-философского Ренессанса накануне Апокалипсиса и эсхатологии Революции. И какие песни прекрасные! Я их уж отчасти описал раньше. Теперь вот песню Лосева предстоит расслышать.

Но что же делать философу — Любителю Мудрости и в то же время христианину, православному, или даже атеисту и ученому, что видит бесспорный «факт» непонятого в мире — как облегающего его отовсюду и в себе, перед чем так мал и жалок его ум и его познания? Тут — чья возьмет: любовь к чему перевесит? К части — или к Целому? К человечку родному — или к Истине?..

Тут-то все и бросаются на Христа, Богочеловека, в ком две субстанции и кто сам о себе сказал: «Аз есмь истина, путь и жизнь», — значит,

вот мост всеединения и кем-чем перейти бездну и совершить трансцензус... И антиномию описанных двух полярных видений бытия — «снять».

Так рождается философия-религия Богочеловечества (так названная Соловьевым у нас, но вообще-то она прорывалась все время после Христа в цивилизации Европы). И в ее русле работали мыслители русского религиозно-философского Ренессанса, с акцентом то на Всеединство (и Софию), то на Творчество и оправдание человека (Федоров, Бердяев).

Где же тут Лосев? Он, конечно, по первоинтуиции, — философ, любитель Единого Целого, Космоса, Софии, Красоты. Но он в то же время — страстный эмпирик, любитель разных частей бытия и фактов культуры (как рядом и раньше Флоренский). То есть, кроме того, что философ, он — и ученый: филолог, историк философии, культуролог, музыковед. Как Аристотель. Все ж «Марфа» он в гуманитарной культуре, а не «Мария». Энциклопедизм — это антиВсеединое (хотя вроде бы и рядом, и близко). Энциклопедист — в мир фактов и данных влюблен, и ими его ум занят — частями бытия и существами разными. Он и сам их множество любит творить-порождать-конструировать. У Лосева постоянны: «конструирование предмета», «порождающая модель» и описание явлений, феноменология «эйдосов» — в этих частных и тонких анализах и картинах и миниатюрах внутри своих громадных энциклопедий, компендиумов — он мастер-искусник.

То-то иные говорят, что как философ он не столь оригинален, первоуроден, как, например, Флоренский (от него во многом лосевские векторы и первовидения) или Бердяев. Верно: своего мощного оригинального философского мифа у Лосева не прощупывается. Но в нем есть мощно-творческая реализация, актуализация потенций-замыслов пред-

шестую ему русской и мировой интеллигенции (в смысле: «разума», «интеллекта», духовной культуры).

В этом и я Лосева родным чувствую. У меня нет своего мифа о мире, целостной системы, но выработан метод «привлеченного мышления» или «жизнемысли»: способ прикипания-присасывания к любому факту, идее, мысли, страху, случаю, что поразит меня (за живое заденет чувствительность или привлечет любовь ума) — и начать так его пронизывать-внимать-понимать, что привлекаю к нему отовсюду и сбоку и откуда ни возмись ассоциации из всего поля Бытия — и так его описываю как некую «монаду» и деталь Всесмысла. И тем усиливаю свое ощущение протекающей со мною жизни: ее путь меня во Истину-естину вводит тут же.

После посещения Лосева, помню, запись у меня в дневнике жизнемысленном была — пока-то найду ее в своем ворохе, но примерно так там было:

«Алексей Федорович Лосев, философ, когда я ему излагал, как что вижу-понимаю, сказал: «Надо писать систему». А я сомневаюсь: вот сейчас, каков я емь и что понимаю на пятачке-куске своего нынешнего состояния и опыта и ума, — засяду на много лет конструировать план мира, останова и свою жизнь, и путь и развитие во Истине, — какое ж это будет «Целое»? Мое Целое — то, что я «освою»-пойму за жизни путь своей, — скажется лишь в итоге: как сумма моих за жизнь частных уразумений — в их взаимовытекании и развитии. *Моя жизнь = моя система. Жизнь — как гносеологическая лестница.* Мое «Целое» откроется после меня, интегрируется...»

Но вернемся к ситуации философии и религии. Уж так потянулась философия в России к религии и на все лады слабость отвлеченных начал и рассудка (но все же не разума, умозрения и интуиции) признавала,

критиковала, и объявила себя именно «религиозной философией», не смея назваться «богословием» (а Сергей Булгаков и в тот домен, в догматику вломился), и такие прекрасные дома-храмы талантом своим мыслители построили, изукрашенные, — а все не угодят никак. Иерархи хмуро-косо смотрят на их усилия — и в ереси, в опасном прельщении и гордыне разума ловят. Те, что исповедуют «Всеединство» и «Софийность», — впадают в «прелесть», в тонкий пантеизм, эстетизм и магизм (Флоренский), в язычество (платоники и неоплатоники, как Лосев) и т.д. А те, что принимают трагедию существования и что человек мал и сам должен напрягаться (как Кант и Бердяев) — те «человекобожники», гордынники и чуть ли не «люциферианцы», «антихристы»...

Это я остро почувствовал вчера, когда ездил к философу N, кто мой шеф в проникновении во Флоренского и Карсавина был и неделю назад великодушно передал мне свою ксерокопию «Диалектики мифа» Лосева, а вчера дал и свое предисловие к готовящемуся изданию этой книги. Читать еще буду, а пока вот от разговора, хоть и краткого, но важного, — впечатление. Он в православии знаток и тверд, я ж шаток и жалко запросил: что же это — все наши религиозно-философские творцы — опасны, соблазнительны, «ересиархи» (как вон и о Федорове в «Богословских трудах» писали...)? Ведь такую интенсивность духовной жизни развили, явили усилия ума понять Божий мир и так много уразумений добыли?!

— Это с эстетической позиции наслажденцев и гурманов, смакующих мир и жизнь на вкус, — так. Ну а когда стоишь перед задачей не оглядываться-любоваться созданным, а сделать шаг, деяние, — это отлетает, не помогает. Тут надобно простое и твердое... (так примерно говорил).

— Да, понимаю: сейчас перед церковью трудная задача — в мир входить, просвещением и даже хозяйством заняться. Ведь как раз недостаток православной церкви в сравнении с католицизмом отмечали, что тот активно в социальный мир входил, а наша церковь его покинула самого на себя, и человека в мире...

— Нет, православная церковь входила в крестьянский быт, в земледельческий цикл, но при этом за ним плелась и срачивалась с язычеством, и не просвещался народ евангельски, а церковность слишком как раз к Божьему миру природы и земли приспособлялась-принижалась. То-то и когда пришла революция и стали храмы ломать самими нашими, русскими руками, и так легко вера улетучилась, и совсем не «богоносец» оказался русский народ. Значит, не глубоко, не просвещен он оказался христиански.

— Это верно. Я в деревне летом живу уж 20 лет с лишком. И рядом Анюта — крестьянка простая. Знает праздники. Вот говорит: «Сегодня Троица. Березку рвать и веточки на крыльце развесить...» (Кстати, один раз мы веточку так воткнули — Лариска, когда младенчик была, «посадила» ее, — и что же? Пошел росток — и вот сейчас молодая береза осеняет наше крыльцо — Троичная! Благословение! И когда пожар был, изба моя горела, — она же незадетой осталась!) Я ее спрашиваю: «А что такое «Троица»? Что там за «три»? Кто там трое? Как ты понимаешь, объясни...» Она задумалась, потом махнула рукой: «Троица она и есть Троица. На Троицу огурцы сажать надо... Вот и «символ веры» русского крестьянина...

А когда я в двух словах складывающуюся во мне концепцию дела Лосева попробовал так изложить:

— Он подвел базис эллинства под православие — дело, что еще с Хомякова просилось быть исполненным, органично для восточной

церкви... В частности, неоплатонизм... — мой собеседник улыбнулся и сказал:

— Неоплатонизм — самый языческий яд, соблазн и есть... А Платона — не он первый: Соловьев глубоко понимал, Флоренский...

— Но это — на уровне «дилетантов», а чтоб так каждый поворот мысли и текста понять, привить нам к душе, возлюбить-пережить-передумать, перещупать, токи-энергии оттуда через прикосновения любовного ума и рассуждения снимая, — к нам магически передав-перелив! О, это великое духовное питание он соделал!..

17 марта. Вникаю дальше в Лосева — и все сложнее задача: много возможных линий открывается в толковании его дела и облика. Может, набросаю сразу несколько, а потом связывать-объединять их начну.

ДОЛГО И МНОГО. «В России надо жить долго — тогда что-нибудь получится», — Корней Чуковский говорил. И вот по Пространству России — и время жизни человеку надо пространнее, чем на Западе. И 95 лет жизни Лосева, век почти целый, — дар Божий сему богатырю Духа. Пропорционально простору жил. Медведь белый. И в берлогу на спячку (= перерыв жизнедеятельности) уходил-зарывался. И зарываем был (в ГУЛаг-берлогу лагеря), но и сам затем в некоем анабиозе замирал, не выходя наружу, напоказ, в печать, по-кутузовски уклоняясь от сражений, отступая, зато сохраняя армию = себя, жизнь и ум творческий. Так что да: в лице Лосева Фило-София России вела именно Отечественную войну с апокалиптическим нашествием грубого материализма и зла, — вела ее русским манером, оттягиваясь в глубь свою бесконечную, бездонную, пересиливая пространством и временем — этих бесенят без году неделя, все ускоряющихся в мельтешении...

Но недаром к женским я тут образам прибегаю: Лосев — не поймешь,

кто в своем поле: мужчина или женщина? (А и в Кутузове Толстой отмечает «бабье» — округлость, мягкость...) В «Диалектике мифа», развивая мысль, что миф — личность, он пишет: «Можно ли эти выводы понять в том смысле, что всякая личность — мифична? **ОБЯЗАТЕЛЬНО НУЖНО ТАК ПОНЯТЬ.** (Значит, то самочувствие, что позавчера я выразил: «лежу сам, как миф», — верной интуиции предугадывание. — Г.Г.) **ВСЯКАЯ ЖИВАЯ ЛИЧНОСТЬ ЕСТЬ ТАК ИЛИ ИНАЧЕ МИФ.**» И далее разъясняет «личностное значение тела и его отдельных органов» и прежде всего — **ПОЛОВЫХ.** Хотя во внешнем «материальном смысле они ничем принципиально не отличаются от пальцев, ушей и т. д.», но значение их — грандиозно: космогонично и мифично, они символ, и смысл их иллюстрирует рассуждением «такого половых дел мастера, как В. Розанов». В книге «Люди лунного света» наш Василь Васильевич, вполне в соответствии с здравым смыслом представлением среднего, нормального человека, рассуждает о соответствии качества души и устройства полового органа. «Мужская душа в идеале — **ТВЕРДАЯ, ПРЯМАЯ, КРЕПКАЯ, НАСТУПАЮЩАЯ ВПЕРЕД, НАПИРАЮЩАЯ, ОДОЛЕВАЮЩАЯ;** но между тем ведь это все — почти словесная фотография того, что стыдливо мужчиной закрывает рукою!.. Перейдем к женщине: идеал ее характера, поведения, жизни и вообще всего очерка **ДУШИ — НЕЖНОСТЬ, МЯГКОСТЬ, ПОДАТЛИВОСТЬ, УСТУПЧИВОСТЬ.** Но это только — **НАЗВАНИЯ** качества ее детородного органа». А у Лосева — иная на этот счет интуиция и «половая мифология», и вот какое он слово говорит: «Необязательно думать так, как думал Розанов. Пол, действительно, есть основное и глубинное свойство человека, но (противопоставим Розанову другую мифоло-

гию) он меньше всего выражается в совокуплении и деторождении. Монахини и проститутки более интересны, чем та мелкобуржуазная иудейская мистика, которую проповедует Розанов. Розанов — мистик в мещанстве... Он обоготворяет все мещанские «устои» — щи, папиросы, уборные, постельные увеселения и «семейный уют». Это показывает, что ему не понятно благоухание женского иночества, не ощутительна изысканная женственность подвижничества девственниц с юности, не ясно, что совокупление есть вульгаризация брака. Он не был в строгих женских монастырях (а ты-то как туда попадал, если они — «строгие»? — Г.Г.) и не простаивал ночей в Великом Посту за богослужением, не слышал покаянного хора девственниц, не видел слез умиления, телесного и душевного содрогания (приметы эротического экстаза, оргазма. — Г.Г.) кающейся подвижницы во время молитвы, не встречал в храме, после многих часов ночного молитвенного подвига, восходящее солнце и не ощутил чудных и дивных знаний, которые дает многодневное неядение и сухоядение (вода = жизнь, и вот он против нее. — Г.Г.), не узнал милого, родного, вечного в этом исхудалом и тонком теле, в этих сухих и несмелых косточках, не почувствовал близкого, светлого, чистого, родного, родного, простого, глубокого, ясного, вселенского, умного, подвижнического, благоуханного, наивного, материнского (вот много-то слов-эпитетов! Слово ими лобызает-ласкает, взамен ласк телесных. — Г.Г.) — в этой впалой груди, в усталых глазах, в слабом и хрупком теле...» (с. 93).

Так вот его идеал женского тела! Он ведь обычно по контрасту к своему. И тут, математически от противоположного, можем заключить: раз идеально-возлюбленный им «предмет» — сухое, тонкое тело, хрупкие сухие косточки (то из стихии «мо-



щей», которые = «огне-земля», по изгнании влажности), то самого его плоть — велика и водяниста. И так оно и есть: кто видел-встречал Лосева, впечатлялся его благообразно-округлым, полноватым белым телом, что было как бы некое арифметически среднее между высокой, стройной статью строгого ученого и колышавшейся женственной телесностью православного иерарха.

Так что он сам — АНДРОГИН, самозаключенность в себе и мужского и женского, и их уже саморешенность, так что не расколот он и не односторонен-частичен (это таковой нуждается в восполнении противоположной половинкой), но — как шар, совершенная фигура, самоцелостность. И это тоже подтверждает ту интуицию насчет него как «полу-бога», с коей я начал... Причем в первой половине жизни, в «дионисийский» период, в нем мужские и бойцовские качества преобладали, а во второй — женские. Но все это — уже наверху, в сублимированном пространстве идей. Видно, уж с молодости, когда один из первых его докладов был «Эрос у Платона», он так проникся страстью по Небесной Афродите и так отвергся Афродиты земной, что и, когда в брак вступил (а венчал их с Валентиной Соколовой отец Павел Флоренский, кто насчет пола, напротив, был въедлив, как и Розанов), словно — в монашество в миру они сговорились вступить, защитив себя от мира стенами условного брака (в эпоху, когда кирпичные стены монастырей рушились материалистами): чтобы не лезли к ним... И это было в стиле высоких интеллектуалов тогда. Брак Бахтиных, Михаила Михайловича и Елены Александровны, тоже бездетный, похоже, был тоже и бесплотным. Зато жертвою плоти — в какую изысканность Духа возлетали, любили друг друга на небесах и во Психее сердечной.

Вот из Сиблага на Алтае письмо заключенной Лосевой Валентины

Михайловны ээку Лосеву Алексею Федоровичу во второе отделение Свирлага (Мурманск, жел.-дор.) от 12.III.1932. «Родной мой человек, здравствуй! У нас сейчас стоят чудесные звездные ночи, смотрю каждый вечер на звезды и думаю, что, может, на те же звезды смотришь сейчас и ты. Вид звездного неба у нас, т.е. здесь и в Свири одинаковый, мы ведь с тобой почти на одной широте... Какая была бы радость наблюдать вместе.

... Головушка моя бедная (именно ЭТА часть тела помянута.— Г.Г.), ненаглядный мой человек, хочется хоть нарисовать тебе ту часть неба, на которую обычно смотрю...»

Да это ж — как Элоиза и Абелья, коли б они, по разлучении жестоком, затем в браке мирном жили, но именно небесную Афродиту, Агапэ, исповедуя и упражняя...

И это, кстати, у наших архиинтеллигентных персонажей перекликается и в соответствии с жизненными установками насчет Эроса и деторождения — у революционеров-атеистов, и у наивных русских очарованных странников, что собрались в «Чевенгуре» на последние времена и решение загадки всемирной истории, чтоб построить коммунизм в отдельно взятом поселке. Все прекратили соитие и деторождение — и по идейным соображениям: сперва мировую революцию совершить, а потом уж и личной жизнью заниматься. Но не надо будет и потом: ибо в окончательно-решенном, совершенном существовании — как и в царствии небесном: «не женятся и не разводятся». И Лариса Рейснер-комиссарша, и прочие активные большевики — аскеты. И Бердяев — «эсхатолог» по мироощущению: стиль и слух на последние времена... Так что чего ж и РОД людской продолжать, совокупляясь и деторождая?.. Космосом заняты. Чего ж там об ойкосе (доме-семье) радеть? И недаром это все ж разводили — домохозяйство — умы-души не бун-

тарские, а благолепные, как Флоренский и С. Булгаков, что и жен своих тела благоуханные любили, и детей рожали-растили, и полагали, что они не в последних временах, а в нормальных и вечных обитают. Тут уж магическая интенсивность жительствова, которую молодой Лосев в себе ощущал, в его рассуждении о времени и вечности — просвечивает. Если и советские строители, и те, что в концепции Богочеловечества (Соловьев, Бердяев) — во времени историческом обитают, самочувствуют: как в линейности развития вперед и в задаче творчества и совершенствования, — то Лосев, сделав выкладку умом на материале современной физики (теория относительности, Лоренцево сокращение...) и приведя ее к Античному Космосу, выходит к самоличному преодолению Времени в мирочувствии и самонастройке себя.

Нет, тут красиво и богато. И демонстрирует ту экзистенциально напряженную и полную жизнь как бытие, что целил и вел в каждый миг Лосев, чуя себя и все — как символ и миф. Миф есть личность. Личность — тело и жизнь. Жизнь — история, во времени. «Времен столько, сколько вещей (верно: как и сколько личностей и душ — все уникальны; каждое тело — «особое тело отсчета», и по Эйнштейну. — Г.Г.); а вещей или, вернее, родов их столько, сколько смыслов и идей. Время — боль истории, не понятная «научным» исчислениям времени. А боль жизни — яснее всего, реальнее всего. БОЛЬ ЖИЗНИ гораздо могущественнее ИНТЕРЕСА К ЖИЗНИ. Вот отчего религия всегда будет одолевать ФИЛОСОФИЮ» (с. 105).

«Но в муках мы мать вспоминаем!» (Некрасов) — Богоматерь...

Итак: время = боль. Отслева: вечность = блаженство. И человек, естественно, стремится выйти из-под власти времени в надмирность: в вечность и блаженство. (Не всякий человек, разумеется. Кант и Бердя-

ев — нет, против блаженства: трагедия человека — этичнее. А значит, и не уклоняться от времени и боли истории.) Особенно такой человек, как Лосев, который время внял в себя — музыкой, извлекая его из истории и уже чистыми структурами становления питая существо свое. А историю и мир сей возвратил и ввернул вспять — в Космос античности, где и когда все великие идеи предвысказаны и поняты. А тут и наука современная подала вариант толкования вечности.

«Как же мыслить себе ФИЗИЧЕСКИ разную степень вечности? К счастью, современная наука возвращает нам эту давно утерянную мифическую идею и делает ее мыслимой как математически, так и физически, а) Время проявляется в физическом теле как движение или покой. Движение может иметь разную скорость. Чем движение тела быстрее, тем расстояние между предельными точками его объема делается все меньше и меньше заметным. Вычислено, что если тело движется со скоростью света, то ОБЪЕМ ЕГО РАВЕН НУЛЮ. Стало быть, определенная выявленность времени уже приводит тело к полной деформации; не переставая по смыслу своему быть телом, оно уже перестает иметь объем. б) Допустим, что тело движется со скоростью большею скорости света. Тогда, очевидно, объем его будет равен какой-нибудь мнимой величине; и мы погрузимся в царство таких тел и времен, из которых наши тела и времена могут появиться только путем выворачивания наизнанку и устремления «головой вниз» и «вверх пятами» (с. 107). Стоп! Эта же интуиция и у Флоренского в его исследовании «О мнимости в геометрии», где он иллюстрирует мнимые величины пространством «Божественной комедии» Данте. Там Вергилий и Данте, проваливаясь в дно Ада, выходят в Эмпирей, т. е. из предельного низа — в предельный верх (как это и в

графике некоторой функции: уходя в бесконечность вниз, вдруг выныривает после трансцензуса оси игрек — откуда-то из бесконечности сверху).

Но Лосев ведет свой мысленный эксперимент дальше: «в) Допустим, наконец, что тело движется с **БЕСКОНЕЧНО-БОЛЬШОЮ** скоростью. Это будет значить, что оно находится сразу и **ВЕЗДЕ** (ибо в один миг оно охватывает всю бесконечность, скорость его бесконечна) и **НИГДЕ** (ибо оно непрерывно движется и нигде не остается и не застревает). Это и есть **ВЕЧНОСТЬ ИДЕЙ** — да, да, этих самых Платоновских идей, — которая сразу везде и нигде, в которой следствие раньше причины («целевая причина» — «энтелехия» Аристотеля — так очевидна и наглядна. — Г.Г.), т. е. которая есть царство абсолютных целей и идеальность которой физически мыслима только лишь как **ТЕЛО**, все то же самое, обыкновенное земное тело, но **ДВИЖУЩЕЕСЯ С БЕСКОНЕЧНО БОЛЬШОЙ СКОРОСТЬЮ**. И поэтому, если хотите, платонизм есть просто отдел физики или физика есть отдел платонизма (это одно и то же). Только так и может рассуждать мифология, для которой все телесно и все нетелесно в одно и то же время» (с. 108).

Да тут высказана отчетливо та основная интуиция, которой Лосев будет работать во всех последующих трудах об античности, эллинской философии, в толковании идей у Платона и в исследованиях о неоплатонизме. Космос идей реконструируется им как архитектурно-скульптурные фигуры-модели порождающие, а значит: Жизнь телесно-материальная, но вечная — в них предусмотрена и предположена.

Но здесь и жизненно-личная установка: как человеку уж при жизни своей самочувствоваться обитающим в вечности — в совершении времен? — А в частности, выйти из РОДА и ПОЛА, из семьи — в небо, семью как монастырь построить,

ойкос — как космос: в интеллектуальных созерцаниях обитать-пребывать. Что и делалось им и с первой супругой, а после ее кончины с преданною весталкою Азой Алибековной Тахо-Годи. И я сквозь слезы читал ее публикации переписки супругов Лосевых до ее зры. Какая интонация чистой преданности и любви — и к кому? к «сопернице» своей!..

«Но я, А. А. Тахо-Годи (тоже символично: Аза Алибековна — с Кавказа Северного, что естественно в степи Дона переходит, где и Новочеркасск — тоже «черкесский», и южная страсть и Эрос, близкий к Греции Космос, как и во Флоренском из Колхиды, — вот откуда мощные интуиции стали в Русскую Думу изливаться. А имя «Аза» — мне стих Гейне припомнило: «Я из рода бедных Азров: полюбив — мы умираем»... — Г.Г.), которая пришла в дом А. Ф. и В. М. Лосевых аспиранткой по классической филологии осенью 1944 года, могу засвидетельствовать — Алексей Федорович работал не покладая рук, и весь хаос неустроенной жизни... лежал на Валентине Михайловне и на нем самом, пока я не разделила жизненную ношу с ними двумя, а потом, после кончины Валентины Михайловны в 1954 году, не взяла ее целиком на себя. Да, я свидетель удивительного горения духа этих дорогих для меня людей, их повседневных трудов и бессонных ночей. Алексей Федорович имел обыкновение вместо сна ночью продумывать (и тут не половиненье суток на день и ночь, но трансцендированье и андрогиния-целостность их, совершенство. — Г.Г.) до мелочей в уме текст, который он будет диктовать днем Валентине Михайловне или мне без всяких помарок, а по вечерам мы подбирали необходимые материалы».

Да и слепота его — как бы нарочита: по модели Эдипа и Демокрита высечен он советской действитель-

ностью как скульптором: в лагерях на лесоповале сетчатка близоруких глаз поехала — и стал он, вместо близкозрения наружу, дальнзорок внутрь: интенсивные внутренние видения и конфигурации выделял его ум, тоже скульптор-архитектор-инженер-конструктор в умозрении и диалектике. Ну, Демокрит, как язычник, САМ ослепил себя, чтобы не мешало внешнее зрение умным созерцаниям лучше видеть, но Лосев, как православный, не смел самочинно посягнуть (род самоубийства ведь — членовредительство!), так предоставил Кесарю-Державе это, втайне желанное и чаемое им, — за него ему осуществить-проделать. И так тоже вышел из зацепления с миром сим — еще более и выше...

А ведь за ПОЛ воистину нас мир сей держит и Социум, и Князь мира сего. Народишь деток — и дрожи за их жизнь, что попадает уж в независимые от тебя переплеты. И согнешься за них, душу погубишь... Так что пол — это действительно тот крючок-коготок в нас, что колы в лоно-болото увяз — всей птичке пропасть!..

Однако недаром все же брак — таинство церкви, и благословенно деторождение. Да, так мы подпадаем под трагедию, страдания и боль живота, и ее вылечить — только Христом распятым, религиею. И потому логично совершенно, что Лосев, как философ, в ком интерес к жизни и всему поставлен превыше боли жизни, должен был ее в себе приглушить и перекрыть каналы этой боли жизни от мира внешнего в его внутренний, — и лишь интеллектуально трагедии переживать-понимать-восписывать.

Зато там его чадородие — неимоверно: целая цивилизация и культура им одним создана. МНОГО — благодаря ДОЛГО. Против материально-вещественныхстроек советской действительности, что ныне ухают в тартарары, как бессмысленные и вредные, — миллионы промы-

сленных им феноменов-явлений, вещей и идей, произведений мысли и искусства — восстают ныне чистые и свежие, как драгоценные камни и палаты Нового Иерусалима, или, по нашему, — града Китежа. Роскошная предметность в ее смыслах ярких, и мысли, и идеи. И каждая — «эйдос» = идея-вещь; каждая — символ каждой. И развито искусство тончайшее их взаимообъяснения всех — друг другом. Тут он — ГЕНИЙ = Родитель, рождающий — Духом и Умом. И сейчас так вижу: именно потому, что в нем, донце-жеребце кровей жизненно-отменных, так жизненная энергия и воля клокотала, что выплескивалась именно за рамки нашего временно-смертного «живота», он взалкал, как Эмпедокл, — жизни вечной, в нее взойти и жить в духе, как бог, — он аскезу сексуальную привнял (от сверхсилы, а не от немощи-импотенции). Потому и мысль его налита страстностию, а не научно-анемично-абстрактна. Как он в письме определил себя — как «философа, строящего философию не абстрактных форм, а жизненных явлений бытия».

Вот, например, Время. Как оно скучно-научно линией «Т» идет, насеченной на равные доли-промежутки (как и такты «ходиков», секундминуты...), и по ней считаются в механике события. Это — «абстрактная форма» Времени, «в стиле новоевропейского физического, т.е. однородного и бесконечного, пустого и темного времени... Если вы хотите говорить о подлинно РЕАЛЬНОМ времени, то оно, конечно, всегда НЕОДНОРОДНО, сжимаемо и расширяемо, совершенно относительно и условно. Кто же не переживал три секунды, как целый год, а год, как три секунды? Я даже думаю, что с 1914 года время как-то уплотнилось и стало протекать скорее. Апокалиптические ожидания в прошлом объясняются именно сгущением времен, близким к окончанию

времени и потом рассасывающимся. Время, как и пространство, имеет СКЛАДКИ И ПРОРЫВЫ. Я не раз в своей жизни переживал какие-то ямы и разрывы во времени. Смотришь, время как будто кончилось, а потом, вишь-ты, засвистело, закружилась неохватным вихрем (как у Блока в «Двенадцати». — Г.Г.). Иной раз время настолько нагло прет вперед, что хочется подойти к часам в моменты их боя и разбить вдребезги эту беспощадную машинку, которой дано управлять всей жизнью» (с. 104). Вот какой максималист-пассионарий, «профессор»-то наш!

А в своем эстетическом (как и у К. Леонтьева) отвращении к серой научности и буржуазному позитивизму, к среднеарифметическому, бескачественному представлению бытия и вещей и мышлению, он сродни «братишечкам» и подстегивает на еще пущую революцию, и бранит нынешнюю советскую именно за интеллектуальную половинчатость, в силу чего она буржуазно-либеральный атеизм и материалистическую научность приняла как свой убогий, серенький миф, а могла бы сотворить нечто покрасивше. «Я думаю, едва ли также стоит тут обнаруживать буржуазную природу материализма... В особенности отвратителен и сам по себе, и как обезьяна христианства, тот популярный, очень распространенный в бездарной толпе физиков, химиков, всяких естественников и медиков «научный» материализм, на котором хотят базировать все мировоззрение. Это даже не буржуазная, а МЕЛКОбуржуазная идеология, философия мелких, серых, черствых, скупых, бездарных душонок, всего этого тошнотворного марева мелких и холодных эгоистов, относительно которых поневоле признаешь русскую революцию не только справедливой, но еще и мало достаточной» (с. 152).

18 марта. Прилег настроиться —

и как раз соната для скрипки и ф-но Бетховена № 3, а потом Шуберта сонатина по радио стали вливаться, организуя мое нутро, ритм души. И вдруг именно воушию различил музыкальные формы — эти образования во времени, столь же бесконечно разные, как вот сосна или храм, дорога или небо, жаба или птичка, любовный шепот или драка. Вот шар — а вот куб, форма квадратная, а это — виение-скольжение. И все это — структуры Жизни, невидимые, но в высшей степени реальные, организующие. И их — и зримых, и невидимых — бесконечное множество, и каждая вещь и существо — совершенны В СВОЕМ РОДЕ. Надо только вмедитироваться-настроиться на сей род-вид, внять-понять его и описать. И тем и занимается Лосев. Сам уже находясь-обретаясь в совершенности, вознеся себя в тот континуум, что им представлен выше (коли тело движется с бесконечной скоростью, тогда наступает вечность и совершение всего, и устанавливается уровень-мир Платоновых идей), — он занят тем, что все вещи, мысли, идеи, произведения культуры, явления истории, сюжеты жизни и проблемы духа описывает-конструирует «суб спещие» совершенства: свой род, в коем они совершенны, напрягаясь умом и воображением и словом, — воспроизвести. И в такой оптике чего ни коснется его ум, на что ни направит взор, все предстает приподнятым, как бы в нимбе, торжественно бытующим, как символ и миф самих себя (а, значит, и всего прочего, ибо в поле ВСЕСМЫСЛОВ вещь-идея выносятся и толкуется).

Если Булгаков выносил-расширял ОЙКОС (домостроительство) до КОСМОСа и так оправдывал мир как Божий, в целом, подводя под это аргументы философские и богословские, прежде всего — прокладку Софии (как набора тоже Платоновых идей) между Богом и Космосом проложив, и на это все силы потра-

тил, — то Лосев исходит как бы уже из решенности этого «вопроса»: он для него уже не вопрос; а вот вопрос и задача — каждую из множества вещей-идей-сущест-творений в сем Космосе так космично и протолковать, торжественный и совершенный смысл каждого ЭТОГО очами ума увидеть и оправдать и сжато воспроизвести средствами уже логики, диалектики и умозрения, ассоциативного мышления и т.д.

То есть когда опьяненные Историей временщики, исполненные «разума возмущенного», ринулись рушить до основания весь мир — как старый и ложный, намереваясь построить совершенный и вечный, — аналогично и мыслитель Лосев принялся вызволять-спасать сей наличный мир, вывести его из времени к свету вечности (как Данко у непонявшего его Горького): слить Время и Вечность, Историю и Бытие — в Жизни усиленно-смысловой, когда она — как символ и миф; и работает он Разумом Восхищенным, во Эросе платоновом. Не писать про Дом Бытия (как Хайдеггер), а самочувствовать себя хозяином этого Дома Бытия и обхаживать свои владенья и возделывать. Комиссары и научники — его гнать из Бытия-Жизни (как крестьянина с земли и из избы, им сбитой, сгонять), а он не уступает, противопоставляет им, временщикам, самочувствие существа ВЕЧНУЮЩЕГО, хозяина, для кого Бытие = собственный дом. Напомню снова: «Читая учебник астрономии (ну и диамата и истмата, само собой. — Г.Г.), чувствую, что кто-то выгоняет меня из **собственного дома...**»

И вся творческая жизнь Лосева в культуре — это ОСВОЕНИЕ собственного нам, человеку каждому, ДОМА БЫТИЯ — как КОСМОСА ВСЕСМЫСЛОВ. Прохаживается в нем — как Господь Бог, садовник по Эдему Духа и Культуры.

И восписав так про него и истолковав его дело, некое высвобожде-

ние и я получил — от уныния, в коее вчера к вечеру был ввергнут. «Ну что ты, — яд сомнения заговорил во мне, — куда еще лезешь в калашный ряд философии, культурологии, Слова вообще, когда так роскошно и много уж тут натружено и сказано! Один Лосев чего стоит! Попробуй успей прочесть-напитаться тем, что он осветил! А ты туда же — засорять сферу Слова своими мыслицами, уразуменьицами доморощенными!..» И поник я, и бессмысленным стало казаться и это предприятие с промышлением четырех философов, да и все писания мои...

— Да, но так я усиленно живу, смысл всего совершающегося и со мной постигаю, так что каждый миг священен и исполнен значения — остро переживается-осмысляется. И именно хорошо, что ДОМОрощено, наивно-первично: с таким чувствованием всякой проблемы и идеи мировой культуры, будто она прямо к тебе относится и на тебя глазеет личным званием. И если тебе удастся это передать — вот и прочим прецедент и так жить, и переживать мысль усиленно.

Ведь самое интересное — это не учено-научно описывать, как что было и понималось, но раскрыть, как все вечные проблемы и идеи являются и работают прямо с нами и в наших поступках и речах, хотя мы этого не слышим, не разумеем. Вон как Лосев советскую мифологию описал: «С точки зрения коммунистической мифологии, не только ПРИЗРАК ходит по Европе, призрак коммунизма» (начало «Коммун. манифеста»), но при этом «КОПОШАТСЯ ГАДЫ КОНТРЕВОЛЮЦИИ», «ВОЮТ ШАКАЛЫ ИМПЕРИАЛИЗМА», «ОСКАЛИВАЕТ ЗУБЫ ГИДРА БУРЖУАЗИИ», «ЗИЯЮТ ПАСТЬЮ ФИНАНСОВЫЕ АКУЛЫ» и т.д. Тут же снуют такие фигуры, как «бандиты во фраках», «разбойники с моноклем», «венценосные кровопускатели», «людоеды в митрах», «красофор-



ные скулодробители»... Кроме того, везде тут «ТЕМНЫЕ силы», «МРАЧНАЯ реакция», «ЧЕРНАЯ рать МРАКОБЕСОВ»; и в этой тьме — «КРАСНАЯ заря» «мирового пожара», «КРАСНОЕ знамя» восстаний. Картинка! И после этого говорят, что тут нет никакой мифологии (а единственно-правильное научное мировоззрение! — Г.Г.)» (с. 123).

Но ведь и с нами интереснейшая действительность совершается, которая просто напичкана вечностью и идеями — теми картами, что уже раскладывались в пасьянсах всемирной истории, и в то же время новые гамбиты и комбинации их происходят. Так что человеку Духа и Культуры здесь также есть дело, как и Лосеву в его время. И тут как раз ободряюще звучит тот афоризм,

что вроде бы уныние и скепсис призван в нас подпитать: «опыт истории учит тому, что он никогда никого ничему не научил и не учит», — так что все снова, как в первый раз, совершать и понимать приходится каждому новому поколению людей и мыслителей.

Так что не отчаиваться — и нам есть дело: в новых обличьях и вечные темы и ценности узнавать, и новые уразумения добывать. Также ведь и Любовь, и Жизнь, и Мудрость: мириады раз уже были, а каждому — внове и лично первооткрывать все. И это новое свершение — есть и творчество и добыча Мировому Смыслу от уникальной жизни и личности твоей. Богу питание — в труде Богочеловечествования.





## *Содержание*

<i>От издательства</i>	3
<b>Часть первая</b>	
<i>От автора</i>	7
Пушкин	9
Чаадаев	12
Тютчев	16
Хомяков	20
Гоголь	24
Киреевский И. В.	27
Аполлон Григорьев	30
Достоевский	33
Данилевский	36
Иван Аксаков	40
Лев Толстой	43
Федоров	46
Леонтьев	50
Владимир Соловьев	54
Розанов	62
Кн. Евгений Трубецкой	67
Блок	73
Флоренский	80
Карсавин	87
Пришвин	98
Бахтин	105
<i>Приложение. С Есениным</i>	119
<b>Часть вторая</b>	
<i>От автора</i>	139
<i>Космософия России</i>	140
<i>Русь — жертва России</i>	144
Франк	166
Бердяев	193
Сергей Булгаков	220
Лосев	246

**Гачев Г.**  
Г24 Русская Дума. Портреты русских мыслителей.— М.: Издательство «Новости», 1991.—272 с., с ил.  
30 000 экз.

Книга-альбом «Русская Дума» составлена из 26 графических портретов русских писателей и мыслителей выдающегося графика и иллюстратора многих произведений мировой литературы Ю. И. Селиверстова и литературно-философских этюдов Г. Д. Гачева о каждом из них, дающих панораму развития русской мысли почти за два века.

Г 4502010000  
067(02)—91

Без объявл.

ББК 87.3(2)

ISBN 5-7020-0095-1

**Георгий Дмитриевич Гачев**  
**РУССКАЯ ДУМА**  
**Портреты русских мыслителей**

Редактор *М. В. Егорова*  
Заведующий редакцией *К. Г. Ликатов*  
Художественный редактор *А. И. Хисиминдинов*  
Технический редактор *Н. М. Ладик*  
Корректор *О. В. Коновалова*  
Технолог *С. Г. Володина*

ИБ—10311

Сдано в набор 31.10.90. Подписано в печать 11.04.91.  
Формат издания 70х90/16. Бумага офсетная.  
Гарнитура таймс. Печать офсет.  
Усл. печ. л. 22,2.  
Уч.-изд. л. 25,86 Тираж 30 000 экз.  
Заказ № 3856. Изд. № 8721. Цена 5 р. 90 к.

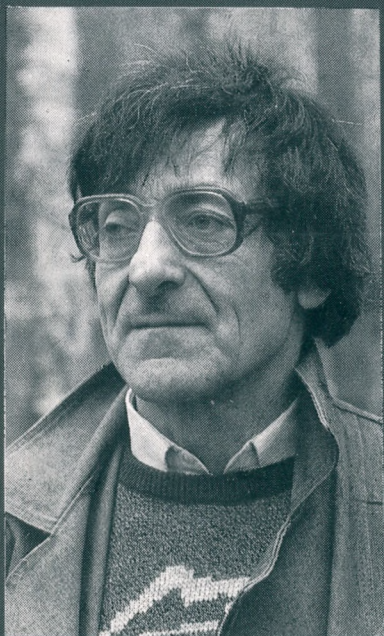
Издательство «Новости»  
107082. Москва. Б. Почтовая ул., 7.

Типография Издательства «Новости»  
107005, Москва, ул. Ф. Энгельса, 46.





# РУССКАЯ ДУМА



Георгий ГАЧЕВ — известный писатель-мыслитель и ученый-культуролог, доктор филологических наук, автор десяти книг и более ста статей.

«Блестящие мысли» и «свой способ образного мышления» отмечал у него академик Д. Лихачев.

«Гачев пытается привить древо познания к древу жизни. Меня всякий раз удивляет стихия его воображения, способность видеть уникальное в привычном», — писал о нем Ч. Айтматов.